Ш(Ф-Р)1
Б21

БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 24 ТОМАХ

ТОМ 3

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

Этюды о нравах

СЦЕНЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

ПОКИНУТАЯ ЖЕНЩИНА

Герцогине д'Абрантес
преданный слуга.
Оноре де Бальзак.

Ранней весной 1822 года парижские врачи отправили в Нижнюю Нормандию одного молодого человека, только что поднявшегося после тяжелой болезни, вызванной переутомлением — то ли от усиленных занятий, то ли от бурной жизни. Для восстановления здоровья ему был необходим полный покой, легкая, здоровая пища, прохладный климат и полное отсутствие сильных впечатлений. Плодородные поля Бессена и бесцветная провинциальная жизнь несомненно должны были помочь его выздоровлению. Он приехал в Байе, хорошенький городок, расположенный в двух лье от моря, к одной из своих кузин, принявшей его с особым радушием, свойственным людям, которые привыкли жить уединенно и для которых приезд родственника или друга — счастливое событие.

Все маленькие города, если не считать кое-каких мелочей обихода, похожи один на другой. И вот после нескольких вечеров, проведенных у своей кузины г-жи де Сент-Север и у знакомых, составлявших ее общество, молодой парижанин барон Гастон де Нюэйль вполне изучил этих людей, олицетворявших весь город во мнении их собственного замкнутого круга. Таким образом, он увидел неизменный подбор действующих лиц, какой проезжие наблюдатели всегда находят в многочисленных столицах бывших государств, из которых встарь состояла Франция.

Первое место тут занимает некая семья, чья родовитость — пусть об этом ничего не известно едва отъедешь на пятьдесят лье — в пределах департамента считается бесспорной и возводится к древнейшим временам. Такая королевская династия в миниатюре своими родственными отношениями, хотя никто этого и не подозревает, соприкасается с Наварренами и Гранлье, примыкает к Кадиньянам и связана с Бламонами-Шоври. Глава этого прославленного рода — непременно заядлый охотник. Человек дурно воспитанный, он всех подавляет знатностью своего имени; он лишь с трудом терпит супрефекта, скрепя сердце платит налоги, не признает никаких новых властей, созданных девятнадцатым веком; для него то обстоятельство, что первый министр не дворянин,— политическая несообразность. Его жена говорит резким тоном и не допускает возражений; в прошлом были у нее поклонники, но она женщина набожная; дочерей своих воспитывает плохо, считая, что родовитость — достаточное для них приданое. Ни муж, ни жена не имеют представления о современной роскоши: ливреи слуг, серебро, мебель, кареты — все у них старинного фасона, они старомодны как в укладе жизни, так и в языке. А приверженность к старине к тому же прекрасно сочетается с провинциальной бережливостью. Словом, это все то же дворянство былых времен, но без вассальных податей, без гончих, без шитых золотом кафтанов; все они кичатся друг перед другом, все преданы королевскому дому, однако при дворе не бывают. Эта безвестная историческая фамилия своеобразна наподобие старинного гобелена. В семье непременно доживает свой век какой-нибудь дядюшка или брат, генерал-лейтенант, кавалер орденов, придворный, который сопутствовал маршалу Ришелье в Ганновер,— вы его найдете здесь, как находите случайно сохранившийся обрывок старого памфлета времен Людовика XV.

С этими ископаемыми соперничает другая семья, более богатая, но менее родовитая. Муж и жена проводят два зимних месяца в Париже, откуда привозят легкомысленное расположение духа и воспоминания о мимолетных увлечениях. Жена любит наряжаться, жеманится и всегда отстает от столичных дам. Однакож

она подсмеивается над провинциальной косностью своих соседей; у нее модное серебро, она держит грумов, лакеев-негров, камердинера. У старшего сына есть тильбюри, он бездельничает: он наследует майорат; младший состоит аудитором в государственном совете. Главе семьи подробно известны все министерские интриги, он рассказывает анекдоты о Людовике XVIII и мадам дю Кэля; свой капитал он помещает из пяти годовых, избегает разговоров о сидре, но порой им овладевает страсть к подсчету чужих состояний; он член генерального совета, одевается в Париже и носит крест Почетного легиона. Словом, этот дворянин понял дух Реставрации и извлекает выгоду из палаты, но его роялизм менее бескорыстен, чем роялизм семейства, с которым он соперничает. Он получает «Газетт» и «Деба». Первая семья читает только «Котидьен».

Епископ, бывший старший викарий, лавирует между обоими могущественными семействами, воздающими должное его сану, хотя временами они дают ему почувствовать мораль басни славного Лафонтена «Осел, нагруженный священными реликвиями». Монсиньор — не дворянского рода.

Затем следуют звезды второй величины: дворяне, имеющие ренту в десять — двенадцать тысяч ливров; в прошлом это были или морские капитаны, или ротмистры, или же попросту никто. Теперь они верхом разъезжают по дорогам, наподобие то ли приходского священника, везущего святые дары, то ли сборщика податей. Почти все они состояли в пажах или мушкетерах, а теперь мирно доживают свой век, выкачивая доходы из имения, и больше интересуются порубкой леса и сидром, чем монархией. Но любят поговорить о хартии и либералах между двумя робберами виста или во время партии в триктрак, после того как подсчитают, какое приданое дают за такой-то невестой, и всех переженят в соответствии с родословными, которые они знают наизусть. Их жены важничают и с видом придворных дам восседают в своих плетеных кабриолетах; закутавшись в шаль и надев чепчик, они мнят себя очень нарядными; они покупают после долгих обсуждений две шляпы в год и получают их из Парижа с оказией. Обычно они болтливы и добродетельны.

При этих главных представителях аристократической породы состоит еще несколько старых дев благородного происхождения, разрешивших проблему обращения человеческого существа в окаменелость. Они как бы вросли в те дома, где вы их встречаете; их лица, наряды слились с домашней обстановкой, с городом, с провинцией; они хранители местных традиций, происшествий, общественного мнения. Они чопорны и величавы, умеют кстати улыбнуться или покачать головой, иногда произнести словцо, которое почитается остроумным.

Несколько богатых буржуа благодаря своим аристократическим воззрениям или состоянию проникли в это подобие Сен-Жерменского предместья. Несмотря на то, что им лет под сорок, о них говорят: «У этого молодого человека неплохая голова»,— и делают их депутатами. Обычно им покровительствуют старые девы, что, разумеется, вызывает пересуды. Наконец в это избранное общество допущены некоторые духовные лица — одни из уважения к их сану, другие за свой ум; наскучив обществом друг друга, знать вводит к себе в гостиные буржуазию, как булочник кладет в тесто дрожжи.

Воззрения, скопившиеся во всех этих головах, составились из некоторого количества старинных понятий, к ним примешались кое-какие новые, и эта жвачка сообща пережевывается каждый вечер. Подобно воде в маленькой бухте, фразы, выражающие их мысли, совершенно однообразны в своем постоянном движении, в своем ежедневном приливе и отливе; тот, кто раз услышал пустое звучание их разговора, будет слышать его и завтра, и через год, и во веки веков. Их суждения о делах житейских составляют некую нерушимую научную систему, к которой ни один человек не властен добавить хотя бы крупицу сознательной мысли. Жизнь этих рутинеров ограничена кругом привычек, столь же неизменных, как их религиозные, политические, моральные и литературные взгляды.

Если какой-либо посторонний человек будет допущен в этот сплоченный кружок, каждый не без иронии скажет ему: «Вы у нас не найдете блеска вашего парижского света!» — и каждый осудит образ жизни своих соседей, давая понять, что он один является исключением в этом обществе и безуспешно пытался внести

в него живую струю. Но если, на беду свою, этот посторонний подтвердит каким-нибудь замечанием то мнение, которого они держатся друг о друге, он сейчас же прослывет злым человеком, без стыда и совести, настоящим парижанином, развращенным, как и *вообще все парижане.*

Когда Гастон де Нюэйль попал в этот светский мирок, где строго соблюдался этикет, где жизнь текла размеренно и каждый был осведомлен о делах другого, где родовитость и богатство котировались как биржевые ценности, упоминаемые на последних страницах газет, он заранее получил оценку при помощи точных весов местного общественного мнения. Его кузина, г-жа де Сент-Север, уже сообщила о размерах его состояния, о видах на наследство, родословной, превозносила его связи, вежливость и скромность. Ему был оказан именно тот прием, на который он мог рассчитывать, его приняли как человека родовитого, но запросто, потому что ему было только двадцать три года; однако иные молодые особы и некоторые мамаши сразу же стали строить ему куры. Его владения в долине Ож приносили восемнадцать тысяч ливров дохода, а рано или поздно отец должен был оставить ему в наследство замок Манервиль со всеми угодьями. Образование, возможность политической карьеры, личные достоинства и таланты — это никого не интересовало. В его владениях земля была плодородна, арендная плата хорошо обеспечена, насаждения были в превосходном состоянии, всякого рода починки и уплата налогов были возложены на фермеров, яблоням насчитывалось тридцать восемь лет; отец вел переговоры о покупке двухсот арпанов леса, примыкающего к его парку, и собирался все обнести оградой,— никакая известность, никакая министерская карьера не могли конкурировать с такими преимуществами. То ли из коварства, то ли из расчета, г-жа де Сент-Север умолчала о старшем брате, и Гастон тоже не упоминал о нем. Впрочем, брат этот страдал болезнью легких; можно было ожидать, что его скоро похоронят, погорюют и забудут о нем. Гастона де Нюэйля сначала забавляли все эти персонажи; он без прикрас как бы зарисовал в своем альбоме их морщинистые топорные лица, крючковатые носы, причудливые костюмы

и ужимки; позабавился их особым нормандским говором, безыскусственностью их мыслей и характеров. Но, втянувшись в эту жизнь, столь похожую на верчение белки в колесе, он ощутил всю монотонность этого раз навсегда налаженного распорядка, точно у монахов в монастырях, и у него наступил перелом — он еще не дошел до скуки или отвращения, но во всяком случае был уже близок к этому. Претерпев такую болезненную пересадку, живой организм начинает приживаться на чужой почве, сулящей ему только жалкое прозябание. И если ничто не вырвет человека из этой среды, он незаметно усвоит ее привычки и примирится с ее бессодержательностью, которая засосет и обезличит его. Гастон уже привык дышать этим воздухом. Он испытывал почти что удовольствие от растительной жизни, дни его текли без мыслей и забот; он уже стал забывать то брожение жизненных соков, то наблюдаемое вокруг зарождение все новых и новых мыслей, с которым сжился душою в Париже; он стал превращаться в окаменелость среди этих окаменелостей; он уже готов был остаться так навсегда, подобно спутникам Улисса, и был доволен своим животным благополучием.

Однажды вечером Гастон де Нюэйль сидел в обществе пожилой дамы и одного из старших викариев епархии в гостиной с серыми панелями, со светлым плиточным полом, с несколькими фамильными портретами на стенах, с четырьмя карточными столами, вокруг которых расположились шестнадцать человек и, беседуя, играли в вист. Тут, бездумно предаваясь пищеварению после изысканного обеда — главного события дня в провинциальной жизни, он поймал себя на том, что начинает примиряться с местными привычками. Он больше не удивлялся тому, что эти люди пользуются колодами карт, не раз бывшими в употреблении, и тасуют их на столах с потертым сукном, не следят за своей одеждой ни ради себя, ни ради окружающих. Он усматривал какую-то мудрость в однообразном течении провинциальной жизни, в размеренном спокойствии привычек и пренебрежении ко всему изящному. Он уже готов был согласиться, что роскошь не нужна. Париж с его страстями, бурями, удовольствиями уже стал для него как бы воспоминанием детства. Он теперь искренне любо-

вался красными руками, робким и скромным видом какой-нибудь молодой особы, меж тем как по первому впечатлению лицо ее показалось ему преглупым, манеры лишенными грации, весь облик отталкивающим и смехотворным. Он был человек конченый. Если бы не случайная фраза, услышанная им и приведшая его в волнение, подобное тому, какое вызывает необычный мотив, ворвавшийся в музыку скучной оперы, Гастон де Нюэйль, провинциал, переселившийся в Париж, готов был уже позабыть его лихорадочную жизнь и вернуться к бессмысленному провинциальному существованию.

— Вы, кажется, были вчера у госпожи де Босеан? — спросила пожилая дама у главы знатнейшей в этих краях фамилии.

— Я был у нее сегодня утром,— ответил он.— Госпожа де Босеан была так грустна и так плохо себя чувствовала, что я не мог уговорить ее отобедать у нас завтра.

— Как! Вместе с госпожой де Шампиньель? — удивленно спросила почтенная вдова.

— Да, с моей женой,— спокойно ответил маркиз.— Не забудьте, что госпожа де Босеан принадлежит к Бургундскому дому,— правда, по женской линии; но, как бы то ни было, это имя все оправдывает. Моя жена любит виконтессу, и бедняжка так давно живет в одиночестве, что...

Сказав последние слова, маркиз де Шампиньель окинул спокойным, холодным взглядом окружающих, которые прислушивались, испытующе глядя на него; трудно угадать, были ли продиктованы эти слова маркиза состраданием к несчастью виконтессы или же преклонением перед ее знатным родом, было ли ему лестно принимать ее, или хотелось из гордости заставить провинциальных дворян и их жен встречаться с ней.

Дамы переглянулись, как бы советуясь друг с другом; затем в гостиной все внезапно смолкло, и молчание это можно было истолковать как знак неодобрения.

— Уж не та ли это госпожа де Босеан, о которой было так много толков в связи с маркизом д'Ажуда-Пинто? — спросил барон де Нюэйль у своей соседки.

— Та самая. Она поселилась в Курселе после же-

нитьбы маркиза д'Ажуда; у нас здесь ее не принимают. Впрочем, она очень умна и, отлично сознавая, насколько ложно ее положение, сама ни с кем не искала встреч. Господин де Шампиньель и еще несколько мужчин отправились к ней с визитом, но она приняла только господина де Шампиньеля,— может быть потому, что он состоит в родстве с семьей де Босеанов. Ее свекор, маркиз де Босеан, был женат на одной из Шампиньелей старшей линии. Хотя считается, что виконтесса де Босеан происходит из Бургундского дома, вы понимаете, что мы не могли принять в свой круг женщину, которая разошлась с мужем. Это старые устои, но мы еще имеем глупость их придерживаться. Виконтесса тем более заслуживает порицания за свои эскапады, что господин де Босеан — человек благородный, истый придворный: он нашел бы выход из положения. Но его жена так безрассудна...

Гастон де Нюэйль слышал голос своей собеседницы, но не слушал ее. Он погрузился в мир бесконечных мечтаний. Существует ли другое слово, чтобы выразить всю прелесть романтического приключения в тот миг, когда оно только улыбается воображению, в тот миг, когда в душе зарождаются неясные надежды, предчувствие неизъяснимого блаженства, тревожные сомнения, рисуются разнообразные события, но ничто еще не дает пищи и определенности причудам фантазии! Мысль порхает тогда, рождая несбыточные мечты, где в зародыше скрыты все упоения страсти. Но, может быть, зародыш страсти заключает в себе всю страсть целиком, как семя заключает в себе цветок со всем его ароматом и богатством красок! Гастон де Нюэйль не знал, что г-жа де Босеан уединилась в Нормандии после скандала, который вызывает осуждение и зависть большинства женщин, в особенности когда очарование молодости и красоты почти оправдывает ошибку, вызвавшую такой шум. Есть какая-то непостижимая притягательная сила в любой славе, какова бы та ни была. Кажется, о женщинах, так же как о некоторых древних родах, можно сказать, что слава их преступления заставляет забывать о его позоре. Подобно тому как знатная семья гордится своими казненными предками, так и красивая молодая женщина бывает еще привлекательнее благо-

даря роковой известности, которую дала ей счастливая любовь или жестокая измена. Женщина вызывает тем больше сочувствия, чем прискорбнее ее ошибка. Мы беспощадны только к заурядным делам, чувствам и похождениям. Привлекая к себе взоры, мы кажемся значительными. И действительно, чтобы быть замеченным, надо чем-то выделиться. Толпа невольно уважает всякого, кто над ней возвысился, и не задумывается над тем, какими средствами это достигнуто. В ту минуту Гастон де Нюэйль почувствовал, что его влечет к г-же де Босеан,— может быть, неосознанное воздействие этих причин, а может быть, и любопытство или потребность внести нечто новое в свою жизнь, или наконец стечение тех неизъяснимых обстоятельств, которые часто называются роком. Г-жа де Босеан вдруг возникла перед его взором в сопровождении чарующих видений: она для него была новым миром; быть может, она заставит его трепетать, надеяться, бороться и побеждать. Она должна отличаться от тех людей, которые окружают его в этой пошлой гостиной; ведь она поистине женщина, а он еще не видел ни одной настоящей женщины в этом бездушном обществе, где расчет заменял чувства, где вежливость была только обязанностью, где высказать или одобрить самое простое суждение было уже дерзостью. Г-жа де Босеан пробуждала в его душе воспоминание о юношеских мечтах и пылкие страсти, на время уснувшие в нем. До конца вечера Гастон де Нюэйль был рассеян. Он изыскивал способ проникнуть к г-же де Босеан и понимал, что это невозможно. О ней говорили, что она чрезвычайно умна. Но если умные женщины ценят своеобразие и тонкость чувств, то тем они требовательнее и проницательнее. В трудной задаче им понравиться возможностей преуспеть не больше, чем потерпеть фиаско. То положение, в каком находилась виконтесса, заставляло ее быть высокомерной, а ее имя повелевало ей держать себя с достоинством. Полное одиночество, в котором она жила, казалось, было еще наименьшей преградой, воздвигнутой между нею и светом. Незнакомцу, хотя и благородного происхождения, невозможно было проникнуть к ней. Тем не менее на следующее утро Гастон де Нюэйль отправился на прогулку в сторону усадьбы

Курсель и несколько раз обошел вокруг ограды. Поддавшись мечтам, столь свойственным его возрасту, он то заглядывал в пролом ограды, то смотрел поверх ее, пытался проникнуть взором сквозь решетчатые ставни или же заглянуть в открытые окна. Он надеялся на какой-нибудь необычайный случай, уже обдумывал, как воспользоваться им, чтобы попасть в дом к незнакомке, не сознавая всей нелепости своих планов. Несколько дней подряд каждое утро ходил он в Курсель, но все напрасно; после каждой такой прогулки эта женщина, осужденная светом, жертва любви, как бы погребенная в уединении, все больше занимала его мысли, заполняла его душу. И сердце Гастона билось от радостной надежды, когда, бывало, шагая вдоль стен Курселя, он слышал тяжелые шаги садовника.

Он решил написать г-же де Босеан; но что сказать женщине, которую ты никогда не видел и которая тебя не знает? Кроме того, Гастон был не уверен в себе и, подобно всем молодым людям, еще не утратившим иллюзий, пуще смерти боялся презрительного молчания, дрожал при мысли, что его первое любовное письмо будет брошено в камин. Тысячи противоречивых мыслей одолевали его и боролись в нем. Создавая один фантастический проект за другим, сочиняя целые романы, он, изрядно поломав себе голову, в конце концов, как это всегда бывает при подобных упорных поисках, набрел на счастливый способ показать женщине, пусть даже самой целомудренной, всю силу страсти, внушенной ею. Часто между женщиной и ее возлюбленным встает столько действительных препятствий, созданных условностями общества, что самые причудливые вымыслы, которыми восточные поэты украшают свои сказки, почти не кажутся преувеличением. В нашем мире, так же как и в мире фей, женщина всегда должна принадлежать тому, кто умеет пробиться к ней и освободить ее от страданий. Нищий дервиш, влюбленный в дочь калифа, без сомнения, не был дальше от нее, чем Гастон от г-жи де Босеан. Виконтесса и не подозревала об осаде, подготовляемой Гастоном де Нюэйлем; его любовь росла от возникавших перед ним препятствий: они придавали его нежданной возлюбленной ту прелесть, какой обладает все недосягаемое.

И вот, уповая на свое вдохновение, он во всем положился на любовь, которую виконтесса прочтет в его глазах. Убежденный, что разговор всегда красноречивее письма, полного самых страстных излияний, и рассчитывая на женское любопытство, он отправился к г-ну де Шампиньелю искать у него помощи в задуманном им деле. Гастон сказал г-ну де Шампиньелю, что у него есть важное и весьма деликатное поручение к г-же де Босеан, однако он не уверен, пожелает ли она читать письмо, написанное незнакомой рукой, и оказать доверие неизвестному ей человеку, поэтому он просит г-на де Шампиньеля узнать у виконтессы при первом же свидании, соблаговолит ли она принять его. Взяв с г-на де Шампиньеля слово сохранить все в тайне в случае отказа, он весьма остроумно внушил маркизу, какие привести доводы, чтобы повлиять на решение виконтессы. Ведь маркиз — человек честный, благородный, он не способен потворствовать чему-либо бестактному, а тем более неблагопристойному! Высокомерный аристократ, польщенный в мелком своем самолюбии, был обманут этими уловками, ибо любовь придает молодому человеку спокойную уверенность и скрытность опытного дипломата. Маркиз старался разгадать секрет Гастона, но тот, не зная, что сказать, уклончиво отвечал на хитро поставленные вопросы де Шампиньеля, который, как истый французский рыцарь, похвалил его за скромность.

Господин де Шампиньель поспешил в Курсель с величайшей готовностью, какую обычно проявляют пожилые люди, оказывая услугу красивым молодым женщинам. Жизненные обстоятельства виконтессы де Босеан были таковы, что это поручение не могло не возбудить ее любопытства. Хотя, порывшись в своей памяти, она не нашла никаких оснований для посещения Гастона де Нюэйля, но вместе с тем не видела причин для отказа,— после того как предусмотрительно осведомилась о его положении в свете. Однако виконтесса начала с отказа; затем обсудила с г-ном де Шампиньелем эту просьбу с точки зрения этикета, стараясь при расспросах уловить, известны ли ему самому причины предполагаемого визита; наконец дала согласие. Эти разгово-

ры и вынужденные умолчания маркиза еще сильнее возбудили ее любопытство.

Маркиз де Шампиньель не желал попасть в смешное положение и вел себя как человек, посвященный в тайну, но скромный, полагая, что виконтессе, вероятно, известна причина визита, тогда как виконтесса тщетно старалась угадать ее. Г-жа де Босеан в своем представлении связывала г-на де Нюэйля с людьми, которых он даже не знал, терялась в нелепых догадках и задавала себе вопрос, видела ли она его когда-нибудь. Самое искреннее или самое искусное письмо любви не могло произвести того впечатления, какое произвела эта своеобразная неразрешимая загадка, к которой то и дело возвращались мысли г-жи де Босеан.

Узнав о согласии виконтессы принять его, Гастон пришел в восторг от того, что так быстро добился страстно желаемого счастья, но был сильно смущен, не зная, как завершить свой маневр.

— Ах, только бы увидеть ее,— повторял он, одеваясь.— Увидеть ее — это самое главное!

Гастон надеялся, что, перешагнув порог Курселя, он найдет способ развязать гордиев узел, завязанный им самим. Он принадлежал к тем людям, которые, веря во всемогущество случая, всегда идут вперед и в последнюю минуту, очутившись лицом к лицу с опасностью, вдохновляются ею и находят в себе силы преодолеть ее. Он решил одеться особенно тщательно. По обыкновению молодых людей, он воображал, будто его успех зависит от того, как лежит завиток волос, не зная, что в юноше все чарует и привлекает. Впрочем, незаурядных женщин, подобных г-же де Босеан, можно пленить только чарами ума и благородством характера. Возвышенный характер приятен для их самолюбия, сулит возвышенную страсть и кажется способным удовлетворить запросам их сердца. Ум в мужчине доставляет им развлечение, отвечает вкусам их изысканной натуры,— им кажется, что они поняты. Разве не все женщины желают, чтобы их занимали, понимали и обожали? Но только хорошо зная жизнь, усвоишь, что высшее кокетство — не щеголять при первой встрече ни своим нарядом, ни своим умом. Когда мы становимся достаточно проницательны и могли бы действовать как тонкие по-

литики, мы уже слишком стары, чтобы воспользоваться нашим опытом. Гастон, не надеясь на обаяние своего ума, старался произвести впечатление внешностью, да и г-жа де Босеан тоже инстинктивно внесла особую изысканность в свой туалет и, заботливо укладывая волосы, оправдывалась перед собой: «Все же незачем быть пугалом».

На всем облике, складе ума и манерах Гастона лежал отпечаток какой-то своеобразной наивности,— она придавала особую прелесть и самым обыденным его движениям и мыслям, позволяла ему безнаказанно высказывать все что угодно. Он был образован, проницателен, у него было приятное и подвижное лицо, отражавшее впечатлительную душу. Живой, чистосердечный взгляд его был исполнен непритворной нежности и страсти. Решение, которое он принял, переступив порог Курселя, вполне гармонировало с его открытым характером и пылким воображением. Хотя любовь придает смелости, сердце у него трепетало, когда, пройдя через внутренний двор, где был разбит английский сад, он вошел в зал и слуга, спросив его имя, пошел доложить, а затем вернулся за ним.

— Барон де Нюэйль!

Гастон вошел медленно, но довольно непринужденно, что особенно трудно, когда в гостиной не двадцать женщин, а только одна. В уголке, где пылал, несмотря на летнее время, яркий огонь и с камина два канделябра проливали мягкий свет, он увидел молодую женщину в модном кресле с очень высокой спинкой и низким сиденьем, позволявшим ей принимать разнообразные грациозные и изящные позы: то опускать голову, то склонять ее набок или медлительно подымать, словно под тяжестью большого бремени; скрещивать ножки, слегка показывать их и снова прятать под складками длинного черного платья. Виконтесса протянула руку, чтобы положить на круглый столик книгу, которую читала, но так как при этом она повернула голову в сторону Гастона де Нюэйля, то книга, положенная на край стола, соскользнула и упала между столом и креслом. Не обратив внимания на книгу, молодая женщина выпрямилась и едва заметно, почти не приподымаясь с кресла, в котором она утопала, ответила на поклон

гостя. Она наклонилась к огню и быстро помешала угли; потом подняла перчатку, небрежно надела ее на левую руку, бросила было взгляд в поисках второй перчатки, но не нашла, и белоснежной правой рукой, почти прозрачной, без колец, хрупкой, с удлиненными пальцами и розовыми ногтями безупречной овальной формы, она указала незнакомому посетителю на стул, приглашая сесть. Когда Гастон сел, она с неописуемым изяществом, кокетливо и вопросительно повернула голову в его сторону; этот поворот головы, выражавший благосклонность, был одним из тех грациозных, хотя и заученных движений, которые вырабатываются благодаря воспитанию и привычке к жизни, полной изящества. Гамма непрерывных и плавных движений очаровала Гастона тем оттенком изысканной небрежности, какой красивая женщина придает аристократическим манерам высшего круга. Г-жа де Босеан так отличалась от тех мумий, среди которых ему пришлось больше двух месяцев прожить изгнанником в глуши Нормандии, что она мгновенно стала олицетворением его мечтаний; да и всех женщин, встречавшихся ему прежде, она затмила своим несравненным совершенством. Эта женщина и эта гостиная, убранная, как гостиные Сен-Жерменского предместья, полная дорогих безделушек, разбросанных по столам, полная книг и цветов, вновь вернули его в Париж. Его ноги погружались в настоящий парижский ковер, он снова видел перед собою знакомый облик хрупкой парижанки, ее пленительную грацию, чуждую надуманных поз, которые так невыгодно отличают провинциалок.

Виконтесса де Босеан была блондинкой с темными глазами и ослепительно белой кожей, какая бывает только у блондинок. Она смело являла миру свое чело, благородное чело падшего ангела, гордого своей греховностью и не желающего прощения. Пышные косы были уложены высоко над двумя полукружиями волос, окаймлявшими лоб, и придавали ей еще большую величавость. Этот венец золотых кос воображение отождествляло с короной бургундских герцогов, а в сверкающих глазах этой знатной дамы чувствовалась смелость ее славного рода, смелость женщины, отвечающей презрением на оскорбление и вместе с тем чуткой к неж-

ным порывам души. Маленькая голова была чудесно посажена на гибкой белой шее, тонкие черты подвижного лица, нежно очерченные губы носили отпечаток очаровательной скрытности, легкой нарочитой иронии, в которой сквозило лукавство и дерзость. Легко было простить ей эти женские грехи, вспомнив о ее несчастьях, о той страсти, которая едва не стоила ей жизни, что подтверждали морщины, часто набегавшие на ее лоб, и выразительная печаль ее прекрасных, нередко обращенных к небу глаз. Какое внушительное зрелище, еще дополненное воображением, являла эта женщина в огромном безмолвном зале, женщина, отказавшаяся от всего мира и жившая уже три года в тиши маленькой долины, вдали от города, наедине с воспоминаниями о своей блестящей молодости, полной радостей и страсти, поклонения и празднеств, меж тем как теперь ее уделом стало небытие. Улыбка этой женщины свидетельствовала, что она сознает свое достоинство. Она не была ни матерью, ни супругой, была отвергнута светом, лишена той единственной любви, на которую без стыда могла отвечать; и ее раненая душа оказалась без опоры, силу для жизни ей нужно было черпать в себе самой, замкнуться в своем одиночестве, ждать от будущего только того, что лишь одно остается покинутой женщине: во цвете лет думать о смерти, молить о том, чтобы она пришла скорее. Чувствовать себя рожденной для счастья и гибнуть, не получая и не давая его... какое страдание для женщины! Все эти мысли с быстротою молнии пронеслись в голове Гастона, и он почувствовал себя таким ничтожным перед этой женщиной, жизнь которой была овеяна самой высокой поэзией. Под тройным обаянием — ее красоты, ее скорби, ее благородства — он, не находя слов, застыл перед виконтессой в мечтательном восторге.

Госпожа де Босеан, польщенная произведенным впечатлением, приветливо, но властно протянула ему руку, а затем, как бы повинуясь женской природе, призвала улыбку на бледные свои уста и сказала:

— Господин де Шампиньель сообщил мне, что вы любезно согласились передать мне поручение. Вероятно, оно от...?

Услышав эти роковые слова, Гастон еще сильнее

ощутил, в какое неловкое положение поставил себя, как бестактно и бессовестно он поступил с такой благородной, такой несчастной женщиной. Он покраснел. Его глаза, отражавшие тысячи мыслей, выдавали его смущение. Но вдруг он овладел собой — юные души умеют черпать силы в признании своих ошибок,— и, прервав г-жу де Босеан жестом, полным покорности, он взволнованно ответил ей:

— Сударыня, я не заслуживаю счастья видеть вас; я вас недостойно обманул. Как бы ни было велико мое чувство, оно не может оправдать презренный обман, к которому я прибег, чтобы к вам проникнуть. Но, сударыня, может быть, вы разрешите сказать вам...

Виконтесса гордо и презрительно посмотрела на Гастона, подняла руку к шнуру звонка и позвонила; вошел камердинер, она сказала ему, с достоинством глядя на молодого человека:

— Жак, осветите барону лестницу.

Она встала, надменно поклонилась Гастону и нагнулась, чтобы поднять упавшую книгу. Насколько грациозно и мягко приветствовала она Гастона, настолько же сухо и холодно держалась она теперь. Г-н де Нюэйль поднялся, но не уходил. Г-жа де Босеан снова посмотрела на него, как бы говоря: «Вы еще здесь?..»

В ее глазах была такая язвительная насмешка, что Гастон побледнел, точно был близок к обмороку. Однако, сдержав набежавшие слезы, осушив их огнем отчаяния и стыда, он бросил на г-жу де Босеан даже несколько гордый взгляд, в котором готовность подчиниться сочеталась с чувством собственного достоинства: виконтесса имела право наказать его, но так ли это было необходимо? Он вышел. Когда он уже был почти у самой лестницы, осторожность и обостренная страстью сообразительность открыли ему всю опасность положения.

«Если я сейчас покину этот дом,— подумал он,— я больше никогда не вернусь сюда; в глазах виконтессы я навсегда останусь глупцом. Каждая женщина — а она настоящая женщина! — всегда угадывает, что она любима; может быть, у нее закралось смутное и невольное сожаление, что она так резко отказала мне от дома; но

ей самой уже нельзя, невозможно изменить свое решение; мое дело — угадать ее волю».

При этой мысли Гастон остановился на лестнице и, как бы спохватившись, воскликнул:

— Ах, я позабыл у виконтессы...

Он пошел назад в гостиную в сопровождении камердинера, который привык уважать титулы и священное право собственности и был введен в заблуждение непринужденным тоном Гастона. Барон де Нюэйль вошел тихо, без доклада. Когда виконтесса подняла голову, очевидно, предполагая, что вошел камердинер, перед ней стоял Гастон.

— Жак *осветил* мне все,— произнес он, улыбаясь.

Эти слова сопровождались прелестной, слегка грустной улыбкой и прозвучали совсем не шутливо, а задушевно.

Госпожа де Босеан была обезоружена.

— Садитесь,— произнесла она.

Гастон с радостной поспешностью придвинул стул. Его взор сиял счастьем, и г-жа де Босеан невольно опустила глаза в книгу, предаваясь неизменно новому наслаждению быть источником блаженства для мужчины — чувство, никогда не покидающее женщину. Гастон верно угадал ее желание. Женщина всегда благодарна тому, кто понимает логику ее своенравного сердца, противоречивый с виду ход мыслей, прихотливую стыдливость чувств, то робких, то смелых, удивительное сочетание кокетства и наивности.

— Сударыня,— тихо произнес Гастон,— вы знаете, в чем мой проступок, но вам неизвестны мои преступления. О, каким счастьем для меня было...

— Берегитесь,— сказала виконтесса, в знак предостережения поднося палец к своему носику, и тут же протянула другую руку к шнуру звонка.

Этот прелестный жест, эта грациозная угроза, вероятно, вдруг пробудили в ней печальные воспоминания, мысли о счастливой жизни, о тех днях, когда все в ней могло радовать и чаровать, когда счастье оправдывало любые причуды ее души и наделяло особой привлекательностью самые незначительные движения. Она нахмурила брови; ее лицо, так мягко освещенное свечами, приняло мрачное выражение; она серьезно, хотя и не

сурово, посмотрела на г-на де Нюэйля и сказала с глубочайшей убежденностью:

— Все это только смешно! Прошло то время, когда я имела право быть безрассудно веселой, когда я могла бы посмеяться вместе с вами и принимать вас без опасений; теперь моя жизнь совсем переменилась, я больше не могу жить, как мне хочется, я должна обдумывать каждый свой поступок. Каким чувством вызвано ваше посещение? Любопытством? Тогда я слишком дорого плачу за ваше мимолетное удовольствие. Ведь не могли же вы страстно полюбить женщину, если вы никогда ее не видели, а все вокруг только злословили о ней! Значит, ваши чувства были подсказаны неуважением ко мне, моей ошибкой, которой суждено было получить широкую огласку.

В досаде она бросила книгу на стол.

— Что же это? — воскликнула она, метнув на Гастона грозный взгляд.— Если я раз поддалась слабости, свет думает, что так будет и впредь? Это чудовищно, унизительно. Быть может, вы явились пожалеть меня? Но вы слишком молоды, чтобы сочувствовать душевным страданиям. И знайте, сударь, я уж скорей предпочту презрение, нежели жалость: соболезнования мне не нужны.

Наступило молчание.

— Итак, вы видите, сударь,— сказала она, приподняв голову и спокойными, печальными глазами посмотрев на Гастона,— каковы бы ни были мотивы, которые побудили вас так необдуманно проникнуть в мое уединение, вы оскорбили меня. Вы слишком молоды, чтобы в душе вашей угасли все добрые чувства, вы поймете, как недостойно вы поступили; я вас прощаю и говорю с вами без горечи. Не правда ли, вы больше не придете сюда? Я прошу вас об этом, а могла бы приказать. Если вы снова посетите меня, весь город заподозрит здесь любовную историю,— не в вашей и не в моей власти будет разуверить его, и к моим огорчениям вы добавите еще новое глубокое огорчение. Надеюсь, вы этого не желаете.

Она замолкла, посмотрев на него с таким неподражаемым достоинством, что он смутился.

— Я виноват,— ответил он сокрушенно,— но пыл-

кость чувств, безрассудство, жажда счастья — это и сильные и слабые стороны моего возраста. Теперь-то я понял, что не должен был добиваться возможности увидеть вас,— продолжал он,— но желание мое было вполне естественно...

Вкладывая в свои слова больше чувства, нежели рассудка, он попытался описать ей ту горькую участь, на которую его обрекло вынужденное изгнание. Он обрисовал душевное состояние молодого человека, когда ничто не питает его жарких чувств, и стремился внушить ей, что он заслуживает нежной любви, а между тем никогда не знал любовных радостей, какие может дать красивая молодая женщина с возвышенной душой и утонченным вкусом. Отнюдь не пытаясь оправдаться, он вместе с тем объяснил ей, как это случилось, что он нарушил правила приличия. Г-же де Босеан не могли не польстить его уверения, что она воплотила в себе тот идеал возлюбленной, о котором постоянно, но тщетно мечтает большинство юношей. Потом, рассказывая о своих утренних прогулках вокруг Курселя и о непокорных мыслях, осаждавших его, когда он смотрел на дом, куда наконец проник, он добился того непостижимого снисхождения, которое женщины находят в своем сердце к безрассудствам, внушенным ими. Его голос звучал страстью, врываясь в эту ничем не согретую, одинокую жизнь, внося в нее горячую юношескую воодушевленность и тонкую прелесть мысли, свидетельствовавшую об изысканном воспитании. Г-жа де Босеан слишком долго была лишена того душевного волнения, какое вызывается искренним чувством, высказанным в красивых словах,— и она упивалась ими. Выразительное лицо Гастона невольно привлекало ее взгляд, она восхищалась его верой в жизнь, еще не уничтоженной жестокими уроками света, не убитой вечными расчетами тщеславия и честолюбия. Гастон был в самом расцвете молодости, в нем чувствовался человек с твердым характером, еще не осознавший своего высокого назначения. Итак, оба, таясь друг от друга и от самих себя, предались размышлениям, чреватым опасностью для их душевного покоя.

Гастон де Нюэйль видел в виконтессе одну из тех редкостных женщин, которые всегда являются жертва-

ми своего совершенства и своей неиссякаемой нежности; женщин, чья пленительная красота — еще наименьшее их очарование для того, кому они открывают свою душу, где чувства беспредельны и чисты, где любовь, в чем бы только она ни проявлялась, соединяется со стремлением к прекрасному, одухотворяя само сладострастие и превращая его чуть ли не в святыню,— дивный секрет женщины, чудесный и редкий дар природы. Со своей стороны, виконтесса, тронутая искренностью Гастона, рассказывавшего о злоключениях своей юности, угадывала, какие муки причиняет застенчивость взрослым двадцатипятилетним младенцам, если занятия наукой охранили их от развращенности и общения со светскими людьми, рассудочная опытность которых разъедает прекрасные свойства юноши. Гастон олицетворял для нее мечту всех женщин — мужчину, еще не ограничившего свои интересы семейным эгоизмом и заботами о семейном благосостоянии, свободного и от себялюбия, которое готово убить в зародыше самоотверженность, честь, способность жертвовать собою, уважение к себе, обречь на безвременное увядание все цветы души, что смолоду украшают жизнь нежными, но сильными чувствами и поддерживают в человеке чистоту сердца. Блуждая по необъятным просторам чувства, оба мысленно зашли очень далеко, стараясь взаимно проникнуть в самую глубину души, проверить искренность друг друга. Это испытание, безотчетное у Гастона, было обдуманным у г-жи де Босеан. Пользуясь природной гибкостью своего ума и своим жизненным опытом, она, желая испытать Гастона, не бросив, однако, на себя тени, нарочно высказывала мнения, ничуть не отвечавшие ее собственным. Она была так остроумна, так мила, так непринужденна в своей беседе с молодым человеком, которого уже не опасалась, не предполагая больше встречаться с ним, что Гастон в ответ на одно из ее блестящих замечаний простодушно воскликнул:

— Сударыня, как возможно было покинуть вас!

Виконтесса не ответила ни слова. Гастон покраснел, испугавшись, не оскорбил ли он ее. А между тем эта женщина была охвачена настоящей, глубокой радостью — впервые со дня своего несчастья. Самый опытный светский соблазнитель, призвав на помощь все

свое искусство, не добился бы большего успеха, чем достиг его Гастон своим невольным восклицанием. Это восклицание, плод юношеского чистосердечия, снимало с нее вину, опровергало приговор света, обвиняло того, кто ее покинул, объясняло то упорное уединение, в котором она томилась. Оправдание в глазах света, сердечное сочувствие, уважение общества — все, чего она так желала и в чем ей было отказано,— словом, все то, о чем она мечтала в глубине души, было выражено в этом возгласе, в котором сочетались чары невольной тонкой лести и восхищения, неизменно любезные женскому сердцу. Ее поняли, ее оценили; Гастон де Нюэйль дал ей возможность возвеличиться в своем падении. Она взглянула на часы.

— Сударыня,— взмолился Гастон,— не наказывайте меня за некстати вырвавшееся слово. Если уж вы согласились подарить мне один-единственный вечер, так прошу вас — не отнимайте его.

В ответ на пылкую речь она улыбнулась.

— Так как мы никогда впредь не увидимся, не все ли равно — одним мгновением больше или меньше,— сказала она.— Если бы вы увлеклись мною, это было бы несчастьем.

— Несчастье уже случилось,— печально произнес он.

— Не говорите так,— строго сказала она.— Если бы моя жизнь сложилась иначе, я охотно принимала бы вас. Буду с вами откровенна, вы поймете, почему я не хочу и не могу вас принимать. Я верю, вы человек с душой возвышенной, вы должны понять, что я для всех стану презренной, пошлой женщиной, ничем не отличающейся от всех остальных, если на меня падет хотя бы подозрение, что я оступилась вторично. Только чистая, ничем не запятнанная жизнь возвысит меня. Я слишком горда, чтобы не стараться жить обособленно в обществе, где я стала жертвой закона — из-за своего брака, жертвой людей — из-за любви. Живи я иначе, я бы действительно заслужила те порицания, какими меня преследуют, я потеряла бы уважение к себе самой. Я не обладала той высокой общественной добродетелью, которая велит принадлежать нелюбимому человеку. Я нарушила предписания закона, порвав узы брака. Это было

ошибкой, преступлением, всем, чем хотите, но для меня этот союз был подобен смерти. А я хотела жить. Если бы я была матерью, быть может, я нашла бы в себе силы переносить пытку брака, чтобы соблюсти приличия. В восемнадцать лет мы, несчастные девушки, не понимаем того, к чему нас принуждают. Я нарушила законы света, и свет наказал меня; мы оба были правы — и я и свет. Я искала счастья. Разве это не закон нашей природы — желать его? Я была молода, я была хороша. Мне казалось, что я встретила человека, в котором любовь так же сильна, как страсть. И какое-то время он действительно любил меня...

Она умолкла, затем продолжала:

— Я верила, что никогда мужчина не покинет женщину в том положении, в каком я была. Но он покинул меня; значит, я перестала ему нравиться. Вероятно, я нарушила какой-то закон природы: может быть, любила слишком сильно, слишком многим жертвовала или была слишком требовательна — не знаю. Несчастье многому меня научило. Сперва я обвиняла, но теперь я готова признать одну себя преступной. Приняв вину на себя, я простила того, кого обвиняла. Я не сумела удержать его, и судьба жестоко наказала меня за это. Я умею только любить: разве можно думать о себе, когда любишь? Я была рабыней, а мне надо было стать тираном. Тот, кто поймет меня, может меня осудить, но не откажет мне в уважении. Страдания научили меня: я не хочу еще раз быть покинутой. Не понимаю, как я еще жива, как я могла перенести все муки первой недели после такого крушения, самого ужасного в жизни женщины. Нужно было прожить три года в одиночестве, чтобы обрести силы говорить о моем горе, как я сейчас говорю с вами. Агония обычно кончается смертью, а это была настоящая агония, сударь, только она не привела к могиле. Да, я немало выстрадала!

Виконтесса подняла свои прекрасные глаза к карнизу, которому, несомненно, доверила то, что не полагалось слышать постороннему человеку. Карниз — это самый кроткий, самый преданный, самый дружественный наперсник, какого только может найти женщина, когда она не смеет взглянуть на своего собеседника. Карниз будуара имеет весьма серьезное назначение. Разве это не

исповедальня — только что без духовника? В ту минуту г-жа де Босеан была красноречива и прекрасна,— следовало бы сказать, кокетлива, если бы уместно было подобное выражение. Возводя между собой и любовью неодолимые преграды, доказывая их необходимость, она тревожила все чувства мужчины; чем недоступней становилась цель, тем желанней она была. Наконец г-жа де Босеан перевела взгляд на Гастона, погасив блеск в глазах, вызванный памятью о пережитых страданиях.

— Согласитесь, что я должна оставаться равнодушной и одинокой,— спокойно заключила она.

Гастон де Нюэйль почувствовал непреодолимое желание упасть к ногам этой женщины, прекрасной в своем благоразумном безрассудстве, но он боялся показаться смешным; он обуздал свои восторги и отогнал свои мысли, он опасался, что не сумеет выразить их, да еще и встретит жестокий отказ или насмешку, боязнь которой леденит самые пылкие души. Борьба чувств, которые он сдерживал, когда они так и рвались из его сердца, вызвала у него глубокую боль, хорошо знакомую людям застенчивым и честолюбцам, всем, кто часто принужден подавлять свои порывы. Однако он не мог побороть себя и нарушил молчание, произнеся дрожащим голосом:

— Разрешите мне, сударыня, дать волю самому большому чувству, какое я испытывал в своей жизни, признаться в том, что вы заставили меня пережить. Вы возвысили мою душу! У меня одно желание — посвятить вам всю свою жизнь, чтобы вы забыли свои несчастья, любить вас за всех тех, кто вас ненавидел или оскорблял. Но мое сердечное излияние так внезапно, что вы вправе быть недоверчивой, и я должен был бы...

— Довольно, сударь,— прервала его г-жа де Босеан.— Мы оба зашли слишком далеко. Я хотела смягчить мой вынужденный отказ, хотела объяснить вам его печальные причины и вовсе не добивалась вашего поклонения. Кокетство пристало только счастливой женщине. Верьте мне, мы должны остаться друг другу чужими. Потом вы поймете, что нельзя связывать себя узами, которые неизбежно когда-нибудь оборвутся.

Она слегка вздохнула, лоб ее прорезала морщина, но тотчас же он снова стал безупречно ясным.

— Какие страдания испытывает женщина,— продолжала она,— которая не может сопутствовать любимому человеку на жизненном пути! И разве эта глубокая печаль не отзовется болезненно в сердце мужчины, если он действительно любит? Разве это не двойное несчастье?

Наступило минутное молчание, а затем, поднимаясь в знак того, что гостю пора уходить, она сказала с улыбкой:

— Собираясь в Курсель, вы, вероятно, не ожидали услышать проповедь?

И Гастон сразу почувствовал, что эта необычайная женщина стала еще более далека от него, чем в первую минуту встречи. Приписывая очарование этого восхитительного часа тому, что виконтесса, как хозяйка дома, захотела щегольнуть блеском своего ума, он холодно поклонился ей и вышел совершенно обескураженный. По дороге домой барон старался уяснить себе истинный характер этой женщины, гибкий и крепкий, как пружина; но перед ним промелькнуло столько оттенков ее настроений, что он не мог составить себе правильное суждение о ней. В ушах звенели все интонации ее голоса, в воспоминании еще прелестней казались ее движения, поворот головы, игра глаз, и, размышляя о ней, он еще сильнее увлекся ею. Красота виконтессы все еще сияла перед ним, и в темноте, полученные впечатления вставали, как бы притягиваемые одно другим, чтобы вновь обольщать его, открывая ему новые, не замеченные им прелестные оттенки ее женского обаяния, ее ума. Им овладело одно из тех смутных настроений, когда самые ясные мысли сталкиваются между собой, разбиваются одна о другую и на миг повергают душу в бездну безумия. Только тот, кто сам молод, способен испытать и понять этот восторг, когда душу осаждают и самые здравые и самые безумные мысли, и по воле неведомых сил она подчиняется наконец либо мысли, рождающей надежду, либо мысли, несущей отчаяние. В возрасте двадцати трех лет в мужчине преобладает чувство скромности; чисто девическая застенчивость и робость овладевают им, он страшится неумело выразить свою любовь, во всем видит только трудности, пугается их, он боится не понравиться — он был бы смелым, если бы

не любил так сильно; чем выше он ценит счастье, которое могла бы ему дать женщина, тем меньше надеется его добиться; кроме того, может быть, он сам слишком полно отдается наслаждению и боится не дать его возлюбленной; если, по несчастью, его кумир недоступен, он тайно, издали поклоняется ему; если его любовь не разгадана, она угасает. Часто эта мимолетная страсть, погибшая в молодом сердце, остается в нем яркой мечтой. У кого нет этих невинных воспоминаний, которые впоследствии встают все пленительней и пленительней и претворяются в образ совершенного счастья,— воспоминаний, похожих на детей, умерших в столь нежном возрасте, что родители помнят только их улыбки. Гастон де Нюэйль вернулся из Курселя во власти чувств, подсказывавших ему решения, от которых должна была перемениться вся его жизнь. Без г-жи де Босеан он уже не мыслил своего существования; он предпочитал умереть, чем жить без нее. Он был настолько молод, что мог всецело поддаться жестокому обаянию, которым прекрасная женщина покоряет девственные и страстные души, и ему пришлось провести одну из тех бурных ночей, когда мечты о счастье чередуются с мыслями о самоубийстве, когда юноши упиваются всей радостью жизни и засыпают в изнеможении. Величайшее несчастье — проснуться философом после такой роковой ночи. Гастон де Нюэйль, слишком влюбленный, чтобы уснуть, встал и начал писать письма, но ни одно его не удовлетворило, он сжег все, что написал.

На следующий день он пошел бродить вокруг ограды Курселя, но лишь когда уже стемнело, чтобы виконтесса не увидела его. Чувства, которым он при этом повиновался, принадлежат к столь загадочным движениям души, что надо быть юношей или самому находиться в подобном положении, чтобы понять все их прихоти, всю их тайную сладость; счастливцы, склонные видеть в жизни одну лишь *позитивную* сторону, только пожмут плечами. После мучительных колебаний Гастон написал г-же де Босеан письмо,— оно может служить образцом стиля, свойственного влюбленным, и напоминает те картинки, какие под большим секретом рисуют дети ко дню рождения родителей,— подношения, которые всем кажутся жалкой мазней, за исключением тех, кто их получает.

«Сударыня!

Вы так завладели моим сердцем, моей душой, всем моим существом, что с этого дня судьба моя всецело зависит от вас. Не бросайте в камин мое письмо. Будьте ко мне благосклонны и прочтите его. Может быть, вы простите мне первую фразу моего письма, поняв, что это не пошлое и обдуманное признание, а выражение неподдельного чувства. Может быть, вас тронет скромность моих просьб, моя покорность, внушенная вашим превосходством, и то, что вся моя жизнь зависит от вашего решения. Я так молод, что умею только любить, я не знаю, что может нравиться женщине, чем ее можно привлечь; но сердце мое полно опьяняющего обожания. Меня непреодолимо влечет к вам, при вас я полон безмерной радости, я думаю о вас непрестанно,— это себялюбивое чувство, ибо вы для меня источник жизни. Я не считаю себя достойным вас. Нет, нет, я слишком молод, застенчив, не искушен в жизни для того, чтобы дать вам хотя бы тысячную долю того счастья, какое я испытывал, когда слышал ваш голос, когда видел вас. Для меня вы единственная в мире. Не представляя себе жизни без вас, я решил покинуть Францию и сложить свою голову, участвуя в каком-нибудь опасном предприятии в Индии, в Африке, все равно где. Ведь победить свою безмерную любовь я могу только чем-то необычайным. Но если вы оставите мне надежду — не принадлежать вам, нет, а лишь добиться вашей дружбы,— я не уеду. Разрешите мне проводить подле вас — хоть изредка, если уж нельзя иначе,— несколько часов, подобных тем, которые я у вас похитил. Этого мимолетного счастья, которое вы вправе отнять у меня при первом пылком слове, достаточно мне, чтобы смирять жар в крови. Но не слишком ли я рассчитываю на ваше великодушие, умоляя вас терпеть отношения, столь желанные для меня, столь неугодные вам? Впрочем, вы сумеете показать свету,— которому вы так много приносите в жертву,— что я для вас ничто. Вы так умны и так горды! Чего вам опасаться? Как бы я хотел открыть вам свое сердце и уверить вас, что в моей смиренной просьбе не кроется никакой затаенной мысли! Я не стал бы говорить вам о своей безграничной любви, когда просил вас подарить мне вашу дружбу, если бы надеялся,

что вы когда-нибудь разделите глубокое чувство, похороненное в моей душе. Нет, нет, я согласен быть для вас кем хотите, только лишь быть подле вас. Если вы мне откажете,— а это в вашей власти,— я не буду роптать, я уеду. Если когда-нибудь другая женщина займет какое-то место в моей жизни, тогда окажется, что вы были правы; но если я умру верным своей любви, может быть, вы почувствуете сожаление! Надежда на это сожаление смягчит мои муки,— другой мести не нужно будет моему непонятому сердцу...»

Тот, кто не познал сам всех пленительных горестей юношеских лет, тот, чье горячее воображение не уносила ввысь, сверкая белизной, четверокрылая прекраснобедрая химера,— тот не поймет терзаний Гастона де Нюэйля, когда он подумал, что его первый *ультиматум* уже находится в руках г-жи де Босеан. Он представил себе виконтессу холодной, насмешливой, издевающейся над любовью, как это делают люди, которые больше не верят в нее. Он хотел бы взять письмо обратно,— оно казалось ему теперь нелепым, ему приходили на ум тысяча и одна мысль, гораздо более удачные, слова, гораздо более трогательные, чем эти проклятые натянутые фразы, хитросплетенные, мудреные, вычурные фразы — к счастью, с очень плохой пунктуацией и написанные вкривь и вкось. Он пытался не думать, не чувствовать, но он думал, чувствовал, мучился. Если бы ему было тридцать лет, он чем-нибудь одурманил бы себя, но он был наивным юношей, не познавшим еще услад опия и других даров высшей цивилизации. Рядом с ним не было ни одного из тех добрых парижских друзей, которые умеют так кстати сказать: «Paete, non dolet» [1],— протягивая бутылку шампанского или увлекая на бесшабашный кутеж,— чтобы усыпить все муки неизвестности. Чудесные друзья! Когда вы богаты — они обязательно разорились, когда вы в них нуждаетесь — они непременно где-нибудь на водах, когда вы просите взаймы — они, оказывается, проиграли последний луидор; зато у них всегда наготове лошадь с изъяном, которую они стараются вам сбыть; зато они самые добрые малые на

---

[1] Пэт, не больно (*лат.*).

свете и всегда готовы отправиться с вами в путь, чтобы вместе катить под гору, растрачивая время, и душу, и жизнь.

Наконец Гастон де Нюэйль получил из рук Жака письмо, написанное на листочках веленевой бумаги, запечатанное благоуханной печатью с гербом Бургундии,— письмо, от которого веяло очарованием красивой женщины.

Гастон заперся у себя, чтобы читать и перечитывать ее письмо.

«Вы, сударь, строго наказали меня за доброе желание смягчить суровость отказа и за то, что я поддалась неотразимому для меня обаянию ума... Я поверила в благородство юности, но вы обманули меня. А между тем хотя я и не открыла всего своего сердца, что было бы смешно, но все же говорила с вами искренне; я объяснила вам свое положение, чтобы моя холодность стала понятна вашей молодой душе. Вы не были мне безразличны,— но тем сильнее боль, которую вы мне причинили. От природы во мне есть доброта и мягкость, но жизнь ожесточила меня. Всякая другая женщина сожгла бы, не читая, ваше письмо; я его прочла и отвечаю на него. Мои слова докажут вам, что хоть я и не осталась равнодушна к чувству, которое невольно вызвала, но отнюдь не разделяю его, и мое поведение еще лучше докажет вам мою искренность. Затем я желала бы один только раз, ради вашего блага, воспользоваться той властью над вашей жизнью, которой вы облекаете меня, и снять пелену с ваших глаз.

Мне скоро минет тридцать лет, сударь, а вам никак не больше двадцати двух. Вам самому неизвестно, каковы будут ваши стремления, когда вы достигнете моего возраста. Все ваши клятвы, которые вы с такой легкостью даете сегодня, позднее могут вам показаться обременительными. Я верю, что сейчас вы без сожаления отдали бы мне свою жизнь, вы даже согласились бы умереть за недолгое счастье; но в тридцать лет, отрезвленный жизненным опытом, вы сами стали бы тяготиться ежедневными жертвами, а мне было бы оскорбительно принимать их. Придет день, когда все, даже сама природа, повелит вам покинуть меня; я уже сказала

вам: я предпочитаю умереть, чем быть покинутой. Вы видите, несчастье научило меня расчету. Я рассудительна, страсть мне чужда. Вы принуждаете меня сказать вам, что я не люблю вас, не должна, не хочу и не могу любить. Для меня миновала та пора жизни, когда женщины поддаются необдуманным движениям сердца, мне уже никогда не быть такой возлюбленной, о которой вы мечтаете. Утешения, сударь, я жду от бога, а не от людей. К тому же я слишком ясно читаю в сердцах при печальном свете обманутой любви и не могу принять дружбу, которую вы предлагаете мне, как не могу подарить вам свою. Вы хотите обмануть самого себя, а в глубине души больше надеетесь на мою слабость, чем на свою стойкость. Но это все делается инстинктивно. Я прощаю вам ваши детские уловки, пока еще не умышленные. Я приказываю вам во имя этой преходящей любви, во имя вашей жизни, во имя моего покоя остаться на родине, не отказываться от прекрасной и достойной жизни, которая вас ожидает здесь, ради мечты, заведомо осужденной на то, чтобы угаснуть. Позже, когда вы будете жить, как назначено вам судьбой, и в вас расцветут все чувства, заложенные в человеке, вы оцените мой ответ, который сейчас, может быть, покажется вам слишком сухим. Тогда вам доставит удовольствие встреча со старой женщиной, чья дружба будет для вас приятна и дорога: такая дружба останется свободной от всех превратностей страсти и разочарований жизни; благородные религиозные убеждения сохранят ее чистой и безгрешной. Прощайте, сударь, исполните мою волю, зная, что вести о ваших успехах доставят мне радость в моем уединении, и вспоминайте обо мне, как вспоминают о тех, кого уж с нами нет».

В ответ на это письмо Гастон де Нюэйль тотчас же написал:

«Сударыня, если бы я перестал вас любить и, как вы мне советуете, предпочел преимущества жизни человека заурядного, я заслужил бы свою судьбу, признайте это! Нет, я не послушаюсь вас, я клянусь вам в верности, которую нарушит только смерть. Возьмите мою жизнь,

если не хотите омрачить свою жизнь угрызениями совести...»

Когда слуга вернулся из Курселя, Гастон спросил его:

— Кому ты передал мое письмо?

— Госпоже виконтессе лично; я застал ее уже в карете, перед самым отъездом.

— Она уехала в город?

— Не думаю, сударь,— в карету госпожи виконтессы были запряжены почтовые лошади.

— Ах, она совсем уезжает?! — сказал барон.

— Да, сударь,— ответил камердинер.

Готчас же Гастон приказал готовиться к отъезду, чтобы следовать за г-жой де Босеан; так они доехали до Женевы, а она и не знала, что де Нюэйль сопровождает ее. Тысячи мыслей осаждали его во время этого путешествия, но главной была мысль: «Почему она уехала?» Этот вопрос был поводом для всевозможных предположений, среди которых он, конечно, выбрал самое лестное, а именно следующее: «Если виконтесса меня любит, то, как женщина умная, она, несомненно, предпочтет жить в Швейцарии, где никто нас не знает, а не оставаться во Франции, где она не укроется от строгих судей».

Некоторые мужчины, живущие чувствами и искушенные в них, не полюбили бы женщины, слишком осмотрительной при выборе места встречи. Впрочем, ничто не подтверждало догадки Гастона.

Виконтесса сняла домик на берегу озера. После того, как она там устроилась, Гастон однажды вечером, когда стемнело, явился к ней. Жак, камердинер, аристократичный до мозга костей, ничуть не удивился, увидев г-на де Нюэйля, и доложил о нем, как слуга, привыкший все понимать. Услышав это имя и увидев молодого человека, г-жа де Босеан выронила из рук книгу; воспользовавшись этой минутой замешательства, Гастон подошел к виконтессе и произнес голосом, очаровавшим ее:

— С каким удовольствием я брал лошадей, которые вас везли!

Так угадать ее тайные желания! Какая женщина не сдалась бы после этого? Некая итальянка, одно из тех божественных созданий, чья душа совершенно противо-

положна душе парижанки, женщина, которую по сю сторону Альп сочли бы глубоко безнравственной, говорила, читая французские романы: «Я не понимаю, почему эти бедные влюбленные теряют столько времени, улаживая то, на что достаточно одного утра». Почему бы рассказчику не последовать примеру милой итальянки и не обременять ни читателей, ни повествование.

Правда, приятно было бы зарисовать иные сценки очаровательной игры, прелестного промедления, которым виконтесса де Босеан пожелала отдалить счастье Гастона, чтобы потом пасть горделиво, как девы древности, а может быть, чтобы полнее насладиться целомудренной страстью первой любви, доведя ее до экстаза. Гастон де Нюэйль был еще в том возрасте, когда мужчина легко становится покорною игрушкой этого кокетства, этих капризов, увлекающих женщину, которая любит затягивать их для того, чтобы поставить свои условия или дольше наслаждаться своей властью, инстинктивно угадывая, что та скоро пойдет на убыль. Но эти коротенькие протоколы будуарных церемоний, все же менее многочисленные, чем протоколы дипломатической конференции, занимают так мало места в истории истинной страсти, что о них не стоит упоминать.

Виконтесса и барон де Нюэйль прожили три года на вилле, снятой г-жой де Босеан на берегу Женевского озера. Ни с кем не встречаясь, ни в ком не возбуждая любопытства, жили они здесь одни, катались на лодке, вставали поздно,— они были так счастливы, как все мы мечтаем быть счастливыми. Дом был простенький, с зелеными ставнями, вокруг всего дома шли широкие балконы, защищенные тентами; то был настоящий приют влюбленных: там были белые диваны, ковры, заглушавшие шаги, светлые обои, и все там сияло радостью. Из каждого окна можно было любоваться озером в самых разнообразных видах; в отдалении виднелись горы в летучем, причудливо расцвеченном облачном одеянии, над головами влюбленных синело небо, а перед их взорами стлалась широкая, капризная, изменчивая пелена вод! Все вокруг как будто бы мечтало вместе с ними, улыбалось им.

Важные дела отозвали Гастона де Нюэйля во Францию: умерли его отец и брат; приходилось покинуть Же-

неву. Любовники купили виллу, в которой они жили; им хотелось бы разрушить горы и выпустить воду из озера, чтобы ничего здесь не оставить после себя. Г-жа де Босеан последовала за бароном де Нюэйлем. Она обратила в деньги свое имущество, приобрела рядом с Манервилем крупное поместье, примыкавшее к владениям Гастона, и там они поселились вместе. Гастон де Нюэйль весьма любезно предоставил матери доходы с Манервиля и право пользования манервильскими угодьями в обмен на разрешение жить холостяком. Владения г-жи де Босеан были расположены близ маленького городка в одном из самых живописных мест Ожской долины. Там любовники воздвигли между собой и миром стену, наглухо отгородившую их и от людей и от веяний времени, и снова обрели то счастье, которое сопутствовало им в Швейцарии. В течение девяти лет они испытывали блаженство, которое нельзя описать. Развязка этого романа сделает, может быть, понятными их радости для тех, у кого душа способна воспринять поэзию и молитву во всем их многообразии.

Тем временем супруг г-жи де Босеан, теперь уже маркиз (его отец и старший брат умерли), благополучно здравствовал. Ничто так не помогает нам продлевать нашу жизнь, как уверенность в том, что наша смерть кого-то осчастливит. Г-н де Босеан был одним из тех упрямых и иронически настроенных людей, которые, подобно обладателям пожизненной ренты, получают, в сравнении с другими людьми, еще дополнительное удовольствие оттого, что встают каждое утро в добром здравии. Впрочем, он был человек вполне порядочный, хотя и немного педантичный, церемонный, расчетливый, способный объясниться женщине в любви с тем спокойствием, с каким лакей объявляет: «Сударыня, кушать подано».

Эта краткая биографическая заметка о маркизе де Босеан имеет целью показать всю невозможность для маркизы сочетаться браком с Гастоном де Нюэйлем.

Итак, после девяти счастливых лет, пока действовало отраднейшее из всех соглашений, в которые женщине когда-либо приходилось вступать, г-н де Нюэйль и г-жа де Босеан опять оказались в таком же естественном и вместе с тем ложном положении, что и в начале их романа; но именно потому и неизбежен был роковой пере-

лом, который немыслимо объяснить, хотя срок его может быть определен с математической точностью.

Графиня де Нюэйль, мать Гастона, раз и навсегда отказалась принимать г-жу де Босеан. У этой особы был крутой нрав и целомудренные взгляды, в свое время она вполне законно увенчала счастье г-на де Нюэйля, отца Гастона. Г-жа де Босеан поняла, что эта почтенная вдова — ее враг и что она будет стараться вернуть Гастона на путь нравственности и религии. Маркиза охотно продала бы поместье и вернулась с Гастоном в Женеву. Но этим она выразила бы свое недоверие Гастону, на что была неспособна. Да к тому же он очень пристрастился к новому поместью Вальруа, где производил обширные насаждения и расширял пахотные земли. Отъезд положил бы конец безобидным развлечениям, которых женщины всегда желают для своих мужей и даже для любовников. В их края в то время приехала некая девица де ла Родьер, двадцати двух лет от роду, имевшая сорок тысяч ливров дохода. Гастон встречал эту богатую наследницу в Манервиле всякий раз, когда сыновние обязанности призывали его туда. Все эти персонажи занимали свои места с той же точностью, с какой располагаются числа в арифметической пропорции; следующее письмо, написанное и переданное однажды утром в руки Гастона, покажет, какую страшную задачу в течение месяца пыталась разрешить г-жа де Босеан.

«Мой ангел, писать тебе, когда мы живем сердце к сердцу, когда ничто не разъединяет нас, когда наши ласки так часто заменяют нам слова, а слова для нас — те же ласки, разве это не противно смыслу? И все же нет, любовь моя! Есть такие обстоятельства, о которых женщина не может говорить в лицо своему возлюбленному; одна только мысль о них лишает ее голоса, вся кровь приливает к сердцу, она теряет силы и разум. Как мне тяжело жить рядом с тобой, испытывая эти муки, а я их часто теперь испытываю! Я чувствую, что мое сердце должно быть всегда открыто для тебя, я не должна таить от тебя ни одной мысли, хотя бы даже самой мимолетной; я слишком ценю эту милую мне непринужденность, которая так соответствует моему характеру, я не могу оставаться дольше замкнутой и скованной.

И потому я хочу поверить тебе свою душевную муку,— да, это настоящая мука!.. Выслушай меня, не произнося своего обычного *та-та-та*... которым ты всегда заставлял меня умолкнуть пред своей милой дерзостью,— милой для меня, как все в тебе для меня мило. Дорогой супруг мой, дарованный мне небом, разреши сказать тебе, что ты изгладил все печальные воспоминания, под тяжестью которых я некогда изнемогала. Любовь я познала только с тобой. Чтобы женщина требовательная могла удовлетворить стремления своего сердца, нужна была твоя чарующая юность, чистота твоей большой души. Друг мой, я часто трепетала от радости, когда думала, что в течение этих девяти лет, таких быстротечных и таких долгих, ни разу не просыпалась моя ревность. Я одна впивала в себя весь аромат твоей души, все твои мысли. На нашем небе не было никогда ни одного даже самого легкого облачка, мы не знали, что такое жертва, мы всегда были послушны только порывам наших сердец. Я наслаждалась счастьем, безграничным для женщины. Слезы, что оросили эту страницу, откроют ли тебе всю мою признательность? Я хотела бы на коленях писать тебе это письмо. И что же! — это счастье заставило меня познать пытку более страшную, чем мучения женщины покинутой. Дорогой, в женском сердце так много глубоких тайников: я сама до сегодняшнего дня не измерила своего сердца, как не ведала меры своей любви. Самые большие беды, которые могут нас постигнуть, легче перенести, чем одну только мысль о страдании того, кого мы любим. А если мы причина этого страдания, тогда нам ничего не остается, как умереть! Вот мысль, которая гнетет меня. Но она влечет за собой и другую, гораздо более тяжкую; эта мысль гасит сияние любви, убивает ее, превращает в унижение, которое навсегда омрачает жизнь. Тебе тридцать лет, а мне сорок. Какой ужас внушает эта разница лет любящей женщине! Ты, может быть, сначала невольно, а затем и вполне сознательно обращался мыслью к жертвам, которые принес, отказавшись из-за меня от всего на свете. Ты, может быть, думал о своем будущем положении в обществе, об этой женитьбе, которая должна была бы увеличить твое состояние, дала бы тебе возможность не прятать от людей свое счастье, иметь детей, передать им свои владения,

снова появиться в обществе, с честью заняв в нем подобающее место. Но ты, вероятно, отгонял эти мысли, ты был счастлив тем, что, ничего мне не сказав, пожертвовал ради меня богатой невестой, состоянием, блестящим будущим. С великодушием молодости ты решил остаться верным тем клятвам, которыми мы связаны только перед лицом бога. Мои прошлые страдания предстали перед тобой, и меня спасло то несчастье, от которого ты меня избавил. Но знать, что любовь твоя рождена жалостью,— эта мысль для меня еще ужаснее, чем даже страх, что твоя жизнь будет испорчена из-за меня. Тот, кто способен поразить кинжалом любовницу, милосерден, если он убивает ее, когда она счастлива, невинна, полна иллюзий... Да, я предпочитаю смерть тем мыслям, которые вот уже несколько дней тайно меня печалят. Когда ты вчера так нежно спросил меня: «Что с тобой?»,— я вздрогнула при звуке твоего голоса. Я решила, что ты по-прежнему читаешь в моей душе, и я ждала твоих признаний, вообразив, что мои предчувствия были правильны, что я угадала расчеты твоего рассудка. Тут мне припомнились кое-какие проявления твоего внимания,— в них не было ничего непривычного, но мне почудилась в них та нарочитость, которая показывает, что оставаться верным стало для мужчины тягостно. В эту минуту я дорого заплатила за свое счастье, я поняла, что природа всегда требует расплаты за сокровища любви. И в самом деле, разве судьба не разъединила нас? Ты, вероятно, сказал себе: «Рано или поздно я должен буду покинуть бедную Клару, почему бы нам не расстаться вовремя?» Эти слова я прочла в твоих глазах. Я ушла, чтобы поплакать вдали от тебя. Таить от тебя мои слезы! Эти горькие слезы — первые за девять лет, и ты не увидишь их, я слишком горда; но я не винила тебя. Да, ты прав, я не должна себялюбиво допустить, чтобы твоя блестящая и долгая жизнь была связана с моей жизнью, которая близится к закату. Но, может быть, я ошиблась? Может быть, это просто была у тебя нежная грусть, без всяких тайных расчетов? Мой ангел, не оставляй меня в неизвестности,— накажи свою ревнивую супругу, но верни мне уверенность в нашей взаимной любви: для женщины вся жизнь в этом чувстве, которое все освещает. Со времени приезда твоей матери и с тех

пор, как ты у нее встретился с мадемуазель де ла Родьер, я во власти сомнений, которые для нас с тобой позорны. Я готова страдать, но только не быть обманутой: я хочу знать все — и что говорит твоя мать и что об этом думаешь ты. Если ты колеблешься в выборе между мной и кем-то еще, я возвращаю тебе свободу... Свою судьбу я утаю от тебя, слез моих ты не увидишь; но только я не хочу больше видеть тебя... Я не могу писать, сердце мое разрывается...

. . . . . .

Несколько минут я сидела в каком-то мрачном оцепенении. Друг мой, перед тобой во мне нет самолюбия,— ты так добр, так прямодушен! Ты не можешь оскорбить или обмануть меня; ты скажешь мне правду, какой бы жестокой она ни была. Хочешь, я облегчу твои признания? Итак, любимый мой, меня утешает чисто женское чувство. Разве я не обладала юным, целомудренным существом, нежным, прекрасным и чутким, тем Гастоном, которым ни одна женщина больше не будет обладать и который дал мне такое изысканное наслаждение? Нет, ты больше не будешь любить, как любил, как любишь меня; соперницы у меня быть не может. В моих воспоминаниях о нашей любви не будет горечи, а эти воспоминания — моя жизнь. Уже не в твоей власти впредь восхищать женщин детскими шалостями, юными проказами юного сердца, игрою чувства, очарованием тела, порывами разделенной страсти, всеми прелестными спутниками юношеской любви. Теперь ты уже мужчина и с расчетом будешь следовать своей участи У тебя будут дела, заботы, честолюбивые мечты, тревоги... нет, *она* не будет видеть той постоянной, неизменной улыбки, что для меня всегда украшала твои уста. Твой голос, для меня всегда полный ласки, зазвучит порой сердито. Твои глаза, беспрестанно загоравшиеся божественным огнем при виде меня, нередко будут меркнуть, глядя на *нее*. Да и любить тебя, как я люблю, невозможно, вот почему эта женщина не может тебе нравиться, как нравилась я. Она не будет постоянно стараться сохранить себя желанной и прекрасной, как это делала я, не будет непрестанно вникать, как это делала я, во все, что необходимо для твоего счастья. Этот человек, это сердце, эта душа — все,

что знала я,— больше существовать не будут; я схороню их в своем воспоминании, чтобы наслаждаться ими, и буду жить счастливым прошлым, не ведомым никому, кроме нас.

Но если, мое сокровище, ты и не помышлял о свободе, если любовь моя не тяготит тебя, если страхи мои — только плод моего воображения, если я для тебя еще твоя Ева, единственная женщина на свете, то, прочтя это мое письмо,— приди, прилети! В тот миг я буду любить тебя больше и сильнее, чем все наши девять лет. После всех ненужных мук подозрения, в котором я винюсь, каждый новый день нашей любви — да, каждый новый день! — будет целой жизнью, полной счастья. Говори же! Будь откровенен, не обманывай меня, это было бы преступлением. Скажи, желаешь ты свободы? Размышлял ли ты о твоей будущности? Сожалеешь ли ты о чем-нибудь? Быть причиной твоих сожалений! Лучше умереть. Я уже говорила тебе: моя любовь настолько сильна, что я предпочту твое счастье своему, за твою жизнь я отдам свою. Если можешь, отбрось все бесчисленные воспоминания о нашем девятилетнем счастье, чтобы они не влияли на твое решение, но отвечай мне! Я покорна тебе, как покорна богу, единственному утешителю, который у меня останется, если ты покинешь меня».

Когда г-жа де Босеан узнала, что письмо ее уже в руках Гастона, она почувствовала полное изнеможение, ее мозг обессилел от множества мыслей, и она как бы впала в забытье. Она испытывала те безмерные страдания, какие могут выпасть на долю только женщины, хотя нередко, казалось бы, они превышают ее силы. Пока несчастная маркиза ждала решения своей судьбы, г-н де Нюэйль, читая ее письмо, был в *большом затруднении*, как любят выражаться в подобных трудных обстоятельствах молодые люди. Он уже почти поддался уговорам матери и чарам мадемуазель де ла Родьер, заурядной молоденькой девушки, прямой, как тополь, бело-розовой и, как это предписано всем девушкам на выданье, молчаливой; за нее достаточно красноречиво говорили сорок тысяч ливров дохода с земельных владений. Г-жа де Нюэйль, движимая искренней материнской любовью,

старалась вернуть сына на путь добродетели. Она внушала ему, насколько лестно для него предпочтение со стороны молодой девушки, у которой не было недостатка в богатых женихах; уже давно следовало подумать о своей судьбе, а такой редкий случай может больше не представиться; со временем он будет получать восемьдесят тысяч ливров с недвижимого имущества, богатство утешит его во всем; если г-жа де Босеан любит его самоотверженно, она первая должна убедить его жениться; словом, эта добрая мать не пренебрегала ни одним из тех средств, при помощи которых женщины умеют влиять на решение мужчины. Она достигла своего, сын начал колебаться. Письмо г-жи де Босеан пришло в ту минуту, когда любовь Гастона боролась со всеми соблазнами, какими его манила жизнь, устроенная надлежащим образом, согласно с предписаниями света; письмо определило исход борьбы. Гастон решил покинуть маркизу и жениться.

— В жизни надо уметь быть мужчиной! — заключил он.

Потом он представил себе, какие страдания принесет возлюбленной его решение. Мужское тщеславие и порядочность любовника даже преувеличивали эти страдания, он искренне жалел ее. Он вдруг почувствовал всю беспредельность ее несчастья и счел необходимым из милосердия ослабить боль смертельного удара. Он надеялся, что как-нибудь успокоит г-жу де Босеан, постепенно приучит ее к мысли, что им необходимо расстаться, и устроит так, чтобы она сама предписала ему эту жестокую измену: мадемуазель де ла Родьер будет стоять между ними, как призрак, и он, сделав вид, что жертвует ею, в конце концов осуществит свой замысел, якобы лишь уступая настояниям маркизы. В своих сердобольных намерениях он дошел до того, что готов был играть на благородстве маркизы, на ее гордости, на всех прекрасных качествах ее души. Он написал ей ответ, рассчитывая усыпить ее подозрения. Ответил письменно! Женщина, сочетающая интуицию подлинной любви с тонким женским умом, не могла не понять, что письменный ответ сам по себе был уже ее приговором. И потому, когда вошел Жак и передал г-же де Босеан сложенную треугольником бумагу, она затрепетала, как пойманная

ласточка. Какой-то холод охватил ее с ног до головы ледяным саваном. Он не бросился перед ней на колени, не поспешил к ней в слезах, бледный, влюбленный,— этим все было сказано. Но у любящей женщины сердце всегда полно надежд; чтобы убить их, нужен не один удар кинжалом, она любит до последней капли крови.

— Сударыня, не угодно ли вам приказать что-либо? — тихо спросил Жак, уходя.

— Нет,— ответила г-жа де Босеан.

«Он все понимает,— подумала она, вытирая слезу.— Он, простой слуга!»

Она прочла: «*Любимая моя, ты терзаешь себя химерами...*» При первых же словах густая пелена застлала ей глаза. Тайный голос сердца подсказал ей: «Он лжет». Вмиг пробежала она первую страницу с жадной зоркостью страсти и в конце ее прочла: «Еще ничего не решено». Судорожно перевернув страницу, она ясно поняла мысль, продиктовавшую эти запутанные фразы, где не было и следа живого чувства; она смяла письмо, она комкала, рвала его, раздирала его зубами и наконец бросила в огонь, воскликнув:

— Бесчестный! Мы были близки, когда он уже разлюбил меня!

Почти без чувств она упала на диван.

Господин де Нюэйль, ответив на письмо, вышел из дому. Вернувшись, он в дверях увидел Жака, тот передал ему какой-то конверт и сообщил:

— Госпожа маркиза уехала из замка.

Удивленный Гастон разорвал конверт и прочел:

«Сударыня, если бы я перестал вас любить и, как вы мне советуете, предпочел преимущества жизни человека заурядного, я заслужил бы свою судьбу, признайте это! Нет, я не послушаюсь вас, я клянусь вам в верности, которую нарушит только смерть. Возьмите мою жизнь, если не хотите омрачить свою жизнь угрызениями совести...»

Это было письмо, которое он послал маркизе, когда она уезжала в Женеву. Внизу Клара Бургундская приписала: «*Сударь, вы свободны*».

Господин де Нюэйль отправился к матери в Манер-

виль. Через три недели он женился на Стефани де ла Родьер.

Если бы рассказанная здесь обыденно правдивая история так и закончилась, это было бы похоже на мистификацию. Кто из мужчин не мог бы припомнить истории и поинтереснее этой? Но защитой от нареканий, быть может, послужат для повествователя необычайность развязки, к несчастью, слишком правдивой, и воспоминания, которые она пробудит в сердце у тех, кто познал неземное счастье беспредельной страсти и разбил его сам или же утратил его по воле жестокой судьбы.

Маркиза де Босеан вовсе не покинула своего поместья Вальруа после того, как рассталась с Гастоном де Нюэйлем. По бесчисленным причинам, которых не будем доискиваться в глубинах женского сердца (предоставив каждой читательнице угадать ту причину, какая близка ей), Клара продолжала там жить после женитьбы г-на де Нюэйля. Она замкнулась в таком уединении, что даже слуги, за исключением горничной и Жака, не видели ее. Она требовала вокруг полной тишины, из своих апартаментов выходила только в свою часовню, куда каждое утро являлся соседний священник служить для маркизы мессу.

Через несколько дней после своей свадьбы граф де Нюэйль впал в какую-то апатию; глядя на него, нельзя было определить, счастлив ли он или несчастлив.

Его мать говорила всем:

— Мой сын очень счастлив.

Жена Гастона де Нюэйля, несколько бесцветная, тихая, терпеливая, ничем не отличалась от большинства молодых женщин; она забеременела через месяц после свадьбы. Все шло, как полагается. Гастон де Нюэйль хорошо относился к ней, но только — месяца через два после того как расстался с маркизой — стал чрезвычайно задумчив и рассеян. Впрочем, как говорила его мать, он всегда был серьезным.

Это пресное благополучие тянулось уже около семи месяцев, когда произошли события, с виду малозначащие, но допускающие такие обширные толкования и свидетельствующие о таком душевном смятении, что можно только отметить их, предоставив каждому толковать их

по-своему. Как-то раз г-н де Нюэйль охотился в лесах Манервиля и Вальруа и, возвращаясь через парк г-жи де Босеан, послал за Жаком; когда камердинер пришел, Гастон спросил его:

— А что, маркиза по-прежнему любит дичь?

Получив утвердительный ответ, он под благовидным предлогом вручил Жаку довольно крупную сумму и попросил оказать небольшую услугу — взять для стола маркизы убитую им дичь. Жаку показалось маловажным, скушает ли его хозяйка куропатку, подстреленную ее лесником или же г-ном де Нюэйлем,— к тому же выразившим желание, чтобы маркиза не узнала, кем доставлена дичь.

— Я застрелил ее во владениях маркизы,— объяснил граф.

В течение нескольких дней Жак участвовал в этом невинном обмане. Г-н де Нюэйль утром уходил на охоту и возвращался только к обеду, не принося с собою ни одной птицы. Так прошла целая неделя. Гастон набрался смелости, написал и послал маркизе длинное письмо. Оно было ему возвращено нераспечатанным. Уже было темно, когда камердинер маркизы принес его. Граф поспешно покинул гостиную, где он делал вид, будто слушает каприччио Герольда, которое разыгрывала жена, немилосердно терзая фортепьяно, и поспешил к маркизе, как спешат на свидание. Проникнув в парк через знакомый ему пролом в ограде и вступив в аллею, он замедлил шаги, то и дело останавливаясь, как бы затем, чтобы успокоить гулкие удары сердца; подойдя к замку, он прислушался к заглушенным звукам и решил, что все слуги ужинают. Он дошел до апартаментов г-жи де Босеан. Маркиза никогда не покидала своей спальни. Гастону удалось бесшумно добраться до двери. При свете двух свечей он увидел маркизу, худую и бледную; она сидела в большом кресле и, склонив голову, уронив руки, смотрела в одну точку, казалось, невидящим взором. Это была олицетворенная скорбь. Такая скорбь вселяла в него смутную надежду, но было непонятно, видела ли Клара Бургундская перед собой могилу или же свое прошлое. Может быть, слезы Гастона, блеснувшие в темноте, или его дыхание, или же его невольная дрожь под-

сказали ей, что он здесь, а может быть, об этом сказало ей то особое чувство взаимопроникновения, что составляет и счастье и торжество истинной любви. Г-жа де Босеан медленно повернула голову к двери и увидела того, кто был ее возлюбленным. Тогда Гастон де Нюэйль шагнул к ней.

— Еще один шаг, сударь,— крикнула маркиза, побледнев,— и я брошусь из окна!..

Она подбежала к окну, открыла задвижку, занесла ногу на внешний выступ окна и, держась рукой за решетку, крикнула, обернувшись лицом к Гастону:

— Уйдите, сейчас же уйдите, или я брошусь вниз!

При этом ужасном крике, от которого в доме уже всполошились слуги, Гастон де Нюэйль скрылся, как злоумышленник.

Возвратившись домой, Гастон написал несколько слов, поручил своему камердинеру отдать письмо г-же де Босеан и сказать ей при этом, что дело идет о его жизни или смерти. Когда посланный ушел, г-н де Нюэйль вернулся в гостиную, где его жена продолжала разбирать все то же каприччио. Он сел в ожидании ответа. Прошел час, жена Гастона кончила играть, молчаливые супруги сидели друг против друга у камина,— и вот наконец камердинер вернулся из Вальруа и принес Гастону нераспечатанным его письмо. Гастон де Нюэйль ушел в соседнюю комнату, где, возвратившись с охоты, оставил ружье, и застрелился.

Эта решительная и роковая развязка, чуждая нравам современной Франции, вполне естественна.

Тот, кому довелось наблюдать или кому выпало счастье самому испытать такую страсть, при которой происходит полное слияние человеческих существ, поймет это самоубийство. Не сразу женщина постигает, не сразу умеет угадывать все изгибы внушенной ею страсти. Страсть, этот редкий цветок, требует самого искусного ухода; только время и сродство душ откроют все ее возможности, породят ее нежные, утонченные восторги, к которым мы относимся с суеверным чувством, считая их неотделимыми от той, чье сердце так щедро нас оделяет радостями. Это чудесное слияние, эта святая вера, животворная уверенность в редкостном, беспредельном наслаждении с возлюбленной отчасти составляют тайну дли-

тельной привязанности и долго не угасающей страсти. Если женщина поистине женственна, любовь к ней никогда не переходит в привычку, ласки возлюбленной так очаровательны, так разнообразны, она исполнена такого ума и вместе с тем нежности, она вносит столько игры в настоящее чувство и столько настоящего чувства в игру, что воспоминания о ней владеют вами с той же силой, с какой когда-то она сама владела вами. Рядом с ней блекнут все другие женщины. Чтобы узнать цену этой огромной, сияющей любви, нужно испытать страх перед ее утратой или самое утрату. Но если мужчина познал такую любовь и отверг ее ради брака по расчету; если он надеялся познать такое же счастье с другой женщиной, а доводы, скрытые в тайниках супружеской жизни, убедили его, что прежние радости никогда не оживут; если его уста еще ощущают божественную сладость любви, а он смертельно ранил свою истинную супругу в угоду суетным мечтам о благополучии,— тогда надо умереть или принять ту корыстную, себялюбивую, холодную философию, которая так омерзительна для страстных душ.

Госпожа де Босеан, по всей вероятности, не думала, что отчаяние может довести ее возлюбленного до самоубийства, полагая, что свежесть чувства уже им утрачена после девяти лет их любви. Может быть, ей думалось, что страдать будет только она одна. К тому же она была вправе отвергнуть этот дележ, самый отвратительный, какой только можно себе представить; жена соглашается его терпеть во имя требований света, но любовнице он должен быть нестерпим, потому что для нее в чистоте любви — все оправдание.

Ангулем, сентябрь 1832 г.

ПОРУЧЕНИЕ

Маркизу Дамазо Парето.

Мне всегда хотелось рассказать простую и правдивую историю, слушая которую молодой человек и его возлюбленная, охваченные страхом, укрылись бы в объятиях друг друга, как двое детей прижимаются один к другому, набредя на змею у лесной опушки. Рискуя уменьшить интерес к моему рассказу или прослыть за фата, я с самого начала открываю вам цель моего повествования. Я был одним из участников этой, почти обыденной, драмы; если она не заинтересует вас, в этом будет столько же моя вина, сколько и вина исторической правды. Многое из того, что действительно случается, чрезвычайно скучно. Поэтому половина таланта заключается в умении выбрать из действительной жизни то, что может стать поэтическим.

В 1819 году я ехал из Парижа в Мулен. Состояние моего кошелька вынуждало меня путешествовать на империале дилижанса. Как вы знаете, англичане считают наилучшими эти места, расположенные на крыше кареты, на воздухе. Пока дилижанс отмеривал первые лье пути, я нашел тысячу превосходных доводов, подтверждающих мнение наших соседей. Один молодой человек, казавшийся несколько богаче меня, также предпочел подняться наверх и сел на скамейке рядом со мною. Я изложил ему мои доводы — он выслушал их с безобидной улыбкой. Более или менее одинаковый возраст, схожий образ мыслей, присущая нам обоим любовь к открыто-

му воздуху, к живописным видам тех местностей, которые развертывались перед нами по мере движения тяжелой кареты, наконец какое-то необъяснимое магнетическое притяжение — все это вскоре породило между нами ту кратковременную близость, которой путешественники предаются тем охотнее, что этому мимолетному чувству суждено, как они думают, вскоре угаснуть и оно не влечет за собой никаких обязательств. Мы еще не проехали и тридцати лье, как уже толковали о женщинах и любви. Со всеми ораторскими предосторожностями, подобающими в таких случаях, мы, что само собою понятно, заговорили о наших возлюбленных. Оба мы были молоды, оба еще переживали то время, когда кажутся всего обаятельней женщины известного возраста, иными словами, женщины между тридцатью пятью и сорока годами. О! Поэт, который слушал бы наш разговор от Монтаржи до не знаю уж какой почтовой станции, запомнил бы не одно пламенное выражение чувства, не один восхитительный портрет и не одно сладкое признание. Наша застенчивая несмелость, наши восклицания без слов и наши еще стыдливые взоры были полны того красноречия, наивную прелесть которого мне впоследствии уже не удалось обрести вновь. Поистине, нужно оставаться молодым, чтобы понимать молодость. Поэтому мы как нельзя лучше поняли друг друга во всех основных вопросах страсти. Прежде всего мы выставили теоретический и практический тезис, что нет ничего глупее метрического свидетельства, что встречается немало сорокалетних женщин более молодых, чем иные двадцатилетние, и что в конце концов, если говорить о действительном возрасте, то женщинам столько лет, сколько это кажется. Эта теория не ставила любви никаких ограничений, и мы с совершенным чистосердечием плавали в беспредельном океане. Наконец, после того как мы сделали наших любовниц молодыми, прелестными, преданными графинями, полными вкуса, остроумными, изысканными, после того, как мы одарили их красивыми ножками, атласной, даже слегка душистой кожей, мы признались друг другу: он — в том, что госпоже такой-то тридцать восемь лет, а я, со своей стороны, в том, что страстно люблю сорокалетнюю.

После этого, освободившись от смутного чувства

опасения и оказавшись собратьями в любви, мы с еще большим жаром продолжали поверять друг другу свои тайны. Каждый из нас старался перещеголять другого в проявлениях чувствительности. Один проехал однажды двести лье, чтобы иметь возможность провести час со своей возлюбленной. Другой, чтобы явиться на ночное свидание, не побоялся, что его примут за волка и застрелят в чужом парке. Словом, мы перечислили все наши безумства! Если приятно возвращаться памятью к минувшим опасностям, то не сладко ли вспоминать и былые наслаждения: ведь это значит — наслаждаться дважды. Опасности, радости — большие и малые — мы всё друг другу поверяли. Графиня, возлюбленная моего друга, как-то выкурила сигару, чтобы сделать ему удовольствие; моя возлюбленная собственноручно варила мне шоколад и не могла дня прожить, не написав мне или не увидевшись со мною; его возлюбленная прожила у него три дня, рискуя погубить себя; моя сделала еще лучше, или, если угодно, еще хуже. К тому же супруги обожали наших графинь; они были рабски им подчинены, покоряясь тому обаянию, которое присуще всем любящим женщинам; и, более глупые, чем того требует традиция, они были опасны нам ровно настолько, насколько надо было, чтобы увеличить наши наслаждения. О, как быстро уносил ветер наши слова и наш сладкий смех!

Подъезжая к Пуйи, я внимательно вгляделся в моего нового друга. Поистине, я легко поверил тому, что он серьезно любим. Представьте себе юношу среднего роста, хорошо сложенного, с привлекательным и выразительным лицом. У него были черные волосы, голубые глаза, нежно-розовые губы, белые, мелкие и ровные зубы; приятная бледность, разлитая по тонким чертам его лица, и легкие коричневатые круги под глазами делали его похожим на выздоравливающего. Добавьте к этому, что у него были белые, красивые руки, холеные, как руки красивой женщины, что он производил впечатление человека весьма образованного, был остроумен, и вы легко согласитесь, что мой попутчик не уронил бы достоинства любой графини. Он был бы желанным женихом для многих девушек, ибо был виконтом и имел от двенадцати до пятнадцати тысяч ливров годового дохода, не считая видов на будущее.

Не доезжая одного лье до Пуйи, дилижанс опрокинулся. Мой несчастный товарищ, вместо того чтобы ухватиться, по моему примеру, за скамейку и последовать за движением падающей кареты, счел более для себя безопасным спрыгнуть на край свежевспаханного поля. Плохо ли он рассчитал свой прыжок или поскользнулся, этого сказать я не могу, но только он попал под карету и был ею раздавлен. Мы перенесли его в ближайший крестьянский дом. Сквозь стоны, исторгаемые у него страшной болью, он с трудом завещал мне выполнение одного из тех поручений, которым последнее желание умирающего придает священный характер. Со всем простосердечием, столь часто присущим его возрасту, бедный мальчик терзался в предсмертный час мыслью о том горе, которое испытала бы его возлюбленная, неожиданно узнав о его смерти из газет. Он попросил меня лично сообщить ей это известие. Потом велел мне отыскать на его груди привязанный к ленточке ключ, который он носил на шее. Я нашел этот ключ наполовину вдавленным в его тело. Умирающий не издал ни единой жалобы, пока я со всей осторожностью извлекал ключ из раны. Он объяснил мне, где спрятаны у него в доме, в Шарите-сюр-Луар, письма его возлюбленной, и умолял меня вернуть ей эти письма. На полуслове голос его прервался; последним жестом он дал мне понять, что роковой ключ послужит подтверждением возложенного на меня поручения в глазах его матери. Опечаленный тем, что он уже не в силах выговорить ни слова благодарности — ибо в моей готовности выполнить его поручение он не сомневался,— он посмотрел на меня долгим, умоляющим взором, простился со мной чуть заметным движением ресниц, затем поник головой и скончался. Его смерть была единственным трагическим последствием падения дилижанса.

— Да и то сказать, он сам тут не без вины,— заметил возница.

По прибытии в Шарите я выполнил устное завещание бедного путешественника. Его матери не оказалось дома; это было счастьем для меня.

Все же мне пришлось выдержать приступ горя старой служанки; она пошатнулась, когда я рассказал ей о смерти ее молодого господина, а увидя ключ, еще оба-

гренный кровью, упала полумертвая на стул. Но я был поглощен мыслью о более возвышенном страдании — о страдании женщины, у которой судьба отнимала ее последнюю любовь. И потому я предоставил старой служанке изливать свое горе потоком прозопопей и вышел, унося драгоценную переписку (мой однодневный друг тщательно запечатал ее).

Замок, в котором жила графиня, находился в восьми лье от Мулена, и чтобы добраться до него, нужно было еще проехать несколько лье по имению. Мне было нелегко в те дни исполнить возложенное на меня поручение. Вследствие стечения некоторых обстоятельств, останавливаться на которых бесполезно, у меня нашлось ровно столько денег, сколько нужно было, чтобы доехать до Мулена. Однако, воодушевленный энтузиазмом юности, я решил пройти весь путь пешком и при этом идти с такой скоростью, которая позволила бы мне опередить дурные вести, хоть они и славятся быстротой своего распространения. Разузнав кратчайшую дорогу, я шел бурбоннезскими тропинками, и с таким чувством, словно нес мертвеца на своих плечах. По мере того, как я приближался к замку Монперсан, мое странное путешествие все более и более пугало меня. Воображение рисовало мне тысячу романических фантазий. Я представлял себе все те положения, при которых могла бы состояться моя встреча с графиней де Монперсан, или — подчиняясь поэтике романов — с той Жюльеттой, которую так горячо любил юный путешественник. Я готовил остроумные ответы на ожидаемые мною вопросы. На каждом повороте лесной опушки, в каждой лощине, куда опускалась дорога, повторялась та сцена из комедии, в которой Созий рассказывает о битве своему фонарю. К стыду моему, я думал сначала лишь о своих манерах, о своем остроумии, о той ловкости, которой хотел блеснуть; но когда я был уже в окрестностях замка, страшная мысль пронзила мою душу, как молния бороздит и разрывает пелену серых туч. Какая ужасная весть для женщины, которая ценою бесчисленных усилий ввела, не нарушая приличий, своего юного возлюбленного к себе в дом и теперь, вся поглощенная мыслью о нем, с часу на час ждет несказанных радостей! Наконец какое-то жестокое милосердие заключалось в тяжелой обязанности быть

вестником смерти. И я ускорил шаг, увязая в грязи местных дорог. Вскоре я достиг просторной каштановой аллеи: в ее глубине, подобно ясным, фантастическим контурам некиих коричневых туч, вырисовывались на фоне неба массивные очертания замка Монперсан. Подойдя к воротам замка, я увидел, что они открыты. Это неожиданное обстоятельство разрушало все мои планы и предположения. Тем не менее я храбро вошел во двор. Тотчас по бокам моим очутились две собаки и залились звонким лаем, как истые деревенские псы. На шум выбежала служанка. Услышав, что я хотел бы увидеть графиню, она показала мне рукой на массивы английского парка, змеившегося вокруг замка, и ответила:

— Госпожа вон там.

— Спасибо! — сказал я иронически. Это «вон там» могло стоить мне двухчасового блуждания по парку.

Тем временем появилась миловидная, кудрявая девочка, с розовым поясом, в белом платьице и пелеринке со складками. Она слышала вопрос и ответ, либо догадалась о них. Увидев меня, девочка скрылась, крикнув тоненьким голоском:

— Мама, какой-то господин хочет тебя видеть!

А я последовал за нею, наблюдая, как мелькает и подпрыгивает на поворотах аллей ее белая пелеринка, которая, подобно блуждающему огоньку, указывала мне дорогу.

Буду откровенным до конца. У последнего куста аллеи я поднял воротник, почистил свою дешевую шляпу и панталоны обшлагами сюртука, сюртук — рукавами, а рукава — друг об друга. Затем я тщательно застегнул сюртук, чтобы показать оборотную сторону отворотов,— она всегда кажется немного новее, чем лицевая сторона; наконец я артистически вычистил сапоги травой и спустил на них панталоны. Приукрасив таким гасконским способом свою наружность, я надеялся, что уже не буду принят за рассыльного субпрефектуры; но теперь, переносясь мыслью к этому часу моей юности, я порой сам смеюсь над собой.

Внезапно, когда я обдумывал, как мне следует держать себя, на зеленом повороте тропинки, среди бесчисленных цветов, освещенных жарким солнечным лучом, я увидел Жюльетту и ее мужа. Миловидная девочка дер-

жала мать за руку. Видно было, что графиня ускорила шаг, услышав заинтересовавшие ее слова ребенка. При виде незнакомца, отвесившего ей довольно неловкий поклон, она, удивленная, остановилась, приняла холодно-вежливый вид и сделала очаровательную гримаску, выдавшую мне все ее обманутые надежды. Я тщетно искал одну из тех эффектных фраз, на составление которых потратил столько труда. За это мгновение обоюдного колебания на сцене появился муж. Миллионы мыслей промелькнули в моем мозгу. Чтобы что-нибудь сказать, я осведомился, действительно ли я вижу перед собою графа и графиню де Монперсан. Эти глупые слова дали мне время рассмотреть и понять, с проницательностью, редкой в столь юные годы, стоящих передо мною супругов, одинокую жизнь которых мне предстояло так резко взволновать. Муж, по-видимому, принадлежал к типу тех дворян, которые являются в наше время лучшим украшением наших провинций. На нем были широко скроенные башмаки с толстыми подошвами: я ставлю их на первое место, потому что они поразили меня еще более, чем его выцветший черный сюртук, поношенные панталоны, небрежно завязанный галстук, покоробившийся воротник его рубашки. В этом человеке было что-то от судьи, еще больше — от советника местной префектуры; в нем была важность кантонального мэра, чья воля — закон, и кислая уязвленность кандидата, периодически проваливающегося на выборах, начиная с 1816 года; невероятная смесь деревенского здравого смысла и глупейших предрассудков; отсутствие светских манер, но высокомерие богатства; он, видимо, находился в подчинении у жены, а воображал себя владыкой семьи и всегда был готов взбунтоваться из-за какой-нибудь мелочи, не обращая внимания на вещи более существенные; в довершение представьте себе увядшее, морщинистое, загорелое лицо, седые, длинные, редкие, прилизанные волосы — и вы получите портрет этого господина. Но графиня! О, какую представляла она яркую и резкую противоположность своему супругу! То была маленькая женщина с худощавой и грациозной фигурой, с восхитительной осанкой, такая тонкая, нежная и хрупкая, что, казалось, разобьешь ее, если коснешься. Она была в белом муслиновом платье, с розо-

вым поясом, в изящном чепчике с розовыми лентами, в шемизетке, под которой так восхитительно обрисовывались ее плечи и прелестно очерченная грудь, что при виде их в глубине сердца зарождалось непобедимое желание обладать ими. У нее были живые, черные, выразительные глаза, мягкие движения, прелестная ножка. Старый ловелас дал бы ей не более тридцати лет, так много молодости сохранилось в очертаниях ее лба и в других, наиболее чувствительных к возрасту чертах лица. Что касается ее характера, мне показалось, что в нем есть что-то напоминающее графиню де Линьолль и маркизу де Б.— эти два женских типа, всегда живые в памяти молодого человека, прочитавшего роман Луве. Я вдруг проник во все семейные тайны этой четы и принял дипломатическое решение, достойное старого посланника. Быть может, то был единственный случай в моей жизни, когда я проявил такт и понял, в чем состоит искусство придворных, а также светских людей.

После тех беззаботных дней мне пришлось выдержать слишком много битв, которые научили меня взвешивать самые незначительные поступки с точностью химика в его лаборатории и не делать ничего, не соблюдая той размеренности этикета и хорошего тона, которые засушивают самые великодушные движения чувств.

— Граф, мне хотелось бы переговорить с вами наедине,— сказал я с таинственным видом и отступил на несколько шагов назад.

Он последовал за мною. Жюльетта оставила нас вдвоем и удалилась с равнодушием женщины, уверенной в том, что она сумеет всегда, когда захочет, узнать все секреты своего мужа. Я вкратце рассказал графу о смерти своего попутчика. Впечатление, произведенное на него этим известием, показало мне, что он питал довольно живое, дружеское чувство к своему юному сотруднику, и это обстоятельство дало мне смелость подать следующую реплику в диалоге, последовавшем между нами.

— Жена моя будет в отчаянии,— воскликнул он,— и мне придется прибегнуть ко многим предосторожностям, чтобы сообщить ей об этом злосчастном событии!

— Милостивый государь,— сказал я,— моей обязанностью было обратиться сначала к вам. Я не хотел выполнить это поручение, возложенное на меня незнакомцем по отношению к графине, не уведомив об этом вас; но он доверил мне одно тайное завещательное распоряжение, ни в чем не нарушающее требований чести,— одну тайну, которой я не властен располагать. То высокое представление о вашем характере, которое я почерпнул из его слов, дало мне основание думать, что вы не воспротивитесь выполнению его предсмертного пожелания. Графиня сможет, если захочет, раскрыть эту тайну, о которой я обязан молчать.

Услышав столь лестный отзыв о своей особе, граф с приятностью кивнул головой. Он ответил мне каким-то довольно замысловатым комплиментом и в заключение предоставил мне свободу действий. Мы вернулись к графине. В это время звон колокола возвестил о том, что настал час обеда. Граф пригласил меня отобедать с ними. Жюльетта, увидев нас серьезными и молчаливыми, украдкой окинула нас взором. Когда же ее муж, к ее удивлению и недоумению, воспользовался каким-то пустячным предлогом, чтобы оставить нас с нею вдвоем, она остановилась и метнула в меня одним из тех взглядов, которые умеют бросать только женщины. В ее взоре было все любопытство, допустимое для хозяйки дома, которая принимает у себя незнакомца, точно с неба свалившегося; в нем были все вопросы, вызываемые моей одеждой, молодостью и выражением моего лица (а они составляли необычайный контраст друг с другом!); затем — все пренебрежение боготворимой любовницы, в глазах которой все мужчины — ничто, за исключением одного; в нем были невольные опасения, боязнь, досада при мысли, что ей придется занимать неожиданного гостя, в то время как она, очевидно, хотела приберечь для своей любви все наслаждение одиночества.

Я понял это немое красноречие и ответил на него улыбкой, полной сострадания и участия. В течение одного мгновения я любовался Жюльеттой; она стояла во всем блеске своей красоты, озаренная светом безоблачного дня, среди узкой, обсаженной цветами аллеи. При виде этой восхитительной картины я не смог удержаться от вздоха.

— Увы, сударыня, я только что совершил очень тяжелое для меня путешествие. Я предпринял его... ради вас одной.

— Сударь! — сказала она.

— Я явился к вам от имени того, кто зовет вас Жюльеттой,— продолжал я. Она побледнела.— Вы сегодня не увидите его.

— Он болен? — тихо спросила она.

— Да,— ответил я.— Не теряйте самообладания, умоляю вас. Он поручил мне передать вам некоторые касающиеся вас вещи, которые известны лишь вам и ему, и верьте, что никогда посланный не был более молчалив и предан.

— Что же случилось?

— А если он не любит вас больше?

— О! Это невозможно! — воскликнула она с легкой, не слишком искренней улыбкой.

Вдруг какой-то трепет пробежал по ее телу, она кинула на меня дикий и быстрый взгляд, покраснела и сказала:

— Он жив?

Боже! Какое страшное слово! Я был слишком молод, чтобы выдержать то выражение, с которым оно было сказано, и растерянно смотрел на несчастную женщину.

— Сударь! Сударь, отвечайте! — воскликнула она.

— Да, сударыня.

— Это правда? О, скажите мне правду, я в силах услышать ее. Скажите! Эта неизвестность мучительнее всякого горя.

В ответ у меня выступили слезы, так непередаваем был голос, произнесший эти слова.

Со слабым криком она прислонилась к дереву.

— Сударыня,— сказал я ей,— вот ваш муж.

— Разве есть у меня муж!

С этими словами она кинулась прочь и исчезла.

— Пора! Обед стынет! — воскликнул граф.— Идемте, сударь.

Я последовал за хозяином дома. Он провел меня в столовую; там, на столе, накрытом со всей той роскошью, к которой приучил нас Париж, был уже подан обед. Было накрыто пять приборов: приборы супругов и их

маленькой дочери, мой прибор, который должен был быть *его* прибором; последним был прибор одного каноника из Сен-Дени, который, прочтя предобеденную молитву, спросил:

— Где же наша милая графиня?

— Она сейчас придет,— ответил граф.

Проворно налив нам супу, он доверху наполнил свою тарелку и с изумительной быстротой опорожнил ее.

— Ого, племянник! — воскликнул каноник.— Будь здесь ваша жена, вы проявили бы больше благоразумия.

— Теперь папе будет нездоровиться,— сказала с лукавым видом девочка.

Вскоре после этого оригинального гастрономического эпизода, в ту минуту, когда граф проворно разрезал поданную дичь, вошла горничная и сказала:

— Месье, мы нигде не можем разыскать мадам.

При этих словах я резким движением поднялся с места, боясь, не случилось ли несчастье. Опасения так живо отразились на моем лице, что каноник последовал за мною в сад. Муж, из приличия, дошел до двери.

— Останьтесь! Останьтесь! Не беспокойтесь! — крикнул он нам.

С нами он, однако, не пошел. Каноник, горничная и я обошли тропинки и лужайки парка, зовя, прислушиваясь и тревожась тем более, что я сообщил моим спутникам о смерти молодого виконта. На бегу я рассказал им, при каких обстоятельствах произошло это роковое событие, и заметил при этом, что горничная чрезвычайно привязана к своей госпоже: она гораздо живее каноника почувствовала тайные основания моего страха. Мы отправились к прудам, мы обшарили все уголки и нигде не нашли графини или хотя бы ее следов. Наконец, на обратном пути, проходя вдоль стены, я услышал глухие, подавленные стоны, доносившиеся из какого-то строения вроде риги. На всякий случай я вошел туда. Мы увидели Жюльетту: движимая отчаянием, она инстинктивно зарылась в сено и, повинуясь чувству неодолимой стыдливости, спрятала в него голову, чтобы заглушить вырывавшиеся у нее ужасные крики. Она рыдала, плакала, как ребенок, но плач ее был более раздирающим, более жалобным, чем плач ребенка. Ничего больше не остава-

лось у нее в мире. Горничная приподняла свою госпожу — та не сопротивлялась с вялым безразличием умирающего животного. Не зная, что сказать, служанка повторяла:

— Идемте, госпожа, идемте.

Старый каноник спрашивал:

— Да что с ней? Что с вами, племянница?

Наконец с помощью горничной мне удалось перенести Жюльетту в ее комнату. Я настойчиво посоветовал наблюдать за нею и объявить всем, что графиня больна. Затем мы с каноником спустились в столовую. Мы уже довольно давно покинули графа, я вспомнил о нем, только проходя по галерее, и мысленно подивился его равнодушию. Мое удивление еще более возросло, когда я увидел, что граф сидит с философским хладнокровием за обеденным столом: он съел почти весь обед — к великому наслаждению дочери, улыбавшейся при виде того, как отец нарушает все предписания ее матери. Легкая стычка между графом и каноником объяснила мне странную беззаботность этого супруга. Врачи, чтобы излечить графа от какой-то серьезной болезни, назва-

ние которой ускользнуло из моей памяти, предписали ему строгую диету. А он страдал жестокой прожорливостью, как это часто бывает у выздоравливающих, животная алчность перевесила в нем все человеческие чувства. Я увидел природу во всей ее подлинной реальности, одновременно в двух разных, глубоко различных обличиях, я мог наблюдать комическое рядом с самым ужасным страданием. Вечер прошел печально. Я был утомлен. Каноник напрягал все силы своего ума, чтобы догадаться, почему плакала его племянница. Муж молча переваривал съеденный обед, удовлетворившись довольно смутным разъяснением, полученным от жены через горничную: кажется, графиня объяснила свое состояние одним из обычных женских недомоганий. Все мы легли рано. Лакей повел меня в отведенную мне комнату. Проходя мимо спальни графини, я робко осведомился о том, как она себя чувствует. Узнав мой голос, она попросила меня войти, хотела заговорить со мной; но, не будучи в силах произнести ни слова, она наклонила голову, и я удалился. Несмотря на мучительные чувства, пережитые мною за этот день со всей искрен-

ностью юности, утомление от тяжелого пешего перехода взяло свое: я уснул. В поздний ночной час меня разбудил легкий шорох: то порывисто скользнули вдоль железного прута кольца моей занавески. Я увидел, что в ногах моей кровати сидит графиня. Свет лампы, поставленной на стол, ярко освещал ее лицо.

— Да правда ли все это, сударь? — сказала она.— Я не знаю, как смогу я жить после такого страшного удара. Но сейчас я спокойна. Я хочу все узнать.

«Ну и спокойствие!» — сказал я себе, видя пугающую бледность ее щек, оттеняемую каштановыми волосами, слыша глубокий, глухой звук ее голоса, поражаясь тому опустошению, которое произвела скорбь в чертах ее лица. Она уже поблекла, как лист, с которого сбежали последние осенние краски. В ее покрасневших, вспухших глазах, утративших все свое очарование, отражалась лишь горькая, глубокая скорбь: как будто серая туча нависла там, где раньше искрилось солнце.

Не останавливаясь на слишком мучительных для нее обстоятельствах, я безыскусственно описал ей то мгновенно разыгравшееся происшествие, которое отняло у нее ее возлюбленного. Я рассказал ей про первый день нашего путешествия, исполненный воспоминаний об их любви. Она не плакала, она жадно слушала, наклонив ко мне голову, как усердный врач, определяющий болезнь. Я улучил минуту, когда мне показалось, что она до конца открыла свое сердце страданию и хочет окунуться в свое горе со всей той безудержностью, которая рождается из первого пыла отчаяния; тогда я заговорил о тех опасениях, которые волновали бедного юношу перед смертью, и рассказал ей, как и почему возложил он на меня роковое поручение. Мрачный пламень, вырвавшийся из глубочайших недр души, осушил слезы на ее глазах. Как это ни трудно себе представить, но она побледнела еще больше. Я протянул ей привезенные мною письма — они хранились у меня под подушкой. Она машинально взяла их; потом, содрогнувшись, сказала глухим, беззвучным голосом:

— А я-то жгла его письма! У меня ничего не осталось от него. Ничего! Ничего!

Она с силой ударила себя по лбу.

— Сударыня,— сказал я. Она судорожным движе-

нием повернулась ко мне.— Я отрезал прядь его волос: вот она.

И я вручил ей этот последний, нетленный остаток того, кого она любила. Ах! Если бы на ваши руки упали те жгучие слезы, которые упали на мои, вы узнали бы тогда, что такое благодарность, когда она так близка от благодеяния! Графиня сжала мои руки в своих.

— Ах! Вы любите! — сказала она придушенным голосом, устремив на меня взгляд, блестящий от лихорадочного возбуждения, взгляд, в котором ее хрупкая радость сияла сквозь мучительное страдание.— Так будьте же вечно счастливы. Да минует вас утрата любимой женщины.

Она не договорила и выбежала со своим сокровищем.

На следующий день эта ночная сцена, слившаяся с моими сновидениями, показалась мне фантазией. Я поверил в ее реальность лишь после того, как, несмотря на тщательные поиски, убедился в отсутствии писем под своей подушкой.

Было бы бесполезно рассказывать вам события следующего дня. Я провел еще несколько часов с той Жюльеттой, которую так восхвалял мой бедный попутчик. Малейшее слово, жест, поступок этой женщины свидетельствовали о благородстве ее души и тонкости ее чувств; видно было, что она принадлежала к числу тех, столь редких на нашей земле существ, которые созданы для любви и самоотвержения. Вечером граф де Монперсан лично отвез меня в Мулен. Когда мы прибыли туда, он сказал мне с некоторым замешательством:

— Сударь, если вы не сочтете, что мы злоупотребляем вашей любезностью и поступаем неделикатно в отношении незнакомого нам человека, которому столь многим обязаны, не будете ли вы так любезны, раз вы едете в Париж, передать там господину де... (фамилию я забыл), проживающему на улице Сантье, некоторую сумму, которую я ему должен. Я получил от него письмо, в котором он просит срочно вернуть ему этот долг.

— Охотно,— сказал я.

И в простоте душевной я взял у графа двадцать пять луидоров; на эти деньги я доехал до Парижа, а потом добросовестно вернул их мнимому кредитору господина де Монперсана.

Только в Париже, относя деньги в указанный графом дом, я понял, с какой ловкостью и изобретательностью Жюльетта сумела оказать мне услугу. В способе, каким мне было дано взаймы это золото, в деликатном умолчании о бедности, угаданной без труда, сказалась вся нежность и проницательность любящей женщины.

Какое наслаждение — рассказать об этом приключении женщине, которая, выслушав ваш рассказ, испуганно прижмет вас к своему сердцу, которая скажет вам: «О дорогой мой, но ты-то не умирай!»

Январь 1832 г.

БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ

Посвящается Дж. Россини.

Отец г-на де Манервиля был родовитым норманд-ским дворянином, его знавал сам маршал де Ришелье, и старый герцог, в бытность свою губернатором Гюйен-ны, женил его на одной из самых богатых невест Бордо. Нормандец продал земли, которыми владел в Бессене, и стал гасконцем, плененный красотою замка Ланстрак, прелестного уголка, принадлежавшего его жене. В по-следние годы царствования Людовика XV он купил па-тент на должность майора дворцового гренадерского полка и дожил до 1813 года; революция прошла для него благополучно. Вот как это вышло: в конце 1790 го-да он уехал по делам жены на Мартинику, а управление своими гасконскими поместьями поручил честному пись-моводителю нотариальной конторы по имени Матиас, который увлекался новыми идеями. Когда граф де Ма-нервиль вернулся, его имения были в полной сохранно-сти и даже давали немалый доход. Вот какие рождаются полезные плоды, когда качества гасконца бывают приви-ты нормандцу. Г-жа де Манервиль умерла в 1810 году. В молодости расточительный, но именно благодаря это-му научившийся потом ценить блага жизни и, подобно всем старикам, придававший им чрезмерное значение, г-н де Манервиль стал сначала бережливым, затем ску-пым и наконец совсем скаредным. Не помышляя о том, что скупость отцов в будущем приводит к мотовству сы-

новей, он почти ничего не давал своему сыну, хотя тот и был у него единственным.

Поль де Манервиль, окончив зимой 1810 года Вандомский коллеж, еще в течение трех лет оставался под отцовской опекой. Разумеется, самодурство семидесятидевятилетнего старика не могло не повлиять на еще не сложившийся характер и свойства души молодого человека. Поль не лишен был физической храбрости, которою как бы напоен самый воздух Гаскони, однако, не решаясь бороться с отцом, он не выработал в себе той способности давать отпор, без которой нельзя преодолеть душевную робость. Он привык сдерживать свои чувства, таить их в душе, не давая им проявляться; впоследствии, когда он увидел, как сильно они расходятся с общепринятыми в свете воззрениями, он при самых благих намерениях часто действовал себе во вред. Он готов был из-за пустяков драться на дуэли — и вместе с тем его страшила необходимость рассчитать слугу; застенчивость овладевала им всякий раз, когда требовалось проявить твердую волю. Способный на многое, чтобы избежать неприятностей, он не умел ни предотвращать их упорным сопротивлением, ни смело идти им навстречу, напрягая душевные силы. Робкий в глубине души, хоть и готовый на смелые поступки, он надолго сохранил ту наивность, из-за которой человек добровольно становится жертвой и игрушкой обстоятельств, предпочитая безропотно терпеть, лишь бы не вступать с ними в борьбу. Он жил в старом отцовском доме точно в заключении, так как у него не было денег, чтобы встречаться с молодыми людьми своего круга; ему оставалось только завидовать их веселой жизни. Каждый вечер старый дворянин сажал его с собой в старую карету; на старых лошадях в плохой упряжи, в сопровождении старых лакеев в бедных ливреях они ехали куда-нибудь в гости. Они посещали только роялистские круги, состоявшие из остатков судейской и военной знати. Объединившись после революции, чтобы вместе бороться с императорской властью, эти два вида дворянства превратились в местную аристократию. Оттесненные, как это бывает в приморских городах, выскочками, разбогатевшими на рискованных деловых операциях, представители «Сен-Жерменского предместья» города Бордо презрительно смотрели на роскошь, которою блистали в те вре-

мена торговые, чиновничьи и военные круги. Поль, еще слишком молодой, чтобы разбираться в этих социальных отношениях и вдумываться в причины, обострившие дворянскую спесь, попросту смертельно скучал среди этих обломков прошлого; он не знал, что связи, приобретенные в молодости, впоследствии обеспечат ему те преимущества, которые даются принадлежностью к аристократии, а они и впредь будут, как-никак, высоко цениться во Франции. За скучные вечера его несколько вознаграждали кое-какие развлечения, поощряемые его отцом и не лишенные интереса для всякого юноши. По мнению старого дворянина, чтобы стать безукоризненным светским человеком, нужно было научиться владеть оружием, отлично ездить верхом, играть в мяч, хорошо держаться в обществе — словом, получить то поверхностное воспитание, каким отличались вельможи былых времен. Итак, Поль по утрам фехтовал, ездил верхом в манеже и стрелял из пистолета. Остальное время он проводил за чтением романов, ибо его отец был против занятий всякими отвлеченными вопросами, завершающими образование в наши дни. Столь однообразное времяпрепровождение вконец уморило бы юношу, если бы смерть отца не избавила его от деспотизма, ставшего невыносимым. Благодаря отцовской скупости Полю досталось значительное богатство; имения были в цветущем состоянии; но он терпеть не мог Бордо, да не больше любви питал и к Ланстраку, где его отец обычно проводил лето и чуть ли не каждый день заставлял сына сопровождать его на охоту.

Покончив с утверждением в правах наследования и спеша насладиться жизнью, молодой человек обратил свои капиталы в процентные бумаги и шесть лет провел вдалеке от Бордо, поручив управление своими поместьями старому Матиасу, отцовскому нотариусу. Сначала он был атташе посольства в Неаполе, затем секретарем посольств в Мадриде и Лондоне, объездил всю Европу. Узнав свет, испытав немало разочарований, прожив оставленные отцом наличные деньги, Поль в один прекрасный день увидел, что ему надо изменить весь образ жизни, а не то доходы с имений, накопленные для него нотариусом, тоже пойдут прахом. В этот критический момент он принял благоразумное, казалось бы, решение: уехать из Парижа, вернуться в Бордо, самому взяться за

дела, зажить помещиком в Ланстраке, заняться благоустройством имений, жениться и, рано или поздно, стать депутатом. Поль был графом, знатность снова стала высоко цениться при заключении брачных союзов,— он мог и должен был выгодно жениться. Многие женщины мечтают о титулованном муже, но еще больше таких, которые стремятся выйти замуж за настоящего светского человека. А Поль ценою семисот тысяч франков, истраченных за шесть лет, приобрел это звание, хоть оно и не продается за деньги. Стать светским человеком ничуть не легче, чем стать биржевым маклером,— для этого также многое нужно: долго учиться, пройти испытательный срок, выдержать экзамен, иметь знакомства, друзей, врагов, обладать более или менее изящной наружностью, хорошими манерами, эффектно и приятно звучащим именем,— и все это сопряжено с успехами у женщин, дуэлями, пари, проигранными на скачках, разочарованиями, скукой, делами и множеством сомнительных удовольствий. Поль стал так называемым *щеголем*. Все же, несмотря на всю свою расточительность, он никак не мог сделаться *законодателем вкуса*. Если сравнить причудливую толпу светских людей с армией, то законодатель вкуса играет роль маршала Франции, а щеголь соответствует генерал-лейтенанту.

Итак, у Поля была скромная репутация щеголя; он умел ее поддержать. Его лакеи были прекрасно одеты, экипажи вызывали одобрение; ужины, которые он давал, имели немалый успех; наконец его дом принадлежал к числу семи — восьми холостых домов, не уступавших по роскоши обстановки лучшим семейным домам Парижа. Но он еще не успел сделать несчастной ни одну женщину, он не проигрывал в карты кучи денег, не блистал в свете, был слишком честен, чтобы обмануть кого бы то ни было, даже девушку; получаемые им любовные письма не валялись у него повсюду и не хранились в особой шкатулке, куда могли бы заглядывать его друзья, пока он повязывал галстук или брился; он не собирался распродавать свои земли в Гюйенне, не обладал смелостью, необходимой для решительных поступков и привлекающей всеобщее внимание к молодому человеку; наконец он ни у кого не занимал денег, а, напротив, сам имел глупость давать взаймы друзьям, которые после этого исчезали и

забывали о его существовании. Он как будто сам сознавал всю нескладность своего характера. Она объяснялась отцовским деспотизмом, сделавшим его каким-то половинчатым существом.

И вот как-то утром он сказал одному из своих друзей по имени де Марсе, который впоследствии приобрел большую известность:

— Мой друг, в жизни должен быть смысл!

— Неужели надо было дожить до двадцати семи лет, чтобы постичь это? — насмешливо спросил де Марсе.

— Да, мне двадцать семь лет, и как раз поэтому я решил обосноваться в Ланстраке и стать помещиком. Я поселюсь в Бордо, в старом отцовском особняке, перевезу туда свою мебель из Парижа, но парижскую квартиру оставлю за собой и буду ежегодно жить в ней три зимних месяца.

— И женишься?

— И женюсь.

— Я тебе друг, славный мой Поль, ты это знаешь,— сказал де Марсе, с минуту подумав.— Ну что ж! Стань отцом семейства и примерным супругом; ты будешь посмешищем до конца своих дней. Если бы ты мог быть не только смешон, но и счастлив — еще куда ни шло; но ты не будешь счастлив. У тебя недостаточно твердая рука, чтобы удержать бразды правления в семейной жизни. Надо отдать тебе справедливость: ты прекрасно ездишь верхом, никто лучше тебя не умеет вовремя натянуть или отпустить поводья, поднять лошадь на дыбы, оставаясь точно приросшим к седлу. Но женитьба, дорогой мой, дело другое. Я уже предвижу, как норовистая госпожа де Манервиль рысью, а больше галопом, помчит тебя во весь опор, и вскоре ты будешь выбит из седла, да так, что очутишься в канаве с переломанными ногами. Послушай! У тебя остались поместья в департаменте Жиронды, приносящие сорок с чем-то тысяч дохода. Прекрасно! Отошли в Бордо своих лошадей и лакеев, обставь там свой особняк; ты станешь властителем бордоской моды, к твоему мнению будут прислушиваться и в Париже, мы же будем сообщать тебе обо всех наших чудачествах. Веселись в провинции, дурачься там — может быть, эти дурачества тебя прославят,— только не женись! Кто женится в наше время? Коммерсанты — ради

денежных выгод или же для того, чтобы вместе с женой тянуть лямку; крестьяне — чтобы народить побольше детей, потому что им нужны рабочие руки; биржевые маклеры или нотариусы, которым надо платить за контору; злополучные короли — для продолжения своих злополучных династий. Только мы одни свободны от этой обузы, а ты хочешь подставить шею под ярмо! Ну зачем тебе жениться? Поделись своими соображениями с лучшим другом. Допустим, что твоя жена будет так же богата, как и ты; но восемьдесят тысяч ливров дохода для двоих — далеко не то, что сорок тысяч для одного, потому что пойдут дети — и вот вас уже не двое, а трое или четверо. Неужели ты возымел нелепое желание продолжать род Манервилей? Это не принесет тебе ничего, кроме неприятностей. Видно, ты не знаешь, что быть отцом или матерью — дело не легкое. Брак, друг мой,— глупейшая жертва, которую мы приносим обществу; она идет на пользу только нашим детям, да и то лишь тогда, когда их лошади уже щиплют траву на наших могилах. Разве ты жалеешь об отце, этом деспоте, загубившем твою молодость? И ты воображаешь, что тебе удастся завоевать любовь своих детей? Твои заботы об их воспитании, попечение об их счастье, вынужденные строгости лишь оттолкнут их от тебя. Дети любят только щедрого и слабовольного отца, которого сами впоследствии будут презирать. Итак, тебя будут либо бояться, либо презирать. Не всякому дано быть хорошим отцом. Посмотри на наших друзей, о ком из них ты мог бы сказать: «Вот бы мне такого сына!» Подобные отпрыски только покрыли бы позором твое имя. С детьми, дорогой мой, не оберешься хлопот. Но пусть даже твои дети будут ангелами. Имеешь ли ты представление о пропасти, отделяющей жизнь холостяка от жизни женатого человека? Так слушай. Оставаясь холостым, ты можешь решать: «Я позволю себе быть смешным лишь до известного предела; публика будет думать обо мне лишь то, что я захочу». Женившись, ты будешь смешон беспредельно. Пока ты холост, счастье зависит от тебя самого: сегодня ты наслаждаешься им, завтра обходишься без него; женившись, ты должен довольствоваться тем, что есть, а когда тебе захочется счастья — ты его не найдешь. Женившись, ты превратишься в тупицу, станешь присматривать

невесток с приданым, рассуждать о религии и морали, считать, что молодые люди безнравственны, опасны; словом, станешь брюзгой — действительным членом академии житейской мудрости. Мне жаль тебя. Старый холостяк, от которого нетерпеливо ждут наследства, который до последнего вздоха воюет со своей сиделкой, тщетно умоляя дать ему напиться,— счастливец по сравнению с женатым человеком. Не стану говорить, как надоедливы, скучны, несносны, мучительны, неприятны, стеснительны, глупы вечные стычки между двумя людьми, которые вынуждены постоянно быть вместе, навсегда связаны между собою и сами себя обманули, думая, что подходят друг к другу. Как эти стычки одуряют, как парализуют волю! Говорить об этом — значит повторять сатиру Буало против женщин, а мы и так знаем ее наизусть. Я простил бы тебе эту смешную затею, если бы ты собирался жениться, как подобает настоящему вельможе: учредить майорат, не упустить времени и в первые годы брака обзавестись парочкой законных детей, а затем жить раздельно с женой, встречаясь с нею только на людях, и возвращаться из путешествий не иначе, как заранее известив о своем приезде. Для такого образа жизни требуются двести тысяч дохода; твое имя позволит тебе легко осуществить мой план, женившись на какой-нибудь богатой англичанке,— ведь они без ума от титулов. Только такая жизнь кажется мне подлинно аристократической, благородной, достойной француза; только тогда мы можем внушить женщине уважение и дружеские чувства; только этим путем можно выделиться из общей массы — словом, только ради такой жизни молодому человеку стоит расстаться с привычками холостяка. Создав себе подобное положение, граф де Манервиль будет достоин своей эпохи, возвысится над общим уровнем, станет по меньшей мере посланником или министром. Он никогда не будет смешон, приобретет все преимущества, какие дает брак, сохранив в то же время все привилегии холостяка.

— Но, дружище, ведь я не де Марсе, я просто-напросто Поль де Манервиль, как ты сам сказал, будущий отец семейства, примерный супруг, депутат партии центра и, быть может, пэр Франции,— судьба чрезвычайно скромная, но я непритязателен и охотно с этим примирюсь.

— А примирится ли твоя жена? — не унимался де Марсе.

— Моя жена, дорогой, будет делать то, что я захочу.

— Ах, бедный друг, ты все еще упорствуешь? Так прощай, Поль, я перестал тебя уважать. Еще два слова,— ведь не могу же я равнодушно отнестись к твоему отречению. Видишь ли, еще одно дает перевес нашему брату: холостяк, даже если у него только шесть тысяч дохода, даже если от всего богатства у него осталась лишь репутация щеголя, лишь воспоминания о былых успехах,— этот холостяк еще не пропал: у него лишь тень прежней удачи, но эта тень очень много значит. У этого поблекшего холостяка еще есть шансы кое-чего добиться в жизни, он еще на многое может рассчитывать. Но жениться, Поль, это значит сказать себе: «Дальше идти некуда». Женившись, ты остановишься на том, чего уже достиг, если только тобой не займется жена.

— Ах, не выношу твоих вечных преувеличений! — сказал Поль.— Я устал жить для других, мне надоело держать лошадей только напоказ, надоело руководиться во всех своих поступках мыслью: «А что скажут?» Мне надоело разоряться лишь для того, чтобы не дать глупцам повод восклицать: «Вот тебе на! У Поля все та же карета! Где же его состояние? Он его промотал? Проиграл на бирже?» — «О нет, он миллионер. Госпожа N. N. без ума от него. Он выписал из Англии упряжку, равной которой нет во всем Париже. На прогулке в Лоншане особенно выделялись коляски господ де Марсе и де Манервиля; в каждую было впряжено по две пары великолепных лошадей...» Одним словом, мне надоели бесчисленные вздорные замечания, при помощи которых толпа дураков управляет нами. Мне стало ясно, что такая жизнь, когда несешься куда-то, вместо того чтобы спокойно идти своим путем, истощает и старит нас. Поверь, дорогой Анри, я восхищаюсь тобой, но вовсе не завидую. Ты умеешь рассуждать обо всем, твои мысли и поступки достойны государственного деятеля, ты выше общепринятых законов, предвзятых идей, укоренившихся предрассудков, общепризнанных условностей, короче, ты умеешь извлекать выгоду из таких положений, которые мне не приносят ничего, кроме не-

приятностей. Твои бесстрастные, логичные и, быть может, вполне верные умозаключения показались бы толпе ужасно безнравственными. Я принадлежу к этой толпе. Играя, я должен подчиняться законам игры, созданным той общественной средой, в которой мне суждено жить. Поднявшись на вершины человеческой мысли, на недоступные ледяные кручи, ты продолжаешь владеть своими силами; но я замерзну там. Есть чувства, составляющие для большинства людей основу жизни, и я, тоже рядовой человек, теперь испытываю в них потребность. Можно волочиться за десятком женщин, но не иметь успеха ни у одной; как бы ты ни был ловок, умен, опытен, бывают случаи, когда ничего не можешь добиться. В браке мне нравится спокойный повседневный обмен мыслями, нравится мирная, бесхитростная жизнь, когда постоянно чувствуешь присутствие женщины...

— Ну, не торопись с этим, Поль! — перебил его де Марсе.

Поль не смутился и продолжал:

— Смейся сколько угодно, но я буду счастлив лишь тогда, когда камердинер будет входить и докладывать: «Мадам ожидает месье к завтраку»; когда, возвращаясь вечером домой, я буду знать, что меня ждет кто-то...

— А все-таки не торопись, Поль! Ты еще не созрел для женитьбы, особенно в нравственном отношении.

— ...что меня ждет кто-то, кому я могу рассказать о своих делах, доверить свои тайны. Я хочу быть настолько близок с женой, чтобы наша любовь не зависела от случайно сказанных «да» или «нет», чтобы я не мог очутиться в таком положении, когда, случается, даже самый обаятельный молодой человек терпит в любви неудачу. Словом, у меня хватит духу, чтобы стать, как ты выражаешься, отцом семейства, примерным супругом. Я чувствую, что создан для радостей семейной жизни, и хочу подчиниться тем условиям, какие установило общество: иметь жену, детей...

— Ты похож на муху, летящую на мед в мухоловку. Лети! Ты будешь одурачен на всю жизнь. Вот как? Ты хочешь жениться? Хочешь, чтобы возле тебя была жена? Так, значит, рассчитываешь благополучно и даже с выгодой для себя разрешить труднейшую из всех про-

блем, выдвинутых буржуазными нравами, этим порождением французской революции? И начинаешь с того, что хочешь поселиться с женой уединенно! Уверен ли ты, что жена твоя не станет стремиться к той самой жизни, которую ты так презираешь? Будет ли она питать такое же отвращение к свету, как ты? Если ты не хочешь, чтобы тебя постигла судьба всех мужей, судьба, которую только что во всей ее прелести описал тебе твой старый друг де Марсе, выслушай мой последний совет. Оставайся холостяком еще тринадцать лет, веселись напропалую; затем, когда тебе стукнет сорок, после первого приступа подагры, женись на тридцатишестилетней вдове; ты еще сможешь быть счастлив. Но если ты женишься на молоденькой девушке, твоя песенка спета!

— Вот как! Почему же это? — спросил слегка задетый Поль.

— Дорогой мой,— ответил де Марсе,— сатира Буало о женщинах — лишь ряд опоэтизированных пошлостей. К чему исправлять недостатки женщин? Зачем лишать их естественного наследия всего человеческого рода? Да и проблема брака, по-моему, уже не та, что во времена Буало. Неужели ты думаешь, что брак имеет что-нибудь общее с любовью, что мужа должны любить лишь за то, что он муж? Как видно, ты ничего не вынес из посещения дамских будуаров, кроме счастливых воспоминаний. Наша холостяцкая жизнь такова, что любой из нас, женившись, неизбежно впадает в роковое заблуждение, если только не является знатоком человеческого сердца. Такова уж причудливость наших нравов, что мужчина только в блаженные дни юности неизменно приносит счастье женщинам, побеждает их, очарованных, покорных его воле. Созданные законом препятствия, сила чувств, необходимость преодолевать свойственную женщинам сдержанность способствуют взаимным наслаждениям, что и заставляет неопытного молодожена заблуждаться насчет семейных отношений; когда препятствий больше нет, женщина уже не отвечает на любовь, а лишь терпеливо сносит ее, уже не жаждет любовных утех, а нередко отвергает их. Когда мы женимся, вся жизнь меняется. Свободный, беспечный холостяк всегда готов идти в наступление, даже неудача ему не страшна. А стоит жениться — тут уж положение

непоправимо. Если любовник в состоянии добиться любви женщины, которая сначала его отвергла, то для мужа, дорогой мой, такая попытка — Ватерлоо. Удел мужа — одерживать победы, подобные победам Наполеона: их многочисленность не мешает ему быть низвергнутым при первом же поражении. Женщине льстит настойчивость любовника, его ревность; но стоит мужу обнаружить такие же качества, и его обвинят в грубости. Холостяк может сам выбрать поле сражения, ему все позволено, а для мужа все под запретом, для битвы ему отведены лишь одни пределы, раз навсегда. Вдобавок борьба происходит на иных началах: жена склонна отказывать мужу даже в том, что принадлежит ему по праву, тогда как любовнику разрешается то, на что он никакого права не имеет.

Ты вот хочешь жениться, ты скоро женишься, а заглядывал ли ты хоть раз в гражданский кодекс? Я никогда не переступал порога Школы права, этого рассадника болтунов, этого грязного притона толкователей законов, я никогда не раскрывал кодекса, но воочию вижу, как он применяется в жизни. Я поневоле стал законоведом, точно так же, как управляющий больницей не может не стать медиком. Болезни изучаются не по книгам, а на самих больных. Закон, дорогой мой, рассматривает женщин как существа, подлежащие опеке, наравне с малолетними, наравне с детьми. А ведь как воспитывают детей? Посредством страха. Тут-то, Поль, и зарыта собака. Пощупай себе пульс! Ну, можешь ли ты хотя бы притвориться деспотом, ты, такой мягкий, добродушный, искренний? Раньше я смеялся над тобой, теперь же я так люблю тебя, что хочу поделиться с тобой своим опытом. Он ведет начало от науки, названной немцами антропологией. Если бы я не решил посвятить жизнь удовольствиям; если бы не питал глубокой антипатии к тем, кто только размышляет, вместо того чтобы действовать; если бы не презирал простофиль и глупцов, думающих, что книги долговечны, в то время как пески африканских пустынь — это прах бесчисленных, никому не ведомых, исчезнувших Лондонов, Венеций, Парижей и Римов; если бы не все это, я написал бы книгу о современном браке, о влиянии на него христианства и ярко осветил бы эту груду

острых камней, на которых спят последователи завета «Плодитесь и размножайтесь!» Но разве человечество сто́ит того, чтобы я потратил на него хоть четверть часа? К тому же единственно разумное применение чернил — это писание любовных писем, чтобы приманивать легковерные сердца. Ну так что же, познакомишь ли ты нас с графиней де Манервиль?

— Может быть,— ответил Поль.

— Мы останемся друзьями,— сказал де Марсе.

— Если только...— начал Поль.

— Успокойся, мы будем с тобой вежливы, как Мезон Руж с англичанами при Фонтенуа.

Эта беседа несколько смутила графа де Манервиля, но все же он не отказался от задуманного и зимой 1821 года вернулся в Бордо. Для того чтобы отделать и обставить особняк, он вошел в большие расходы; это поддержало его репутацию элегантного человека, которую молва утвердила за ним еще до его приезда. Былые связи помогли ему вновь войти в роялистские круги города; он принадлежал к этому обществу как по взглядам, так и в силу своего богатства и титула. Поль стал признанным властителем моды: его знание светской жизни, парижские манеры, воспитанность привели в восторг «Сен-Жерменское предместье» города Бордо. Одна старая маркиза, говоря о Поле, употребила выражение, бывшее некогда в ходу при дворе, когда шла речь о молодых процветающих красавцах, франтах былых времен, чьи манеры и язык служили законом для всех,— она назвала Поля *«душистым горошком»*. Это выражение подхватили и сделали из него прозвище; либералы вкладывали в него насмешливый смысл, роялисты — одобрительный. Поль де Манервиль с гордостью старался оправдать это прозвище. С ним произошло то же, что случается с посредственными актерами: с того дня, как публика обратит на них внимание, они начинают играть лучше. Чувствуя себя в своей среде, Поль обнаружил все те достоинства, какие не совсем еще были вытеснены его недостатками. Его шутки не были ни едки, ни язвительны, в манерах не было высокомерия; разговаривая с женщинами, он проявлял почтительность, которая им так нравится, но не был ни чересчур услужлив, ни слишком фамильярен. Его щегольство было на самом

деле лишь простой заботой о своей наружности и только придавало ему приятность. С каждым он находил верный тон; молодым людям позволял держаться с ним запросто, но, пользуясь своим парижским опытом, умел, когда нужно, поставить собеседника на место. Прекрасный стрелок и фехтовальщик, он в то же время отличался чисто женской мягкостью, и это опять-таки нравилось. Он был среднего роста и несколько склонен к полноте, хотя далеко не толст; обычно это мешает слыть образцом элегантности, но Полю не воспрепятствовало играть роль Бреммеля города Бордо. Белизна лица, оттененная здоровым румянцем, красивые руки и ноги, синие глаза с длинными ресницами, черные волосы, изящество движений, грудной голос, мягкий и обаятельный,— все в нем как нельзя более соответствовало его прозвищу. Поль походил на нежный цветок, требующий заботливого ухода, расцветающий только на влажной, подходящей для него почве; от плохого обращения такой цветок хиреет, от слишком жарких солнечных лучей вянет, от мороза гибнет. Поль принадлежал к числу мужчин, скорее способных наслаждаться счастьем, чем приносить его другим; в них много женственного, им хочется, чтобы их понимали, поощряли; брак для них — нечто предопределенное. В семейной жизни подобный характер бывает иногда причиной осложнений, зато в светской жизни он неотразимо привлекателен. Поэтому граф де Манервиль пользовался успехом в узком кругу провинциального общества, где его несколько робкий ум ценили больше, чем в Париже.

На приведение в порядок особняка, который он обставил с чисто английской роскошью и комфортом, и перестройку замка в Ланстраке ушли все доходы, скопленные нотариусом за шесть лет. Вынужденный ограничиваться сорока с чем-то тысячами ливров в год, Поль благоразумно распорядился вести хозяйство так, чтобы траты не превышали этой суммы. Когда он показал всем свои экипажи, познакомился с наиболее изысканными молодыми людьми города, съездил с ними в свой заново отстроенный замок, чтобы поохотиться, ему стало ясно, что провинциальная жизнь немыслима без женитьбы. Поль был слишком молод, чтобы заняться исключительно хозяйственными делами и свести все свои ин-

тересы к корыстолюбию и расчетливости, в которых рано или поздно погрязают провинциалы ввиду необходимости пристроить детей, и вскоре он ощутил потребность изменить весь уклад своей жизни,— привычка к переменам становится для парижанина как бы второй натурой. Однако главной причиной, побудившей его жениться, было не желание продолжать свой род, иметь наследников, чтобы впоследствии передать им свои поместья, не перспектива приобрести влиятельные знакомства, принимая у себя знатнейшие местные семьи, не отвращение к случайным связям. Дело в том, что с самого приезда в Бордо он был тайно влюблен в царицу бордоских балов, прославленную красавицу мадемуазель Эванхелиста.

В самом начале девятнадцатого века один богатый испанец, по имени Эванхелиста, поселился в Бордо; имевшиеся у него рекомендательные письма и крупное состояние открыли перед ним двери дворянских домов. Его жена немало способствовала приобретению им безупречной репутации у местных аристократов, которые, быть может, лишь затем и приняли его в свою среду, чтобы досадить другому, второсортному светскому обществу города. Креолка, похожая на рабовладелицу, г-жа Эванхелиста, происходившая, впрочем, из прославленного испанского рода Каса-Реаль, жила, как знатная дама, не заботясь о деньгах, привыкнув к тому, что все ее прихоти, даже самые разорительные, немедленно исполнялись влюбленным в нее мужем, который считал излишним посвящать ее в денежные дела. Испанец был очень доволен, что его жене понравился Бордо, где ему пришлось обосноваться; он приобрел там особняк, зажил на широкую ногу, стал устраивать пышные приемы, проявляя во всем изысканный вкус. Поэтому с 1800 по 1812 год в Бордо только и говорили, что о супругах Эванхелиста. Испанец умер в 1813 году, оставив после себя вдову тридцати двух лет, огромное состояние и прелестную одиннадцатилетнюю дочь, обещавшую стать и действительно ставшую незаурядной красавицей. Как ни изворотлива была г-жа Эванхелиста, Реставрация повредила ее положению в обществе; роялистские круги стали более замкнуты, кое-какие семьи уехали из Бордо. Хотя на денежных делах вдовы сказа-

лась смерть мужа, отсутствие его ума и твердой руки, она относилась к этим делам с беспечностью креолки, с безалаберностью истой щеголихи и жила по-прежнему широко. К тому времени, когда Поль принял решение вернуться в родной город, Натали Эванхелиста была самой красивой и, по всей видимости, самой богатой невестой в Бордо; никто не знал, что богатство ее матери постепенно таяло, так как г-жа Эванхелиста бросала на ветер огромные деньги, чтобы по-прежнему царить в высшем свете. Блестящие балы, пышный, как и прежде, образ жизни семьи Эванхелиста поддерживали в обществе уверенность, что семья эта все так же богата. Натали исполнилось девятнадцать лет, но еще никто не просил ее руки у матери. Не встречая препятствий к удовлетворению любого из своих девических капризов, мадемуазель Эванхелиста носила драгоценности, платья из кашемира и жила в роскоши, пугавшей расчетливых молодых людей,— ведь во Франции в те времена дети были ничуть не менее расчетливы, чем родители. В гостиных, в кругу мужчин, неизменно повторялось: «На мадемуазель Эванхелиста может жениться разве только какой-нибудь принц!» Маменьки и бабушки, стремившиеся выдать замуж своих дочерей и внучек, девушки, завидовавшие Натали, ее непревзойденному изяществу, ее царственной красоте,— все своими коварными намеками дружно поддерживали сложившееся о ней мнение. Стоило на балу кому-нибудь из числа возможных женихов при появлении Натали, залюбовавшись ею, восторженно воскликнуть: «Боже, как она хороша!» — маменьки не упускали случая заметить: «Да, но как дорого стоит эта красота!» Если какой-нибудь новичок находил, что мадемуазель Эванхелиста очаровательна и что лучшей невесты не найти, ему возражали: «Кто же отважится взять в жены девушку, которая привыкла получать от матери на наряды по тысяче франков в месяц, у которой есть собственные лошади и горничная! А ее кружева! Ведь ее пеньюары отделаны мехельнскими кружевами. На стирку ее тонкого белья уходит столько денег, что на них могла бы прожить целая семья какого-нибудь служащего средней руки. По утрам она надевает пелерины, одно глаженье которых обходится в шесть франков».

Как бы ни хотелось кому-нибудь жениться на Натали, эти замечания и множество других, часто замаскированных похвалой, быстро отбивали у него всякую охоту. Блистая на всех балах, привыкнув, что каждый ее шаг сопровождается льстивыми комплиментами и восхищенными улыбками, Натали ничего не знала о жизни. Она жила так же беззаботно, как летают птицы, как растут цветы; все вокруг были готовы исполнить любое ее желание. Она не знала, сколько стоят вещи, которые ее окружают, откуда берутся деньги, как они достаются и на что уходят. Быть может, она думала, что при каждом доме полагается быть поварам, кучерам, горничным и лакеям, подобно тому как на лугу полагается расти траве, а на деревьях — плодам. Ей не было дела до нищеты и несчастья, так же как до поваленного бурей леса или неплодородной почвы. Мать нежно лелеяла ее, оберегала от малейшей заботы, которая могла бы испортить дочери удовольствие, и Натали легко носилась по балам, как носится по степи вольный скакун, еще не знающий ни узды, ни подков.

Через полгода после приезда Поля царица балов и «душистый горошек» впервые встретились в высшем обществе. Они обменялись, казалось бы, равнодушными взглядами, но на самом деле очень понравились друг другу. Внимательно следя за результатами этой заранее предусмотренной встречи, г-жа Эванхелиста уловила в глазах Поля зародившееся чувство и подумала: «Он будет моим зятем!» А Поль, увидев Натали, сказал себе: «Она будет моей женой!» Представление о богатстве семьи Эванхелиста, вошедшем у жителей Бордо в пословицу, создалось у Поля еще в детстве и, как всегда в таких случаях бывает, прочно укоренилось в его сознании. Поэтому денежная сторона вопроса разрешилась для него сразу, не требуя наведения справок и расспросов, что одинаково неприятно как для робких, так и для гордых людей.

Кое-кто попытался в разговоре с Полем, расхвалив, как обычно, красоту, манеры, воспитанность Натали, закончить свою речь ядовитыми намеками на широкий образ жизни семьи Эванхелиста, сулящий осложнения в будущем, но «душистый горошек» отнесся к услышанному с тем пренебрежением, какого заслуживали подоб-

ные глубоко провинциальные сплетни. Об этом вскоре все узнали, и злословие прекратилось, так как Поль задавал тон во всем, что касалось не только манер и разных мелочей, но также мнений и толков. Он ввел в обиход чисто британский индивидуализм, ледяную неприступность, байроническую насмешку, презрительное отношение к жизни и к узам, считающимся священными, а также английскую серебряную посуду и английские же шутки, презрение к допотопным провинциальным обычаям и привычкам, ввел в моду сигары, лакированную обувь, шотландских пони, желтые перчатки и езду галопом. И Поль избежал общей участи: ни одна девушка, ни одна вдовствующая бабушка не попытались отбить у него охоту жениться на Натали. Г-жа Эванхелиста несколько раз приглашала его на парадные обеды. Разве мог он не посещать балы, где бывал весь цвет городской молодежи? Поль старался казаться равнодушным, но это не обманывало ни мать, ни дочь; дело мало-помалу подвигалось к браку. Когда Поль выезжал на прогулку в тильбюри или верхом на породистой лошади, многие молодые люди останавливались, и до его слуха долетали слова: «Счастливец! Он богат, красив и женится, говорят, на мадемуазель Эванхелиста. Да, есть же люди, которым все так и плывет в руки!» При встрече с коляской г-жи Эванхелиста ему было лестно видеть, что мать и дочь придают своему приветствию какой-то особый оттенок. Но даже если бы Поль и не был в глубине души влюблен в Натали, общество, наверное, и против его воли женило бы его на ней: внимание света никогда не приносит добра, но часто бывает причиною многих бед. Когда несчастье, которое общество старательно взращивает, распустится пышным цветом, все отрекаются от его жертвы и преследуют ее своей враждой. Великосветские круги Бордо, приписывая Натали миллионное приданое, прочили ее за Поля, как водится, не спрашивая согласия сторон. Они подходили друг к другу еще и потому, что оба были богаты. Поль привык к такому же изяществу, к такой же роскоши, в какой жила Натали. Никто в Бордо не мог бы обставить для Натали дом так хорошо, как Поль только что обставил свой особняк. Лишь тот, кто привык к парижской расточительности и к причудам парижанок, мог бы избежать

денежных неприятностей, связанных с женитьбой на этой девушке, такой же креолке, как и ее мать, обладавшей теми же замашками знатной дамы. Любой житель Бордо, женившись на Натали, непременно разорился бы; но все почему-то считали, что графу де Манервилю удастся избежать такой беды. Итак, свадьба была делом решенным. Лица, принадлежавшие к роялистским кругам, толкуя об этом браке, наговорили Полю много лестного для его тщеславия.

— Все здесь прочат за вас мадемуазель Эванхелиста; вы прекрасно сделаете, женившись на ней; такой красавицы вы не найдете и в Париже: она изящна, грациозна, ее мать в родстве с Каса-Реаль. Вы будете прелестнейшей парой, ведь у вас одинаковые вкусы, вы одинаково относитесь к жизни, ваш дом будет самым блестящим в Бордо. Переселяясь к вам, жене придется захватить с собой разве лишь ночной чепчик. В подобных случаях хорошо обставленный дом — целое богатство. Вам везет и в том отношении, что у вас будет такая теща, как госпожа Эванхелиста. Эта умная, проницательная особа окажет вам немалую помощь в политической деятельности, которая вам, вероятно, предстоит. К тому же она все принесет в жертву ради обожаемой дочери; и Натали — прекрасная дочь,— значит, будет прекрасной женой. А ведь вам пора уже устроить свою жизнь.

— Так-то оно так,— отвечал Поль, хотя и влюбленный, а все же желавший сохранить свободу суждения,— но хочется быть уверенным, что устроишь ее счастливо.

Поль начал бывать у г-жи Эванхелиста: нужно же чем-нибудь заполнить свободные часы, а для него это было труднее, чем для кого-либо другого. Только в ее доме все дышало тем богатством, той пышностью, к каким он привык. В сорок лет г-жа Эванхелиста была еще красива — красотой великолепного заката солнца после безоблачного летнего дня. Ее безупречная репутация служила темой для нескончаемых пересудов в светских кружках Бордо и давала обильную пищу женскому любопытству, тем более что вдова проявляла признаки пылкого темперамента, присущего испанкам, и особенно креолкам. Ее волосы и глаза были черные, ножка — настоящей испанки, у нее была гибкая, круто выгну-

тая талия, какою издавна славятся испанские женщины. Ее лицо, все еще красивое, пленяло тем особенным румянцем, который увидишь только у креолок,— его оттенок можно передать лишь путем сравнения с пурпуром, просвечивающим сквозь кисейное покрывало,— так нежно проступал румянец сквозь белизну ее лица. Она отличалась округленностью форм, особенно заманчивых благодаря грации движений, сочетавшей в себе негу и живость, непринужденность и силу. Г-жа Эванхелиста влекла к себе — и в то же время внушала почтение; она пленяла, ничего не обещая. Высокий рост придавал ей царственный вид; такой же царственной была ее поступь. Креолка завлекала мужчин своим обращением, как птиц приманивают на клей, ибо ей от природы был свойствен тот талант, которым обладают все интриганки: она добивалась одной уступки за другой, пользовалась полученными уступками, чтобы потребовать еще больше, а когда у нее просили что-нибудь взамен, умела вовремя отступить. Она не получила никакого образования, зато была знакома со всей подноготной испанского и неаполитанского дворов, знала наперечет знаменитых людей Северной и Южной Америки, знатные семьи Англии и континента; как ни поверхностны были ее познания, но благодаря их разносторонности они казались весьма обширными. Она умела принять гостей; в ней было то чувство изящного, та величественность, которым обучить нельзя: лишь у немногих есть особый дар приобрести эти свойства, заимствуя повсюду все хорошее, что может пригодиться. Трудно было понять, как могла она сохранить безупречную репутацию, но г-жа Эванхелиста ее сохранила, и это придавало еще больше веса ее поступкам и словам, помогало ей держаться с особенным достоинством.

Мать и дочь были очень дружны; их связывало не только обычное родственное чувство, у них был одинаковый характер, и постоянное общение никогда не приводило к раздорам. Поэтому многие считали, что г-жа Эванхелиста все принесла в жертву ради материнской любви. Но если Натали и являлась утешением матери в ее упорном вдовстве, все же не дочь была его единственной причиной. Говорили, что г-жа Эванхелиста некогда была страстно влюблена в одного дворянина, ко-

торому вторая Реставрация вернула все титулы, вновь сделав его пэром. Этот человек в 1814 году был не прочь жениться на г-же Эванхелиста, но в 1816 году весьма вежливо порвал с нею всякие отношения. Несмотря на то, что она казалась доброй женщиной, в ее характере была ужасающая черта, которая лучше всего выражается девизом Екатерины Медичи: «Odiate e aspettate» — «Ненавидьте и ждите». Везде первая, привыкшая к повиновению, она отличалась свойством, присущим царственным особам: приветливая, добрая, ласковая, обходительная, она становилась грозной и неумолимой, когда была затронута ее женская гордость, ее самолюбие испанки из рода Каса-Реаль. Она никогда не прощала. Эта женщина верила во всемогущество своей ненависти, верила, что злой рок будет неотступно преследовать ее врага. Она полагалась на свою роковую власть и мечтала отомстить человеку, насмеявшемуся над ней. Ход событий как будто подтвердил силу ее «джеттатуры» [1] и еще больше упрочил в ней эту суеверную убежденность в своей власти. Ее враг оказался близок к разорению, несмотря на то, что был министром и пэром Франции, а затем вконец разорился. Его имения, политическое влияние, положение в обществе — все пошло прахом. Однажды г-жа Эванхелиста, гордо проезжая в своем роскошном экипаже по Елисейским полям, встретила его, идущего пешком, и окинула взглядом, в котором сквозило торжество. Эта история, тянувшаяся свыше двух лет, помешала ей выйти вторично замуж. К тому же она была разборчива и всегда сравнивала тех, кто искал ее руки, с горячо и искренне любившим ее мужем. Так, мало-помалу, переходя от надежд к разочарованиям, от ошибок к новым расчетам, она достигла того возраста, когда женщине не остается другой роли в жизни, кроме роли матери, когда, принося себя в жертву детям, забыв все личные интересы, она целиком посвящает себя семье, этому последнему пристанищу человеческих страстей. Г-жа Эванхелиста быстро разгадала характер Поля, а собственный характер постаралась скрыть. Поль был как раз таким человеком, какого она хотела бы в зятья, какого можно было бы сделать

---

[1] Дурного глаза *(итал.)*.

покорным исполнителем ее честолюбивых замыслов. По материнской линии он был в родстве с Моленкурами; старая баронесса де Моленкур, приятельница видама Памье, принадлежала к самому влиятельному кругу Сен-Жерменского предместья. Ее внук Огюст де Моленкур был прекрасно принят в высшем свете. Таким образом, с помощью Поля семья Эванхелиста могла легко попасть в парижское общество. Вдова знала только Париж времен Империи, да и то бывала в нем лишь изредка; она хотела блистать в Париже времен Реставрации. Только там ее зять мог бы сделать политическую карьеру, единственную, которой светские женщины могут содействовать, не нарушая приличий. Г-же Эванхелиста наскучил Бордо, где ей пришлось поселиться из-за дел мужа; у нее был открытый дом, а ведь всем известно, как много обязанностей ложится в этом случае на плечи женщины. Бордо ее больше не интересовал, она исчерпала все, что этот город мог ей дать. Ей хотелось выступить на более обширной сцене, подобно тому как заядлый игрок стремится к более крупной игре. В ее собственных интересах было, чтобы Поль пошел далеко. Она решила пустить в ход все свои способности, все свое знание жизни, чтобы выдвинуть зятя и потом, прикрываясь его именем, вкусить наслаждение властью. Очень многие мужчины служат ширмой для тайного женского честолюбия.

Итак, г-же Эванхелиста было очень важно пленить будущего зятя. И она пленила Поля с тем большей легкостью, что как будто вовсе и не стремилась как-нибудь влиять на него. Но она приложила все усилия, чтобы возвысить в его глазах как себя, так и дочь и заставить ценить их общество. Она постаралась заранее подчинить себе человека, с помощью которого могла бы продолжать великосветский образ жизни.

Поль поднялся в собственном мнении, когда увидел, как его ценят мать и дочь. Он стал считать себя гораздо умнее, чем был на самом деле, с тех пор как заметил, что Натали подхватывает все его мысли, повторяет каждую его остроту, улыбаясь и покачивая головкой; ей вторила мать, причем лесть была так искусно скрыта, что казалась искренней. Обе женщины держали себя с ним так любезно, он был так уверен в том, что нравится им, они

так легко управляли им, дергая за ниточку самолюбия, что скоро он стал проводить в особняке г-жи Эванхелиста все свое время.

Через год после приезда в Бордо граф Поль был уже завсегдатаем их дома, и, хотя он еще не делал предложения, все считали его женихом Натали. Ни мать, ни дочь как будто и не помышляли об этом браке. Мадемуазель Эванхелиста вела себя весьма сдержанно, как истая аристократка, которая умеет быть обворожительной, любезной в разговоре, но не позволяет в то же время ни малейшей фамильярности. Полю очень нравилась эта сдержанность, столь мало свойственная провинциалкам. Застенчивые люди пугливы, они отступают перед предложениями, сделанными напрямик. Они бегут от счастья, если оно слишком шумливо, и сами идут навстречу несчастью, если оно предстает в скромном обличье и подернуто мягкой дымкой. Итак, видя, что г-жа Эванхелиста не прилагает никаких усилий, чтобы заманить его в сети, Поль сам в них попался. Испанка окончательно покорила его, сказав однажды вечером, что в жизни всякой незаурядной женщины, как в жизни мужчины, наступает момент, когда честолюбие вытесняет все остальные чувства.

«Эта женщина способна добиться того, что меня назначат посланником еще прежде, чем выберут депутатом!» — думал Поль, возвращаясь домой.

Человек при любых обстоятельствах должен уметь подойти к делу так, чтобы представить его себе с различных точек зрения,— иначе он бездарен, слабохарактерен и может погибнуть. В ту пору Поль был оптимистом; ему казалось, что все складывается в его пользу, и он не предполагал, что честолюбивая теща может стать тираном. Поэтому, возвращаясь по вечерам домой, он уже видел себя женатым, сам себя обольщал этой картиной, сам готов был надеть мягкие туфли брака. Он слишком долго наслаждался свободой, чтобы сожалеть о ней; холостая жизнь утомила его, уже не привлекала новизной, он замечал теперь только ее неудобства и хотя иногда задумывался о трудностях семейной жизни, но чаще мечтал о ее радостях. Все это было для него ново. «Брак,— думал он,— сулит неприятности только беднякам, а для богатых добрая половина этих бед устрани-

ма». Каждый день ему приходила в голову какая-нибудь новая мысль в пользу женитьбы; перечень преимуществ брачной жизни все возрастал. «Каких успехов я ни достигну, Натали всегда окажется на высоте положения,— думал он,— это большое достоинство в женщине. Сколько выдающихся людей Империи жестоко страдало на моих глазах от неудачного брака! Моя избранница никогда не заставит страдать мое самолюбие, не нанесет урона моей гордости, а это — важнейшее условие для счастья. Тот, кто женат на хорошо воспитанной женщине, никогда не будет несчастен: она никогда не сделает его посмешищем, всегда сумеет быть ему полезной. Натали будет просто восхитительна во время наших приемов». Он припоминал самых изысканных дам Сен-Жерменского предместья и все более убеждался, что Натали если не затмит их всех, то по меньшей мере ни в чем им не уступит. Сравнение шло целиком в ее пользу. Впрочем, все эти параллели, мысленно проводимые Полем, были подсказаны его тайными желаниями. В Париже он ежедневно встречался с красивыми девушками, разными и по внешности и по характеру, но именно благодаря обилию впечатлений оставался равнодушен к ним; а у Натали в Бордо не было соперниц, она была единственной в своем роде и появилась как раз в тот момент, когда Поля преследовала мысль о браке, овладевающая рано или поздно почти каждым мужчиной. Итак, эти сопоставления наряду с доводами самолюбия и непритворной страстью, не имевшей другого исхода, кроме законного брака, довели Поля до того, что он влюбился по уши, хотя даже самому себе не решался признаться в этом, убеждая себя, что ему просто-напросто хочется жениться. Он старался отнестись к Натали беспристрастно, как человек, не желающий подвергать риску свое будущее; дружеские предостережения де Марсе еще звучали у него в ушах. Но, во-первых, женщины, привыкшие к роскоши, отличаются обманчивой простотой; они как будто пренебрегают богатством, которое служит для них средством, а вовсе не целью. Видя, что обе дамы ведут точно такой же образ жизни, как и он сам, Поль не подозревал, что под этим кроется угроза разорения. К тому же, если существуют кое-какие неписаные правила, как улаживать неприятности, связанные с браком, то нет таких правил,

которые помогли бы предугадать или предотвратить эти неприятности. Несчастные браки между людьми, казалось бы, поставившими себе целью облегчить друг другу жизнь и сделать ее приятной, объясняются постоянным общением друг с другом, которое раскрывает их подлинные качества и которого не существует между молодыми людьми до брака и не будет существовать до тех пор, пока не изменятся французские законы и нравы. Люди, готовящиеся вступить в брак, обманывают друг друга, и это — невольный, невинный обман: каждому непременно нужно выставить себя в наиболее благоприятном свете; они состязаются в стремлении пленить один другого и в результате представляются друг другу лучше, чем впоследствии оказываются на самом деле. В жизни, как и в природе, бывает гораздо больше пасмурных дней, когда небо покрыто тучами, чем безоблачных, когда солнце ярким светом заливает поля. Молодежь замечает только ясные дни. Позже она обвиняет брак во всех недостатках, присущих самой жизни; ведь люди склонны искать причину всех зол в том, что находится в непосредственной близости к ним.

Чтобы обнаружить по лицу, словам, манерам и движениям Натали, что она, как и всякая другая, платит дань несовершенствам человеческой природы, Полю нужно было бы не только владеть наукой Лафатера и Галля, но и тем, чего не может дать никакая наука,— умением наблюдать, требующим большого житейского опыта. Как у всех девушек, у Натали было непроницаемое лицо. Скульпторы придают выражение глубокого, безмятежного спокойствия лицам мраморных дев, воплощающих Справедливость, Невинность,— словом, божества, чуждые человеческим страстям. В этой безмятежности — обаяние девушки, признак ее чистоты. Еще ничто не волновало ее души; неразделенная страсть и обманутая надежда еще не успели нарушить невозмутимость ее лица; если же это спокойствие напускное, то в такой девушке нет ничего девического. Всегда оставаясь под крылышком матери, Натали, как и всякая испанка, получила лишь чисто религиозное воспитание да несколько материнских наставлений, небесполезных для предстоящей ей роли. Спокойствие ее лица не было деланным. Но это был всего лишь покров, под которым

таилась женщина, как бабочка в коконе. Человек, умеющий обращаться со скальпелем анализа, подметил бы в ее характере кое-какие зачатки отрицательных качеств; они должны были проявиться более отчетливо при ближайшем столкновении с жизнью, как семейной, так и светской. Она отличалась дивной красотой, безупречно правильные черты ее лица были в полной гармонии с пропорциями головы и тела. Но такое совершенство несовместимо с совершенством души; исключений из этого закона почти не бывает. У истинной красавицы непременно должен быть какой-нибудь чуть заметный недостаток: он-то и придает ей неотразимую привлекательность, это тот «огонек», который возникает из противоречия чувств и приковывает взоры. Полная гармоничность свидетельствует о холодности, свойственной ограниченным натурам.

У Натали был округлый стан — признак здоровья и вместе с тем безошибочный признак твердой воли; а у людей, ум которых не отличается ни гибкостью, ни широтой, твердость воли часто переходит в упрямство. Ее руки, похожие на руки греческой статуи, свидетельствовали о том же, что и лицо и стан,— о властности; чуждой логике, о самодовлеющей воле. У нее были сросшиеся брови, а это, по мнению наблюдательных людей, признак завистливости. Выдающегося человека зависть побуждает к соревнованию, толкает на великие дела; у людей же незначительных зависть превращается в ненависть. Девиз матери «Odiate e aspettate» — был заложен в самой натуре Натали. Ее глаза, как будто черные, на самом же деле темно-карие, резко отличались цветом от волос — белокурых, с рыжеватым отливом, который столь ценился римлянами и нынче называется в Англии «auburn»; когда родители черноволосы, подобно чете Эванхелиста, то у детей зачастую бывают именно такие волосы. Белизна и нежность ее кожи придавали неописуемую тонкую прелесть этому контрасту между цветом глаз и волос,— но только внешнюю прелесть: если в чертах лица нет мягкости и округлости, то, как бы они ни были тонки и изящны, не думайте, что теми же свойствами наделена и душа. Обманчивые цветы молодости облетают, и спустя несколько лет вас поражает сухость, жесткость того самого лица, красотой и благородством

которого вы когда-то восхищались. Хотя черты лица у Натали дышали величественностью, но подбородок был, как говорят художники, несколько тяжелой лепки, это позволяло предположить наличие чувств, которым предстояло обнаружиться со всею силою лишь в зрелом возрасте. Ее губы, всегда сжатые, выражали крайнюю гордость и вполне гармонировали с руками, подбородком, бровями и станом. Наконец последний признак,— его одного было бы достаточно для суждения опытного наблюдателя: в чистом голосе Натали, в ее столь пленительном голосе слышались металлические нотки. Как искусно ни владела она им, как ни мелодичны были интонации, все же его звуки заставляли вспомнить о характере герцога Альбы, от которого Каса-Реаль происходили по боковой линии. Все эти признаки указывали на бурную страстность, на способность непримиримо ненавидеть, внезапно увлекаться, но не любить; они говорили об узости ее ума, о стремлении к владычеству во что бы то ни стало, свойственном людям, втайне сознающим свою ограниченность. Быть может, здоровая кровь несколько сглаживала эти недостатки, коренившиеся в ее темпераменте и в физическом складе; они были скрыты, точно золото в руднике, и должны были проявиться лишь в результате потрясений и ударов, которые влияют на характер в течение жизни. Но в то время юная грация и свежесть, благовоспитанность, девическая наивность и миловидность окутывали ее истинный облик точно легкой вуалью, обманывая неискушенных людей. Мать рано научила ее непринужденно болтать, разыгрывая утонченную натуру, отвечая шутками на серьезные речи и пленяя изящной непринужденностью, под которой женщины часто скрывают убожество своего ума, подобно тому, как природа маскирует бесплодную почву зеленью недолговечных растений. Натали была прелестным избалованным ребенком, не знающим, что такое горе; она пленяла своей непосредственностью, у нее никогда не было глупо-принужденного вида девушки на выданье, от которой не дождешься ни словечка, ни жеста, не предусмотренных материнскими наставлениями. Натали была весела и естественна, как всякая девица, которая ничего не знает о браке, ждет от него только удовольствий, не помышляет ни о каких бедах и думает, что замужем

она будет вправе делать все, что захочется. Разве мог Поль, страстно влюбленный в нее, разгадать характер этой девушки, пленившей его своей красотой, и предвидеть, какой женщиной станет она в тридцатилетнем возрасте? Ведь ее внешность могла бы обмануть даже людей, умудренных опытом. Обрести счастье, женившись на этой девушке, было трудно, но все-таки возможно. Все дурное в ее характере находилось еще в зародыше; было немало и хороших задатков. А ведь нет такого хорошего задатка, который не пересилил бы дурные наклонности, если его развивают опытной рукой, в особенности когда дело идет о девушке, полюбившей впервые. Но чтобы переделать столь неподатливый характер, как у Натали, нужна была поистине железная рука, о какой Полю говорил де Марсе. Парижский денди был прав. Страх, внушаемый любовью,— это незаменимое средство, чтобы держать в повиновении женскую душу. Кто любит — тот боится; а кто боится — тот ближе к привязанности, чем к вражде. Разве Поль обладал хладнокровием, рассудительностью, твердостью опытного супруга, необходимыми для этой тайной борьбы, которой жена не должна даже замечать? Да и любила ли Натали Поля? Подобно большинству девушек, она приняла за любовь первое проявление инстинкта, то приятное чувство, какое было в ней вызвано внешностью Поля; но она ничего не знала ни о браке, ни о семейной жизни. Граф де Манервиль, приобщившийся к дипломатии, знакомый с придворной жизнью всей Европы, один из изящнейших молодых людей Парижа, не мог казаться ей тем, кем он был на самом деле,— человеком заурядным, лишенным твердости духа, робким и в то же время мужественным, быть может, энергичным в тяжелую минуту, но не умеющим ограждать себя от тех неприятностей, которые отравляют счастье. Хватит ли у нее в будущем ума и такта, чтобы, несмотря на присущие Полю недостатки, оценить его, как он того заслуживает? Не станет ли она преувеличивать все плохое и забывать все хорошее, как обычно поступают молодые женщины, ничего не смыслящие в жизни? В известном возрасте, когда житейские невзгоды кажутся женщине серьезным несчастьем, она готова все простить тому, кто избавляет ее от них. Но где было взять ту примиряющую силу, ту

опытность, которые могли бы помочь молодым супругам, научить их искусству быть счастливыми? Поль и его жена воображали бы, что любят друг друга, а между тем вся любовь заключалась бы в подчеркнутой ласковости, какую не прочь проявлять на первых порах всякая молодая жена, да в восторженных восклицаниях, какие расточают мужья, вернувшись с бала и все еще находясь во власти вожделения. Разве при таких обстоятельствах Поль не очутился бы под властью жены, вместо того чтобы подчинить ее себе? Были ли основания с уверенностью сказать «нет»? На что мог бы еще отважиться человек с сильным характером, то безвольному человеку грозило гибелью.

Но мы не задавались целью описать превращение холостяка в женатого человека, хотя эта картина, набросанная широкими мазками, была бы не лишена заманчивости, какую придают скрытые бурные чувства самым обыкновенным происшествиям нашей жизни. Рассказ о событиях и замыслах, приведших Поля к браку с мадемуазель Эванхелиста,— не более как предисловие; основная же цель произведения — изобразить комедию, предшествующую всякому браку. До сих пор драматурги почему-то упускали из виду такие темы, хотя последние могли бы послужить плодотворной почвой для их творчества.

Сцены этой комедии, навсегда определившей будущность Поля и с трепетом ожидавшейся г-жой Эванхелиста,— сцены препирательств при составлении брачного контракта,— происходят во всех дворянских и буржуазных семьях, ибо человеческие страсти разжигаются одинаково сильно и крупными и мелкими денежными расчетами. Все эти комедии с непременным участием нотариуса более или менее похожи на комедию, которая описывается здесь и любопытна не столько тем, что сказано на страницах нашей книги, сколько теми воспоминаниями, какие она пробудит у женатых людей.

В начале зимы 1822 года Поль де Манервиль через свою двоюродную бабку, баронессу де Моленкур, сделал Натали предложение. Хотя баронесса никогда не проводила в Медоке больше двух месяцев, но на этот раз она осталась там до конца октября, чтобы помочь внучатому племяннику и заменить ему мать.

После предварительных переговоров с г-жой Эванхелиста бабушка, весьма опытная старая дама, сообщила Полю о результатах своих хлопот.

— Все устроено, мальчик! — сказала она.— Побеседовав о денежных делах, я выяснила, что г-жа Эванхелиста от себя лично ничего не дает дочери, но Натали, выходя замуж, сохраняет все свои права на наследство. Женись, мой друг! Всякий молодой человек, если у него есть титул, имения, переходящие от предков к потомкам, и желание продолжить свой род, рано или поздно должен вступить в брак. Мне хотелось бы, чтобы мой Огюст пошел по тому же пути. Ты можешь жениться и в мое отсутствие; моя обязанность — лишь благословить тебя, а таким старухам, как я, нечего делать на свадьбе. Поэтому я завтра уеду к себе, в Париж. Когда ты введешь свою жену в свет, мне будет гораздо удобнее принимать ее у себя, чем здесь. Если тебе в Париже негде жить, то вы всегда можете поселиться у меня; я охотно предоставлю вам третий этаж моего особняка.

— Благодарю вас, бабушка,— сказал Поль.— Но как понимать ваши слова: «Мать от себя лично ничего не дает дочери, но Натали, выходя замуж, сохраняет все свои права на наследство»?

— Твоя будущая теща, мой мальчик, себе на уме; она пользуется красотой дочери, чтобы диктовать свои условия и дать за Натали только ту часть отцовского наследства, которой ее никак нельзя лишить. Мы, старые люди, придаем большое значение вопросу: что у него есть? что есть у нее? Советую тебе дать нотариусу точные инструкции. Подписание брачного контракта, мальчик,— дело очень важное. Если бы твои родители не позаботились своевременно тебя обеспечить, то, может быть, сейчас тебе негде было бы приклонить голову. У тебя будут дети, без которых обычно не обходится брак, значит, и о них надо подумать. Поговори с нашим старым нотариусом, мэтром Матиасом.

Госпожа де Моленкур уехала, оставив Поля в большом смущении. Итак, его будущая теща — себе на уме! Заключая брачный контракт, ему придется заботиться о своих материальных интересах, нужно будет защищать их. Неужели кто-нибудь собирается на них посягать? Он решил последовать совету бабушки и поручить составле-

ние брачного контракта мэтру Матиасу. Предстоящие переговоры внушали ему некоторое беспокойство. Поэтому, приехав к г-же Эванхелиста и собираясь посвятить ее в свои планы, он сильно волновался. Подобно всем застенчивым людям, он боялся чем-нибудь выдать свое недоверие, пробужденное словами бабушки и казавшееся ему самому оскорбительным. Чтобы избежать всяких трений со столь почтенной особой, какой была г-жа Эванхелиста, он пустился в околичности, как все те, у кого недостает характера прямо приступить к делу.

— Сударыня,— сказал он, улучив момент, когда Натали вышла,— как вам известно, нотариус моей семьи ведет все мои дела. Он славный старик и будет весьма огорчен, если я не поручу ему составить мой брачный...

— Но, дорогой мой,— прервала его г-жа Эванхелиста,— ведь брачные контракты всегда заключаются с участием нотариуса и с той и с другой стороны!

Поль замолк, а г-жа Эванхелиста между тем задала себе вопрос: «Что у него на уме?» Ведь женщины обладают свойством прекрасно угадывать по выражению лица самые сокровенные мысли. Смущенный взгляд, взволнованный голос Поля выдавали происходящую в нем душевную борьбу, и она догадалась о предостережениях его бабушки.

«Ну вот,— подумала она,— роковой день наступил, кризис начинается... Что-то будет?»

— Мой нотариус — господин Солонэ,— сказала она после короткой паузы,— а ваш — господин Матиас; я приглашу их завтра к обеду, и они потолкуют обо всем. Ведь их роль и заключается в том, чтобы заботиться о наших денежных делах, точно так же, как повара заботятся о тонких обедах для нас.

— Вы совершенно правы,— ответил Поль, подавив вздох облегчения.

Роли распределились так странно, что Поль, будучи совершенно чист душою, смутился, а г-жа Эванхелиста была с виду совершенно спокойна, хотя на сердце у нее скребли кошки. Вдова обязана была дать за дочерью третью часть наследства, оставленного г-ном Эванхелиста,— миллион двести тысяч франков, но не в состоянии была бы это сделать, даже распродав все свое имущество. Она целиком зависела от великодушия будущего

зятя. Сам по себе Поль не мог бы перед ней устоять, но если в дело вмешается нотариус,— удовлетворится ли Поль представленными счетами по опеке? А если он пойдет на попятный — весь город узнает причину, и Натали невозможно будет выдать замуж. Эта мать, пекущаяся о счастье дочери, эта женщина, всю жизнь слывшая безупречной, подумала, что завтра ее, может быть, постигнет бесчестье. Подобно великим полководцам, которым хотелось бы вычеркнуть из жизни тот день, когда они втайне от всех проявили трусость, она желала бы, чтобы завтрашний день никогда не наступал. Наверно, немало седых волос прибавилось у нее за эту ночь, когда она, лицом к лицу с надвигавшейся опасностью, упрекала себя за беспечность, чувствуя, как тягостно ее положение. С утра, как только она встанет, ей предстояло во всем открыться своему нотариусу, которого она просила прийти. Ей надо было признаться в своих тайных опасениях, а до сих пор она не хотела признаваться в них даже себе самой и, приближаясь к пропасти, не теряла надежды на счастливую случайность, хотя такие надежды никогда не сбываются. Она испытывала к Полю чувство некоторой неприязни,— это не была еще ненависть или вражда, или вообще что-либо злобное; но разве он не являлся все-таки ее противником в предстоящей глухой борьбе? Разве он не стал, сам того не ведая, ее врагом, которого нужно было победить? Кто может любить жертву своего обмана? Вынужденная хитрить, испанка по-женски решила добиться блестящей победы, ради которой только и стоило вступать в эту позорную борьбу. В ночной тишине она пыталась при помощи доводов, подсказанных гордостью, найти для себя смягчающие обстоятельства. Разве не вместе с Натали вела она этот расточительный образ жизни? Разве она руководилась в своем поведении какими-нибудь низкими, неблаговидными мотивами, которые могли бы запятнать ее? Она не умела быть расчетливой, но разве это — преступление, разве это — злодеяние? Разве любой мужчина не был бы счастлив жениться на такой девушке, как Натали? Разве это сокровище, сбереженное для Поля, не стоило расписки в получении приданого? Разве сплошь да рядом мужчины не приносят огромные жертвы, чтобы завоевать любимую женщину? Почему для

законной жены нельзя сделать то, что делают для куртизанок?

К тому же Поль — человек недалекий, без особых дарований. Она постарается помочь ему своим умом и опытностью, выведет его на широкую дорогу; он будет обязан ей светской карьерой. Разве это не значит, что она полностью уплатит долг? Неужели он будет колебаться? Это было бы глупо с его стороны. Колебаться из-за того, что он получит на несколько экю меньше! Да это было бы просто подло!

«Если мне не удастся сразу же добиться успеха,—подумала она,— мы уедем из Бордо, и я, во всяком случае, смогу обеспечить Натали богатую жизнь, обратив в деньги то, что у меня осталось,— дом, бриллианты, обстановку,— отдав ей все, а для себя сохранив только скромную пенсию».

Когда государственный муж, устраненный от дел, строит себе, как Ришелье в Бруáже, роскошное пристанище, где собирается завершить свою жизнь, он черпает в этом новые силы, чтобы с триумфом вернуться к деятельности.

Так ободрилась и г-жа Эванхелиста, найдя для себя выход на случай неудачи, и заснула, полная надежды на победу в предстоящем бою. Она весьма рассчитывала на содействие самого ловкого нотариуса Бордо—г-на Солонэ, молодого человека лет двадцати семи, награжденного орденом Почетного легиона за то, что он активно содействовал вторичному возвращению Бурбонов. Счастливый и гордый тем, что его принимают у г-жи Эванхелиста не столько как нотариуса, сколько как одного из представителей роялистских кругов Бордо, Солонэ воспылал страстью к хозяйке дома, к этому еще красивому заходящему светилу. Женщины, подобные г-же Эванхелиста, могут не поддаваться чарам страсти, но все же она льстит им, и даже наиболее неприступные из них никогда ее резко не отталкивают. Поэтому Солонэ не терял самоуверенности; впрочем, он был безупречно почтителен и скромен.

С исполнительностью преданного слуги, нотариус явился в назначенное время и был введен в спальню кокетливой вдовы, принявшей его в обдуманно небрежном утреннем наряде.

— Могу ли я положиться на вашу скромность и преданность? — обратилась она к нему.— Сегодня вечером мне предстоят важные деловые переговоры. Вы догадываетесь, конечно, что дело идет о замужестве моей дочери.

Молодой человек рассыпался в учтивых заверениях.

— Итак, к делу! — сказала она.

— Я вас слушаю,— ответил он, принимая глубокомысленный вид.

Госпожа Эванхелиста напрямик объявила, в каком положении она находится.

— Ну, сударыня, все это не так уж важно,— самонадеянно заявил мэтр Солонэ, когда г-жа Эванхелиста привела ему точные цифры.— В хороших ли вы отношениях с господином де Манервилем? Этот вопрос существеннее, чем вопросы юридические или финансовые.

Госпожа Эванхелиста постаралась изобразить все свое превосходство над Полем. Молодой нотариус с живейшим удовольствием узнал, что до сих пор его клиентка всегда держалась по отношению к графу де Манервилю с большим достоинством, что из гордости, а может быть, из бессознательного расчета, она поставила себя с ним так, словно он по своему положению гораздо ниже ее и жениться на Натали — для него большая честь. Ни она сама, ни ее дочь не могли быть заподозрены ни в каких корыстных видах на него; в своих чувствах они были далеки от мелочного материализма; при малейшем недоразумении они могли подняться на недосягаемую высоту; наконец она имела огромное влияние на будущего зятя.

— Учитывая все это, на какие уступки вы согласны пойти? — спросил Солонэ.

— Чем меньше уступок, тем лучше! — ответила вдова, смеясь.

— Чисто женский ответ! — воскликнул Солонэ.— Скажите, сударыня, вы хотели бы выдать мадемуазель Натали замуж?

— Да.

— И получить расписку в том, что один миллион сто пятьдесят шесть тысяч франков, числящиеся за вами как опекуншей, сполна уплачены будущему зятю?

— Да.

— А что вы хотели бы сохранить для себя?

— По меньшей мере тысяч тридцать дохода,— ответила она.

— Нужно одержать победу — иначе все пропало?

— Да.

— Ну что ж, я подумаю, как добиться цели; ведь это дело надо вести искусно, придется затратить на него немало сил. Вечером я дам вам кой-какие указания; исполняйте их в точности, и мы добьемся успеха, могу вас заверить. Любит ли граф Поль вашу дочь? — спросил он, вставая.

— Он боготворит ее.

— Этого мало. Любит ли он ее настолько страстно, чтобы пренебречь денежными помехами?

— Да.

— Вот что, по-моему, придает ей немалую ценность вдобавок к ее имуществу! — воскликнул нотариус.—Постарайтесь, чтобы мадемуазель Натали была особенно красива сегодня вечером,— добавил он с лукавой миной.

— У нее есть восхитительное платье.

— Туалет невесты при подписании брачного контракта может уже наполовину заменить приданое,— заметил Солонэ.

Последний довод показался г-же Эванхелиста столь справедливым, что она сочла необходимым присутствовать при одевании Натали,— и не только из-за самого туалета, но и для того, чтобы вовлечь ее в заговор. В белом кашемировом платье с розовыми бантами, причесанная а ля Севинье, Натали была так красива, что мать не сомневалась в победе. Когда горничная вышла и г-жа Эванхелиста убедилась, что никто не может их услышать, она, поправив несколько локонов в прическе дочери, приступила к разговору.

— Скажи мне, девочка, ты очень любишь господина де Манервиля? — спросила она, стараясь, чтобы голос не выдал ее волнения.

Мать и дочь обменялись испытующими взглядами.

— Почему, маменька, вы задаете этот вопрос именно сегодня? Ведь вы ничего не имели против наших встреч?

— Если бы нам с тобой пришлось навсегда расстаться из-за этого брака — настаивала бы ты на нем?

— Во всяком случае, я не умерла бы с тоски, если бы дело дошло до разрыва с Полем.

— Значит, ты не любишь его, милочка,— сказала мать, целуя дочь в лоб.

— Почему, маменька, вы допрашиваете меня, точно Великий инквизитор?

— Мне нужно знать, влюблена ли ты до безумия или просто хочешь выйти замуж.

— Я все-таки люблю Поля.

— Ты права, он — граф и с нашей помощью станет, надеюсь, пэром Франции, но вашему браку могут помешать кое-какие препятствия.

— Препятствия, когда мы любим друг друга? О нет! Мой «душистый горошек», мамочка, слишком прочно тут зацепился,— сказала дочь, изящным жестом указывая на свое сердце,— чтобы хоть в чем-нибудь нам перечить. Я уверена в этом.

— А что, если ты ошибаешься? — спросила г-жа Эванхелиста.

— Тогда я сумею забыть о нем,— промолвила Натали.

— Отлично, ты настоящая Каса-Реаль! Но если он и любит тебя до безумия, все же могут возникнуть некоторые затруднения. Они будут исходить даже не от него самого, но нужно, чтобы он их преодолел,— это необходимо как для тебя, так и для меня, понимаешь, Натали? Если ты будешь с ним чуточку любезнее (разумеется, не нарушая приличий), мы легче этого достигнем. Иногда бывает достаточно какого-нибудь пустяка, даже одного слова, кинутого невзначай. Таковы уж мужчины: они упрямятся, когда с ними спорят, но тают от ласкового взгляда.

— Понимаю! Чтобы Фаворит перепрыгнул через забор, нужно его легонько подхлестнуть,— заметила Натали, сделав рукой такое движение, как будто ударяла лошадь хлыстом.

— Мой ангел, я вовсе не собираюсь просить тебя обольщать его. Наша старая кастильская честь не позволяет нам переходить известные границы. Вскоре граф Поль узнает, в каком положении мои дела.

— В каком же?

— Ты все равно не поймешь. Но если теперь, когда

он увидит тебя во всем блеске красоты, я замечу в его взгляде хоть малейшее колебание, я тотчас же порву с ним, продам все, что у меня осталось, и мы уедем в Дуэ к Клаасам,— ведь они, как-никак, в родстве с нами через Тэмнинков. Потом я выдам тебя замуж за пэра Франции, и ты получишь все мое состояние, даже если мне придется удалиться для этого в монастырь.

— О маменька! Что же нужно сделать, чтобы избежать такой беды? — спросила Натали.

— Как ты сегодня красива, дитя мое! Будь немножко кокетливее, вот и все.

Госпожа Эванхелиста ушла, оставив Натали в задумчивости, и занялась своим туалетом, чтобы не отстать от дочери. Если роль Натали заключалась в том, чтобы казаться обворожительной Полю, то матери нужно было вдохновить Солонэ, защитника их интересов. Итак, когда Поль привез Натали букет, что он имел обыкновение делать изо дня в день уже несколько месяцев,— и мать и дочь находились во всеоружии. В ожидании прихода нотариусов они втроем завязали разговор.

В этот день Полю пришлось выдержать первую стычку, которою началась долгая и утомительная борьба, называемая женитьбой. Нужно было установить, насколько велики силы каждой воюющей стороны, где они расположены и как будут маневрировать. В этой борьбе, важность которой Поль даже не был в состоянии постичь, его единственным соратником являлся старый нотариус Матиас. Оба они были застигнуты врасплох неожиданным нападением: их теснил враг, хорошо знавший, чего добивается, им приходилось принимать решения, не имея даже времени обдумать их. Кто устоял бы тут, даже если бы на защиту выступил сам Кюжас или Бартоле? Кто мог заподозрить обман там, где все казалось естественным и простым? Что мог поделать один Матиас против г-жи Эванхелиста, Солонэ и Натали, в особенности если учесть, что его влюбленный клиент был способен перейти на сторону врага при малейшем препятствии, ставящем под угрозу его счастье? Поль и так уже причинил себе немалый вред, расточая пылкие речи, обычные для влюбленных, но имевшие особый смысл для г-жи Эванхелиста, которая ждала, чтобы он связал себя каким-нибудь неосторожным словом.

В двух нотариусах, этих кондотьерах брака, от которых зависел исход решительной схватки, готовых во имя интересов своих клиентов помериться силами, олицетворялись старые и новые нравы, старый и новый тип законника.

Мэтр Матиас был добродушный старичок шестидесяти девяти лет; он гордился своим двадцатилетним пребыванием на посту нотариуса. Его ноги с выпирающими коленками и огромными подагрическими ступнями, обутыми в башмаки с серебряными пряжками, были так тонки, что, когда он клал их друг на друга, они смахивали на две скрещенные кости с какого-нибудь надгробия. Худые ляжки, болтавшиеся в широких черных штанах с застежками у колен, казалось, вот-вот подломятся под тяжестью объемистого живота и всего туловища, чрезмерно грузного, как у всех, кто ведет комнатный образ жизни, и втиснутого всегда в один и тот же зеленый сюртук с прямоугольными полами, облекавший эти шарообразные формы с незапамятных времен. Его волосы, тщательно прилизанные и напудренные, были собраны на затылке в крысиный хвостик, всегда запрятанный между воротником сюртука и воротником белого с цветочками жилета. Когда этот человечек появлялся где-нибудь в первый раз, его круглая голова, его лицо, испещренное красными жилками, точно виноградный листок, голубые глаза, вздернутый нос, толстые губы, двойной подбородок возбуждали веселый смех, каким французы обычно встречают всякие забавные создания, игру природы; это любимая пожива художников — что называется, ходячая карикатура. Но дух мэтра Матиаса торжествовал над своей оболочкой, а его внутренние достоинства — над нелепой внешностью. Большинство жителей Бордо относилось к нему с дружеской почтительностью и симпатией, полной уважения. Выразительный голос нотариуса, в котором, казалось, звучала сама честность, подкупал слушателей. Мэтр Матиас шел всегда прямо к делу, без обиняков, парируя коварные замыслы своими точными вопросами. Острый взгляд и большой житейский опыт выработали в нем проницательность, позволявшую ему заглядывать в тайники души и читать самые сокровенные мысли. Всегда серьезный и важный при обсуждении дел, этот патриарх, однако, не чуждал-

ся веселости наших предков. Он, вероятно, не прочь был подхватить застольную песню, признавал и чтил семейные обычаи, праздновал годовщины, именины бабушек и внуков, принимал участие в погребении рождественского полена; он, должно быть, любил делать новогодние подарки, сюрпризы, дарить пасхальные яйца, добросовестно выполнял все обязанности крестного отца и не чурался тех обычаев, которые в старину так скрашивали жизнь. Мэтр Матиас был благородным и почтенным представителем исчезающего поколения нотариусов, незаметных, но честнейших людей, которые не давали расписок, принимая на хранение миллионы, но возвращали деньги в тех же самых мешках, перевязанных той же самой бечевкой; в точности выполняли поручения завещателей, добросовестно составляли описи, по-отечески заботились об интересах клиентов, порой даже позволяли себе противиться их расточительности, были хранителями семейных тайн. Словом, он был одним из тех нотариусов, которые сознают свою ответственность за малейшую ошибку в документах и подолгу обдумывают содержание бумаг. Никогда за всю его долгую деятельность никто из клиентов не мог пожаловаться на потерю отданных под проценты денег, на невыгодность закладной для кредитора или для должника. Его богатство, росшее медленно, но вполне законным путем, было плодом тридцатилетнего труда и тридцатилетних сбережений. Четырнадцать своих писцов он определил на хорошие места. Отличаясь набожностью и щедростью, Матиас, сохраняя инкогнито, был одним из первых всюду, где нужна была бескорыстная помощь. Деятельный член благотворительных обществ и комитетов призрения, он подписывался на самую крупную сумму, когда собирались добровольные пожертвования для помощи человеку, внезапно попавшему в беду, или для основания какого-нибудь учреждения в пользу бедных. Ни у него самого, ни у его жены не было собственной кареты, зато его слово было свято, зато в его подвалах хранилось не меньше доверенных ему ценностей, чем в любом банке; зато его звали «наш добрый господин Матиас»; и когда он умер, за его гробом шло три тысячи человек.

Солонэ был одним из тех молодых нотариусов, которые входят в дом клиента напевая, стараются сохранить

непринужденный вид и утверждают, что дела можно так же хорошо вести с веселой улыбкой, как и с серьезной миной. У такого нотариуса обычно есть звание капитана национальной гвардии; ему досадно, что все считают его только нотариусом; он усердно добивается ордена Почетного легиона; у него своя карета; документы за него проверяют письмоводители. Он посещает балы, спектакли, покупает картины, играет в экарте; отданные ему на хранение бумаги он кладет в кассу, но сумму, полученную золотом, возвращает банковыми билетами. Такой нотариус идет в ногу с эпохой, пускается в рискованные денежные операции, играет на бирже и надеется после десятилетней работы уйти на покой, имея тридцать тысяч дохода. Он не столько опытен, сколько хитер, и многие боятся его — как сообщника, владеющего их тайнами. Словом, такой нотариус рассчитывает, что, по роду своей деятельности, дождется в конце концов счастливого случая жениться на какой-нибудь богатой наследнице, пускай хоть на синем чулке.

Когда стройный белокурый Солонэ вошел в гостиную, завитой, надушенный, щегольски обутый, точно актер из Водевиля в роли первого любовника, одетый, как денди, для которого самое важное на свете — дуэль, а за ним появился его старый коллега, шедший много медленнее из-за приступа подагры,— оба нотариуса казались живым воплощением одной из тех карикатур под названием «Прежде и теперь», что имели такой успех во времена Империи. При виде вошедших Натали и ее мать, незнакомые с «добрым господином Матиасом», с трудом удержали улыбку, но их подкупила учтивость, с какой он поздоровался с ними. В словах старичка чувствовалось добродушие, присущее приветливым старым людям и сквозящее в их мыслях и выражениях. Молодой нотариус, несмотря на свою развязность, терял по сравнению с ним. Насколько лучше умел себя держать Матиас, видно было уж по тому, как он сдержанно приветствовал Поля, не унижая своих седин; он давал понять, что почтительно относится к знатности молодого человека, но что старость также имеет право на почет, и разное общественное положение не мешает уважать друг друга. Наоборот, поклон и приветствие Солонэ показывали, что он считает себя на равной ноге со всеми; это

задевало самолюбие светских людей, а настоящим аристократам казалось просто смешным. Молодой нотариус довольно фамильярным жестом отозвал г-жу Эванхелиста в сторону, желая поговорить с ней наедине. Некоторое время они шептались в оконной нише, обмениваясь улыбками, чтобы ввести остальных в заблуждение насчет характера их разговора. Мэтр Солонэ посвятил владычицу своего сердца в выработанный им план действий.

— Скажите,— спросил он под конец,— у вас в самом деле хватит духу продать свой особняк?

— Разумеется,— ответила она.

Госпожа Эванхелиста не стала сообщать причин героического решения, столь поразившего нотариуса; усердие Солонэ могло бы остыть, если бы он узнал, что его клиентка собирается уехать из Бордо. Тем более она ничего не сказала Полю, чтобы не испугать его обширностью тех фортификационных сооружений, какие пришлось воздвигнуть при начале военных действий.

После обеда оба полномочных представителя оставили влюбленную парочку в обществе матери и перешли в соседнюю гостиную, где и должны были состояться переговоры. Итак, действие происходило одновременно в двух местах: у камина в большой гостиной разыгрывалась любовная сценка, там жизнь казалась радостной и веселой; в смежной комнате протекала серьезная и мрачная сцена, на первый план там выступали голые материальные интересы, обычно прикрываемые обманчивой беззаботностью.

— Дорогой мэтр,— сказал Солонэ Матиасу,— контракт будет храниться в ваших делах, это право принадлежит вам по старшинству.

Матиас с важностью поклонился.

— Но,— продолжал Солонэ, разворачивая набросок контракта, составленный для него письмоводителем,— так как я защищаю интересы слабой стороны, интересы невесты, то я взял на себя труд самолично изложить условия. Они таковы: представляемая мною особа выходит замуж с приданым на основе общности владения имуществом; в случае смерти одного из супругов, при отсутствии наследников, все имущество полностью переходит к супругу, оставшемуся в живых; при наличии же наследников — четвертая часть остается в пожиз-

ненном пользовании, а четвертая часть переходит в номинальное владение. В общей собственности будет находиться четвертая часть личного имущества каждого из супругов. Тот из них, кто переживет другого, получает всю движимость, не будучи обязан делать ей опись. Словом, все ясно, как божий день.

— Та-та-та-та,— сказал Матиас,— так дела не делаются, это вам не песенку спеть. Что дают за невестой?

— А что имеется у жениха? — спросил, в свою очередь, Солонэ.

— Наше состояние,— сказал Матиас,— это, во-первых, поместье Ланстрак, приносящее двадцать три тысячи ливров дохода чистоганом, не считая поступлений натурой; засим — фермы Грассоль и Гюадэ, дающие каждая по три тысячи шестьсот ливров; засим — имение Бельроз, приносящее в среднем шестнадцать тысяч ливров; итого сорок шесть тысяч двести франков дохода. Засим — родовой особняк в Бордо, за который взимается налог в девятьсот франков. Засим — прекрасный дом с садом и двором, находящийся в Париже, на улице Пепиньер, налог — полторы тысячи франков. Документы на перечисленную недвижимость находятся у меня; все это перешло к графу де Манервилю по наследству от родителей, за исключением дома в Париже, являющегося его личным приобретением. Наконец обстановка двух особняков и замка в Ланстраке, оцененная в четыреста пятьдесят тысяч франков. Вот вам стол, скатерть и первое блюдо. Что вы нам дадите на второе и на десерт?

— Приданое,— сказал Солонэ.

— Перечислите его, дорогой мэтр,— возразил Матиас.— Что вы можете мне предъявить? Где опись имущества, составленная после кончины господина Эванхелиста? Покажите мне, как была проведена ликвидация его дел, куда были помещены наличные деньги? Где ваши капиталы, если таковые существуют? Где ваша недвижимость, если таковая имеется? Короче, покажите мне все дела по опеке и разъясните, что получит от матери невеста сейчас и что унаследует после нее.

— Любит ли граф де Манервиль мадемуазель Эванхелиста?

— Он готов жениться на ней, если условия брачного контракта окажутся подходящими,— сказал старый нота-

риус.— Я не ребенок: мы говорим сейчас о делах, а не о чувствах.

— Однако дело не выгорит, если вы не проявите великодушия,— возразил Солонэ.— И вот почему. Мать невесты после смерти мужа не составила описи имущества: она испанка, креолка и не знакома с французскими законами. Потрясенная скорбью, она и не думала о пустых формальностях; их выполняют с легким сердцем лишь люди черствые. Общеизвестно, что покойный муж обожал ее и что она горько оплакивала его смерть. Если все же ликвидация дел сопровождалась составлением краткой описи, на основании простого опроса, то лишь благодаря второму опекуну: он настоял на том, чтобы положение было приведено в ясность и за дочерью было закреплено право на капитал, образовавшийся к тому времени, когда пришлось изъять из Лондонского банка английские ценные бумаги на огромную сумму, каковую решено было отдать под проценты в Париже, удвоив таким образом доходы...

— Не говорите вздора. Существуют способы все проверить. Какова была сумма наследственных пошлин, уплаченная казне? Назовите ее, и мы установим размеры наследства. Держитесь ближе к делу. Скажите прямо, что было получено и что осталось. Если мой клиент очень влюблен, он будет снисходителен.

— Ну, если вы хотите жениться на деньгах, ничего не выйдет. Невеста, собственно говоря, должна получить в приданое свыше миллиона. Но у матери остались только этот особняк, движимое имущество и четыреста с лишним тысяч франков, помещенные в тысяча восемьсот семнадцатом году из пяти процентов и приносящие ныне сорок тысяч дохода.

— Как же можно при этом вести образ жизни, требующий ста тысяч в год? — воскликнул пораженный Матиас.

— Что же делать, содержание дочери обходилось безумно дорого! К тому же госпожа Эванхелиста в самом деле не знает счета деньгам. Впрочем, все ваши сетования не вернут ей ни гроша.

— С пятьюдесятью тысячами дохода, принадлежавшими лично мадемуазель Натали, ее можно было без всякого разорения вырастить в обстановке полного до-

статка. Но если в девушках у нее такие аппетиты, то до чего же дойдет ее расточительность, когда она выйдет замуж?

— Что ж, в таком случае не женитесь,— ответил Солонэ,— красивая женщина всегда проживает больше, чем у нее есть.

— Мне нужно поговорить с моим клиентом,— сказал старик.

«Иди, иди, старый папаша Кассандр, доложи ему, что у нее нет ни гроша»,— подумал мэтр Солонэ в тиши кабинета, расположив свои доводы, по всем правилам стратегии, сомкнутыми колоннами, построив эшелонами свои предложения, воздвигнув баррикады из спорных вопросов и подготовив почву для того, чтобы в тот момент, когда дело будет казаться окончательно расстроенным, стороны могли благополучно начать мирные переговоры, в которых, разумеется, одержит верх его клиентка.

Белое платье с розовыми бантами, локоны, завитые а ля Севинье, стройная ножка Натали, кокетливые взгляды, хорошенькая ручка, беспрерывно поправляющая прическу, хотя в этом не было ни малейшей надобности (обычная уловка девушек, когда они, как павлин, выставляют напоказ свою красоту),— все это привело Поля именно в такое состояние, в каком его хотела видеть будущая теща: он был опьянен желанием, невеста возбуждала в нем не меньшее вожделение, чем в лицеисте — куртизанка; по его взглядам, верному термометру души, можно было заметить, что влюбленность его дошла до того предела, когда мужчина способен натворить глупостей.

— Натали так красива,— шепнул Поль вдове,— что мне теперь понятно то исступление любви, когда бывают готовы заплатить за счастье своею жизнью.

— Обычные слова влюбленного,— возразила г-жа Эванхелиста, пожимая плечами.— А вот я никогда не слыхала от мужа таких речей; однако он женился на мне, не взяв приданого, и в течение тринадцати лет ни разу не огорчил меня.

— Это намек? — спросил Поль смеясь.

— Вы знаете, как я вас люблю, мой мальчик! — ответила она, взяв его за руку.— Разве я могла бы отдать вам свою Натали, если бы не любила вас?

— Отдать меня, меня? — воскликнула молодая девушка, смеясь и обмахиваясь веером из перьев тропических птиц.— О чем вы там шепчетесь?

— Я говорил о том, как я вас люблю,— ответил Поль.— Ведь общепринятые условности не позволяют мне прямо высказать это вам.

— Почему?

— Я боюсь!

— О, вы достаточно умны и хорошо умеете вставлять в оправу драгоценные камни комплиментов. Хотите, я скажу, что думаю о вас? По-моему, вы слишком умны для влюбленного. Быть «душистым горошком» и вдобавок остроумным человеком — не слишком ли это много? — добавила она, потупив глаза.— Нужно выбрать что-нибудь одно. Я тоже боюсь...

— Чего?

— Не будем об этом говорить. Не кажется ли вам, маменька, что подобная беседа опасна, раз брачный контракт еще не подписан?

— Но мы скоро подпишем его,— возразил Поль.

— Мне хотелось бы знать, о чем совещаются Ахилл и Нестор,— заметила Натали, указывая на дверь гостиной; в ее взгляде светилось детское любопытство.

— Они говорят о наших будущих детях, о нашей смерти и тому подобных пустяках; они считают экю, чтобы решить, хватит ли у нас с вами денег держать в конюшне пятерку лошадей, и обсуждают также, что должен дать каждый из нас... Но я их опередил.

— Как? — спросила Натали.

— Разве я не отдал уже вам всего себя?—ответил он, взглянув на девушку, а та стала еще красивее, вспыхнув румянцем при этом ответе, который доставил ей видимое удовольствие.

— Маменька, чем я могу отблагодарить за такую щедрость?

— Дитя мое, в твоем распоряжении — вся жизнь. Повседневно приносить мужу счастье — разве это не значит одаривать его неисчерпаемыми сокровищами? В моем приданом не было других богатств.

— Нравится ли вам Ланстрак?— спросил Поль у Натали.

— Как мне может не нравиться что-нибудь, принад-

лежащее вам? — ответила она.— Мне очень хотелось бы посмотреть ваш дом.

— *Наш* дом,— поправил ее Поль.— Вам хочется знать, угадал ли я ваш вкус, будет ли там уютно. Матушка растила вас так, что мужу нелегко будет вам угождать: ведь вы привыкли ни в чем не встречать отказа. Но когда любовь безгранична — для нее нет ничего невозможного.

— Дети,— сказала г-жа Эванхелиста,— зачем вам оставаться в Бордо, когда вы поженитесь? Хватит ли у вас духа жить на глазах у всех, в обществе, где вас обоих знают, где будут следить за вами и стеснять вас? Целомудренность вашего чувства не позволит ему изливаться при всех,— так не лучше ли уехать в Париж, где жизнь молодой четы незаметна в общем бурном потоке? Только там вы сможете любить друг друга, не боясь прослыть смешными.

— Вы правы, матушка, я не подумал об этом. Но еще можно успеть приготовить мой дом к нашему приезду. Сегодня же вечером я напишу де Марсе, моему другу, на которого можно вполне положиться, и работа закипит.

В то время как Поль, подобно всем молодым людям, привыкшим удовлетворять все свои прихоти, неосмотрительно давал обещание переехать в Париж, что требовало немалых расходов, мэтр Матиас вошел в гостиную и сделал своему клиенту знак, что хочет с ним поговорить.

— В чем дело, мой друг? — спросил Поль, отойдя с ним в сторону.

— Граф,— сказал старик,— за ней не дают ни гроша. По-моему, следует отложить переговоры, пока вы не примете надлежащего решения.

— Граф,— промолвила Натали,— я также хочу сказать вам кое-что.

Хотя г-жа Эванхелиста оставалась с виду спокойной, но даже средневековый еврей, брошенный в котел с кипящим маслом, не испытывал таких мук, какие терзали ее грудь под лиловым бархатом платья. Солонэ заверял ее, что брачный контракт будет подписан, но она не знала, каким образом, на каких условиях нотариус добьется успеха, и томилась неизвестностью, переходя от надежды к страху. И вот, быть может, именно непослушание дочери обеспечило ей победу. Натали по-своему истолко-

вала слова матери; тревога, которую та испытывала, не ускользнула от нее. Когда она увидела успех своего кокетства, в ее уме зародились тысячи противоречивых мыслей. Хотя она не порицала мать, но ей было немного стыдно за эти уловки, имевшие целью кое-что выиграть. Затем ее охватило вполне понятное ревнивое любопытство: ей хотелось знать, настолько ли ее любит Поль, чтобы преодолеть затруднения, предвиденные ее матерью,— о них свидетельствовало и пасмурное лицо мэтра Матиаса. Все эти чувства толкнули ее на прямодушный поступок, говоривший в ее пользу; но самое коварное вероломство не принесло бы Полю столько вреда, как эта невинная выходка.

— Поль,— сказала она шепотом, впервые называя его по имени,— если мы должны расстаться из-за каких-нибудь материальных затруднений, то знайте, что я освобождаю вас от данного мне слова и готова принять на себя всю ответственность за наш разрыв.

Это великодушное предложение было сделано с большим достоинством; Поль убедился, что Натали бескорыстна и ничего не знает о том, что сообщил нотариус. Он поцеловал руку девушки, давая этим понять, что любовь для него дороже денег. Натали вышла из комнаты.

— Тысяча чер... нильниц! Господин граф, вы делаете глупости! — промолвил старый нотариус, вновь подойдя к своему клиенту.

Поль задумался: он рассчитывал, что, когда к его состоянию присоединится состояние Натали, у них будет около ста тысяч дохода; и как бы ни был влюблен человек, ему нелегко освоиться с мыслью, что вместо ста тысяч у него окажется только сорок шесть, а жена между тем привыкла жить в роскоши.

— Теперь, когда моей дочери здесь нет,— сказала г-жа Эванхелиста, с царственным видом подходя к Полю и нотариусу,— не сообщите ли вы мне, что случилось?

— Сударыня,— ответил Матиас, испуганный молчанием Поля и стараясь найти выход,— возникли кое-какие помехи, дело затягивается.

Тут мэтр Солонэ появился в гостиной и прервал своего коллегу. Его слова показались Полю целебным бальзамом. Подавленный мыслью о только что данных неосмотрительных обещаниях, связанный своей ролью

влюбленного, Поль не знал, ни как взять обратно свои слова, ни как изменить положение; ему было бы легче броситься в пропасть.

— Сударыня, вам представляется возможность выполнить свои обязательства по отношению к дочери,— заявил молодой нотариус непринужденным тоном.— У вас сорок тысяч ливров дохода, приносимого пятипроцентными облигациями, которые вскоре будут котироваться по нарицательной стоимости, если не дороже; значит, их можно оценить в восемьсот тысяч франков. Этот особняк с садом стоит не менее двухсот тысяч. Раз это так, то вы можете, сударыня, передать дочери по брачному контракту номинальное право на владение этими ценностями — ведь в намерения графа не входит, надеюсь, оставить свою тещу без всяких средств к жизни. Если вы и прожили свое состояние, сударыня, то капитал, принадлежащий вашей дочери, остался почти нетронутым.

— Какое несчастье, что женщины ничего не смыслят в делах!—воскликнула г-жа Эванхелиста.—Номинальное право? Что это такое?

Поль пришел в восторг, услышав о возможности соглашения. Старый нотариус, видя расставленную ловушку, в которую его клиент уже готов был попасть, оцепенел от удивления, пробормотав:

— Да нас просто водят за нос!

— Последуйте моему совету, сударыня, и можете быть совершенно спокойны,— продолжал молодой нотариус.— Хотя вы и приносите жертву, но по крайней мере избавляетесь от дальнейших забот, могущих возникнуть, когда подрастут будущие внуки. Ведь неизвестно, сколько кому остается жить. Итак, граф может указать в контракте, что им получено все, что приходится на долю мадемуазель Эванхелиста из наследства ее отца.

Матиас больше не в силах был сдерживать негодование; его глаза сверкали, лицо побагровело.

— И этот капитал,— сказал он, дрожа от гнева,— равен...

— Одному миллиону ста пятидесяти шести тысячам франков, согласно документам.

— Почему вы заодно не потребуете от графа, чтобы он тут же и безотлагательно передал все свое состояние будущей супруге? — спросил Матиас.— Это было бы ку-

да откровеннее, чем то, что вы нам предлагаете. Я не желаю, чтобы разорение графа де Манервиля происходило на моих глазах; я ухожу.

Он сделал шаг к дверям, чтобы показать своему клиенту всю серьезность сложившихся обстоятельств, но затем вернулся и добавил, обращаясь к г-же Эванхелиста:

— Не думайте, сударыня, что я считаю вас сообщницей моего коллеги: вы достойная женщина, знатная дама, но ничего не понимаете в делах.

— Спасибо, дорогой коллега,— сказал Солонэ.

— Вам известно, что мы с вами не можем оскорбить друг друга,— ответил ему Матиас.— Сударыня, узнайте по крайней мере, к чему приведут эти условия. Вы еще настолько молоды и красивы, что можете вновь выйти замуж. Ах, боже мой, сударыня,— возразил старик в ответ на движение г-жи Эванхелиста,—кто может поручиться за себя?

— Я не думала, сударь,—сказала г-жа Эванхелиста,— что после семилетнего вдовства, после того как я из любви к дочери отвергла самые блестящие партии, теперь, когда мне уже тридцать девять лет, меня могут заподозрить в подобном сумасбродстве! Если бы мы не вели деловой разговор, я назвала бы такое предположение дерзостью.

— Разве не было бы еще большей дерзостью считать, что вы не можете выйти замуж?

— Иметь возможность и хотеть — вещи разные,— заметил любезно Солонэ.

— Хорошо,— сказал мэтр Матиас,— не будем говорить о вашем замужестве. Но ведь вы можете (чего и мы все желаем) прожить еще лет сорок пять. А это значит— так как вы сохраните право на пожизненное пользование наследством господина Эванхелиста,— что вашей дочери и зятю придется положить зубы на полку.

— Что вы хотите этим сказать? — спросила вдова.— Что значит «пожизненное пользование» и «положить зубы на полку»?

Солонэ, человек со вкусом и любитель изящного, рассмеялся.

— Я объясню вам,— ответил старик.— Если вступающие в брак благоразумны, они думают о будущем. А думать о будущем — значит откладывать половину доходов,

даже если предположить, что будет только двое детей, которых надо как следует воспитать, а затем обеспечить. Значит, ваша дочь и ваш зять будут вынуждены жить на двадцать тысяч в год, в то время как сейчас, не состоя в браке, каждый из них привык тратить по пятидесяти тысяч. Но это еще не все. Наступит день, когда мой клиент должен будет дать своим детям отчет в миллионе ста тысячах франков, принадлежавших их матери, но он может их совсем не получить, если она тем временем умрет, а вы, сударыня, будете еще здравствовать, что ведь может случиться. По совести говоря, подписывать такой контракт — все равно, что броситься в Жиронду, заранее дав связать себя по рукам и ногам. Вы хотите, чтобы ваша дочь была счастлива? Но если она питает к мужу любовь — чувство, в котором нотариусы не должны сомневаться,— она разделит с ним все невзгоды. Сударыня, этих невзгод будет достаточно, чтобы умереть с горя, так как она будет терпеть нужду. Да, сударыня, нужду, ибо для людей, которым требуется сто тысяч в год, иметь только двадцать тысяч — равносильно нужде. Если граф пойдет во имя любви на безрассудство и когда-нибудь стрясется беда — изъятие имущества супруги будет для него разорением. Я защищаю как их интересы, так и ваши, защищаю интересы их будущих детей, интересы всего общества.

«Старичок палит изо всех пушек»,— подумал мэтр Солонэ и взглянул на свою клиентку, как бы желая сказать ей: «Ну же!»

— Эти интересы можно примирить,— спокойно ответила г-жа Эванхелиста.— Я могу оставить себе лишь небольшую пенсию, необходимую для жизни в монастыре, и вы тотчас же вступите во владение моим имуществом. Я готова отказаться от светской жизни, если это обеспечит счастье дочери.

— Сударыня,— сказал старый нотариус,— нужно время, чтобы здраво обдумать положение и найти выход, устраняющий все трудности.

— А, боже мой, сударь,— воскликнула г-жа Эванхелиста, для которой промедление было гибельно,— ведь все и так ясно! Я не знала, как заключаются браки во Франции, ведь я испанка и креолка. Мне не было известно, что, прежде чем выдать дочь замуж, надо напе-

ред знать, сколько дней господь судил мне еще прожить; оказывается, я причиняю дочери ущерб своим существованием, я виновата в том, что еще жива, что так зажилась на свете. Когда я выходила замуж, у меня не было ничего, кроме имени; но оно одно казалось моему мужу дороже, чем все богатства. Какие сокровища могут сравниться со знатным происхождением? Моим приданым были красота, добродетель, знатное имя, воспитание, способность принести мужу счастье. Могут ли деньги заменить все это? Если бы отец Натали слышал наш разговор, это глубоко уязвило бы его благородную душу, смутило бы его загробный покой. Я истратила несколько миллионов,— хотя, возможно, и безрассудно, но никогда не видела, чтобы он хмурился из-за этого. После его смерти я стала бережливее, расчетливее, если сравнить с тем образом жизни, какой я вела раньше по его собственному желанию. Итак — разрыв! Господин де Манервиль до того расстроен, что я...

Нет возможности передать, какое замешательство и смятение были вызваны среди собеседников словом «разрыв». Достаточно сказать, что все четверо, невзирая на свою воспитанность, заговорили одновременно.

— В Испании можно заключать браки сообразно с испанскими обычаями, как заблагорассудится; но во Франции это делается сообразно с французскими обычаями, сообразно со здравым смыслом и с материальными возможностями! — заявил Матиас.

— О сударыня, вы заблуждаетесь насчет моих истинных чувств! — воскликнул Поль, выйдя наконец из оцепенения.

— Речь идет не о чувствах,— прервал его старый нотариус, желая удержать своего клиента от опрометчивого поступка,— речь идет об интересах всех трех поколений. Разве это мы промотали недостающие миллионы? Мы только стараемся избежать трудностей, в возникновении которых ничуть не виноваты.

— Женитесь, не торгуясь! — воскликнул Солонэ.

— Мы торгуемся? По-вашему, защищать интересы будущих детей, интересы отца и матери — значит торговаться? — возразил Матиас.

— Да, я глубоко сожалею, что в молодости был расточителен,— продолжал Поль, обращаясь к вдове,— и не

могу из-за этого одним словом покончить весь спор. Вы также, должно быть, сожалеете о том, что не умели вести дела и были невольной виновницей их расстройства. Бог свидетель — я не думаю сейчас о себе; скромная жизнь в Ланстраке не страшит меня; но ведь Натали придется отказаться от своих привычек, от своих вкусов... Мы будем вынуждены вести очень скромный образ жизни.

— А откуда брались миллионы у моего мужа? — сказала вдова.

— Господин Эванхелиста вел коммерческие дела,— живо возразил старый нотариус,— рисковал крупными суммами, как всякий негоциант; он снаряжал корабли и в результате получал значительные барыши, а граф—только обладатель капиталов, помещенных в дела, дающие один и тот же определенный доход.

— Есть еще возможность примирить стороны,— заявил Солонэ. Его слова, произнесенные фальцетом, принудили замолчать остальных собеседников и привлекли к нему всеобщее внимание. Все взгляды обратились на него.

Этот молодой человек был похож на искусного кучера, который, держа в руках вожжи, управляет четверкой лошадей и по своей прихоти погоняет или сдерживает их. Он то давал волю страстям, то вновь их успокаивал, меж тем как Поль задыхался в своей упряжи — ведь речь все время шла о его жизни и счастье; а г-же Эванхелиста порой совсем застилало глаза вздымающимся вихрем спора.

— Вы можете, сударыня,— продолжал Солонэ после краткой паузы,— немедленно передать графу все пятипроцентные облигации и продать свой особняк. Я могу выручить за него триста тысяч франков, пустив земельный участок в продажу по частям. Из этой суммы вы вручите графу полтораста тысяч франков. Итого, он тотчас же получит девятьсот пятьдесят тысяч; если это и не составит всей суммы, которую вы должны дочери, то все же во Франции мало найдется таких приданых!

— Прекрасно,— сказал мэтр Матиас,— а что останется у матери?

В этом вопросе уже чуялось согласие, и Солонэ подумал:

«Ага, попался, старый волк!»

— Что касается госпожи Эванхелиста,— продолжал молодой нотариус,— то у нее останется пятьдесят тысяч

экю из суммы, вырученной за особняк. Эти деньги, вместе с полученными от продажи движимого имущества, могут быть обращены в ценные бумаги, дающие пожизненный доход в размере двадцати тысяч ливров. Жить она может у графа. Ланстрак — обширное поместье. У вас,— сказал он, обращаясь к Полю,— имеется дом в Париже; значит, ваша теща может и там жить вместе с вами. Не имея никаких расходов по дому и обладая двадцатитысячным доходом, она будет даже богаче, чем в данное время, когда пользуется всем своим состоянием. У г-жи Эванхелиста только одна дочь; граф также одинок, если не считать дальней родни,— значит, нечего опасаться столкновения интересов. Теща и зять при подобных условиях являются членами одной и той же семьи. Недостающую сумму г-жа Эванхелиста возместит, внося из двадцати тысяч своего пожизненного дохода известную плату за свое содержание, что послужит подспорьем для молодых. Как нам известно, вы слишком благородны, сударыня, слишком великодушны, чтобы быть в тягость детям. Таким образом, вы будете жить все вместе, беззаботно, располагая ста тысячами франков в год; не правда ли, граф, эта сумма вполне достаточна, чтобы пользоваться в любой стране всеми благами существования и удовлетворять все свои прихоти? Согласитесь, что новобрачные зачастую испытывают потребность в присутствии третьего лица. Кто же, скажите, может быть этим третьим лицом, как не любящая и добрая мать?

Полю казалось, что устами Солонэ говорит сам ангел небесный. Он посмотрел на Матиаса, чтобы узнать, разделяет ли тот его восторг перед пылким красноречием Солонэ; ведь Поль не знал, что под притворным воодушевлением пламенных речей у нотариусов, как и у адвокатов, скрываются хладнокровие и настороженность, свойственные дипломатам.

— Сущий рай, да и только! — воскликнул старик.

Ошеломленный при виде радости своего клиента, Матиас сел на оттоманку и, подперев голову рукой, погрузился в угрюмое раздумье. Ему хорошо была знакома тяжеловесная фразеология, с помощью которой деловые люди маскируют свои хитрости, и он был не таков, чтоб попасться на эту удочку. Его коллега и г-жа Эванхелиста продолжали беседовать с Полем, а Матиас украдкой

наблюдал за ними, пытаясь уловить признаки заговора: наличие коварных хитросплетений было уже для него очевидно.

— Сударь,— сказал Поль молодому нотариусу,— благодарю вас за то усердие, с каким вы стараетесь примирить наши интересы. Предлагаемый вами компромисс разрешает все трудности более удачно, чем я мог надеяться, если только, конечно, он устраивает и вас, сударыня,— продолжал он, обращаясь к г-же Эванхелиста,— ибо я не хочу соглашаться на это предложение, если оно не нравится вам.

— Все, что послужит для счастья моих детей, доставит радость и мне,— отвечала она.— Можете не считаться с моим мнением.

— Нет, так нельзя! — с живостью сказал Поль.— Если ваша жизнь не будет должным образом обеспечена, это огорчит меня и Натали больше, чем вас самих.

— Будьте спокойны, граф,— ответил Солонэ.

«Ага,— подумал мэтр Матиас,— прежде чем высечь его, они хотят, чтобы он поцеловал розги!»

— Не беспокойтесь,— сказал Солонэ,— ныне в Бордо спекуляции в большом ходу, и нетрудно поместить деньги под выгодные проценты с тем, чтобы получать пожизненный доход. Если вычесть из стоимости особняка и движимого имущества пятьдесят тысяч экю, которые будут уплачены графу, то — могу поручиться, сударыня,— у вас останется двести пятьдесят тысяч франков. Я берусь поместить эту сумму под первую закладную на недвижимость, стоимостью не менее миллиона, с тем, чтобы вы получали пожизненный доход в размере двадцати пяти тысяч ливров, считая из десяти процентов. Таким образом, стороны, сочетающиеся браком, располагают приблизительно равным состоянием. В самом деле, к сорока шести тысячам дохода от земель графа прибавляются сорок тысяч, ежегодно приносимые пятипроцентными ценными бумагами, принадлежащими мадемуазель Натали, и вдобавок сто пятьдесят тысяч наличными, могущие дать еще семь тысяч в год; итого сорок семь тысяч.

— Все это вполне очевидно,— сказал Поль.

Закончив речь, мэтр Солонэ кинул на свою клиентку

быстрый взгляд, не ускользнувший от Матиаса и означавший: «Пускайте в ход резервы!»

— Кроме того,— воскликнула г-жа Эванхелиста, казалось, с непритворной радостью,— я могу отдать Натали свои бриллианты, они стоят по крайней мере сто тысяч франков.

— Мы выясним их стоимость,— сказал молодой нотариус.— Это и вовсе меняет дело. Теперь ничто не препятствует графу указать в брачном контракте, что он полностью получил весь капитал, какой приходится на долю мадемуазель Натали из наследства ее отца, и что будущие супруги считают дела по опеке законченными. Если вы, сударыня, с чисто испанским великодушием хотите лишить себя драгоценностей, увеличив тем самым приданое на сто тысяч франков, то будет вполне справедливо выдать вам такую расписку.

— Совершенно верно,— сказал Поль вдове,— но я, право же, смущен таким благородством с вашей стороны.

— Разве моя дочь и я не одно и то же? — возразила она.

Мэтр Матиас заметил радость, мелькнувшую на лице г-жи Эванхелиста, когда она увидела, что препятствия почти преодолены; эта радость, а также то обстоятельство, что вдова сначала и не поминала о бриллиантах, а теперь ввела их в бой, точно свежие войска, укрепили его подозрения.

«Вся эта сцена была подготовлена заранее, как игроки готовят крапленые карты, чтобы обыграть какого-нибудь желторотого птенца,— подумал старый нотариус.— Неужели бедный мальчик, выросший на моих глазах, будет заживо ощипан тещей, поджарен на огне своей любви и проглочен женою? Я так заботился о благосостоянии его имений; неужели я увижу, как они будут пущены по ветру в один вечер? И эти три с половиной миллиона приравниваются к миллиону ста тысячам франков приданого, которые к тому же, с помощью обеих женщин, будут скоро промотаны!»

Мэтр Матиас не стал предаваться скорби или благородному негодованию, обнаружив в душе г-жи Эванхелиста замыслы, которые, хотя и не были прямым злодеянием, преступлением, воровством, подлогом, мошенничеством, не представляли собой ничего явно неблаго-

видного, явно достойного порицания,— однако таили в себе зародыши всех этих беззаконий. Он не был Альцестом из «Мизантропа», он был просто старым нотариусом и привык, в силу своей профессии, к хитрости и изворотливости светских людей, к их интригам и козням, приводящим к куда более роковым последствиям, чем убийство, совершенное на большой дороге каким-нибудь бедняком, которого затем торжественно гильотинируют. Подобные житейские дрязги, подобные дипломатические препирательства происходят как бы на задворках великосветского общества, куда неловко заглянуть, куда выкидывают всякий сор. Жалея своего клиента, мэтр Матиас пытался представить себе его будущее, но не видел впереди ничего хорошего.

«Ну что же, будем биться тем же оружием,— подумал он,— и разобьем их!»

Полю, Солонэ и г-же Эванхелиста стало не по себе от молчания старика; они понимали, как им важно получить от этого строгого цензора согласие на компромисс, и все трое одновременно посмотрели на него.

— Ну, дорогой господин Матиас, что вы об этом думаете? — обратился к нему Поль.

— Вот что я думаю,— ответил непреклонный и добросовестный нотариус.— Вы недостаточно богаты, чтобы идти на такое безрассудство; оно под стать разве королю. Поместье Ланстрак, если считать, что приносимый им доход равен трем процентам его стоимости, нужно оценить вместе с обстановкой замка свыше чем в миллион; фермы Грассоль и Гюадэ, имение Бельроз — вот вам второй миллион, два дома и движимое имущество — третий миллион. Итого три миллиона, приносящие сорок семь тысяч двести франков в год. Приданое же мадемуазель Натали состоит из восьмисот тысяч франков в облигациях казначейства; затем имеется драгоценностей, допустим, на сто тысяч (хотя мне это кажется сомнительным) и наконец полтораста тысяч наличными; итого — миллион пятьдесят тысяч франков. И при таких-то обстоятельствах мой коллега имеет смелость утверждать, что стороны, вступающие в брак, одинаково богаты! Он находит допустимым возложить на графа де Манервиля свыше ста тысяч франков долга будущим детям; ведь состояние невесты признается равным

одному миллиону ста пятидесяти шести тысячам, как указано в счетах по опеке, на деле же будет получено не более миллиона пятидесяти тысяч. Вы, господин граф, с восхищением слушаете весь этот вздор, потому что вы влюблены, и думаете, что мэтр Матиас — а ведь он-то не влюблен! — забудет об арифметике и не укажет вам на несоответствие между огромной, все время растущей стоимостью имений и размером приданого, доходы с которого могут уменьшиться и зависят от всяких случайностей. Я достаточно стар и знаю, что деньги падают в цене, а цена на земли растет. Вы пригласили меня, граф, чтобы отстаивать ваши интересы: дайте же мне защитить их или позвольте мне удалиться!

— Если графу нужно, чтобы у невесты было такое же состояние, как и у него,— сказал Солонэ,— то у нас, конечно, нет трех с половиной миллионов, это неопровержимо. Мы можем противопоставить внушительным миллионам, которыми вы обладаете, всего один жалкий миллион — сущую безделицу, только втрое больше, чем приданое, получаемое австрийскими эрцгерцогинями. Ведь Бонапарт, женившись на Марии-Луизе, взял за ней лишь двести пятьдесят тысяч.

— Мария-Луиза погубила Бонапарта,— проворчал мэтр Матиас.

Смысл этого замечания не ускользнул от матери Натали.

— Если принесенные мною жертвы ни к чему не послужили,— воскликнула она,— то я не вижу цели в дальнейшем споре. Рассчитываю на вашу скромность, сударь, и отклоняю честь, которую вы мне оказали, прося руки моей дочери.

После маневров молодого нотариуса борьба противоположных интересов приняла такой оборот, что победа г-жи Эванхелиста была обеспечена. Вдова, казалось, во всем шла навстречу, отдавала все свое имущество, погашала почти весь свой долг. Будущему супругу приходилось принять условия, заранее выработанные мэтром Солонэ и г-жой Эванхелиста, иначе ему грозила опасность погрешить против требований благородства, изменить своей любви. Подобно стрелке, движимой часовым механизмом, Поль послушно завершил намеченный для него путь.

— Как, сударыня? — воскликнул он.— Неужели вы могли бы вот так, сразу порвать со мной?

— Но, сударь,— возразила она,— кому я обязана уплатить свой долг? Дочери. По достижении двадцати одного года она получит от меня полный отчет и письменно утвердит его. У нее будет миллион франков, и она сможет, если захочет, выйти замуж за сына любого пэра Франции. Разве она не Каса-Реаль?

— Вы совершенно правы, сударыня,— сказал Солонэ.— Остался только год и два месяца до совершеннолетия вашей дочери. Зачем же вам причинять себе такой ущерб? Неужели госпожа Эванхелиста недостойна другой награды за свои материнские заботы?

— Матиас! — воскликнул Поль в отчаянии.— Ведь гибнет не состояние мое, а счастье! И в такой момент вы не хотите мне помочь?

Он сделал к нему шаг, вероятно, собираясь потребовать, чтобы брачный контракт был немедленно составлен. Старый нотариус предотвратил эту оплошность,— он пристально посмотрел на графа, как бы говоря своим взглядом: «Погодите!» Тут он заметил слезы на глазах Поля, вызванные стыдом за весь этот тягостный спор и решительным заявлением г-жи Эванхелиста, предвещавшим разрыв, и Матиас вдруг осушил эти слезы одним только жестом, жестом Архимеда, восклицающего: «Эврика!» Слова «пэра Франции» явились для него точно факелом, осветившим тьму подземелья.

В это время вошла Натали, пленительная, как Аврора, и спросила с детски-наивным видом:

— Я здесь не лишняя?

— Совсем лишняя, моя девочка! — ответила ей мать с горькой усмешкой.

— Идите сюда, Натали, дорогая,— сказал Поль, беря ее за руку и подводя к креслу, стоявшему у камина,— все улажено!

Он не мог допустить крушения своих надежд.

— Да, еще все можно уладить! — с живостью подхватил Матиас.

Подобно полководцу, в один момент расстраивающему все военные хитрости противника, старик-нотариус был внезапно осенен блестящей мыслью: пред ним как бы предстал сам гений нотариальной изобретательности

со свитком, на котором был начертан план, позволяющий наизаконнейшим образом спасти будущее Поля и его детей. Мэтр Солонэ не представлял себе другой возможности обойти непреодолимые препятствия, кроме решения, подсказанного молодому человеку любовью, решения, которое заставило бы стихнуть эту бурю противоречивых чувств и интересов. Поэтому он был весьма удивлен восклицанием своего коллеги. Любопытствуя, как мэтр Матиас мог найти выход из положения, казалось бы, совершенно безнадежного, он спросил:

— Что же вы нам предлагаете?

— Натали, дитя мое, оставь нас на минутку! — сказала г-жа Эванхелиста.

— Присутствие мадемуазель Натали не помешает,— возразил с улыбкой мэтр Матиас,— ведь то, что я скажу,— как в интересах графа, так равно и в интересах мадемуазель Натали.

Воцарилось глубокое молчание, и все, волнуясь, с нетерпением ожидали, что скажет старик.

— В наше время,— начал г-н Матиас после некоторой паузы,— профессия нотариуса уже не та, что прежде. Теперь политические события оказывают большое влияние на судьбу знатных семейств страны, чего раньше не случалось. Когда-то условия жизни были определены заранее, общественный строй был установлен раз навсегда...

— Но ведь мы собрались не слушать курс политической экономии, а заключить брачный контракт,— прервал старика Солонэ, всем своим видом выражая нетерпение.

— Прошу вас, дайте и мне теперь молвить слово! — возразил Матиас.

Солонэ уселся на оттоманку, заметив вполголоса г-же Эванхелиста:

— Вы сейчас узнаете, что такое мэтр *Матиас* и его *галиматья-с!*

— Итак, нотариусы вынуждены следить за ходом политических событий, тесно связанных с делами частных лиц,— продолжал старый нотариус, прибегнув, в свою очередь, к витиеватому красноречию, как истый tabellionaris boa-constrictor (нотариус-удав). Вот пример: некогда аристократические семейства владели состоя-

ниями, не подлежавшими отчуждению; законодательство революции раздробило эти богатства, нынешний государственный строй стремится их восстановить. Титул, состояние, способности графа — все должно когда-нибудь обеспечить ему успех при выборах в палату. Быть может, ему суждено подняться и выше — до той палаты, где места передаются по наследству; есть основания надеяться на это. Разве вы не разделяете моего мнения, сударыня? — спросил он вдову.

— Вы угадали мою заветную мечту,— ответила она.— Если граф Манервиль не станет пэром Франции, я буду смертельно огорчена.

— Значит, все, что может способствовать достижению этой цели...— сказал мэтр Матиас, обращаясь к хитрой вдове с самым простодушным видом.

— Вполне отвечает моим желаниям,— договорила она.

— Так вот,— продолжал Матиас,— не служит ли такой брак удобным предлогом, чтобы учредить майорат? Это даст нынешнему правительству лишний повод для присвоения моему клиенту звания пэра при очередной раздаче титулов и наград. Очевидно, графу придется предназначить для этой цели поместье Ланстрак, стоимость коего равна миллиону. Я не требую, чтобы невеста внесла такую же сумму, это было бы несправедливо; но мы вправе истратить восемьсот тысяч франков из ее приданого. Насколько я знаю, сейчас продаются два смежных с Ланстраком имения; если употребить восемьсот тысяч на приобретение земель, деньги эти скоро будут приносить четыре с половиной процента. Особняк в Париже также должен войти в состав майората. Прочего имущества обеих сторон при разумном ведении хозяйства вполне хватит, чтобы обеспечить младших детей. Если договаривающиеся стороны согласны на такие условия, то граф может признать удовлетворительным отчет по опеке и взять на себя остаток задолженности. Я ничего не имею против!

— Questa coda non è di questo gatto! [1]— воскликнула г-жа Эванхелиста, взглядом указывая на Матиаса своему наставнику Солонэ.

---

[1] Это хвост — уж не того кота! *(итал.)*

— Да, пошаришь не зря — нашаришь угря! — шепнул ей Солонэ, отвечая французской поговоркой на итальянскую.

— Зачем так запутывать дело? — спросил Поль у Матиаса, выйдя с ним в другую комнату.

— Чтобы воспрепятствовать вашему разорению,— вполголоса ответил старик.— Вы непременно хотите жениться на девушке, которая за семь лет промотала вместе с матерью около двух миллионов; вы принимаете на себя долг в размере свыше ста тысяч франков: ведь когда-нибудь вам придется отсчитать своим детям миллион сто пятьдесят шесть тысяч франков, якобы принадлежавших их матери, в то время как вам сейчас не дают и миллиона. Вам грозит опасность, что все ваше состояние будет прожито в пять лет и вы останетесь голы, как Иоанн Креститель, задолжав вдобавок огромные суммы своей жене или наследникам. Если вам угодно пуститься в плавание на таком корабле,— что ж, отчаливайте, граф. Но позвольте по крайней мере вашему старому другу попытаться спасти род де Манервилей.

— Как же вы его спасете? — спросил Поль.

— Послушайте, граф, ведь вы влюблены?

— Да.

— Ну, так я вам ничего не скажу: влюбленные болтливы, как сороки. Если вы проговоритесь, это может расстроить ваш брак. Нет, я не дам вам никаких объяснений, но зато обеспечу ваше счастье. Вы верите в мою преданность?

— Что за вопрос!

— Ну, так знайте: госпожа Эванхелиста, ее дочь и нотариус ловко нас обошли. Их хитрость беспредельна. Ей-богу, искусная игра!

— Как! И Натали с ними? — вскричал Поль.

— Ну, руку на отсечение не дам,— сказал старик.— Раз вы ее любите — женитесь. Но ради вас самих мне хотелось бы, чтобы свадьба не состоялась, и в этом случае вас никто не мог бы обвинить!

— Почему?

— Эта девушка способна промотать все богатства Перу. К тому же она ездит верхом, как цирковая наездница, и, по-видимому, своенравна. Из такой девушки хорошей жены не выйдет.

Поль пожал руку мэтра Матиаса и самоуверенно сказал:

— Будьте спокойны. Но что я должен делать сейчас?

— Настаивайте на этих условиях, они не наносят ущерба ничьим интересам. Госпожа Эванхелиста согласится на них, так как ей очень хочется выдать дочку замуж. Я заглянул в ее карты, берегитесь ее!

Граф де Манервиль вернулся в гостиную, где его будущая теща вполголоса совещалась с Солонэ, точно так же как Поль только что совещался с Матиасом. Натали, отстраненная от участия в этих таинственных переговорах, обмахивалась веером. Она думала в замешательстве:

«Что за странность! Почему меня не хотят посвятить в мои собственные дела?»

Молодой нотариус лишь смутно представлял себе, к чему клонились эти условия, основанные на самолюбии обеих сторон, условия, на которые его клиентка готова была опрометчиво согласиться. Если Матиас был только нотариусом, то Солонэ был вдобавок молодым человеком и вел дела со свойственным молодости задором. Частенько случалось, что из-за личного тщеславия он забывал об интересах клиента. При данном стечении обстоятельств мэтр Солонэ больше всего боялся, как бы вдова не заметила, что Ахилл был побежден Нестором, а потому посоветовал ей немедленно дать согласие на предложенные условия. Ему было мало дела до того, как рассчитаются между собой будущие наследники. Лишь бы г-жа Эванхелиста освободилась от долговых обязательств и обеспечила себе безбедное существование, а дочь ее вышла замуж,— это уже было для него победой.

— Всему Бордо будет известно, что вы даете за Натали около миллиона ста тысяч франков и что у вас еще остается двадцать пять тысяч дохода,— сказал Солонэ на ухо г-же Эванхелиста.— Я не надеялся на такой успех.

— Но объясните мне,— спросила она,— почему буря сразу улеглась, как только придумали учредить майорат?

— Вам и вашей дочери не доверяют. Майорат нельзя отчуждать, ни один из супругов не имеет на это права.

— Но ведь это просто оскорбительно!

— Нет. Это называется у нас, нотариусов, предусмотрительностью. Старичок поймал вас в ловушку.

Если вы не захотите основать майорат, он скажет: «Значит, вы собирались промотать состояние моего клиента и видите помеху в майорате, при котором невозможны подобные посягательства, как и в тех случаях, когда оговорено раздельное пользование имуществом».

Солонэ оправдывался перед самим собою: «Пока дойдет дело до окончательных расчетов, вдовушку успеют уже похоронить».

Госпожа Эванхелиста удовлетворялась покамест объяснениями Солонэ, к которому питала полнейшее доверие. К тому же она не знала законов; раз дочь выходила замуж, пока больше ничего не требовалось; важно было сделать первый шаг, и она ликовала, добившись успеха. Таким образом, как и полагал Матиас, ни Солонэ, ни г-жа Эванхелиста не представляли себе всей глубины его замысла, основанного на безошибочном расчете.

— Итак, господин Матиас,— сказала вдова,— все обстоит благополучно.

— Сударыня, если и вы и граф согласны на такое предложение, вам нужно подтвердить это в моем присутствии. Итак, мы решили,— продолжал он, поглядывая на них обоих,— что брак будет заключен при условии учреждения майората, в который войдут поместье Ланстрак и особняк на улице Пепиньер, принадлежащие будущему супругу, а затем восемьсот тысяч франков, лично принадлежащие будущей супруге, на каковую сумму приобретается недвижимость. Простите, сударыня, что я это повторяю, но здесь необходимо вполне определенное, с надлежащей ясностью выраженное согласие. Для учреждения майората придется выполнить ряд формальностей: снестись с министерством юстиции, добиться королевского указа; нужно немедленно совершить купчие на приобретаемые земли, чтобы таковые были включены в перечень тех недвижимостей, которые в силу королевского указа станут неотчуждаемыми. В какой-нибудь другой семье понадобилось бы письменное обязательство, но здесь, я думаю, достаточно простого согласия сторон. Итак, согласны вы?

— Да,— сказала г-жа Эванхелиста.

— Да,— сказал Поль.

— А я? — воскликнула Натали, смеясь.

— Вы несовершеннолетняя, мадемуазель,— ответил ей Солонэ,— и, право же, это не так плохо.

Было решено, что мэтр Матиас составит контракт, а мэтр Солонэ приведет в порядок счета по опеке и что все документы будут подписаны за несколько дней до бракосочетания, как это требуется законом. Оба нотариуса поднялись и откланялись.

— Идет дождь. Не угодно ли, Матиас, я вас подвезу? — спросил Солонэ.— Мой кабриолет у ворот.

— Моя карета к вашим услугам,— сказал Поль, которому, очевидно, хотелось лично проводить старика.

— Я не хочу, чтобы вы теряли из-за меня время,— ответил Матиас,— и воспользуюсь любезностью коллеги.

— Ну-с,— сказал Ахилл Нестору, когда экипаж уже катил по мостовой,— вы поступили, право, как настоящий патриарх. В самом деле, молодые люди разорились бы.

— Меня испугало предстоящее им будущее,— сказал Матиас, не распространяясь по поводу истинной подоплеки своего предложения.

Нотариусы походили сейчас на двух актеров, обменивающихся за кулисами рукопожатием, после того как на сцене они только что бросили друг другу гневный вызов.

— Так, значит,— сказал Солонэ, думавший, между тем, о юридической стороне дела,— на меня возлагается покупка имений, о которых вы говорили? Ведь приданое предназначено именно для этой цели?

— А как же иначе собственность мадемуазель Эванхелиста может войти в майорат, учреждаемый графом де Манервилем? — спросил Матиас.

— Этот вопрос может разрешить министерство юстиции,— ответил Солонэ.

— Но ведь я являюсь нотариусом обеих сторон,— возразил Матиас.— А впрочем, господин де Манервиль может купить земли на свое имя. Составляя купчие, мы упомянем, что имения приобретаются на капитал, полученный в приданое.

— У вас на все есть ответ, старина! — сказал Солонэ, смеясь.— Вы нынче были бесподобны, вы разбили нас в пух и прах.

— Для старика, не подозревавшего о ваших пушках, заряженных картечью, это не так уж плохо, а?

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Солонэ.

Жестокая борьба, поставившая на карту все благосостояние семьи, была для них лишь поводом для юридических споров.

— Сорок лет практики — это не безделица! — заметил Матиас.— Послушайте-ка, Солонэ, я человек покладистый: вы можете вместе со мной составить купчие на земли, которые будут присоединены к майорату.

— Благодарю вас, дорогой Матиас. В любое время я к вашим услугам.

Пока оба нотариуса ехали домой, мирно беседуя и ощущая лишь некоторое жжение в глотке; Поль и г-жа Эванхелиста чувствовали нервную дрожь, сосание под ложечкой и легкое головокружение, какое после напряженного разговора испытывают люди с горячим характером под наплывом взбаламученных чувств и желаний. Когда уже готовы были утихнуть последние отголоски бури, г-же Эванхелиста пришла в голову ужасная мысль, блеснувшая, как молния, и вселившая в нее тревогу. «Уж не разрушил ли мэтр Матиас в несколько минут все, над чем я трудилась целых полгода? — всполошилась она.— Не помог ли он Полю выйти из-под моего влияния, пробудив в нем подозрительность, пока они беседовали в соседней гостиной?»

Госпожа Эванхелиста стояла перед камином, в задумчивости облокотившись на мраморную доску. Когда затворились ворота за каретой, увозившей нотариусов, она повернулась к Полю, нетерпеливо желая разрешить свои сомнения.

— Это самый ужасный день в моей жизни! — воскликнул Поль, в восторге, что спор кончился.— До чего, однако, несговорчив старина Матиас! Да услышит бог его пожелания, чтобы я стал пэром Франции! Милая Натали, мне хочется этого не столько для себя, сколько для вас. Вы — все мое честолюбие. Я живу только вами!

Велика была радость г-жи Эванхелиста, когда она услышала слова Поля, сказанные от всего сердца, и заглянула в прозрачную лазурь его глаз,— ни в его взгляде, ни в выражении его лица нельзя было заметить никакой задней мысли. Она упрекала себя за те колючие

слова, какими позволила себе пришпорить Поля; упиваясь победой, она решила в будущем установить мир и согласие. Обычным своим спокойным тоном, придав своим глазам обаятельное выражение мягкого дружелюбия, она обратилась к Полю:

— Я могла бы сказать то же самое. Я погорячилась, мой мальчик, но ведь это не со зла. Что поделаешь — испанская кровь! Оставайтесь всегда таким, как сейчас,— добрым, как ангел; забудьте мои необдуманные слова и дайте мне руку.

Поль был смущен, чувствовал себя бесконечно виноватым; он обнял г-жу Эванхелиста.

— Милый Поль,— сказала она растроганно,— почему эти крючкотворы не уладили дело без нас, раз все можно было так хорошо уладить!

— Зато я увидел,— ответил Поль,— как вы великодушны и благородны.

— О да, Поль! — воскликнула Натали, пожимая ему руку.

— Нам нужно еще, мой мальчик, поговорить о кое-каких мелочах,— сказала г-жа Эванхелиста.— Многие придают большое значение пустякам, но мы с дочерью стоим выше их. Натали не нуждается в бриллиантах, я отдаю ей свои.

— Ах, маменька, неужели вы думаете, что я возьму их? — воскликнула Натали.

— Да, дитя мое, ведь это — одно из условий контракта.

— Но я не хочу, не согласна тогда выходить замуж! — возмутилась Натали.— Пусть эти драгоценности останутся у вас; ведь для отца было таким удовольствием дарить их вам. Как может Поль требовать...

— Помолчи, девочка,— сказала мать, глаза которой наполнились слезами.— За свое неумение вести дела мне придется поплатиться еще бо́льшим...

— Чем же?

— Придется продать наш особняк, чтобы уплатить тебе свой долг.

— Разве вы что-нибудь должны мне? Ведь я обязана вам всей жизнью! Я ваша вечная должница! Если ради моего замужества вам придется принести в жертву хоть самую малость,— я замуж не выйду, так и знайте!

— Дитя!

— Милая Натали,— сказал Поль,— поймите, что никто из нас не требует никаких жертв: ни я, ни вы, ни ваша мать; они нужны нашим будущим детям...

— А если я не пойду за вас? — перебила она.

— Значит, вы не любите меня? — воскликнул Поль.

— Перестань, глупенькая! Ты думаешь, что брачный контракт—все равно что карточный домик, на который стоит только дунуть — и конец? Глупышка, ты даже не знаешь, каких трудов стоило уладить вопрос о майорате для твоего первенца! Так не создавай же для нас новых помех.

— Но зачем разорять маменьку? — спросила Натали, взглянув на Поля.

— А зачем вы так богаты? — возразил он, улыбаясь.

— Перестаньте спорить, дети, ведь вы еще не поженились,— сказала г-жа Эванхелиста.— Слушайте, Поль, Натали не нуждается ни в свадебных подарках, ни в нарядах, ни в драгоценностях. У нее и так всего довольно. Чем тратиться на подношения, лучше приберечь деньги на кое-какие роскошества в домашней жизни. Какая глупость, какое мещанство — выбрасывать сотню тысяч франков на подарки, от которых вскоре не останется ничего, кроме шкатулки, подбитой белым атласом! Напротив, пять тысяч франков в год на наряды избавят молодую женщину от целой кучи забот; тогда этих ста тысяч хватит на всю жизнь. Наконец деньги, сбереженные на свадебных подарках, пригодятся вам, чтоб заново отделать ваш парижский дом. А весной мы переедем в Ланстрак, так как за зиму Солонэ ликвидирует мои дела.

— Все складывается как нельзя лучше,— сказал Поль, чувствуя себя на верху блаженства.

— Значит, я поеду в Париж! — обрадовалась Натали, да так, что если бы де Марсе мог ее слышать, он бы не на шутку испугался.

— Что ж,— сказал Поль,—тогда я напишу де Марсе, чтобы он взял на всю зиму ложу у Итальянцев и ложу в Опере.

— Какой вы милый! Я не решалась просить вас об этом! — воскликнула Натали.—Право же, быть замужем

«ПОКИНУТАЯ ЖЕНЩИНА».

«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

очень приятно, если мужья умеют угадывать желания своих жен.

— А как же иначе? — сказал Поль.— Однако уже полночь, пора домой.

— Что так рано? Посидите еще! — сказала г-жа Эванхелиста тем ласковым тоном, к которому мужчины столь чувствительны.

Расстались они в наилучших отношениях, соблюдая самую утонченную предупредительность; однако спор, возникший из-за материальных интересов, посеял в душе у будущих зятя и тещи семена недоверия и враждебности, готовые прорасти под влиянием пылкого гнева или разгоряченного самолюбия. Подобные препирательства при заключении брачного контракта, связанные с приданым и дарственными записями, уже зарождают неприязнь почти во всех семьях; здесь действуют и самолюбие, и оскорбленные чувства, и досада, что приходится идти на жертвы, и стремление по возможности их уменьшить. Во всяком споре одна из сторон неизбежно одерживает победу, другая — терпит поражение. Родители как жениха, так и невесты стремятся заключить сделку с выгодой для себя; с их точки зрения, это чисто коммерческий вопрос, где налицо те же хитрости, барыши и убытки, что и во всякой торговле. По большей части в такие споры посвящен только муж; новобрачная же, подобно Натали, остается непричастной к этим соглашениям, от которых, однако, зависит, будет ли она богата или бедна.

По дороге домой Поль думал о том, что благодаря опытному нотариусу почти все его состояние вне всякой опасности. Если г-жа Эванхелиста будет жить вместе с дочерью, можно будет расходовать свыше ста тысяч франков в год; таким образом, его надежды на беззаботную жизнь были близки к осуществлению.

«Моя будущая теща, по-видимому, очень добрая женщина,— думал он, все еще находясь под впечатлением притворной ласковости, посредством которой г-жа Эванхелиста старалась рассеять облачко, навеянное спором.— Матиас ошибается. Странный, однако, народ нотариусы, они все истолковывают в дурную сторону. Всему виной этот вздорный Солонэ, хоть он и корчит из себя умника».

Меж тем как Поль, ложась спать, перебирал в уме все победы, одержанные им, как ему казалось в этот вечер, г-жа Эванхелиста, в свою очередь, чувствовала себя победительницей.

— Ну что, маменька, ты довольна? — спросила Натали, провожая мать в спальню.

— Да, душенька,— ответила ей мать,— все вышло так, как мне хотелось, и у меня с души свалилась тяжесть, которая так томила меня сегодня утром. Поль, в сущности, добряк. Милый мальчик! Конечно, мы постараемся, чтобы ему хорошо жилось. Ты дашь ему счастье, а я займусь его политической карьерой... Я хорошо знаю испанского посланника, могу возобновить и другие свои знакомства. О, скоро мы установим связи с самыми влиятельными людьми, все будет к нашим услугам. Вы станете веселиться, милые дети, а мой удел — честолюбие, которое скрашивает остаток жизни. Итак, не пугайся, что я хочу продать наш дом; неужели ты думаешь, что мы еще вернемся в Бордо? В Ланстрак — пожалуйста! Но зиму будем каждый год проводить в Париже, где отныне сосредоточены наши истинные интересы. Ну что, Натали, ведь нетрудно было исполнить то, о чем я тебя просила?

— Было как-то стыдно, маменька.

— Солонэ советует мне обратить в пожизненную ренту деньги, вырученные за дом,— сказала г-жа Эванхелиста,— но я поступлю иначе, потому что хочу, чтобы все мое состояние, до последнего гроша, досталось тебе.

— Я видела, что вы все очень рассержены,— заметила Натали.— Каким же образом буря утихла?

— Я предложила им свои бриллианты,— ответила мать.— Солонэ был прав! Как искусно провел он все дело! Принеси мой ларчик, Натали. Я никогда не задумывалась над тем, сколько стоят мои драгоценности. Как глупо, что я оценила их всего в сто тысяч франков! Разве госпожа де Жиас не говорила, что одни только серьги и ожерелье, подаренные мне в день свадьбы твоим отцом, стоят по крайней мере сто тысяч? Твой отец был так щедр! А наш семейный алмаз «Дискрето»[1], подаренный Филиппом II герцогу Альбе и завещанный

---

[1] «Дискрето» (Discreto) — «Скромный» *(испанск.)*.

мне теткою, был когда-то оценен, насколько я помню, в четыре тысячи квадруплей.

Натали подала матери ее жемчужные ожерелья, бриллиантовые уборы, золотые браслеты, всевозможные драгоценности и разложила их на туалетном столике, любуясь ими с безотчетным влечением, охватывающим многих женщин при виде сокровищ, посредством которых, как утверждают талмудисты, проклятые богом ангелы соблазнили дочерей человеческих, исторгнув для них из недр земли эти цветы небесного пламени.

— Конечно, я умею только принимать драгоценности в подарок и носить их,— сказала г-жа Эванхелиста,— но думаю, что не ошибаюсь,— их тут на изрядную сумму. А кроме того, раз мы будем жить одним домом, я могу продать свое серебро, оно только на вес стоит тысяч тридцать. Помнится, когда мы приехали из Лимы, таможня оценила его именно в эту сумму. Солонэ прав! Надо послать за Эли Магюсом. Пусть еврей произведет оценку. Может быть, и не придется обращать в пожизненную ренту остаток состояния.

— Как прелестно это жемчужное ожерелье! — воскликнула Натали.

— Надеюсь, Поль оставит его для тебя, если так тебя любит. По правде говоря, он должен был бы заказать новую оправу для этих драгоценных камней, которые он получит от меня, и подарить их тебе. А бриллианты — твои, так и в контракте будет сказано. Ну, спокойной ночи, мой ангел. После такого трудного дня и тебе и мне нужно отдохнуть.

Итак, креолка, щеголиха, знатная дама, не умеющая разобраться в условиях контракта, к тому же еще не изложенного письменно, заснула в радужном настроении, заранее рисуя себе, как ее дочь выйдет замуж за человека, которого легко водить за нос, как обе они будут распоряжаться у него в доме и смогут вести прежний образ жизни, присоединив к своим богатствам состояние зятя. Предъявив отчет по опеке и получив подтверждение, что полностью рассчиталась с дочерью, она все еще будет располагать достаточными средствами, чтобы жить в свое удовольствие.

«Глупо было так беспокоиться,— подумала она.— Поскорее бы только покончить со свадьбой!»

Таким образом, и г-жа Эванхелиста, и Поль, и Натали, и оба нотариуса были очень довольны результатами переговоров; как в том, так и в другом лагере возносили хвалу господу,— опасное положение! Ведь когда-нибудь наступит момент, и у побежденного откроются глаза. По мнению вдовы, побежденным был ее будущий зять.

На другое утро Эли Магюс явился к г-же Эванхелиста; так как всюду ходили слухи о предстоящем браке Поля с Натали, то он думал, что дело идет о покупке драгоценностей для невесты. Поэтому еврей был очень удивлен, узнав, что нужно произвести как бы официальную оценку бриллиантов тещи. Благодаря нюху, свойственному евреям, и кое-каким осторожным расспросам он догадался, что стоимость драгоценностей будет, возможно, учтена в брачном контракте. Поскольку бриллианты не продавались, он оценил их высоко, как если бы кто-нибудь покупал их у ювелира. Только ювелиры умеют отличить азиатские алмазы от бразильских. Камни из Голконды и Визапура распознаются по чистоте воды, по игре, которых недостает другим алмазам, имеющим слегка желтоватый оттенок, из-за чего они, при одинаковом весе с азиатскими, ценятся ниже. Серьги и ожерелье г-жи Эванхелиста, целиком из азиатских бриллиантов, были оценены Эли Магюсом в двести пятьдесят тысяч франков. Что касается «Дискрето», то это был, по его мнению, один из лучших алмазов, находившихся во владении частных лиц; он был известен ювелирам и один стоил сто тысяч. Узнав о цене камней, показывавшей, как щедр был ее муж, г-жа Эванхелиста осведомилась, может ли она немедленно получить за драгоценности эту сумму.

— Нет, сударыня,— ответил еврей,— если вы хотите их продать, то я могу предложить только семьдесят пять тысяч за алмаз и полтораста — за ожерелье и серьги.

— Почему же такая разница? — с удивлением спросила г-жа Эванхелиста.

— Сударыня,— сказал еврей,— чем бриллианты красивее, тем дольше они у нас лежат. Чем дороже камни, тем реже представляется случай их сбыть. Но так как торговец не должен терять проценты с капитала, то

ему надо их как-нибудь возместить, а также покрыть возможные убытки от резкого колебания в цене, которым подвержен такого рода товар,— этим и объясняется разница между покупной и продажной ценой. Вы уже потеряли проценты с трехсот пятидесяти тысяч франков за двадцать лет. Даже если вы надевали свои бриллианты десять раз в году — это обходилось вам по тысяче экю за каждый вечер. А сколько платьев можно сшить на тысячу экю! Значит, те, кто хранит бриллианты у себя, поступают безрассудно; к счастью для нас, женщины не хотят входить в эти расчеты.

— Благодарю вас за разъяснения, они мне пригодятся.

— Значит, вы хотите продать камни? — с жадностью спросил еврей.

— А сколько стоит все остальное? — осведомилась г-жа Эванхелиста.

Еврей прикинул, сколько может весить золото оправ, посмотрел жемчужины на свет, тщательно перебрал рубины, диадемы, аграфы, браслеты, фермуары, цепочки и пробормотал:

— Здесь немало бразильских бриллиантов, купленных в Португалии! Я бы мог дать за все это не больше ста тысяч франков. Но если продавать из рук в руки,— добавил он,— можно было бы взять за них и свыше пятидесяти тысяч экю.

— Я оставлю эти камни у себя,— сказала г-жа Эванхелиста.

— И сделаете ошибку,— заметил Эли Магюс.— На одни только проценты с той суммы, какую они представляют собой, вы через пять лет купили бы такие же прекрасные бриллианты и вдобавок сохранили бы весь капитал.

Об этой необычной беседе все узнали, и тем самым дана была новая пища слухам, вызванным пререканиями по поводу брачного контракта. В провинции все быстро становится известным. Слуги г-жи Эванхелиста, услыхав несколько громких возгласов, вообразили, что спор зашел дальше, чем это было на самом деле; их пересуды с другими лакеями мало-помалу распространились далее и наконец из людских перешли в гостиные. К тому же внимание всего города и светского общества давно

было привлечено браком этих молодых людей, одинаково богатых. Всех, от мала до велика, это так интересовало, что через неделю по Бордо ходили самые причудливые слухи. «Г-жа Эванхелиста продает свой особняк! Неужели она разорилась? Она предлагала свои бриллианты Эли Магюсу. Из переговоров между нею и графом де Манервилем ничего не вышло!» Будет ли заключен этот брак? Одни утверждали, что будет, другие — что нет. Оба нотариуса, когда у них допытывались об этом, опровергали сплетни и ссылались на чисто юридические трудности, сопряженные с учреждением майората. Но когда слухи начинают расти, их нелегко искоренить. Несмотря на уверения обоих нотариусов, несмотря на то, что Поль продолжал ежедневно бывать у г-жи Эванхелиста, сплетники не унимались. Кое-какие девицы, их маменьки и тетки, раздосадованные этим браком, о котором мечтали сами невесты или их семьи, не могли простить г-же Эванхелиста ее удачу, точно так же, как иной писатель не может простить собрату его успехи. Кое-кто мстил испанке за ее роскошный образ жизни и высокомерие, целых двадцать лет задевавшие чужое самолюбие. Видный чиновник префектуры утверждал, что и в случае разрыва оба нотариуса и члены обеих семей все равно вели бы себя точно так же и говорили бы то же самое. То обстоятельство, что учреждение майората сопряжено было с длительными хлопотами, еще более укрепляло подозрения доморощенных мудрецов города Бордо.

— Они будут всю зиму морочить нас; весной поедут на воды и только через год объявят, что свадьба расстроилась.

— Разве вам не ясно,— говорили одни,— чтобы не подавать повода к неблагоприятным толкам ни о той, ни о другой стороне, дело представят так, будто разногласия тут ни при чем, а всему виною министерство юстиции, которое якобы отказало в учреждении майората из-за каких-то формальных придирок.

— Госпожа Эванхелиста,— говорили другие,— жила на такую широкую ногу, как будто к ее услугам были по меньшей мере рудники Валенсианы. Ну, а пошло дело начистоту — у нее ни гроша не оказалось в кармане!

Какой удобный случай для каждого, кому не лень,

подсчитать, сколько тратила все эти годы прекрасная вдовушка, и категорически заявить, что она разорена! Слухи были так упорны, что заключались пари, состоится или нет этот брак. Законы светского общества таковы, что об этих сплетнях знали все, кроме непосредственно заинтересованных лиц. У Поля де Манервиля и у г-жи Эванхелиста не было ни отъявленных врагов, ни преданных друзей, которые только и могли бы поставить их в известность об этих пересудах. У Поля были дела в Ланстраке, и он заодно решил устроить там охоту с участием нескольких знакомых молодых людей — своего рода мальчишник. Все нашли, что эта поездка как нельзя лучше подтверждает общие подозрения. При таких обстоятельствах г-жа де Жиас, у которой была дочь на выданье, сочла уместным, чтобы удостовериться во всем самолично, навестить г-жу Эванхелиста и с тайным злорадством выразить ей соболезнование по поводу постигшей ее неудачи. Натали и ее мать никак не могли взять в толк, чем было вызвано плохо скрываемое волнение маркизы, и спросили, уж не произошла ли с нею какая-нибудь неприятность.

— Как! — ответила та.— Разве вы ничего не знаете о слухах, которыми полон весь город? Я не придаю им никакой веры, но все же приехала узнать правду, чтобы пресечь их, если не повсюду, то по крайней мере в кругу моих знакомых. Как ваш друг, я не могу ни сама прислушиваться к подобным нелепым сплетням, ни допускать, чтобы они распространялись.

— Но что случилось? — воскликнули мать и дочь.

Госпожа де Жиас с видимым удовольствием пересказала своим слушательницам ходившие о них толки, не упуская ни одной подробности и не скупясь на булавочные уколы. Натали и ее мать с улыбкой переглянулись: они прекрасно поняли и смысл рассказа и побуждения их приятельницы. Испанка отомстила ей, как Селимена — Арсиное.

— Разве вы не знаете, дорогая,— ведь вам так хорошо известны провинциальные нравы! — разве вы не знаете, на что способна мать, когда ей нужно сбыть дочку с рук и это никак не удается сделать из-за отсутствия приданого, или женихов, или потому, что дочь недостаточно красива, недостаточно умна, иногда — и то и дру-

гое вместе? Такая мать готова останавливать почтовые кареты, убивать людей, подстерегать прохожих на перекрестке; она заложила бы сама себя, если бы представляла хоть какую-нибудь ценность. В Бордо немало матерей в таком положении; они думают, вероятно, что мы рассуждаем и действуем на их лад. Естествоиспытатели описали нам нравы хищных зверей; но они упустили из виду мать и дочь, которые ловят женихов. Это гиены, которые, по словам псалмопевца, ищут, кого поглотить; но, кроме свойств, присущих этим животным, они обладают мужским умом и женской хитростью. Все эти бордоские паучихи, мадемуазель де Белор, мадемуазель де Транс и *некоторые другие*, долго ткали свои тенета, но напрасно — не попалась ни одна муха, даже не прожужжала где-нибудь поблизости; теперь они взбешены,— я понимаю их и прощаю все их ядовитые речи. Но вы! Ведь вы можете выдать свою дочь замуж, стоит лишь вам захотеть; вы богаты, у вас есть титул, вы далеки от всякой провинциальности; ваша дочь так умна, одарена, красива, имеет возможность выбирать; вы так отличаетесь от всех своими парижскими манерами,— как же вы могли придать этим слухам хоть какое-нибудь значение? Вот что нас больше всего удивляет. В жизни моего зятя политика будет играть важную роль; поэтому юристы, в связи с заключением брака, сочли необходимым выполнить кое-какие формальности. Но неужели я обязана всем отдавать в них отчет? Неужели мания все публично обсуждать распространяется и на частную, семейную жизнь? Уж не разослать ли мне письменные приглашения всем отцам и матерям *вашей* провинции, чтобы они обсудили с нами пункт за пунктом весь брачный контракт?

И на жителей Бордо полился поток эпиграмм. Г-жа Эванхелиста уезжала из города, она могла произвести смотр всем своим друзьям и недругам, вышутить их, вволю поиздеваться над ними, ничего не опасаясь. Поэтому, разбирая, почему такой-то или такой-то особе было выгодно наводить тень на ясный день, она дала полный простор язвительным замечаниям, приберегенным ею до поры до времени.

— Но, дорогая моя,— возразила маркиза де Жиас,— эта поездка господина де Манервиля в Ланстрак, эти

увеселения с участием молодых людей,— согласитесь сами, при подобных обстоятельствах...

— Ах, дорогая моя,— прервала ее наша знатная дама,— неужели вы думаете, что мы отличаемся мелочной мещанской церемонностью? Разве графа Поля надо держать на привязи, точно он может убежать? Или, по-вашему, нам нужно удерживать его с помощью жандармов? Уж не боимся ли мы, что его похитят у нас какие-нибудь бордоские заговорщики?

— Ах, дорогой друг, вы не поверите, как я рада, что... что...

Маркиза осеклась,— слуга доложил о приходе Поля. Как истый влюбленный, Поль не остановился перед тем, чтобы проскакать четыре лье, покинув своих товарищей по охоте, лишь бы провести часок с Натали; он был в сапогах со шпорами, с хлыстом в руке.

— Милый Поль,— сказала Натали,— вы даже не подозреваете, каким красноречивым ответом маркизе служит ваш приезд.

Узнав о сплетнях, ходивших по Бордо, Поль даже не рассердился, а просто рассмеялся.

— Может быть, эти господа догадываются, что у нас не будет ни шумной свадьбы, ни празднества на провинциальный манер, ни торжественного венчания в полдень,— вот они и злятся. Ну что ж, дорогая теща,— сказал он, целуя руку г-же Эванхелиста,— дадим им бал в день подписания брачного контракта, наподобие того, как для простонародья устраивают гулянье на большой площади Елисейских полей; потешим наших друзей горьким удовольствием — поставить свои подписи под таким брачным контрактом, какой в провинции уж поистине редкость!

Это происшествие привело к очень важным последствиям. Г-жа Эванхелиста решила пригласить к себе в день подписания контракта весь город, с явным намерением поразить всех напоследок роскошью приема и тем самым блестяще опровергнуть глупые и лживые слухи.

Поль и Натали должны были торжественно обручиться в присутствии всего общества. Приготовления к этому вечеру, названному «праздником белых камелий», длились сорок дней. Вестибюль, лестница и зал, где сер-

вировали ужин, были уставлены огромным количеством этих цветов.

За то время, пока в доме готовились к балу, были выполнены все формальности, предшествующие свадьбе, успешно закончились и хлопоты в Париже, связанные с учреждением майората. Купчие на смежные с Ланстраком земли были подписаны, состоялось церковное оглашение, все сомнения рассеялись. Как друзья, так и недруги озабочены были теперь нарядами к предстоящему балу. А время текло, сглаживая разногласия, возникшие в начале переговоров, унося с собою память о резких словах, вырвавшихся во время бурных препирательств по поводу брачного контракта. Ни Поль, ни его теща больше не думали о нем. Это была забота нотариусов, как выразилась г-жа Эванхелиста. Но с кем не случалось, что в суете быстротекущей жизни вдруг возникает мысль, иногда запоздалая, о каком-нибудь важном обстоятельстве, таящем угрозу? Утром того дня, когда Поль и Натали должны были подписать свой брачный контракт, такая внезапная мысль озарила г-жу Эванхелиста в тот момент, когда она уже проснулась, но еще не успела согнать с себя дремоту. Слова «Questa coda non è di questo gatto!», сказанные ею, когда Матиас согласился на условия Солонэ, вновь прозвучали в ее сознании. Несмотря на свою неопытность в делах, г-жа Эванхелиста сообразила: если хитрый мэтр Матиас так легко успокоился — значит, он нашел способ все устроить за счет невесты. Очевидно, ущерб грозил не интересам Поля, как она сначала надеялась. Неужели все военные издержки должна уплатить ее дочь? Еще не думая, что именно сделать в случае, если ее интересам будет нанесен слишком серьезный урон, она решила потребовать, чтобы ей подробно объяснили содержание контракта. Этот день имел такие последствия для супружеской жизни Поля, что следует рассказать о нем подробно: ведь часто люди принимают то или иное решение под влиянием окружающей обстановки.

Готовясь продать свой дом, теща графа де Манервиля, тем не менее, не пожалела денег на приготовления к балу. Двор был посыпан песком и, несмотря на зимнее время, украшен цветами; над ним был устроен навес

в виде турецкого шатра. Камелии, о которых уже шла молва от Ангулема до Дакса, обильно украшали вестибюль и лестницу. Внутренние стены были разобраны, чтобы увеличить размеры столовой и бального зала. В Бордо не в диковинку роскошь, блестящая спутница скороспелых богачей, вернувшихся из колоний,— и однако все с нетерпением ждали готовящегося волшебного праздника. К восьми часам, когда должны были приступить к выполнению последних формальностей, по обе стороны ворот шпалерами выстроились зеваки, желавшие увидеть, как разряженные дамы будут выходить из карет. Эта торжественная атмосфера не могла остаться без влияния на тех, кому предстояло подписать контракт. Наступал решительный момент, праздничнo горели плошки, со двора доносился стук колес первых подъехавших карет. Оба нотариуса обедали с женихом, невестой и ее матерью. К столу был приглашен также старший письмоводитель Матиаса, которому было поручено собрать свидетельские подписи присутствующих на вечере, но при этом проследить, чтобы контракт не был прочтен любопытными.

Ни одна женщина, сколько ни перебирать воспоминаний, не могла затмить Натали, ни один туалет не мог превзойти изяществом ее платье. В кружевах и атласе, кокетливо причесанная, со множеством локонов, ниспадавших на открытую шейку, она казалась цветком, выглядывающим из листвы. Г-жа Эванхелиста, в бархатном платье вишневого цвета, предусмотрительно выбранного, чтобы придать наибольшую эффектность ее румянцу, черным волосам и глазам, была во всем блеске красоты сорокалетней женщины; на шее у нее сверкало бриллиантовое ожерелье с «Дискрето» в застежке, что должно было окончательно опровергнуть все клеветнические слухи.

Чтобы читатель мог яснее представить себе происходившую сцену, нужно указать, что Поль и Натали расположились на диванчике у камина, даже не давая себе труда слушать отчет по делам опеки и пропуская мимо ушей пункт за пунктом. Сидя рядышком, они тихонько перешептывались, оба беспечные, как дети, радостно возбужденные: он — своею страстью, она — девичьим любопытством, оба богатые, молодые, влюб-

ленные, уверенные, что их ждет безоблачное счастье. Поль, предвосхищая права законного мужа, то и дело разрешал себе целовать пальчики Натали, дотрагиваться, как бы невзначай, до ее белоснежных плеч, касаться ее волос, скрывая эти вольности от посторонних взоров. Натали играла веером из перьев тропических птиц,— это был подарок Поля, но если придавать значение поверьям некоторых народов, подарок, не менее зловещий для любви, чем ножницы и всякие другие острые предметы, напоминающие, очевидно, о мифологических парках.

Сидя рядом с обоими нотариусами, г-жа Эванхелиста слушала чтение всех документов с напряженным вниманием. После того, как был оглашен отчет по делам опеки, умело написанный Солонэ и сводивший три с лишним миллиона, оставленные г-ном Эванхелиста своей дочери, к пресловутому миллиону ста пятидесяти шести тысячам франков, она сказала молодой чете:

— Слушайте же, дети, ведь сейчас будет читаться ваш брачный контракт!

Письмоводитель выпил стакан подсахаренной воды, Солонэ и Матиас высморкались. Поль и Натали мельком взглянули на собравшихся, выслушали вступительные строки контракта и возобновили свою болтовню. Без всяких замечаний были прочтены первые пункты: о личном имуществе каждого из супругов; о том, что в случае бездетности все состояние умершего супруга полностью переходит к оставшемуся в живых, при наличии же детей, независимо от их числа, четвертая часть остается в пожизненном пользовании этого супруга, и еще четвертая часть переходит в его номинальное владение, предусмотренное существующими законами; о размерах общей собственности супругов, о передаче новобрачной бриллиантов, а новобрачному — библиотеки и лошадей; и наконец в последнем пункте говорилось об учреждении майората. Когда все было прочтено и оставалось только поставить подписи, г-жа Эванхелиста осведомилась, к чему поведет учреждение майората.

— Майорат, сударыня,— ответил мэтр Солонэ,— есть неотчуждаемое имение, обособленное от имущества обоих супругов. В каждом поколении майоратные вла-

дения переходят к старшему в роде, не исключая при этом его обычных наследственных прав.

— Но что это даст моей дочери? — спросила она.

Мэтр Матиас, не находя нужным скрывать правду, объяснил:

— Сударыня! Так как майорат — имение, изъятое из собственности обоих супругов, то в случае, если ваша дочь умрет раньше своего супруга, оставив одного или нескольких детей, в том числе сына,— граф де Манервиль будет обязан передать детям лишь триста пятьдесят шесть тысяч франков состояния их матери за вычетом своей доли, то есть четвертой части, остающейся в его пожизненном пользовании, и еще четвертой части, остающейся в его номинальном владении. Таким образом, его долг детям сведется приблизительно к ста шестидесяти тысячам, если принять во внимание затраты на имущество, находящееся в совместном пользовании, его долю из общего имущества и прочее. В том же случае, если он умрет первым, оставив детей мужского пола, госпожа де Манервиль, равным образом, будет иметь право лишь на триста пятьдесят шесть тысяч франков, то есть на часть своего приданого, не входящую в майорат, а также бриллианты и долю графа в общей собственности супругов.

Только теперь плоды дальновидной политики мэтра Матиаса предстали перед г-жой Эванхелиста в их истинном свете.

— Моя дочь разорена! — прошептала она.

Оба нотариуса, старый и молодой, услышали эти слова.

— Разве обеспечить благосостояние семьи — значит разориться? — возразил мэтр Матиас также вполголоса.

Видя выражение лица клиентки, молодой нотариус не счел возможным скрывать размеры понесенных потерь.

— Мы хотели надуть их на триста тысяч,— сказал он ей,— вместо этого они, по-видимому, надули нас на восемьсот. Подписание договора зависит от того, согласимся мы или нет на уступку четырехсот тысяч франков в пользу будущих детей. Придется либо порвать, либо уступить.

Трудно описать воцарившееся в эту минуту молчание. Мэтр Матиас с видом победителя ожидал, чтобы два человека, намеревавшиеся обобрать его клиента, поставили свою подпись под контрактом. Натали, не догадываясь, что она теряла половину своего состояния, и Поль, не зная, что род Манервилей на эту же сумму остается в выигрыше, продолжали смеяться и болтать. Солонэ и г-жа Эванхелиста смотрели друг на друга: один — скрывая свое безразличие, другая — с трудом сдерживая нахлынувшее раздражение. Еще недавно, пережив мучительные угрызения совести, но переложив на Поля всю вину за свое вынужденное криводушие, вдова решила пойти на бесчестные уловки, чтобы заставить его расплатиться за ошибки, допущенные ею в бытность опекуншей; она заранее смотрела на Поля, как на свою жертву, и вдруг обнаружила, что вместо победы ее ждет поражение, а жертвой оказалась ее собственная дочь!

Не сумев даже извлечь выгоды из своих козней и уловок, она оказалась в дураках перед почтенным стариком, который, вероятно, глубоко ее презирал. Разве условия, поставленные мэтром Матиасом, не свидетельствовали о том, что он проник в ее тайные замыслы? Ужасная догадка: Матиас посвятил Поля во все! И если даже он еще ничего ему не говорил, то после подписания контракта этот старый волк, наверно, расскажет своему клиенту, какие тому угрожали опасности и как удалось их избежать. Он сделает это хотя бы из желания стяжать похвалу, к которой ведь никто не равнодушен. Разве он не предостережет Поля против женщины, настолько коварной, что она не отступила даже перед таким постыдным заговором? Разве он не постарается свести на нет влияние на зятя, которое она успела приобрести? Если безвольные люди потеряют к кому-нибудь доверие, то уж их ничем не собьешь. Значит, все пропало! В тот день, когда спор начался, она рассчитывала на бесхарактерность Поля, на невозможность для него порвать отношения, зашедшие так далеко. А сейчас она сама была связана по рукам и ногам. Три месяца назад отказ Поля от брака не сопряжен был с большими осложнениями, а сейчас весь город знал, что за последние два месяца нотариусы устранили возник-

шие помехи. Церковное оглашение состоялось, через два дня должны были праздновать свадьбу. Пышно разряженное общество уже съезжалось на вечер, прибывали друзья и знакомые жениха и невесты. Как объявить им, что свадьба откладывается? Причина отсрочки стала бы всем известна; безукоризненная честность мэтра Матиаса пользовалась всеобщим признанием, к его словам всегда прислушивались с доверием. Насмешки обрушились бы на семью Эванхелиста, у которой не было недостатка в завистниках. Значит, нужно было уступить. Эти беспощадно верные мысли вихрем налетели на г-жу Эванхелиста, они жгли ее мозг. Хотя она сохраняла невозмутимость не хуже любого дипломата, подбородок ее передернуло непроизвольной апоплексической судорогой, как у разгневанной Екатерины II, когда, почти при подобных же обстоятельствах, молодой шведский король дерзко обошелся с нею в присутствии толпы придворных, окружавших ее трон. Один лишь Солонэ заметил эту игру мускулов, которая исказила черты лица г-жи Эванхелиста и возвещала о жгучей ненависти, подобной буре без грома и молнии. Действительно, в эту минуту вдова поклялась в вечной вражде к своему зятю, в той ничем не утолимой вражде, семя которой было занесено арабами на почву обеих Испаний.

— Послушайте, сударь,— сказала она, наклонившись к уху нотариуса,— вы называли это *галиматьей*, а мне кажется, что умнее нельзя было и придумать.

— Позвольте, сударыня...

— Позвольте, сударь,— продолжала вдова, не слушая Солонэ,— если во время деловой беседы вы не сообразили, к чему должны привести все эти условия, то чрезвычайно странно, что вы не удосужились обдумать их хотя бы впоследствии, в своем кабинете. Я не могу объяснить это одним неумением...

Молодой нотариус увел свою клиентку в соседнюю комнату, мысленно рассуждая: «Я должен получить более тысячи экю за ведение счетов по опеке, столько же — за брачный контракт, шесть тысяч франков я заработаю на продаже дома,— итого тысяч пятнадцать, если все подсчитать; не надо с ней ссориться». Догадываясь о чувствах, волновавших г-жу Эванхелиста, он за-

крыл за собою дверь и, холодно взглянув на вдову, как умеют глядеть лишь деловые люди, произнес:

— Так-то, сударыня, вы вознаграждаете мою преданность? А между тем я проявил величайшую проницательность, чтобы оградить ваши интересы!

— Но, сударь...

— Я действительно не принял в расчет, к чему клонятся эти условия; но кто принуждает вас соглашаться, чтобы граф Поль стал вашим зятем? Ведь контракт еще не подписан. Устраивайте бал, а подписание контракта отложим. Лучше обмануть ожидания всего Бордо, чем самим обмануться в своих расчетах.

— Но как объяснить всему обществу, и без того предубежденному против нас, почему контракт не будет подписан?

— Недоразумением, допущенным в Париже, отсутствием некоторых нужных документов.

— А что делать с купчими?

— Господин де Манервиль легко найдет другую невесту с приданым...

— Да, он ничего не потеряет, но мы-то теряем все!

— Если титул — главная причина, из-за которой вы стремились к этому браку,— возразил своей клиентке Солонэ,— то вам нетрудно будет найти какого-нибудь другого графа, подешевле.

— Нет, нет, мы не можем рисковать своей честью! Я попалась в ловушку, сударь! Завтра весь город заговорит об этом Ведь обручение уже состоялось.

— Хочется ли вам, чтобы мадемуазель Натали была счастлива? — спросил Солонэ.

— Да, это самое главное!

— Чтобы быть счастливой у нас, во Франции,— сказал нотариус,— женщине нужно прежде всего быть полной хозяйкой в доме. Она обведет вокруг пальца этого простака Манервиля; он такое ничтожество, что даже ничего не заметил. Если вам сейчас он и не доверяет, то жене он во всем будет верить. А ведь ваша дочь — это вы сами. Судьба графа Поля, так или иначе, в ваших руках.

— Если это верно, сударь, то, право, я не знаю, как отблагодарить вас! — порывисто воскликнула вдова, сверкнув глазами.

— Нас ждут, сударыня, пора возвращаться,— закончил мэтр Солонэ, отлично понимавший, что за чувства обуревали г-жу Эванхелиста.— Итак, прежде всего — слушайтесь меня! Потом, если вам угодно, можете говорить, что я не умею вести дела.

— Дорогой коллега,— заявил молодой нотариус мэтру Матиасу, вернувшись в гостиную,— *несмотря на всю вашу опытность*, вы кое-чего не предусмотрели: господин де Манервиль может умереть, не оставив детей, или же у него будут только дочери. И в том, и в другом случае из-за майората возникнут тяжбы с другими Манервилями, ибо:

Они появятся, не сомневайтесь в том!

Поэтому я считаю необходимым оговорить, что в первом случае майорат, как и все прочее имущество, переходит в собственность оставшегося в живых супруга, а во втором случае указ об учреждении майората теряет силу. Оговорка имеет в виду интересы будущей супруги.

— Эта оговорка, по-моему, вполне справедлива,— заметил мэтр Матиас.— Для того, чтобы ее утвердили, графу нужно лишь похлопотать в министерстве юстиции.

Молодой нотариус взял перо и прибавил в контракте это роковое условие, на которое Поль и Натали не обратили никакого внимания. Г-жа Эванхелиста опустила глаза, пока мэтр Матиас перечитывал текст условия.

— Подпишем! — воскликнула она. Голос ее выдавал глубокое волнение, как она ни старалась его скрыть. Она подумала: «Если кто-нибудь разорится, то не моя дочь, а только он!» Дочь моя будет титулованной, знатной и состоятельной. Если в один прекрасный день она обнаружит, что разлюбила мужа, если ее охватит непреоборимое чувство к другому — мы добьемся, чтобы Поль уехал из Франции, а моя Натали будет свободна, счастлива и богата».

Мэтр Матиас хорошо разбирался в делах, но плохо — в чувствах; вместо того чтобы увидеть в этой поправке объявление войны,— он объяснил ее добросовестным стремлением к точности. Пока Солонэ и его письмоводитель помогали Натали подписать все документы, на что

требовалось известное время, Матиас отозвал Поля в сторону и объяснил ему, в чем заключалась уловка, придуманная им, чтобы спасти своего клиента от верного разорения.

— Вам принадлежит теперь закладная на этот особняк, оцененный в полтораста тысяч франков,— сказал он под конец.— Она будет получена завтра же. Облигации казначейства, которые я приобрел на имя вашей жены, будут храниться у меня. Следовательно, все в полном порядке. Но в контракте имеется также пункт, удостоверяющий получение вами суммы, равной стоимости бриллиантов; затребуйте же их. Дела — делами. Алмазы сейчас в цене, но могут и подешеветь. Покупка имений Озак и Сен-Фру дает вам повод обратить в деньги все, чтобы оставить в неприкосновенности доходы, приносимые капиталом вашей супруги. Поэтому не будьте излишне щепетильны, граф. При подписании купчих вам нужно будет уплатить двести тысяч наличными; воспользуйтесь бриллиантами для этой цели. Для второго платежа у нас есть закладная на особняк г-жи Эванхелиста, а доходы с майората помогут нам выплатить остальное. Если вы будете благоразумны и в течение трех лет станете тратить не свыше пятидесяти тысяч франков ежегодно, то вернете себе эти двести тысяч, которых сейчас лишаетесь. Разведите виноградники на склонах Сен-Фру, это принесет вам двадцать шесть тысяч в год. Значит, из вашего майората, не считая дома в Париже, можно будет извлекать до пятидесяти тысяч дохода; это будет один из лучших майоратов, какие мне известны. Ваш брак окажется чрезвычайно удачным.

Поль с чувством признательности пожал руку своего старого друга. Это движение не могло ускользнуть от г-жи Эванхелиста, которая подошла к ним, чтобы передать Полю перо. Ее подозрения подтверждались; она решила, что Поль и Матиас заранее сговорились между собою. К ее сердцу волной прихлынули гнев и ненависть. Эта минута решила все.

Удостоверившись, что поправки подтверждены пометами на полях и что каждый лист подписан с лицевой стороны всеми тремя договаривающимися особами, мэтр Матиас взглянул на Поля, а затем на его тещу и,

видя, что клиент не заговаривает о бриллиантах, сказал сам:

— Не думаю, чтобы передача бриллиантов потребовала каких-либо формальностей, ведь вы отныне члены одной семьи.

— Однако лучше было бы отдать их господину де Манервилю теперь же, ведь он взял на себя всю недостачу по счетам опеки. В жизни и смерти никто не волен,— сказал мэтр Солонэ, не упуская случая восстановить тещу против зятя.

— О матушка,— воскликнул Поль,— это было бы оскорбительно для всех нас. Summum jus, summa injuria [1], сударь,— сказал он, обращаясь к Солонэ.

— Нет, вы должны взять бриллианты, иначе я расторгну контракт,— воскликнула г-жа Эванхелиста, совсем уже разъяренная намеком Матиаса, воспринятым ею как смертельная обида.

Она вышла, не в силах подавить той неистовой злобы, когда человеку хочется рвать и метать, злобы, которую чувство собственного бессилия доводит чуть ли не до бешенства.

— Ради бога, возьмите их, Поль,— сказала шепотом Натали.— Маменька сердится. Я потом узнаю — из-за чего, и расскажу вам, мы успокоим ее.

Госпожа Эванхелиста была все же удовлетворена результатом своей хитрости: ей удалось сберечь серьги и ожерелье. Она велела принести только те бриллианты, которые Эли Магюс оценил в полтораста тысяч франков. Мэтр Матиас и Солонэ привыкли иметь дело с семейными драгоценностями, переходящими по наследству: они внимательно рассмотрели содержимое ларца и восхитились красотой бриллиантов.

— Вы ничего не потеряли на приданом, граф,— сказал Солонэ, заставив Поля покраснеть.

— Да,— заметил Матиас,— этих бриллиантов хватит для первого платежа за приобретенные имения.

— И для покрытия издержек по заключению контракта,— прибавил Солонэ.

Ненависть, как и любовь, питается каждой мелочью, все идет ей на потребу. Как любимого человека считают

---

[1] Высшая законность — высшее беззаконие *(лат.)*.

не способным ни на что плохое, так от человека, которого ненавидят, не ждут ничего хорошего. Поэтому г-жа Эванхелиста сочла поведение Поля притворством, хотя оно было вызвано вполне понятной застенчивостью: не желая оставить бриллианты у себя, он в то же время не знал, куда их девать, и готов был выбросить их в окошко. Вдова, видя его замешательство, понукала его взглядом, как будто говорившим: «Унесите же их отсюда!»

— Натали, дорогая,— сказал Поль своей будущей жене,— спрячьте сами эти бриллианты; они ваши, я дарю их вам.

Натали положила бриллианты в ящик стола. К этому времени стук колес настолько участился и гул голосов, доносившийся из соседних комнат, стал так громок, что Натали с матерью вынуждены были выйти к приехавшим гостям. Залы были полны; вечер начался.

— Продайте бриллианты в течение медового месяца,— уходя, посоветовал Полю старый нотариус.

В ожидании начала танцев все шептались друг с другом по поводу свадьбы. Кое-кто выражал сомнения насчет судьбы, предстоявшей жениху и невесте.

— Покончили вы с делами? — спросила г-жу Эванхелиста одна из наиболее важных персон города.

— Нам пришлось прочесть и выслушать столько бумаг, что мы немного задержались,— ответила она,— вы должны нас извинить.

— А я ровно ничего не слышала,— сказала Натали, подавая руку Полю, чтобы открыть бал.

— Оба они транжиры,— заметила одна вдова.— А уж мать, во всяком случае, не станет их удерживать.

— Но я слышал, что они учредили майорат, приносящий пятьдесят тысяч дохода.

— Да что вы?

— Как видно, дело не обошлось без господина Матиаса,— сказал один судья.— Если это верно, то старик, без сомнения, постарался спасти будущность этой семьи.

— Натали слишком красива, чтобы не быть ужасно кокетливой,— заметила одна молодая женщина.— Не пройдет и двух лет со дня свадьбы, как Манервиль бу-

дет самым несчастным человеком. Могу поручиться, что его семейная жизнь сложится неудачно.

— Придется, значит, подпереть «душистый горошек» жердочкой? — подхватил мэтр Солонэ.

— Эта долговязая Натали вполне может служить жердью! — сказала какая-то девушка.

— Не кажется ли вам, что госпожа Эванхелиста чем-то недовольна?

— Но, дорогая, мне только что сказали, будто у нее не остается и двадцати пяти тысяч дохода. А что для нее значит такая сумма?

— Сущая безделица, моя милая.

— Да, она отказалась в пользу дочери от своего богатства. Господин де Манервиль был так требователен...

— Чрезвычайно!—подтвердил мэтр Солонэ.—Но зато он будет пэром Франции. Ему покровительствуют Моленкуры и видам Памье; он свой человек в Сен-Жерменском предместье.

— Просто его принимают там, вот и все,— возразила дама, надеявшаяся, что Поль станет ее зятем.— Мадемуазель Эванхелиста — дочь торговца; вряд ли она откроет ему доступ к Кельнскому капитулу.

— Однако она внучатая племянница герцога Каса-Реаль.

— По женской линии!

Но вскоре толки прекратились. Игроки принялись за карты, молодые люди и девицы — за танцы, затем подали ужин, и гул празднества утих лишь к утру, когда в окна заглянули первые лучи рассвета. Простившись с Полем, который уехал последним, г-жа Эванхелиста поднялась к дочери, так как ее собственная комната была использована архитектором, чтобы увеличить размеры зала. Хотя и Натали и ее мать одолевал сон, но, оставшись наедине, они все же обменялись несколькими словами.

— Что с тобой, маменька?

— Мой ангел, лишь сегодня я поняла, как велика материнская любовь. Ты ничего не смыслишь в делах и не знаешь, каким испытаниям была подвергнута моя честь. Мне пришлось поступиться своей гордостью, так как дело шло о твоем счастье и о нашем добром имени.

— Ты говоришь об этих бриллиантах? Поль чуть не

плакал, бедный мальчик. Он отказался их взять и подарил их мне.

— Спи, дитя мое, мы потолкуем о делах завтра. Ведь теперь у нас завелись дела,— сказала мать со вздохом.— Между нами встал третий.

— О маменька, Поль никогда не будет помехой нашему счастью,— сказала Натали уже сквозь сон.

— Бедная девочка, она не знает, что этот человек только что разорил ее!

На г-жу Эванхелиста напал первый приступ скупости, во власть которой в конце концов попадают все пожилые люди. Ее охватило желание вернуть своей дочери все богатства, оставленные г-ном Эванхелиста. Это было вопросом чести. Из любви к Натали она вдруг стала настолько же расчетлива в денежных вопросах, насколько ранее была расточительна и беззаботна. Она размышляла, как бы извлечь побольше дохода из своего капитала, часть которого была помещена в государственную ренту, ходившую в то время по восьмидесяти франков. Страсть, охватившая душу, может мгновенно изменить характер человека: болтун становится сдержанным, трус — храбрецом. Г-жу Эванхелиста, бывшую когда-то мотовкой, ненависть превратила в скрягу. Богатство должно было послужить ее мстительным замыслам, еще смутным, не вполне определенным, но уже созревавшим. Она заснула с мыслью: «Итак, завтра!» Явление необъяснимое, но хорошо знакомое всем мыслителям: во сне ее ум продолжал трудиться над теми же вопросами, придал им ясность, привел в соответствие друг с другом, решил задачу, как обеспечить господство над Полем, составил план, за осуществление которого она взялась на следующий же день.

Веселье бала рассеяло тревожные мысли, порой осаждавшие Поля, но, когда он остался один и лег в постель, они снова стали мучить его.

«Похоже на то,— думал он,— что, не будь моего доброго Матиаса, теща ловко провела бы меня. Нет, это невероятно! Какой ей расчет меня обманывать? Разве наши богатства не соединяются, разве мы не будем жить вместе? Впрочем, зачем мне беспокоиться? Через несколько дней Натали станет моей женой, мы будем жить общими интересами, ничто не сможет поссорить

нас. Итак,— была не была! Тем не менее я буду настороже. Но даже если Матиас прав — что ж такого? В конце концов я женюсь не на теще!»

Думая о своем будущем, Поль и не подозревал, что после этого второго сражения дело приняло совершенно иной оборот. Наиболее хитрая и умная из двух женщин, совместно с которыми он собирался жить, стала его смертельным врагом и думала только о том, как бы оградить свои личные интересы. Не будучи в состоянии заметить, что его теща благодаря особенностям характера креолок значительно отличалась от других женщин, Поль еще менее был способен догадаться, до чего она хитра. У креолок своеобразная натура: умом они похожи на жительниц Европы, бурной и безрассудной страстью — на уроженок тропиков и напоминают индианок апатичным равнодушием, с каким они переносят горе и радость или доставляют их другим. Это привлекательные, но опасные натуры; так бывает опасен ребенок, когда за ним нет присмотра. Такой женщине, как ребенку, подай немедленно все, чего ей хочется; подобно ребенку, она способна поджечь дом, чтобы сварить яйцо. Вялая в обычной жизни, она не думает ни о чем, но, будучи возбуждена страстью, обдумывает каждую мелочь. В ней было чисто негритянское лукавство,— ведь негры окружали ее с самой колыбели,— но вместе с тем она была по-негритянски наивна. Как негры и дети, она умела мечтать о чем-нибудь со все возрастающим пылом желания, умела лелеять свою мечту и добиваться ее осуществления. Словом, характер г-жи Эванхелиста представлял собою причудливую смесь достоинств и недостатков; насквозь испанский по внутреннему своему существу, он был покрыт некоторым лоском французской учтивости. Эта душа, дремавшая в течение шестнадцати лет безоблачного счастья, а потом всецело поглощенная мелочными заботами светской жизни, в прошлом уже познавшая однажды свою силу при вспышке ненависти, теперь была охвачена как бы внезапным пожаром, и это случилось как раз в ту пору жизни, когда женщина утрачивает все, к чему раньше была привязана, и для снедающей ее страсти к деятельности нужна новая пища. Натали должна была оставаться под крылышком матери

еще трое суток. Итак, в распоряжении побежденной г-жи Эванхелиста было еще три дня, последние из тех, что дочь проводит вместе с матерью. А так как Натали слепо верила ей во всем, то одним своим словом креолка могла оказать решающее влияние на судьбу двух человек, которым отныне предстояло идти рука об руку по путям и перепутьям парижской жизни. Какое огромное значение приобретает в подобных условиях каждый совет, особенно если он упадет на подготовленную почву! Все будущее молодой четы зависело от одной только фразы. Никакие законы, никакие меры, придуманные людьми, не могут предотвратить нравственное убийство, убийство словом. В этом — слабое место правосудия, которое вершится обществом. В этом сказывается основное различие между нравами простого народа и нравами высшего света: там — искренность, здесь — притворство; те пользуются ножом, эти—ядовитыми словами или мыслями; тем — смертная казнь, этим — безнаказанность.

На другой день, проснувшись около полудня, г-жа Эванхелиста подошла к постели Натали. Целый час они обменивались ласками и нежными словами, вспоминая счастливые дни совместной жизни, которую ни разу на нарушали раздоры: чувства обеих были всегда едиными, мысли — одинаковыми, удовольствия — общими.

— Бедная моя малютка! — сказала мать, плача неподдельными слезами.— Разве может не волновать меня мысль о том, что ты, привыкшая все делать по своей прихоти, завтра вечером будешь принадлежать человеку, которому тебе придется повиноваться!

— О мамочка, повиноваться?! — возразила Натали, покачав головкой с грациозным упрямством.— Ты шутишь? Разве отец не исполнял малейшее твое желание? А почему? Потому что любил тебя. Ну, а разве Поль не любит меня?

— Да, Поль тебя любит; но если замужняя женщина не будет предусмотрительна, любовь мужа быстро улетучится. Влияние жены на мужа целиком зависит от того, как началась семейная жизнь. Тебе нужно несколько добрых советов.

— Но ведь ты будешь жить вместе с нами!

— Не знаю, право, дитя мое. Вчера, во время бала, я много думала о том, что такая совместная жизнь таит в себе опасности. Если мое присутствие повредит тебе, если поступки, с помощью которых ты должна будешь постепенно упрочить свой авторитет, припишут моему влиянию, твоя семейная жизнь превратится в ад. Ты знаешь мою гордость: лишь только твой муж начнет хмуриться, я тотчас же покину ваш дом. А уж если я когда-нибудь покину его, то с твердой решимостью больше не возвращаться. Я не прощу твоему мужу, если он посеет между нами разлад. Но если ты будешь господствовать в семье, если Поль станет относиться к тебе так, как относился ко мне твой отец,— мы избежим этой беды. Хотя твоему юному и нежному сердцу и нелегко будет вести подобную политику, но в интересах своего счастья ты должна добиться неограниченной власти в семье.

— Почему же, маменька, ты сказала, что мне придется повиноваться ему?

— Милая девочка, если женщина хочет повелевать, она должна делать вид, будто выполняет волю мужа. Не зная этого, ты могла бы несвоевременным противодействием испортить всю свою будущность. Поль — человек слабохарактерный, он легко может подпасть под влияние приятеля, а то и под влияние другой женщины, и тогда тебе придется немало терпеть от их происков. Предотврати эти неприятности, утверди собственное влияние. Ведь лучше, чтобы вертела им ты, а не кто-нибудь другой.

— Конечно,— сказала Натали,— ведь я буду заботиться о его счастье.

— Позволь мне, дитя мое, думать только о твоем счастье. Мне не хотелось бы, чтобы ты осталась без компаса в столь опасный момент, когда твоему кораблю грозит встреча со множеством подводных камней.

— Но, дорогая маменька, ведь мы с тобой достаточно уверены в себе и прекрасно можем жить вместе с ним, не опасаясь, что он станет хмуриться. Неужели ты этого боишься? Поль любит тебя, маменька.

— О нет, он боится меня, а не любит. Обрати внимание на выражение его лица, когда я сегодня скажу ему, что не поеду с вами в Париж; ты увидишь, что в глуби

не души он будет очень рад, как бы он ни старался это скрыть.

— Что ты! — воскликнула Натали.

— А вот посмотришь! Я обличу его в твоем присутствии красноречивее Иоанна Златоуста.

— А если я поставлю условием своего замужества — не разлучаться с тобой? — спросила Натали.

— Нам придется расстаться,— возразила г-жа Эванхелиста.— Этого требует целый ряд соображений. Мои виды на будущее изменились, я разорена. Вам предстоит блестящая жизнь в Париже; чтобы вести такой образ жизни, мне пришлось бы истратить и то немногое, что у меня осталось; живя же в Ланстраке я буду заботиться о ваших интересах и в то же время поправлю свои дела, буду бережливой...

— Как, маменька, ты будешь бережливой? — рассмеялась Натали.— Полно, не зачисляй себя раньше времени в бабушки. Неужели ты хочешь расстаться со мной только по этой причине? Нет, маменька, Поль может тебе показаться чуточку глуповатым, но уж о деньгах он думает меньше всего на свете.

— Увы,— возразила г-жа Эванхелиста гробовым тоном (Натали даже вздрогнула),— я стала недоверчивой после этих препирательств при заключении контракта; они вселили в меня сомнения. Но не беспокойся, дитя мое,— продолжала она, обнимая дочь за шею и привлекая к себе, чтобы поцеловать,— я не оставлю тебя надолго. Когда мое присутствие перестанет внушать недоверие, когда Поль оценит меня по справедливости, мы снова заживем по-хорошему, будем болтать по вечерам...

— Как, маменька, неужели ты можешь жить без своей Нини?

— Да, мой ангел, но ведь я буду жить для тебя. Разве мое материнское сердце не будет испытывать непрестанного удовлетворения при мысли, что я исполняю свой долг, способствую вашему счастью?

— Но, обожаемая моя маменька, ведь сейчас я останусь совсем одна с Полем! Что со мной будет? Как я обойдусь без тебя? Что я должна делать и чего не должна?

— Бедная моя малютка, неужели ты думаешь, что я

брошу тебя в первом же бою? Мы будем писать друг другу три раза в неделю, точно двое влюбленных; сердца наши будут всегда открыты друг для друга. Все, что с тобой ни случится, тотчас же станет мне известно; я буду оберегать тебя от бед. Не думай, что я совсем не собираюсь навещать вас, это показалось бы странным и повредило бы твоему мужу в общем мнении: месяц или два я все-таки проведу с вами в Париже.

— А потом я останусь одна, совсем одна с ним! — испуганно прервала Натали.

— Но ведь должна же ты быть его женой!

— Я ничего не имею против, но научи меня по крайней мере, как мне себя вести? Ты это хорошо знаешь, недаром папенька исполнял все твои желания. Я во всем буду слушаться тебя.

Госпожа Эванхелиста поцеловала Натали в лоб. Она ждала этой просьбы и хотела ее услышать.

— Дитя мое, советы даются сообразно с обстоятельствами. Мужчины не похожи друг на друга. Если сравнивать их душевные свойства, то у двух мужчин меньше сходства между собою, чем у льва и лягушки. Разве мне известно, что с тобой случится завтра? Я могу дать тебе лишь общие указания, как нужно себя вести.

— Ну, так скажи мне, маменька, поскорее все, что ты знаешь.

— Во-первых, детка, запомни причину, из-за которой обычно терпит неудачу женщина, пытающаяся сохранить любовь своего мужа. А сохранять его любовь и господствовать над ним — это, в сущности, одно и то же,— прибавила она как бы в скобках.— Итак, главная причина семейных неурядиц коренится в излишней близости; раньше ее не существовало, она появилась в этой стране вместе с пристрастием к семейной жизни. После революции, происшедшей во Франции, аристократические семьи усвоили буржуазные нравы. Мы обязаны этим несчастьем одному писателю, по имени Руссо, гнусному еретику, все идеи которого были антиобщественными; не знаю, каким образом он доказывал разные нелепости. Он утверждал, что у всех женщин одни и те же права, одни и те же свойства; что люди, составляющие общество, должны во всем следовать природе; как будто у супруги испанского гранда или у нас

с тобой есть что-нибудь общее с женщиной из простонародья! И с тех пор порядочные женщины сами кормят грудью своих детей, воспитывают дочерей и сидят дома. От этого жизнь до такой степени усложнилась, что счастье стало большой редкостью, ибо сходство характеров, подобное нашему, сходство, благодаря которому мы живем в такой дружбе, встречается лишь в исключительных случаях. Постоянная близость между родителями и детьми не менее опасна, чем близость между супругами. Вряд ли кто-нибудь способен сохранить любовь к тому, кто вечно на глазах,— это было бы настоящим чудом. Итак, пусть между тобою и Полем встанут преграды светской жизни; посещай балы, Оперу, по утрам выезжай на прогулки, по вечерам обедай в гостях, делай побольше визитов, а Полю уделяй поменьше времени. Поступая так, ты ничего не потеряешь,— он будет еще больше ценить тебя. Если двое людей связаны только нежным чувством и хотят жить им до самой могилы, сила этого чувства скоро иссякнет, и они изведают равнодушие, пресыщение, скуку. Если чувство угасло — что тогда? Знай, что на смену былой привязанности приходит либо безразличие, либо презрение. Будь же всегда молодой, всегда по-новому привлекательной для мужа. Может статься, он тебе иногда и наскучит, но берегись наскучить ему. Умение не наскучить — одно из главных условий, нужных, чтобы сохранить любую власть. Ваше счастье будет слишком однообразно, тут вам не помогут ни домашние дела, ни всевозможные заботы. Итак, если ты не заставишь мужа вести вместе с тобой светский образ жизни, не будешь развлекать его, ваше чувство угаснет, для вас наступит *сплин* любви. Но тех, кто нас развлекает, от кого зависит, чтобы мы были счастливы, невозможно разлюбить. Приносить мужчине счастье или же самой ждать от него счастья — вот два разных пути для женщины; между ними лежит пропасть.

— Я слушаю, маменька, но не понимаю.

— Если ты так любишь Поля, что не будешь ни в чем ему отказывать, и если он в самом деле будет доставлять тебе счастье — тогда не о чем говорить, ты никогда не будешь господствовать над ним, и самые лучшие советы тебе не помогут.

— Это более ясно, но я усваиваю правило, не применяя его на деле,— сказала Натали, смеясь.— Ну что ж, ты объяснила теорию, а практика будет потом.

— Бедная моя Нини,— сказала мать, уронив искреннюю слезу при мысли о браке дочери и крепко прижав ее к сердцу,— тебе придется испытать многое, и многое тебе врежется в память. Словом,— продолжала она после короткой паузы, в течение которой мать и дочь нежно обнимали друг друга,— знай, Натали, что у женщин, как и у мужчин, есть свое призвание. Предназначение мужчины — быть военачальником или поэтом, а женщины — быть светской дамой или обаятельной хозяйкой дома. Твое призвание — нравиться. Ты воспитана для светской жизни. Раньше женщин воспитывали для гинекея, а теперь — для гостиных. Ты создана не для того, чтобы стать матерью семейства или домоправительницей. Если у тебя все-таки будут дети, то надеюсь, по крайней мере, что они не испортят твоей талии вскоре после замужества; забеременеть через месяц после свадьбы — мещанство, к тому же это доказывает, что муж недостаточно любит жену. Если же через два — три года после брака у тебя родятся дети,— пусть их воспитывают гувернантки и учителя. Будь знатной дамой, пусть у тебя в доме царят роскошь и удовольствия; но нужно, чтобы твое превосходство было заметно лишь в тех мелочах, что льстят мужскому самолюбию; если же ты сумеешь сохранить преобладание и в более важном — постарайся это скрыть.

— Ты пугаешь меня, маменька! — воскликнула Натали.— Как мне запомнить все эти советы? Как я смогу все заранее рассчитывать, обдумывать каждый свой шаг, ведь я так ветрена и ребячлива!

— Да, моя девочка, но все, что я говорю тебе сейчас, ты узнала бы впоследствии сама на горьком опыте собственных ошибок и промахов, ценою поздних сожалений и жизненных тягот.

— С чего же начать? — наивно спросила Натали.

— Тебе укажет дорогу инстинкт,— ответила мать.— Сейчас Полем владеет не столько любовь, сколько страсть; любовь, подсказанная голосом страсти,— лишь мечта; настоящая любовь возникает после того, как желания уже утолены. В этом, дорогая моя, коренится

твоя власть, здесь — разрешение всего вопроса. Мало ли каких женщин любят накануне свадьбы! Сумей быть любимой и на другой день, и ты будешь любима всегда. Поль — бесхарактерный человек, его легко приучить к чему-нибудь. Если он уступит тебе в первый раз, то будет уступать и в дальнейшем. Женщина, внушающая страстное желание, может требовать всего. Не будь же безрассудной, как большинство жен; не зная всей важности первых часов совместной жизни, когда наша власть беспредельна, они тратят их на всякий вздор, на бесполезные глупости. Воспользуйся тем, что страстно влюбленный в тебя муж подпадет под твое влияние, и приучи его повиноваться тебе. Заставь его уступать во всем, даже в тех случаях, когда это противно здравому смыслу: тогда ты сможешь измерить силу своей власти важностью сделанных тебе уступок. Что толку, если он послушает тебя, когда ты потребуешь чего-нибудь дельного? Ведь он будет в этом случае повиноваться не тебе, а голосу рассудка. Идешь на быка — хватай за рога, говорит кастильская пословица. Раз он увидит тщетность своих попыток защититься, увидит свое бессилие — он побежден. Если муж сделает ради тебя глупость — твоя власть над ним обеспечена.

— Господи, да зачем все это?

— Затем, дитя мое, что брак длится всю жизнь и нельзя равнять мужа с остальными людьми. Поэтому никогда не открывай ему своей души: это было бы безумием с твоей стороны. Будь всегда сдержанной и в разговорах и в поступках; ты можешь безбоязненно быть с ним даже холодной как лед, ибо эту холодность всегда можно при желании смягчить, между тем как безрассудная любовь не знает удержу в своих проявлениях. Муж, дорогая моя,— единственный мужчина, с которым женщина никогда не должна быть безрассудной. Да и нет ничего легче, как хранить свое достоинство. «Ваша жена не должна, вашей жене не приличествует говорить или делать то-то и то-то» — в этих словах скрыт великий талисман. Вся жизнь женщины — в возгласе: «Я этого не хочу!» или же: «Я этого не могу!». «Я не могу» — неопровержимый довод слабого существа, которое кидается на постель, плачет и пленяет своей беспомощностью. «Я не хочу» — это послед-

ний довод. В нем проявляется сила женщины; поэтому к нему нужно прибегать лишь в крайних случаях. Успешность этих доводов зависит от того, как женщина пользуется ими, как она их применяет и разнообразит. Но есть и другой способ добиться господства; он еще лучше, чем первый, который все-таки иногда не устраняет разногласий. Знай, дорогая моя, что я царила лишь благодаря полному доверию мужа ко мне. Если муж доверяет тебе — ты всемогуща. А для того, чтобы внушить ему эту благоговейную веру, надо убедить его, что ты его понимаешь. Это вовсе не так легко, как ты думаешь; нетрудно доказать мужу, что ты его любишь, но гораздо труднее уверить его в том, что ты его понимаешь. Я должна сказать тебе все это, дитя мое, потому что завтра для тебя начинается совсем новая, сложная жизнь, требующая умения ладить с мужем. Задумывалась ли ты над тем, как это трудно? Если ты хочешь жить с мужем в ладу, нужно устроить так, чтобы все делалось по-твоему. Некоторые считают, что женщина, изменяя своей обычной роли, навлекает на свою голову беды; зато, дорогая моя, только тогда женщина и вольна распоряжаться своей судьбой, вместо того чтобы быть ее игрушкой; одно это преимущество вознаграждает за все могущие возникнуть неприятности.

Натали со слезами благодарности поцеловала руку матери. У таких девушек, как она, страстное влечение не вызывает потребности в духовной близости с любимым человеком,— вот почему она сразу оценила эту дальновидную, чисто женскую политику; но, подобно избалованным детям, продолжающим упрямо лелеять свои желания, не поддаваясь самым веским резонам, Натали вернулась к прежней теме, руководствуясь своей по-детски прямолинейной логикой.

— Маменька,— сказала она,— несколько дней назад ты собиралась помочь Полю сделать карьеру, а ведь без тебя ничего не выйдет,— почему же теперь ты переменила решение и оставляешь нас одних?

— Я не знала тогда, как велики мои обязательства по отношению к тебе, не знала, какой суммы достигают мои долги,— ответила мать, отнюдь не желавшая открывать свою тайну.— Через год или два мы к этому

вернемся. Но скоро придет Поль, пора одеваться. Будь с ним ласкова и мила, как в тот вечер, помнишь, когда возникли разногласия из-за этого злосчастного контракта,— сегодня дело идет о спасении того, что у нас осталось; я хочу подарить тебе одну вещь, к которой питаю суеверную привязанность.

— А что такое?

— «Дискрето».

К четырем часам дня приехал Поль. Хоть он и старался, здороваясь с тещей, быть приветливым, она все же заметила, что на его лицо набежало какое-то облачко, и поняла, о чем он раздумывал перед тем, как заснуть, и чем он был озабочен, проснувшись поутру. «Матиас беседовал с ним!» — подумала она и тут же решила разрушить все, над чем потрудился старик-нотариус.

— Милый мой мальчик,— сказала она,— вы оставили свои бриллианты в столе; признаюсь, мне не хотелось бы больше их видеть, ведь из-за них между нами чуть было не возникли недоразумения. К тому же, как справедливо заметил Матиас, вам следует их продать, чтобы сделать первый взнос за приобретенные вами земли.

— Бриллианты эти больше мне не принадлежат, я подарил их Натали, чтобы, видя на ней эти драгоценности, вы забыли о вызванных ими неприятностях.

Госпожа Эванхелиста сердечно пожала руку Полю, растроганная чуть ли не до слез.

— Слушайте, дети,— сказала она, взглянув на Натали и Поля,— раз так, я предложу вам кое-что. Мне нужно продать жемчужное ожерелье и серьги. Да, Поль, я не хочу помещать ни одного су в пожизненную ренту; я не забыла, что осталась вам должна. Но признаюсь вам в одной слабости: продажа «Дискрето» была бы для меня тяжким ударом. Продать бриллиант, получивший свое имя от Филиппа II, продать бриллиант, украшавший его августейшую руку, продать исторический алмаз, к которому целое десятилетие прикасалась рука герцога Альбы,— ведь алмаз был вделан в эфес его шпаги! Нет, этого не будет! Эли Магюс оценил мои серьги и ожерелье во сто тысяч с лишним; давайте обменяем их на те драгоценности, которые я отдала вам, чтобы выполнить свои обязательства по отношению к дочери. Вы от этого только выиграете, но что ж из того? Ведь я иду на это не ради ма-

«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

«ОБЕДНЯ БЕЗБОЖНИКА»

териальной выгоды. Если вы будете бережливы, Поль, вам не составит большого труда со временем заказать для Натали новую диадему из бриллиантов или пучок алмазных колосьев. Вместо старомодных побрякушек — их носят нынче только люди низкого звания — у вашей жены будут великолепные украшения, которые доставят ей истинную радость. Раз уж нужно продавать, то лучше освободиться от мелочей, а настоящие драгоценности сохранить в семье.

— Но как же вы, матушка? — спросил Поль.

— Мне больше ничего не нужно,— ответила г-жа Эванхелиста.— Я буду жить в Ланстраке, как простая фермерша. С моей стороны было бы безрассудством ехать в Париж как раз в то время, когда я должна заняться ликвидацией своих дел. Я чувствую, что становлюсь скрягой в интересах моих будущих внучат.

— О матушка,— сказал растроганный Поль,— могу ли я согласиться на такой обмен без всякой доплаты?

— Господи, да разве мои интересы не совпадают с вашими? Разве я не буду счастлива, сидя у камина и думая: «Сейчас Натали приехала на блестящий бал к герцогине Беррийской; она видит себя в зеркале с моим алмазом на шейке, с моими серьгами в ушках, и это так приятно щекочет ее самолюбие!» Ведь эти безделушки приносят женщине столько счастья, благодаря им она становится и веселой и привлекательной. С другой стороны, ни от чего женщина так не страдает, как от мук оскорбленного самолюбия; я никогда не видела, чтобы плохо одетая женщина была оживленной и любезной. Согласитесь, Поль, что счастье любимого человека приносит нам гораздо больше радости, чем наше собственное.

«Бог ты мой! А что мне наговорил Матиас!» — подумал Поль.

— Хорошо, матушка,— сказал он вполголоса,— я принимаю ваше предложение.

— Мне, право, совестно! — заметила Натали.

В это время явился Солонэ, принесший своей клиентке хорошую новость: среди его знакомых коммерсантов нашлось двое дельцов, желавших приобрести особняк,— их прельстил обширный сад, на месте которого можно было построить еще несколько зданий.

— Они предлагают двести пятьдесят тысяч,— сказал

он.— Но, если, конечно, вы не возражаете, я мог бы покончить с ними на трехстах. Ведь площадь сада равна двум арпанам.

— Моему мужу этот участок обошелся в двести тысяч, поэтому я согласна и на двести пятьдесят,— сказала вдова.— Но пусть у меня останутся мебель, зеркала...

— О, да вы знаете толк в делах! — воскликнул Солонэ, смеясь.

— Увы, пришлось научиться! — ответила она, вздыхая.

— Я слышала, что многие любопытствуют видеть церемонию бракосочетания, несмотря на то, что она назначена на полночь,— заметил Солонэ и откланялся, почувствовав, что пришел не вовремя.

Госпожа Эванхелиста проводила его до дверей последней гостиной и шепнула:

— У меня наберется теперь ценностей тысяч на двести пятьдесят; если от продажи дома мне достанется двести тысяч, то у меня будет капитал в четыреста пятьдесят тысяч франков. Мне хотелось бы, чтобы он приносил как можно больше дохода, и я рассчитываю в этом отношении на вас. Я, вероятно, останусь жить в Ланстраке.

Молодой нотариус с чувством признательности поцеловал руку своей клиентки. Тон, каким вдова произнесла эти слова, внушил Солонэ надежду, что союз, продиктованный корыстью, зайдет, быть может, несколько дальше.

— Положитесь на меня,— ответил он.— Я помещу ваш капитал в такие торговые предприятия, что вы, ничем не рискуя, будете получать значительный доход.

— До завтра,— сказала она,— ведь вы являетесь свидетелем с нашей стороны, вместе с маркизом де Жиас.

— Почему же, матушка, вы не хотите поехать с нами в Париж? — спросил Поль.— Натали дуется на меня, как будто я причина вашего решения.

— Я много думала об этом, дети, и решила, что помешала бы вам. Вы сочли бы своей обязанностью всюду бывать вместе со мною, а ведь у молодых людей часто возникают собственные планы, которые я могла бы невольно нарушать. Поезжайте в Париж одни. Я не хочу оказывать на графиню де Манервиль такое же влияние, какое оказывала на свою дочь, и целиком отдаю На-

тали вам. Видите ли, Поль, у нас с нею сложились привычные отношения, от которых приходится отказаться. Мое влияние должно уступить место вашему. Я хочу, чтобы вы оба любили меня, и, поверьте, я в данном случае больше забочусь о ваших интересах, чем вы думаете. Молодой муж рано или поздно начинает ревновать жену к ее матери, если жена слишком к ней привязана. Быть может, это справедливо. Когда вы будете все время вместе, когда любовь сольет ваши души в одну — тогда, мой мальчик, вы перестанете бояться, что мое присутствие окажет на Натали нежелательное для вас действие. Я достаточно знаю свет, людей и жизнь; я видела немало семейств, где мир был нарушен из-за чрезмерной материнской любви, которая становилась невыносима и для дочерей и для зятьев. Привязанность пожилых людей зачастую надоедлива и придирчива. Может быть, я не сумела бы оставаться в тени. У меня есть слабость: я считаю себя еще довольно красивой, кое-какие льстецы говорят, что я еще нравлюсь; у меня оказались бы стеснительные для вас притязания. Позвольте мне принести еще одну жертву ради вашего счастья; я отдала вам свое богатство, теперь хочу пожертвовать последним, что у меня осталось,— моим женским тщеславием. Папаша Матиас уже стар и не может как следует заботиться о ваших имениях; я буду вашим управителем и займусь делами; все пожилые люди кончают этим. В дальнейшем, если понадобится, я приеду в Париж, чтобы помочь вам осуществить ваши честолюбивые планы. Ну, Поль, будьте откровенны: ведь мое решение вам по сердцу, не правда ли?

Поль никогда не признался бы в этом, но в душе он был чрезвычайно рад, что его свобода обеспечена. Подозрения относительно характера тещи, внушенные ему старым Матиасом, сразу рассеялись после этого разговора, который г-жа Эванхелиста продолжала в том же духе.

«Маменька была права,— подумала Натали, следившая за выражением лица Поля,— он очень доволен, что мы расстаемся. Почему бы это?»

Это «почему» было первым вопросом, посеявшим в ней недоверие к Полю, и с этой минуты советы матери приобрели в ее глазах особую ценность.

Бывают легковерные люди: довольно сказать им несколько теплых слов, как они уже верят в вашу дружбу. У таких людей северный ветер столь же быстро разгоняет тучи, как южный их нагоняет: замечая какое-нибудь явление, они не вдумываются в его причины. Поль принадлежал к числу таких крайне доверчивых натур, лишенных предвзятости, но вместе с тем и догадливости. Его слабохарактерность была обусловлена не столько безволием, сколько добротой и верой в чужую доброту.

Натали была задумчива и печальна, не представляя себе, как она будет жить без матери. Поль, которому любовь придала самоуверенность, подсмеивался над грустью своей нареченной, надеясь, что замужество и бурная парижская жизнь скоро рассеют эту грусть. Г-же Эванхелиста доверчивость Поля доставляла немалое удовольствие: ведь чтобы месть удалась, она должна быть скрытой. Ненависть, обнаружившая себя, бессильна.

Креолке удалось одержать две крупных победы. Во-первых, ее дочь обладала теперь роскошными драгоценностями, уже обошедшимися Полю в двести тысяч; он, наверно, прибавит к ним и другие. Во-вторых, эти неопытные дети будут отныне предоставлены самим себе; ими будет руководить лишь их безрассудная любовь. Ее месть зрела без ведома дочери, которая рано или поздно должна была стать ее соучастницей. Любила ли Натали Поля? Это было для матери еще неясно; утвердительный ответ на этот вопрос мог изменить все ее планы, так как она была слишком привязана к дочери, чтобы противиться ее счастью. Итак, будущее Поля зависело от него самого. Если бы он сумел внушить Натали любовь — он был бы спасен.

На следующий день, после заключения гражданского брака в мэрии в присутствии четырех свидетелей, после торжественного семейного обеда, на который эти свидетели также были приглашены, в полночь, при факелах, был совершен обряд бракосочетания; на нем присутствовало около сотни любопытных. Свадьба, происходящая ночью, всегда томит душу мрачными предчувствиями; ей не хватает света, этого символа и предвестника жизни и наслаждения. Спросите самого бесстрашного

человека, почему темнота леденит его душу? Почему холодный мрак, окутывающий своды, так тревожит? Почему звук шагов во тьме так пугает? Почему так отдается в душе крик филина и уханье совы? Хоть нет ни малейшего повода бояться, каждый чего-то боится, и потемки, прообраз смерти, наводят тоску. Натали плакала, думая о разлуке с матерью. Девушку томил неясный страх, обычно охватывающий сердце на пороге новой жизни, когда женщина, даже будучи уверена в предстоящем счастье, все-таки боится опасностей, подстерегающих ее на каждом шагу. Ей стало холодно, она закуталась в мантилью. Грустный вид новобрачных и г-жи Эванхелиста вызвал всевозможные толки среди изысканно одетой толпы, окружавшей алтарь.

— Солонэ только что сказал мне, что завтра утром молодые уезжают в Париж одни.

— Но ведь госпожа Эванхелиста собиралась жить вместе с ними?

— Граф Поль сумел отделаться от нее.

— Какая ошибка! — воскликнула маркиза де Жиас.— Захлопнуть перед тещей дверь своего дома — все равно, что распахнуть ее перед любовником. Неужели он не понимает, как много значит присутствие матери?

— Он очень жестоко поступил с госпожой Эванхелиста. Бедняжка вынуждена продать свой дом, она будет жить в Ланстраке.

— Натали очень опечалена.

— Кому же приятно пускаться в путь-дорогу на другое утро после свадьбы?

— Да, это довольно неприятно.

— Я очень рада, что побывала здесь,— сказала одна дама.— Лишний раз я убедилась, что необходимо справлять свадьбу как можно торжественнее, соблюдая все общепринятые условности. Какой тут у всех унылый и невеселый вид! Хотите знать мое мнение? — прибавила она, наклонясь к уху соседа: — Вся эта свадьба кажется мне просто неприличной.

Госпожа Эванхелиста взяла Натали в свою карету и сама отвезла дочь к Полю.

— Итак, маменька, возврата нет...

— Не забывай, дитя, о моих наставлениях, и ты будешь счастлива.

Когда Натали была уже в постели, мать разыграла небольшую комедию, с плачем кинувшись в объятия зятя. Это, не в пример прочему, вышло несколько по-провинциальному, но у вдовы были свои соображения. С помощью слез и бессвязных возгласов, симулировавших глубокое горе, она добилась от Поля уступок, на какие обычно идут мужья. Утром она усадила молодых в карету и сама проводила их до другого берега Жиронды, переправившись вместе с ними на пароме. Шепнув матери несколько слов, Натали дала ей понять, что если Поль и одержал победу при заключении брачного контракта, то теперь настал ее черед. Она уже добилась от мужа полной покорности.

Заключение

Пять лет спустя, в ноябре месяце, на исходе дня, граф Поль де Манервиль, закутавшись в плащ и низко опустив голову, чтобы кто-нибудь его не узнал, постучался в дом г-на Матиаса в Бордо. Слишком старый уже, чтобы вести дела, нотариус продал конторy и доживал остаток дней на покое, в одном из своих домов. В день приезда Поля он отлучился по неотложному делу; но старая ключница, заранее предупрежденная, провела Поля в комнату покойной г-жи Матиас, скончавшейся за год до того. Утомленный быстрой ездой, Поль проспал до самого вечера. Вернувшись, старик тотчас же зашел к своему бывшему клиенту и долго смотрел на спящего, точно мать на ребенка. Ключница Жозетта, вошедшая с хозяином, молча стояла перед постелью, упершись руками в бока.

— Нынче год, Жозетта, как моя жена испустила здесь последний вздох; кто бы мог подумать, что мне придется увидеть тут графа... Он тоже напоминает мертвеца.

— Бедненький! Он стонет во сне,— заметила Жозетта.

— Дело плохо, тысяча чер...нильниц! — пробурчал старик-нотариус. Это было его обычное присловье, говорившее о досаде делового человека, которому встретились непреодолимые затруднения.

— Все-таки,— сказал он,— благодаря мне он со-

хранил свои права на Ланстрак, Озак, Сен-Фру и на свой дом в Париже.

Сосчитав по пальцам, Матиас воскликнул:

— Пять лет! Как раз в этом месяце исполнится пять лет с того дня, когда его почтенная бабушка, покойная госпожа де Моленкур, просила для него руки этого молоденького крокодила в юбке, окончательно его разорившего, как я и предполагал...

Вдоволь наглядевшись на молодого человека, добрый старый подагрик вышел, опираясь на трость, и долго прогуливался по садику медленным шагом. К девяти часам, как обычно, был подан ужин. Матиас немало удивился, не заметив на лице Поля никаких следов волнения: оно сохраняло спокойствие, хотя сильно изменилось. Правда, граф де Манервиль, которому было теперь тридцать три года, казался сорокалетним, но эта перемена в чертах лица объяснялась исключительно душевными переживаниями; физически он был здоров. Не дав старику встать, Поль взял его за обе руки и сердечно пожал их.

— Добрый мэтр Матиас, и вас постигла утрата!

— Моя утрата — в порядке вещей, граф; но ваша...

— Мы поговорим об этом за ужином.

— Если б у меня не было сына, служащего в судебном ведомстве, да еще замужней дочери,— сказал добряк,— то вы нашли бы, граф, у старого Матиаса не только гостеприимство, но и кое-что более существенное. Зачем вы приехали в Бордо именно в те дни, когда прохожие читают расклеенные на стенах объявления о запрете, наложенном на ваши фермы в Грассоле и Гюадэ, на поместье Бельроз и особняк? Вы не можете себе представить, как мне тяжело повсюду видеть эти огромные афиши: ведь я целых сорок лет заботился о ваших имениях, как о своих собственных! Ведь я был еще только третьим писцом в конторе почтенного господина Шено, моего предшественника, в то время, когда ваша матушка поручила ему купить их! Ведь я сам переписывал купчие на веленевой бумаге красивым круглым почерком, каким щеголяют третьи писцы. А ведь потом все документы на право владения этими поместьями хранились в моей конторе, перешедшей ныне к моему преемнику! Ведь я сам вел все счета! Ведь я знал вас еще вот таким! —

продолжал нотариус, показывая рукой на два фута от земли.— Нужно сорок один год с половиной проработать нотариусом, чтобы понять, как больно мне видеть свое имя, напечатанное четко, на всеобщее позорище, в объявлениях о запрете, оспаривающих право вашей собственности на эти земли! Когда я прохожу по улице и вижу зевак, читающих эти ужасные желтые афиши, мне почти так же стыдно, как если б дело шло о моем собственном разорении и бесчестии. Встречаются глупцы, громко читающие все это вслух, как будто нарочно для того, чтобы привлечь любопытных; затем они все вместе начинают судить и рядить об этом. Разве вы не хозяин своего добра? Ваш отец промотал два наследства, прежде чем поправить свои дела и оставить вам столь значительное состояние. Вы не были бы де Манервилем, если бы не последовали его примеру. Притом, запрещения, накладываемые на недвижимость,— предмет специальной главы гражданского кодекса, они предусмотрены законом, ничего особенного тут нет. Но, не будь я седой старик, которого легко спихнуть в могилу одним толчком, я избил бы тех, кто глазеет на эти отвратительные строки: «*По иску г-жи Натали Эванхелиста, супруги графа Поля-Франсуа-Жозефа де Манервиля, имущество которой выделено из общей собственности постановлением трибунала первой инстанции департамента Сены...*» и так далее.

— Да,— сказал Поль,— а теперь мы расстались совсем...

— Неужели? — воскликнул старик.

— Натали этого не хотела,— с живостью возразил Поль.— Мне пришлось ее обмануть, она даже не знает, что я уезжаю за границу.

— Как! Вы уезжаете?

— Да, я уже и билет купил и отправляюсь в Калькутту на «Прекрасной Амели».

— Через два дня? Итак, мы больше никогда не увидимся с вами, граф.

— Вам всего семьдесят три года, дорогой Матиас, и вы страдаете подагрой, а это — гарантия долголетия. Вернувшись из Индии, я еще найду вас в добром здравии. Ваш ум, ваше сердце к тому времени еще не утратят своей бодрости, и вы поможете мне восстановить

здание, фундамент которого расшатан. В течение семи лет я хочу сызнова разбогатеть. Когда я вернусь, мне будет всего только сорок лет. В этом возрасте можно еще многое сделать.

— Как! — воскликнул Матиас, не скрывая удивления.— Неужели вы займетесь коммерцией — вы, граф де Манервиль? Вы серьезно об этом думаете?

— Я не буду графом, дорогой Матиас. Я решил уехать под именем господина Камилла (мою мать, как вам известно, звали Камиллой). К тому же у меня есть кое-какие знакомства, дающие мне возможность нажить состояние и другим путем. Коммерция будет моей последней ставкой. Словом, я еду, имея в кармане достаточную сумму денег. Это позволит мне попытать счастья, сразу затеяв какое-нибудь крупное дело.

— Откуда же эти деньги?

— Их пришлет один друг.

Услышав слово «друг», старик уронил вилку; на его лице отразилось не столько удивление или насмешка, сколько грусть: ему было больно, что Поль все еще находится во власти обманчивых иллюзий. Там, где граф предполагал твердую почву под ногами, взор Матиаса видел зияющую пропасть.

— Я проработал в нотариате около пятидесяти лет, но еще никогда не видел, чтобы друзья разорившихся людей давали им деньги взаймы.

— Вы не знаете де Марсе! Я совершенно уверен, что в эту самую минуту он продает свои ценные бумаги, если у него не нашлось свободных денег, и завтра же вы получите вексель на пятьдесят тысяч экю.

— Будем надеяться, что это так. Почему же ваш друг не помог вам раньше уладить дела? Вы могли бы спокойно жить в Ланстраке шесть — семь лет, пользуясь доходами, получаемыми графиней.

— Разве из этих доходов можно уплатить полтора миллиона франков долгов, в том числе пятьсот пятьдесят тысяч — моей жене?

— За четыре года полтора миллиона долгу?!

— Ничего удивительного. Разве я не подарил жене все бриллианты? Разве не израсходовал на обстановку для парижского дома полтораста тысяч, полученных за проданный госпожой Эванхелиста особняк? Разве не

пришлось платить за купленные имения и нести другие расходы в связи с заключением брачного контракта? Наконец, чтобы расплатиться за Озак и Сен-Фру, нам пришлось продать ценные бумаги, принадлежавшие Натали и приносившие сорок тысяч дохода. Мы продали их по восемьдесят семь франков; таким образом, не прошло и месяца со дня свадьбы, как у меня уже было двести тысяч долгу... У нас оставалось шестьдесят семь тысяч годового дохода, а мы сверх того тратили ежегодно по двести тысяч. Учтя, что девятьсот тысяч франков пришлось взять под ростовщические проценты, вы без труда получите миллион.

— О черт! — воскликнул старый нотариус.— Дальше?

— Ну, мне захотелось дополнить бриллиантовый убор моей жены, начало которому было положено серьгами ее матери и жемчужным ожерельем с фамильным алмазом «Дискрето» в застежке. Я заплатил сто тысяч за веночек из алмазных колосьев. Итак, вот уже миллион сто тысяч. И наконец я должен вернуть жене ее приданое, то есть триста пятьдесят шесть тысяч франков.

— Однако,— возразил Матиас,— если бы графиня заложила свои бриллианты, а вы сделали бы заем под будущие доходы со своих имений, то это дало бы вам, по-моему, еще тысяч триста, с помощью которых вы могли бы утолить аппетиты кредиторов.

— Ничем нельзя помочь делу, Матиас, когда человек попал в беду, когда имения заложены и перезаложены, когда, прежде чем удовлетворить кредиторов, надо выделить имущество жены, когда наконец грозит протест векселей на сто тысяч франков... Надеюсь, мне удастся заплатить по ним, если земли мои не будут проданы за бесценок. А расходы по их отчуждению!

— Ужасно! — воскликнул старый нотариус.

— К счастью, удалось отменить наложенный запрет; имения можно продать, и разгоревшийся пожар удастся потушить.

— Продать Бельроз,— воскликнул Матиас,— когда вино тысяча восемьсот двадцать пятого года еще в погребах?

— Ничего не поделаешь.

— Ведь одно Бельроз стоит шестьсот тысяч!

— Натали купит его по моему совету.

— Оно обычно дает шестнадцать тысяч дохода, не говоря о таких удачных годах, как тысяча восемьсот двадцать пятый год! Да я сам берусь продать Бельроз за семьсот тысяч, а фермы — по сто двадцать тысяч.

— Тем лучше! Я расплачусь со всеми кредиторами, если вдобавок удастся продать мой дом в Бордо за двести тысяч.

— Солонэ заплатит и больше, ведь он давно на него зарится. Он уходит от дел, располагая доходом в сто тысяч с лишним, нажитым махинациями с низкосортным вином. Он продал свою контору за триста тысяч и женится на богатой мулатке. Ее богатства взялись бог весть откуда, но, говорят, у нее миллионы. Нотариус занимается коммерческими операциями! Нотариус женится на мулатке! Ну и времена! Говорят, он разжился, пустив в оборот деньги вашей тещи.

— Она очень заботилась о благоустройстве Ланстрака и хорошо вела хозяйство; этим она с лихвой заплатила за предоставленное ей пристанище.

— Я никогда не думал, что она способна вести себя так примерно!

— Она очень добра и предана мне; она платила долги Натали, когда проводила с нами в Париже три месяца в году.

— А почему бы и нет, ведь она жила на доходы, приносимые Ланстраком,— возразил Матиас.— Она стала бережливой! Вот чудеса-то! Она только что купила имение Гренруж, между Ланстраком и Грассо́лем, и если аллею, ведущую из Ланстрака, продолжат до большой дороги, то на протяжении полутора лье будут тянуться только ваши земли. Она заплатила за Гренруж сто тысяч франков наличными, а приносит он чистоганом тысячу экю в год.

— Госпожа Эванхелиста все еще красива,— заметил Поль.— Благодаря жизни в деревне она прекрасно сохранилась. Я не поеду прощаться с нею; она захочет пожертвовать для меня последним, что у нее есть.

— Да вы понапрасну и съездили бы в Ланстрак, она сейчас в Париже. Быть может, она приехала в столицу в то самое время, когда вы уезжали.

— Она, должно быть, узнала о продаже моих имений и поспешила ко мне на помощь. В сущности, мне не на что жаловаться. Ведь меня горячо любят — сильнее нельзя любить в этом бренном мире! Меня любят обе женщины, соперничая друг с другом; одна ревнует к другой: дочь упрекает мать за то, что последняя слишком любит меня, мать упрекает дочь за расточительность. Их привязанность и погубила меня. Ну, как не стараться исполнить малейшие прихоти любимой женщины? Как ей отказать? И опять-таки, как же согласиться, чтобы она всем пожертвовала ради меня? Да, конечно, мы могли бы расплатиться со всеми долгами и переехать в Ланстрак; но я предпочитаю отправиться в Индию за новым богатством, только бы не лишать Натали привычной роскоши, которую она так любит. Поэтому я сам предложил выделить ее имущество. Женщины — ангелы, житейские заботы не должны их касаться.

Старый Матиас слушал Поля с явным недоверием и удивлением.

— Есть ли у вас дети? — спросил он.

— К счастью, нет,— ответил Поль.

— Я иначе представляю себе смысл брака,— откровенно заявил старый нотариус.— По-моему, жена должна делить с мужем все — и радость и горе. Я слыхал, что у новобрачных, страстно любящих друг друга, не бывает детей. Но разве наслаждение — единственная цель брака? Разве его целью не является скорее семейное счастье и продолжение рода? Правда, вам было всего двадцать восемь лет, а графине — лишь двадцать; вполне естественно, что вы думали только о любви. Тем не менее и ваше имя и условия вашего брачного договора — скажу это как истый нотариус — все это обязывало вас поскорее произвести на свет здорового мальчугана. Да, граф, даже в том случае, если бы у вас стали рождаться дочери, не следовало бы останавливаться до тех пор, пока не появится ребенок мужского пола; иначе зачем было основывать майорат? Ведь графиня вполне здорова, ей нечего бояться материнства. Вы скажете, что это устаревшие взгляды наших предков; но в знатных семействах, граф, законная супруга обязана рожать и воспитывать детей. Назначение женщины, как говорила герцогиня Сюлли, жена великого Сюлли,—

отнюдь не в том, чтобы доставлять наслаждения: жена олицетворяет честь и доброе имя семьи.

— Вы не знаете женщин, добрый мой Матиас,— сказал Поль.— Чтобы быть счастливым, нужно любить их так, как им этого хочется. Разве не жестоко сразу же лишать свою молодую жену ее преимуществ, наносить ущерб ее красоте, не дав насладиться жизнью?

— Если бы у вас появились дети, в ней заговорила бы мать, она не была бы так расточительна, чаще оставалась бы дома.

— Если бы вам удалось убедить меня в справедливости ваших слов,— сказал Поль, нахмурившись,— то я был бы несчастнейшим человеком на свете. Не усугубляйте же моего горя, не читайте мне нравоучений задним числом; дайте мне уехать без горького осадка в душе.

На другой день Матиас получил вексель на полтораста тысяч франков, с уплатой по предъявлении, посланный графом Анри де Марсе.

— Вот видите,— сказал Поль,— оказывая мне неоценимую услугу, он даже не пишет при этом ни слова. У Анри самый непоследовательный и в то же время самый чудесный характер, какой я только знаю. Если бы вы видели, с каким чувством собственного превосходства этот еще совсем молодой человек рассуждает о любви, об общественных делах, о политике,— вы удивились бы не меньше моего, что он способен проявлять такую сердечность.

Матиас попытался было повлиять на Поля, чтобы тот переменил свое решение, но оно было непреклонно и опиралось на столь веские доводы, что старый нотариус оставил попытки отговорить своего клиента.

Редко случается, чтобы ставшие под погрузку суда отплывали в точно назначенный срок; но по роковому для Поля стечению обстоятельств ветер был благоприятный, и на другое утро «Прекрасная Амели» была готова распустить паруса. Ко времени отплытия корабля на пристани, как обычно, теснились родственники и друзья уезжающих и просто любопытные. Многие в этой толпе хорошо знали Манервиля. Если раньше он славился своим богатством, то теперь прославился своим разорением. Всех охватило живейшее любопытство,

каждый спешил вставить словечко. Матиас провожал Поля, и ему было очень тяжело слышать долетавшие до него замечания.

— Взгляните-ка на человека, что стоит вон там, рядом со старым Матиасом,— кто бы мог узнать в нем того самого денди, который был прозван «душистым горошком» и пять лет назад задавал тон всему Бордо!

— Как, этот толстяк небольшого роста, в люстриновом сюртуке, смахивающий на кучера,— граф Поль де Манервиль?

— Да, душенька, тот самый, что женился на мадемуазель Эванхелиста. А теперь, разорившись, без гроша в кармане, он отправляется в Индию искать ветра в поле.

— Но как он мог разориться? Ведь он был так богат!

— О! Париж, женщины, игра на бирже, карты, привычка к роскоши...

— К тому же,— заметил кто-то,— Манервиль всегда был ничтожным человеком. Умом он недалек, характером мягок, как воск. Его ощипывали все, кому не лень; способностей у него нет никаких; право же, он рожден, чтобы разориться.

Поль пожал старику руку и поспешил на корабль, подальше от толпы. Матиас остался на пристани, провожая взглядом своего прежнего клиента, который, облокотившись на перила, стал презрительно разглядывать зевак. Когда матросы уже поднимали якоря, он вдруг заметил, что Матиас подавал ему знаки, размахивая носовым платком. Старик, по-видимому, был взволнован каким-то важным известием, которое сообщила подбежавшая к нему впопыхах ключница. Поль попросил капитана задержаться на несколько минут, послать шлюпку и узнать, что нужно старику нотариусу, который энергичными знаками призывал его сойти на берег. Чувствуя, что у него не хватит сил самому взойти на палубу, Матиас передал одному из матросов, приехавших со шлюпкой, два письма.

— Этот пакет, голубчик,— сказал бывший нотариус, указывая на одно из вручаемых писем,— вот этот, не спутай, только что доставлен нарочным, проскакавшим весь путь от Парижа до Бордо за тридцать пять часов.

Скажи это графу; возможно, что тогда он переменит решение.

— И придется высадить его на берег? — спросил матрос.

— Да, братец,— неосторожно ответил нотариус.

Матросы, к какой бы нации они ни принадлежали, народ особенный, питающий глубочайшее презрение к людям сухопутным. А уж с каким-нибудь буржуа у них совсем нет общего языка; буржуа им совершенно чужд, они издеваются над ним, обкрадывают его при первом удобном случае, отнюдь не считая, что поступают бесчестно. Этот матрос, по воле случая, был из Нижней Бретани; из всего, что сказал ему старый Матиас, он понял только одно.

— Вот еще! — проворчал он, гребя обратно.— Высадить его на берег! А капитан-то потеряет пассажира! Коли слушать всех этих господ, так всю жизнь только и придется, что отвозить их на судно и снова высаживать на берег. Попросту старикан боится, как бы сынок не схватил насморк!

И матрос отдал Полю письма, ничего не передав на словах. Узнав почерк жены и де Марсе и догадываясь, о чем они могли ему писать, Поль решил не поддаваться искушению и не принимать жертв, внушенных великодушием. И с напускной беззаботностью он сунул письма в карман.

— Вот зачем отрывают нас от дела! По разным пустякам! — сказал матрос капитану на своем нижнебретонском наречии.— Если бы тут в самом деле было что-нибудь важное, как говорил тот старый хрыч, разве граф опустил бы пакет в свой люк?

Полный грустной задумчивости, которая в такие минуты овладевает даже сильными людьми, Поль махал рукой старому другу, со стесненным сердцем глядя на быстро удаляющиеся здания Бордо и прощаясь с Францией. Он сел на свернутые в круг канаты. Ночь застала его на том же месте, погруженным в думы. Когда наступили сумерки, в его душу нахлынули сомнения, он пытался заглянуть в будущее, но там не было ничего, кроме опасностей и неизвестности. Он спрашивал себя, хватит ли у него мужества для предстоящей борьбы. Его томила смутная тревога при мысли, что Натали пре-

доставлена отныне самой себе; он начинал раскаиваться в принятом решении, ему было жаль Парижа, жаль прожитых дней. Вскоре он почувствовал приступ морской болезни. Всем известно ее действие; но самое ужасное из причиняемых ею, хоть и не опасных для жизни страданий — полная атрофия воли. Необъяснимое расстройство ослабляет все жизненные силы; душа как бы мертвеет, больной становится равнодушен ко всему на свете: мать забывает о ребенке, любовник перестает думать о возлюбленной, самый энергичный человек лежит безжизненным телом. Полю помогли спуститься в каюту, где он оставался трое суток, лежа пластом; его мучила рвота, матросы поили его грогом, он ни о чем не думал, погруженный в забытье. Затем он начал поправляться, здоровье вернулось к нему. Почувствовав себя лучше, он вышел на палубу погулять и подышать морским воздухом новых широт. Засунув руки в карманы и обнаружив там письма, он поспешил вынуть и прочитать их, начав с письма Натали. Для того, чтобы по достоинству оценить письмо графини де Манервиль, следует сначала привести здесь письмо, оставленное Полем жене при отъезде из Парижа. Вот оно.

Письмо Поля де Манервиля своей жене.

«Моя дорогая, когда ты прочтешь эти строки, я буду уже далеко от тебя. Быть может, я буду уже на корабле, плывущем в Индию, где я собираюсь поправить наши дела, пришедшие в расстройство. Я не в силах был сказать тебе о своем отъезде. Я обманул тебя, но не мог поступить иначе. Зачем было понапрасну причинять тебе беспокойство? Ведь ты захотела бы пожертвовать ради меня своим состоянием.

Милая Натали, твоя совесть может быть вполне спокойна, я ни о чем не жалею. Вернувшись к тебе с миллионами, я последую примеру твоего отца: я сложу их к твоим ногам, как он сложил свои богатства к ногам твоей матери, и скажу: «Все это — твое». Я безумно люблю тебя, Натали; говоря это, я не боюсь, что ты воспользуешься моим признанием, чтобы упрочить свою власть надо мной. Этого страшатся только люди бесхарактерные. К тому же твоя власть надо мной была

безгранична с первого же дня нашей встречи. Любовь к тебе — вот единственная причина моего разорения. По мере того как я разорялся, я испытывал исступленную радость игрока. Чем меньше у меня оставалось денег, тем ярче было мое счастье. Высшим наслаждением для меня было тратить свое богатство, чтобы доставлять тебе удовольствия. Мне хотелось, чтобы у тебя было еще больше причуд. Я знал, что иду к пропасти, но шел с сияющим от радости лицом. Заурядные люди не в силах понять таких чувств. Я поступал, как те влюбленные, что поселяются вдвоем на год или на два в домике на берегу озера, с твердым намерением покончить с собой, переплыв океан наслаждений, умереть, когда их чудесный сон, их любовь достигнет апогея. Я всегда находил, что такие люди поступают чрезвычайно разумно

Ты ничего не знала ни о моих радостях, ни о моих жертвах. Разве скрывать от любимой женщины, во что обошлась ее прихоть, не высшее блаженство? Теперь я могу открыть тебе эти маленькие тайны. Ведь я буду далеко от тебя, когда ты прочтешь эти строки, дышащие любовью. Хоть я и лишен радости услышать твою благодарность, зато мое сердце не сжимается, как сжалось бы оно при разговоре с тобой обо всем этом. И потом, любимая, открыть тебе глаза, когда все уже в прошлом,— для меня прямая выгода: это упрочит нашу любовь в будущем. Но разве она нуждается в этом? Разве мы не любим друг друга истинной любовью, которая не ищет доказательств, не боится ни времени, ни расстояния,— любовью самодовлеющей?

О Натали! Я встал из-за стола, за которым пишу у камина эти строки, и подошел взглянуть, как ты спишь, ни о чем не подозревая, спишь по-детски, свесив одну руку с постели. Я уронил слезу на подушку, свидетельницу наших восторгов.

Созерцая твой мирный сон, я почувствовал прилив бодрости и уезжаю безбоязненно, уезжаю в надежде добиться душевного спокойствия, добиться богатства, достаточного, чтобы никакие тревоги не омрачали нашего счастья, чтобы ты могла удовлетворять все свои прихоти. Ведь ни я, ни ты не в состоянии отказаться от той жизни, какую мы ведем, от удовольствий, ставших привычными. Я — мужчина, у меня хватит твердости,

на мне одном лежит обязанность достать необходимые средства. Быть может, ты вздумаешь последовать за мной, поэтому умолчу о названии судна, месте и времени отплытия. Один из моих друзей расскажет тебе все, когда уже будет поздно что-нибудь предпринять.

Натали, моя любовь к тебе безгранична; я люблю тебя, как мать — свое дитя, как любовник — свою возлюбленную, самоотверженно и бескорыстно. Я буду трудиться, чтобы тебе весело жилось; пусть моим уделом будут страдания, а твоим — счастливая жизнь. Развлекайся, ни в чем себя не стесняй, посещай Итальянский театр, Оперу, балы, почаще бывай в свете, я все это разрешаю. Но, возвращаясь в гнездышко, где мы целых пять лет вкушали дивные плоды нашей любви,— вспоминай обо мне, мой ангел, вспоминай на короткий миг о своем друге и засыпай с мыслью о нем. Вот все, о чем я тебя прошу.

Я же буду мечтать о тебе всегда, моя ненаглядная! Буду ли я под палящими лучами солнца трудиться для нашего общего счастья, побеждая препятствия, или же, усталый, позволю себе отдохнуть, мечтая о возвращении,— мои думы всегда будут с тобой; ведь в тебе — вся моя жизнь. Я постараюсь мыслями переноситься к тебе, буду утешаться тем, что ты беззаботна и счастлива. Ночью люди живут иной, особенной жизнью; во сне все иначе, чем наяву; вот и у меня будет две жизни: одна, полная неизъяснимой прелести,— в Париже; другая, полная трудов,— в Индии. Тяжелый сон и чудесная явь; ибо я так сроднюсь с твоей жизнью, что действительность станет для меня сном.

И потом, у меня есть воспоминания. Я буду перечитывать, песнь за песнью, дивную поэму нашей любви, длившуюся пять лет, будут вспоминать эти дни, когда ты блистала в свете, когда очаровывала меня всегда по-новому, то в каком-нибудь восхитительном наряде, то полураздетая. Мои губы будут вспоминать вкус твоих поцелуев.

Да, мой ангел, я уезжаю, как влюбленный отправляется на подвиг, от которого зависит счастье с любимой женщиной. Прошлое будет для меня страстной мечтой, предшествующей обладанию; обычно обладание рассеивает эти грезы, но ты сумела придать им еще

бо́льшую прелесть. Вернувшись, я найду новую женщину; разлука придаст тебе новое очарование. О моя возлюбленная, моя Натали, свято чти нашу любовь. Сохрани ту детскую чистоту, которой веет от тебя сейчас, в эту минуту.

Если даже ты обманешь мое слепое доверие — тебе нечего страшиться моего гнева: знай, я просто умру, ни словом не упрекнув тебя. Но женщина не обманывает того, кто предоставил ей полную свободу, ибо женщина неспособна на подлость; она водит за нос мужа-тирана, но никогда не обманет человека, для которого ее измена равносильна смерти. Нет, это немыслимо! Прости за то, что сейчас вырвалось у меня,— ведь это так естественно для влюбленного.

Мой ангел, повидайся с де Марсе; я сдал ему внаймы наш особняк, но ты останешься в нем жить. Это — фиктивный договор, заключенный во избежание напрасных убытков. Кредиторы, не зная, что уплата мною долгов — лишь вопрос времени, могли бы наложить арест на обстановку и лишить тебя права пользоваться нашим домом. Будь ласкова с де Марсе, я целиком доверяю его порядочности и умению вести дела. Пользуйся его советами, пусть он будет твоим защитником и покровителем. Как бы он ни был занят, у него всегда найдется время, чтобы оказать тебе услугу. Я поручил ему провести ликвидацию моих дел.

Если ему придется заплатить некоторые мои долги и впоследствии ему потребуются деньги — надеюсь, что ты вернешь их ему. Но не думай, что я отдаю тебя под наблюдение де Марсе; нет, я вверяю тебя тебе самой. Советуя обращаться к нему, я не хочу насильно навязывать его тебе. Увы! Я не в силах говорить сейчас о делах, ведь мне осталось провести возле тебя какой-нибудь час. Я ловлю твое дыхание, пытаюсь угадать, что тебе снится, и каждый твой вздох напоминает мне о счастливых часах нашей любви. В ответ на каждое биение твоего сердца я открываю тебе сокровищницу своей любви, и я осыпаю тебя розами моей души, подобно тому как дети рассыпают розы перед алтарем в день праздника Тела господня.

Пусть тебя охраняют наши общие воспоминания, ведь их так много! Мне хотелось бы перелить в твои жилы

свою кровь, чтобы ты целиком была моею, чтобы твои мысли стали моими мыслями, твое сердце — моим сердцем, чтобы я мог перевоплотиться в тебя. Словно в ответ, ты что-то прошептала во сне. Будь всегда так же чудно хороша и безмятежна, как сейчас! О, до чего мне хочется обладать волшебной властью, о которой говорится в сказках! Я наслал бы на тебя сон на все время нашей разлуки, чтобы, вернувшись, разбудить тебя поцелуем. Какая нужна сильная воля, как горячо нужно тебя любить, чтобы решиться расстаться с тобой в такую минуту! Ты религиозна, ты испанка и будешь свято чтить обет, данный во сне тому, кто и без слов сумел его расслышать.

Прощай же, родная! Твой «душистый горошек» уносит буря, но он вернется к тебе на крыльях счастья. Нет, моя Нини, я не прощаюсь с тобой, потому что я с тобой не расстаюсь. Разве не ты вдохновишь меня во всем, что я предприму? Мечта о предстоящем нам незыблемом счастье воодушевит меня, направит к верной цели мои шаги. Ты везде останешься со мной, и светить мне будет не тропическое солнце, а твой пламенный взор. Будь же счастлива, насколько может быть счастлива женщина в разлуке с любимым.

Мне хотелось бы, чтобы ты не во сне, не бессознательно ответила на мой прощальный поцелуй; но я не должен будить тебя, моя Нини, мой обожаемый ангел! Проснувшись, ты почувствуешь у себя на лбу слезинку; пусть она будет твоим талисманом! Всегда думай о том, кто, быть может, умрет за тебя, вдали от тебя; думай не столько о муже, сколько о возлюбленном, который поручает тебя всевышнему».

Ответ графини де Манервиль своему мужу.

«О мой любимый, в какое глубокое горе повергло меня твое письмо! Имел ли ты право, не посоветовавшись со мной, принять решение, одинаково тяжкое для нас обоих? Разве ты свободен? Разве ты не принадлежишь мне? Ведь я наполовину креолка и могла бы поехать вместе с тобой! Я вижу из твоих строк, что ты не нуждаешься в моем присутствии. За что, Поль, ты посягаешь на мои права? Что я стану делать в Париже одна?

Мой ангел, ты берешь на себя всю мою вину. Ведь и я виновата в нашем разорении! Ведь мои наряды тоже были грузом, который перетянул чашу весов. Ты заставил меня проклясть беззаботную, счастливую жизнь, которую мы с тобой вели последние четыре года Как мучительно сознание, что ты уехал на целых шесть лет! Можно ли разбогатеть за это время? Вернешься ли ты?

Предчувствия не обманули меня; недаром я с безотчетным упрямством отказывалась от раздела имущества, хотя ты настойчиво требовал этого вместе с маменькой. Вспомни, что я говорила тогда! Ведь это значило бросить на тебя тень, поколебать твою кредитоспособность. Тебе пришлось рассердиться, чтобы я наконец уступила.

Мой дорогой Поль, никогда еще ты не стоял в моих глазах так высоко! Ты не поддался отчаянию, ты вновь отправился искать счастья... Нужно обладать твоим характером, твоей силой воли, чтобы так поступить. Мне хочется упасть к твоим ногам. Когда человек так искренне признается в своих слабостях, когда он старается поправить свои дела ради того же, из-за чего он разорился,— ради любви, ради непреодолимой страсти,— он достоин восхищения, Поль! Иди же вперед без боязни, преодолевай препятствия, не сомневайся в своей Натали: это значило бы сомневаться в себе самом. Бедняжка мой, ты хотел бы воплотиться во мне; но разве и я не буду жить одной жизнью с тобой? Душой я буду не здесь, в Париже, а там, куда закинет тебя судьба.

Хотя твое письмо и причинило мне жгучую боль, но в то же время преисполнило меня радости; ты заставил меня испытать эти противоречивые чувства, потому что, видя, как ты любишь меня, я с гордостью убедилась, что ты постиг всю силу моей любви. Раньше мне иногда казалось, что я люблю тебя больше, чем ты меня; но теперь я признаю себя побежденной, и ты можешь присоединить эту сладостную победу к победам, ранее одержанным тобою; от этого я буду только больше тебя любить. Пока мы в разлуке, я все время буду носить на груди, возле самого сердца, твое чудесное письмо, где ты изливаешь передо мной душу. Это письмо доказало мне, что все между нами осталось по-старому; оно моя гордость, ведь в нем вся твоя душа. Я поселюсь вместе

с маменькой в Ланстраке, похороню себя для светской жизни и буду как можно бережливее, чтобы полностью уплатить все твои долги.

С нынешнего дня, Поль, я стала другой женщиной; я бесповоротно простилась со светом, я не хочу удовольствий, если ты не можешь разделять их со мною. К тому же я все равно должна уехать из Парижа и жить замкнуто. Мой мальчик, узнай, что теперь ты вдвойне должен стремиться разбогатеть. Если бы твое мужество нуждалось в поощрении, ты ощутил бы прилив новых сил. Ты догадываешься, мой друг? У нас будет ребенок. Ваши заветные мечты сбылись, сударь! Мне не хотелось внушать тебе пустую надежду,— нам и так уже пришлось испытать из-за этого немало разочарований,— мне не хотелось, чтобы радостное известие оказалось впоследствии ложным. Но теперь я могу сообщить его с полной уверенностью; я счастлива, что могу доставить тебе это утешение и облегчить твою скорбь.

Сегодня утром, ничего не подозревая, думая, что ты отправился по делам в город, я пошла в церковь Успения возблагодарить бога. Могла ли я предвидеть несчастье? Все улыбалось мне этим утром. Выходя из церкви, я встретила маменьку; узнав, что тебе грозит беда, она приехала на почтовых, захватив все свои сбережения, около тридцати тысяч франков, надеясь, что с их помощью тебе удастся поправить дела. Какое у нее доброе сердце, Поль! Я обрадовалась и поспешила домой, чтобы за завтраком, в нашей оранжерее, угощая тебя твоими любимыми лакомствами, сообщить сразу две радостных новости.

Вдруг Огюстина подает мне письмо от тебя... От тебя, когда мы только что провели ночь вместе,— разве это само по себе не говорит о какой-то драме? Меня охватил смертельный страх. Потом я стала читать... Я прочла твое письмо рыдая, и маменька тоже залилась слезами. Чтобы так плакать из-за кого-нибудь, надо горячо любить этого человека, ведь от слез женщина дурнеет. Я была чуть жива. Столько любви, столько мужества! Столько счастья и столько горя! Обладать такими сокровищами души и так внезапно разориться! И нет возможности прижать любимого человека к сердцу в ту минуту, когда так восхищаешься его благородством!

Какая женщина могла бы устоять перед этой бурей чувств?

О, как мучительно знать, что ты далеко от меня, когда так хочется прижать твою руку к сердцу и тем успокоить его! Ты не можешь устремить на меня ласковый взгляд, который я так люблю! Не можешь вместе со мной радоваться; что наши надежды осуществились. И меня нет с тобой! Натали не может облегчить твои муки ласками, которые тебе так дороги, что из-за них ты забываешь обо всем на свете... Я хотела тотчас же поехать, полететь вслед за тобой, но маменька сказала мне, что «Прекрасная Амели» отплывает завтра утром, поспеть вовремя можно только на почтовых и что в моем положении было бы чистейшим безумием рисковать всем нашим будущим, подвергая себя тряске в карете.

И все-таки я потребовала лошадей, хоть и знала, что ато угрожает жизни ребенка. Маменька обманула меня, уверив, что лошадей сейчас подадут. Она поступила благоразумно, ибо я сразу почувствовала первые недомогания, связанные с беременностью. Я не выдержала стольких волнений, и мне стало дурно. Пишу тебе в постели, врачи предписали мне полнейший покой в течение первых месяцев. До сих пор я была легкомысленной женщиной; теперь же я готовлюсь стать матерью. Провидение сжалилось надо мной: ведь только ребенок, которого надо кормить, растить, воспитывать, может смягчить для меня горе, какое причиняет разлука с тобой. Он заменит мне тебя, мое чувство к тебе найдет выход в заботах о нашем ребенке. Я смогу смело проявлять ту любовь, которую мы так тщательно скрывали ото всех.

Не хочу ничего от тебя таить. Маменьке уже пришлось опровергать клеветнические слухи, распространившиеся о тебе. Оба Ванденеса, Шарль и Феликс, горячо тебя защищали; но твой друг де Марсе все обращает в шутку: он издевается над твоими недоброжелателями, вместо того чтобы дать им достойный отпор. Мне не нравится эта манера легкомысленно отвечать на серьезные нападки. Не ошибаешься ли ты в нем? Тем не менее я послушаюсь тебя и буду относиться к нему по-дружески. Будь спокоен, обожаемый мой Поль, по поводу всего, что касается твоей чести. Ведь твоя

честь — моя честь. Я заложу свои бриллианты. Мы с маменькой сделаем все, что будет нам по средствам, чтобы полностью уплатить твои долги, и постараемся выкупить Бельроз.

Маменька упрекает тебя, зачем ты все от нее скрывал: ведь она разбирается в делах не хуже любого стряпчего. Тогда она не стала бы покупать, рассчитывая доставить тебе удовольствие, имение Гренруж, вдающееся клином в твои земли, и могла бы одолжить тебе сто тридцать тысяч франков. Твое решение уехать привело ее в отчаяние. Она беспокоится, как отзовется на тебе пребывание в Индии, умоляет тебя быть воздержанным, не увлекаться женщинами... Я даже расхохоталась. Ведь я уверена в тебе, как в себе самой. Ты добудешь богатство, ты сохранишь мне верность. Лишь я одна знаю твою чисто женскую нежность, все твои затаенные чувства, превращающие тебя в восхитительный цветок, которому место на небесах.

Бордосцы не без основания прозвали тебя «душистый горошек»! Кто же теперь будет заботиться о моем прелестном цветке? Меня терзают тяжелые мысли. Твоя Натали, твоя женушка, осталась здесь, в то время как ты, может быть, уже страдаешь! Я, привыкшая жить с тобой душа в душу, не могу разделять твоих забот, бед, опасностей! С кем же ты будешь теперь всем делиться? Как сможешь обойтись без ушка, в которое ты привык шептать все без утайки? Моя мимоза, унесенная бурей, зачем ты покинула ту почву, где только и могла источать свое благоухание? Мне кажется, будто я уже целую вечность в разлуке с тобой. Париж обдает меня холодом. Я много плакала. Быть причиной твоего разорения! Какая ужасная мысль для любящей жены! Ты относился ко мне, как к ребенку, которому дают все, чего он ни потребует, как к куртизанке, ради которой какой-нибудь вертопрах проматывает все свое состояние.

Твоя ложная деликатность обидна для меня. Неужели ты думаешь, что я не могла обойтись без нарядов, балов, Оперы, успехов в обществе? Неужели я так ветрена? Неужели, по-твоему, я не в состоянии думать ни о чем серьезном, заботиться о твоих интересах и способна только доставлять наслаждения? Если бы вы,

сударь, не были так далеко от меня, страдая и томясь,— вам досталось бы за такую дерзость! Быть столь низкого мнения о своей жене! Господи, для чего же я вела светскую жизнь, как не для того, чтобы польстить твоему тщеславию? И наряжалась я только для тебя, ты это знаешь. Если я провинилась в чем-нибудь, то теперь жестоко наказана: разлука с тобой — тяжкое искупление нашего счастья. Оно было слишком огромно, мы должны были рано или поздно заплатить за него большим горем, и вот наступила расплата. После часов блаженства, столь ревниво скрываемого от любопытных глаз, после бесконечной смены празднеств и тайных безумств нашей любви возможно только одно — жизнь в полном уединении.

В уединении, дорогой друг, растут глубокие чувства, и я стремлюсь быть одна. Что мне делать в обществе? Кого радовать своими успехами? О, жить в Ланстраке, поместье, благоустроенном твоим отцом, в доме, заново отделанном тобой с такой роскошью, жить там с нашим ребенком, ожидая твоего возвращения, молиться за тебя каждое утро, каждый вечер — разве уже не счастье? Эти молитвы будут исходить от матери и от ребенка, от женщины и от ангелочка. Увидишь ли ты мысленным взором эти ручонки, которые я буду складывать для молитвы? Будешь ли ты, как и я, вспоминать по вечерам счастливое прошлое, о котором ты с такой нежностью говоришь в своем чудном письме? О, конечно, мы одинаково любим друг друга. Эта уверенность — талисман против всякого несчастья. Я так же мало сомневаюсь в тебе, как и ты — во мне. Но чем я могу утешить тебя? Ведь я сама расстроена, убита, для меня эти шесть лет — точно пустыня, которую нужно перейти. Нет, я не так уж несчастна: ведь я буду в этой пустыне не одна, а с нашим малюткой. Я хочу подарить тебе сына, ведь он нужен нам, не правда ли? Прощай же, любимый мой! Наши молитвы, наша любовь всюду сопровождают тебя. Следы слез на этом листке скажут тебе все то, чего я не могу выразить словами. Прими поцелуй, который запечатлела здесь, в этой рамочке — |_____|

— *Твоя Натали».*

Читая письмо, Поль предался думам, навеянным этими упоительными любовными уверениями и воспоминаниями о ласках, которые он перебирал в уме, чтобы объяснить себе, как это случилось, что его жена будет матерью. Чем счастливее человек, тем больше он трепещет за свое счастье. Если он мягкосердечен (а мягкосердечию всегда сопутствует некоторое слабоволие), то чем больше его счастье, тем сильнее его тревога и ревность. Люди с твердым характером не знают ни ревности, ни страха: ведь ревность — это сомнение, а страх — малодушие. Безграничная доверчивость — отличительная черта души великих людей. Если их обманули — а ведь и сильные и слабые люди равно могут стать жертвой обмана,— тогда их презрение становится секирой,— оно уничтожает. Но такие натуры встречаются редко. Кому не случалось, вместо того чтобы слушаться голоса рассудка, опоры нашего бренного тела, внимать неведомому, но мощному голосу, подвергающему сомнению решительно все?

Поль, недоумевая перед некоторыми противоречивыми фактами, не знал, что и подумать. Заблудившись в путанице мыслей, весь во власти ужасного сомнения, овладевшего им помимо его воли, он дважды прочел длинное письмо Натали и не мог сделать какой-нибудь вывод ни в пользу жены, ни против нее. Но мало-помалу он стал поддаваться вере в ее чистоту, чему способствовал залог любви, полученный им. Любовь многоречивая может быть столь же убедительна, как и любовь немногословная.

Для того чтобы понять, что вслед за этим предстояло пережить Полю, нужно помнить, что он плыл среди океана, такого же безбрежного, как и широко раскинувшееся перед ним прошлое. Жизнь вновь казалась ему похожей на безоблачное небо, и после мучительных сомнений он вновь обрел беспредельную, чистую, искреннюю веру христианина и влюбленного, веру, подсказанную голосом сердца. Необходимо также привести здесь предварительно письмо Поля, на которое отвечал ему Анри де Марсе.

Письмо графа Поля де Манервиля маркизу Анри де Марсе.

«Анри, мне придется поделиться с тобой самой тягостной вестью, какую можно сообщить другу: я разорен. Когда ты прочтешь эти строки, я буду уже в Бордо, готовясь отплыть в Калькутту на «Прекрасной Амели». Ты найдешь у своего нотариуса договор, нуждающийся только в твоей подписи, чтобы войти в законную силу,— фиктивный договор, согласно которому я сдаю тебе в аренду свой особняк сроком на шесть лет; подтверди фиктивность этого договора письмом на имя моей жены. Я был вынужден прибегнуть к этой предосторожности, чтобы Натали могла оставаться в нашем доме, не боясь, что его отберут. Затем я уступаю тебе права на все доходы с моего майората за ближайшие четыре года и взамен этого прошу тебя одолжить мне полтораста тысяч франков, послав вексель на эту сумму через какой-либо бордоский банк на имя Матиаса. Моя жена даст тебе поручительство, оно послужит добавочным обеспечением. Если же доходы с майората возместят эту сумму раньше, чем я предполагаю, то мы сочтемся, когда я вернусь.

Деньги, которые я прошу тебя мне ссудить, нужны мне для того, чтобы попытать счастья. Хорошо тебя зная, я уверен, что без лишних слов получу их от тебя накануне своего отъезда из Бордо. Я поступил точно так же, как ты сам поступил бы на моем месте. Я крепился до последней минуты, и никто не подозревал о моем разорении. Затем, когда по Парижу распространился слух об аресте, наложенном на мою недвижимость, я достал под вексель сто тысяч и решил попробовать счастья в игре. Случай мог бы меня спасти, но я проиграл. Каким образом я разорился? По доброй воле, дорогой Анри. С первого же дня я видел, что мы живем не по средствам; я заранее знал, к чему это приведет, и закрывал глаза, так как не в силах был сказать жене: «Уедем из Парижа, поселимся в Ланстраке!»

Я разорился из-за нее, как разоряются из-за любовницы, и вполне сознательно. Скажу прямо, я не глупец и не безвольный человек. Глупец поддается власти любви не с открытыми глазами, и у человека, который, вме-

сто того чтобы пустить себе пулю в лоб, едет в Индию с намерением поправить дела, есть мужество. Я вернусь богатым или не вернусь совсем. Но, друг мой, богатство нужно мне только для Натали; я не хочу оказаться в глупом положении, а между тем мне предстоит пробыть в отсутствии шесть лет; поэтому я отдаю жену на твое попечение. Ты пользуешься достаточным успехом у женщин, чтобы не волочиться за нею и тем самым доказать мне всю силу связывающей нас дружбы. Я не мог бы найти для Натали лучшей охраны. Если бы у нас были дети, это спасло бы ее от опасности увлечься кем-нибудь, но детей у нас нет.

Знай, голубчик, что я люблю Натали до безумия, до самозабвения, до самоуничижения. Мне кажется, я простил бы ей даже измену, не потому, что всегда мог бы отомстить своему оскорбителю хотя бы ценою жизни, но потому, что готов покончить с собой, лишь бы она была счастлива, раз моя любовь ей счастья не приносит. Но мне нечего бояться. Натали питает ко мне чувство искренней дружбы; оно возникает помимо любви, но укрепляет ее. Я обращался с женой, как с избалованным ребенком, и с такой радостью приносил ей жертвы, одну за другой, что она была бы чудовищем, если бы обманула меня. Любовь за любовь... Увы, признаюсь тебе во всем, дорогой мой Анри! Я только что написал ей письмо, написал, что уезжаю со спокойным сердцем, полным надежд, что меня не терзают ни сомнения, ни страх, ни ревность... словом, письмо в таком же духе, как пишет сын, намереваясь скрыть от матери, что идет на смерть. Боже мой, де Марсе, ведь у меня в душе — ад, ведь я — самый несчастный человек на свете! Но ты один услышишь горестные возгласы, скрежет зубовный и рыдания отчаявшегося влюбленного. Признаюсь, я предпочел бы, если бы это было возможно, шесть лет подметать улицу под ее окнами, чем вернуться миллионером ценою шестилетней разлуки.

Мною овладела жестокая тоска, я буду невыносимо страдать, пока ты не напишешь о своем согласии принять мое поручение, которое один только ты можешь взять на себя и выполнить. О дорогой мой де Марсе, я не могу жить без этой женщины, она нужна мне, как воздух, как свет. Оберегай же ее, чтобы она оста-

лась мне верна, хотя бы поневоле. Тогда я буду все-таки хоть чуточку счастлив. Стань ее покровителем, я всецело тебе доверяю. Докажи ей, что изменить мне было бы вульгарно, ведь это значило бы походить на других женщин; докажи ей, что, оставшись мне верной, она поступит умно. У нее достаточно денег, чтобы продолжать вести праздную и беззаботную жизнь; но если она в чем-нибудь станет нуждаться, если у нее появится какая-нибудь прихоть — будь ее банкиром, не бойся ничего, ведь я вернусь богачом.

Впрочем, мои страхи, разумеется, неосновательны. Натали — ангел, воплощенная добродетель. Когда Феликс де Ванденес, страстно влюбившись в нее, стал за ней ухаживать, мне стоило лишь намекнуть моей Натали на опасность, угрожающую ей, и она так горячо меня благодарила, что я был тронут до слез. Она сказала, что если Феликс внезапно перестанет у нас бывать, то это повредит ее репутации, но она сумеет постепенно отдалить его от нашего дома. И в самом деле, она стала обращаться с ним очень холодно, и все окончилось как нельзя лучше. За все четыре года у нас больше не было ни одной размолвки, если только можно назвать размолвкой этот дружеский разговор.

Итак, дружище Анри, прощаюсь с тобой, как подобает мужчине. Несчастье обрушилось на меня. По какой бы то ни было причине, но оно совершилось, я разорился дотла. А нужда и Натали несовместимы. Впрочем, мой актив в точности соответствует пассиву и никто не не останется в претензии. Но если, вопреки ожиданию, будет поставлена под угрозу моя честь — рассчитываю на тебя.

Если случится что-либо серьезное, ты можешь писать мне в Калькутту, на имя губернатора; я в дружеских отношениях с его семьей, и мне будут передавать письма, полученные для меня из Европы. Надеюсь, дорогой друг, что, вернувшись, я увижу тебя все тем же: любящим насмехаться надо всем на свете и, тем не менее, способным понять чувства другого, когда они созвучны твоей благородной душе.

Ты остаешься в Париже! А я в тот момент, когда ты будешь читать эти строки, воскликну: «Вперед, на Карфаген!»

Ответ маркиза Анри де Марсе графу Полю де Манервилю.

«Итак, граф, тебя постигло фиаско, будущий посланник потерпел крушение... Нечего сказать, хороши твои дела! Зачем, Поль, ты все от меня скрывал? Если бы ты молвил мне хоть словечко, бедняга, я живо вывел бы тебя из заблуждения. Твоя жена отказалась за тебя поручиться... Уж это одно должно открыть тебе глаза. А если этого недостаточно, то узнай, что векселя твои были опротестованы по требованию некоего Лекюйе, бывшего письмоводителя бордоского нотариуса Солонэ. Этот подающий надежды ростовщик, приехавший из Гаскони обделывать свои грязные делишки,— подставное лицо твоей почтеннейшей тещи: ведь в действительности именно ей ты выдал вексель на сто тысяч франков, хотя добрая женщина отсчитала, говорят, лишь семьдесят тысяч.

По сравнению с г-жой Эванхелиста папаша Гобсек — добрый дядюшка из мелодрамы, ванильное пирожное, болеутоляющее питье, бархат, пух! Имением Бельроз завладеет твоя супруга; маменька дает ей денег для оплаты разницы между той ценой, по какой оно пошло с торгов, и ее долей во владении. Сама г-жа Эванхелиста прибрала к рукам и Грассоль, и Гюадэ, да и закладными на твой дом в Бордо завладела она же— через подставных лиц, найденных все тем же Солонэ. Таким образом, эти очаровательные создания будут получать вдвоем сто двадцать тысяч дохода — именно такую сумму приносили твои имения; прибавь к этому тридцать с чем-то тысяч дохода с принадлежащих этим кошечкам облигаций казначейства. К чему мне было поручительство твоей жены? Вышеупомянутый Лекюйе сегодня утром явился ко мне, предлагая вернуть все, что я тебе одолжил, с тем, разумеется, чтобы я перевел на его имя твои долговые обязательства. Ведь твоя теща располагает вином 1825 года, хранящимся в твоих же погребах в Ланстраке; его вполне достаточно, чтобы уплатить мне. Обе женщины действуют с тем расчетом, что ты уже находишься в открытом море; но я посылаю это письмо с нарочным, чтобы ты успел последовать моим советам.

Я кое-что выпытал у этого Лекюйе. В его речах, даже в том, как он врал и как отмалчивался, я уловил именно те нити, которых мне не хватало, чтобы обнаружить все хитросплетения заговора, составленного против тебя в твоем собственном доме. Сегодня вечером в испанском посольстве я наговорю комплиментов твоей теще и жене. Я приволокнусь за г-жой Эванхелиста, изменю тебе самым низким образом, буду искусно злословить на твой счет,— слишком грубые нападки вызвали бы подозрения у этого несравненного Маскариля в юбке. Чем ты так восстановил ее против себя? Вот что мне хотелось бы узнать. Если б у тебя хватило ума стать поклонником этой женщины, прежде чем жениться на ее дочери,— ты был бы сейчас пэром Франции, герцогом, послом в Мадриде.

Если б ты призвал меня к себе, когда собирался жениться, я помог бы тебе распознать характеры обеих женщин, с которыми ты связывал свою судьбу; быть может, из наших общих наблюдений ты извлек бы что-нибудь полезное для себя. Ведь я был единственным из твоих друзей, кто не стал бы посягать на твое семейное счастье. Разве я был опасен? Но, познакомившись со мною, обе эти женщины испугались меня и постарались отдалить нас друг от друга. Если бы ты не дулся на меня без всякой причины, им не удалось бы разорить тебя.

Твоя жена немало способствовала тому, чтобы охладить наши отношения; ее подстрекала мать, которой она писала два раза в неделю,— а ты ни на что не обращал внимания! Узнав об этом обстоятельстве, я подумал, Поль, что ты верен себе. Через месяц я буду в достаточно хороших отношениях с твоей тещей, чтобы узнать причину ярой, поистине испано-итальянской ненависти, которую она питает к тебе, добрейшему в мире человеку. Ненавидела ли она тебя и до того, как ее дочь влюбилась в Феликса де Ванденеса, или же она захотела угнать тебя в Индию, чтобы ее дочь получила свободу, какой пользуется во Франции женщина, живущая отдельно от мужа и добившаяся раздела имущества? Вот в чем вопрос.

Вижу, как ты вскакиваешь и рычишь, узнав, что твоя жена без ума от Феликса де Ванденеса. Если бы мне

не пришло в голову отправиться в поездку на Восток вместе с Монриво, Ронкеролем и еще кое-какими бездельниками из наших знакомых, я мог бы подробнее рассказать тебе об этом романе, который завязывался, когда я уезжал; твое несчастье зародилось на моих глазах. Но кто из светских людей настолько испорчен, чтобы вмешиваться в такие дела без основательного повода? Кто осмелился бы нанести ущерб репутации женщины? Кто решился бы разбить зеркало иллюзий, куда с таким удовольствием глядел один из моих друзей, теша себя волшебной сказкой так называемого счастливого брака? Ведь в иллюзии — все счастье любви.

Твоя жена, голубчик, была светской женщиной в полном смысле этого слова. Она думала только о своих успехах, туалетах, ездила то на бал, то в Итальянский театр, то в Оперу; вставала поздно, каталась в Булонском лесу, обедала в гостях или принимала гостей сама. По-моему, такая жизнь для женщины — все равно что для нас, мужчин, война: общество помнит только победителей, павших быстро забывают. Женщины слабые становятся жертвой такой жизни, а те, что устояли, должны обладать железным здоровьем: сердца у них нет, но зато желудок в полном порядке. Вот где причина бесчувственности и холода, царящих в наших гостиных.

Те, у кого возвышенная душа, предпочитают одиночество; слабые и чувствительные натуры сходят со сцены, остаются лишь крепкие, как валуны, способные выдержать напор житейского моря, которое бьет их друг о друга, обтачивает, но уничтожить не может. Такая жизнь как нельзя более подходила для твоей жены и, казалось, стала для нее привычной: у нее всегда был свежий и бодрый вид. Мне нетрудно было сделать вывод: она тебя не любила, а ты любил ее до безумия. Чтобы высечь огонек любви из этой женщины-кремня, нужен был мужчина с характером твердым, как сталь.

Феликс, сумевший оправиться от неудачной любви к леди Дэдлей, жене моего настоящего отца, был именно тем человеком, какой нужен Натали. Нетрудно было догадаться, что твоя жена к тебе равнодушна; а от равнодушия до отвращения — один шаг. Рано или поздно,

из-за какого-нибудь пустяка, размолвки, нечаянно сорвавшегося слова, неуступчивости с твоей стороны, твоя жена должна была броситься в объятия Феликса.

Я без труда мог бы рассказать тебе, что за сцены происходили между вами по вечерам в спальне. У вас не было детей, мой милый. Это обстоятельство многое разъясняет опытному наблюдателю. Будучи влюблен, ты вряд ли мог заметить ее холодность, весьма естественную у молодой женщины, которую ты сам выпестовал для Феликса де Ванденеса. А если даже ты замечал, что она холодна с тобою, то прибегал к глупейшей казуистике женатых людей и склонен был все объяснять ее целомудрием.

Подобно всем мужьям, ты воображал, что можешь сохранить ее добродетель в мирке, где женщины передают друг другу на ухо такие вещи, о которых не решаются говорить и мужчины, где, прикрываясь веером, смеясь, шутя по поводу какого-нибудь процесса или приключения, они обсуждают до тонкостей все то, чего им не станут сообщать мужья. Твоей жене хотелось насладиться всеми выгодами брака, но связанные с ним повинности она находила чересчур тяжелыми. Видеть тебя рядом с собой — вот в чем была эта повинность, эта обуза. Ничего не замечая, ты сам вырыл перед собой пропасть да еще прикрыл ее цветами, как любят говорить ораторы. Ты беспрекословно подчинился закону, которому повинуется большинство мужей,— закону, от которого я хотел тебя уберечь.

Дитя мое, чтобы стать окончательно похожим на глупца-буржуа, удивленного, испуганного или рассерженного изменой жены, только одного тебе недоставало: говорить мне о принесенных тобою жертвах, о твоей любви к Натали, твердить: «С ее стороны было бы черной неблагодарностью изменять мне; ведь я сделал для нее то-то и то-то; сделаю еще больше, поеду для нее в Индию...» и т. д., и т. д.

Милый Поль, ведь ты жил в Париже, ты имеешь честь быть близким другом Анри де Марсе; как же ты до сих пор не знаешь самых простых вещей, главных пружин, приводящих в движение механизм женской души, не знаешь азбуки женского сердца? Ты можешь покончить с собой, попасть в Сент-Пелажи ради той, ко-

торую любишь, совершить десятки убийств, бросить семерых девушек, служить Лавану, перейти пустыню, не страшась каторги, совершить преступление, добиться славы, покрыть себя позором; можешь уподобиться Нельсону, отказавшемуся от битвы ради поцелуя леди Гамильтон; уподобиться Бонапарту, разбившему наголову старого Вюрмсера; ринуться в бой на Аркольском мосту; быть неистовым, как Роланд, вторично сломать еще не зажившую ногу, чтобы повальсировать со своей красавицей пять минут,— но, право же, дорогой мой, все это не имеет никакого значения для любви. Если бы любовь в самом деле зависела от таких испытаний, то обрести счастье было бы чересчур легко: стоило бы только совершить несколько подвигов под влиянием страсти, и любимая женщина была бы завоевана.

Любовь, дружище Поль,— нечто вроде непорочного зачатия; как она возникает — неизвестно. Ни потоки пролитой крови, ни Потозские рудники, ни слава не могут возбудить это чувство, которое зарождается непроизвольно, необъяснимо. Люди вроде тебя, требующие, чтобы на их любовь отвечали такой же любовью, кажутся мне бессовестными ростовщиками. Законная жена обязана рожать тебе детей, блюсти твое доброе имя, но вовсе не обязана тебя любить. Любовь, Поль, есть сознание счастья, которое ты даешь и которым сам наслаждаешься; уверенность в том, что это счастье взаимно; желание, непрестанно возобновляющееся, непрестанно удовлетворяемое и все же ненасытимое. С того дня, как Ванденес затронул в сердце твоей жены струнку желания, струнку, не тронутую тобой,— все твои любовные серенады, все измышления твоего ума, все, что могли дать твои деньги,— все перестало существовать для нее.

Твое усыпанное розами брачное ложе — это дым, развеянный ветром! Твою преданность ставят тебе же в упрек; ты жертва, подлежащая закланию. Прошлое — во мраке забвения; вспышка новой любви обесценила все сокровища твоей страсти, они превратились в ничего не стоящий хлам. Теперь в глазах твоей жены лишь Феликс наделен красотой и доблестью —быть может, незаслуженно, но в любви воображение заменяет действительность. Твоя теща, разумеется, стала

на сторону любовника, против мужа; втайне или явно она закрыла на все глаза или, наоборот, проявила зоркость в нужный момент,— уж не знаю, что именно она сделала,— знаю только, что она была заодно с дочерью, против тебя.

Я уже пятнадцать лет изучаю общество, но еще ни разу не встречал матери, которая при таких обстоятельствах не поддержала бы дочь. Эта снисходительность передается по наследству от женщины к женщине. Кто из мужчин может упрекнуть их за это? Лишь какой-нибудь законник, не видящий за своими формулами человеческих чувств. Расточительность, в которую вовлек тебя светский образ жизни твоей жены, природная мягкость твоего характера и, быть может, твое тщеславие — все вместе помогло им отделаться от тебя, искусно подготовить твое разорение.

Из всего этого ты можешь заключить, дорогой мой, что полученные мною от тебя полномочия, которыми я охотно воспользовался бы, так как это меня позабавило бы, оказываются недействительными. Несчастье, которое я должен был предупредить, уже свалилось на твою голову, consummatum est [1]. Прости, дружище, что я пишу в свойственном мне тоне (а ля де Марсе, как ты говаривал) о том, к чему ты относишься серьезно. Я далек от мысли плясать на могиле друга, как наследник на могиле дядюшки. Но ты написал мне, что стал настоящим мужчиной; я верю этому и говорю с тобой не как с влюбленным, а как с дальновидным политиком.

Для тебя этот случай — то же самое, что клеймо на плече каторжника, клеймо, которое побуждает его вечно сопротивляться обществу, вечно быть с ним в борьбе. Но ты уже избавился от самой тяжелой заботы: брак порабощал тебя, теперь ты вырвался из-под его власти.

Поль, я твой друг в полном смысле этого слова. Если б ты обладал железной настойчивостью, если б энергия не проснулась в тебе так поздно,— я доказал бы тебе свою дружбу, поделившись с тобой некоторыми планами; тогда ты стал бы смотреть на людей, как на ковер под ногами. Но напрасно я делился с тобой

---

[1] Свершилось *(лат.)*.

соображениями, благодаря которым я получил возможность буйствовать с несколькими друзьями в просвещенном парижском обществе, точно бык в посудной лавке. Когда под видом вымышленных историй я описывал тебе свои похождения в юности, ты и в самом деле принимал мои слова за вымысел, не понимая всего их значения. Поэтому мне пришлось относиться к тебе как к жертве несчастной страсти, и только.

Но сейчас ты, честное слово, держишься молодцом и ничего не потерял в моих глазах, как, может быть, предполагаешь. Я восхищаюсь талантливыми мошенниками, но в то же время люблю и уважаю обманутых ими людей. Помнишь, по поводу врача, весьма печально кончившего, расплатившегося на эшафоте за свою любовь, я рассказал тебе другого рода историю, ничуть не хуже первой,— о том, как один бедняга-адвокат совершил подлог (за что и был сослан на каторгу) с той целью, чтобы жена, которую он обожал, как и ты — свою, могла получать тридцать тысяч ливров дохода, а та сама донесла на мужа, чтобы отделаться от него и выйти за любовника. Ты возмущался тогда до глубины души, точно так же, как и несколько глупцов, ужинавших вместе с нами. Дорогой мой, ты сам очутился ныне в положении этого адвоката, разве только что не сослан на каторгу. Друзья поспешили тебя опорочить, а это в наше время равносильно обвинительному приговору.

Маркиза де Листомэр, сестра Ванденесов, ее кружок (к нему примкнул маленький Растиньяк, плут, который уже выбивается в люди), госпожа д'Эглемон, все завсегдатаи ее гостиной, где царит Шарль де Ванденес, Ленонкуры, графиня Ферро, г-жа д'Эспар, Нусингены, господа из испанского посольства — словом, весь этот чванливый мирок весьма искусно обдает тебя грязью. Ты для них — шалопай, картежник, кутила, промотавший, как дурак, все свое состояние. По их словам, твоя жена, эта воплощенная добродетель, несколько раз платила за тебя долги; она и сейчас будто бы выкупила, несмотря на раздел имущества, твои векселя на сто тысяч франков. К счастью, говорят они, ты догадался вовремя исчезнуть; если б ты продолжал вести такую жизнь, то довел бы жену до нищеты, она стала бы жертвой своей любви к мужу...

Когда человек достигает вершины власти, ему приписывают все добродетели, какие только можно перечислить в эпитафиях; когда же он попадает в беду — у него оказывается больше пороков, чем у блудного сына. Ты и представить себе не можешь, каким донжуаном тебя считают в светском обществе. Ты якобы играл на бирже, у тебя были порочные наклонности, удовлетворять которые стоило огромных денег; ходят всякие толки и шутки по поводу того, что здесь не обошлось без женщин. Ты-де платил ростовщикам бешеные проценты. Братья Ванденесы рассказывают, смеясь, что Жигонне продал тебе за шесть тысяч франков фрегат из слоновой кости и за сто экю купил его обратно у твоего камердинера, чтобы вторично продать его тебе же, и как ты торжественно уничтожил эту вещицу, когда обнаружил, что на истраченные на нее деньги можно было приобрести настоящий бриг. Эта история случилась с Максимом де Трай лет девять тому назад; но она так к тебе подходит, что Максим навсегда потерял командование фрегатом. Словом, не могу перечислить всего, что о тебе говорят, ибо ты поставляешь материал для целой энциклопедии сплетен, все время растущей благодаря деятельному участию женщин.

При таком положении вещей даже самые неприступные особы имеют законное право утешиться с *графом* Феликсом де Ванденесом (его папенька наконец вчера умер). Твоя жена пользуется огромным успехом.

Вечером в Итальянской опере г-жа де Кан начала было повторять мне все эти россказни. «Полноте,— воскликнул я,— ведь вы еще ничего не знаете! Поль обокрал банки и надул казну. Ведь не кто иной, как он, убил Эццелина, зарезал трех Медор с улицы Сен-Дени и, по-видимому (между нами будь сказано), является участником шайки, известной под названием «Десять тысяч». Его сообщником был знаменитый Жак Коллен, которого полиция никак не может поймать с тех пор, как он бежал последний раз с каторги. Поль укрывал его в своем доме. Как видите, он способен на все: он обманывал даже правительство. Сейчас они уехали вдвоем, чтобы вместе подвизаться в Индии и похитить «Великого Могола». Г-жа де Кан, кажется, поняла, что

светской женщине не следует превращать свой прелестный ротик в венецианскую бронзовую пасть.

Многие не допускают мысли о возможности таких трагикомедий и утверждают, что это выдумки,— они слишком верят в человечество и добрые чувства! Но ведь Талейран, мой милый, проронил как-то замечательные слова: «Чего на свете не бывает?».

Конечно, нам случалось видеть и более поразительные вещи, чем этот заговор родственников против тебя, но светское общество прилагает все усилия, чтобы скрыть их и доказать, что на него возводят напраслину. К тому же эти блестящие драмы разыгрываются так непринужденно, с таким вкусом, что даже мне приходится порой протирать стекла лорнета, чтобы доискаться до сути дела.

Но, повторяю, ты мой друг, мы вместе приняли крещение шампанским, вместе причащались перед алтарем Венеры Доступной, нас обоих благословил крючковатыми пальцами Азарт,— и если ты очутился в ложном положении, я сокрушу двадцать семейств, но обелю тебя. Видишь, как я тебя люблю: разве я кому-нибудь писал столь длинные письма? Прочти же внимательно то, что мне осталось тебе сообщить.

Увы, Поль, мне все равно приходится заняться бумагомаранием, чтобы научиться составлять деловые письма: видишь ли, я решил окунуться в политику. Через пять лет я намерен получить портфель министра или же должность посла, чтобы иметь возможность ворочать государственными делами по своему усмотрению. В известном возрасте самой желанной возлюбленной для мужчины является его страна. Я вступаю в ряды тех, кто может ниспровергнуть весь наш общественный строй, а не только нынешний кабинет. Словом, я принадлежу к числу сторонников одного князя, который хоть и припадает на ногу, но к цели идет твердой поступью и является, по-моему, гениальным политиком, чье имя войдет в историю; он правитель по призванию, как бывают артисты по призванию. Все мы: Ронкероли, Монриво, Гранлье, Ла-Рош-Югон, Серизи, Ферро и Гранвиль — объединились против «партии попов», как остроумно выражается партия простаков, представляемая газетой «Конститюсьонель». Мы хотим свалить обоих Ван-

денесов, герцогов Ленонкуров, Наварренов, де Ланжс и сторонников архиепископа. Чтобы одержать верх, мы готовы заключить союз с Лафайетом, орлеанистами, левыми — короче, с людьми, которых придется убрать на другой же день после победы, ибо править страной, придерживаясь их принципов, совершенно невозможно. Мы на все готовы ради блага родины и своего собственного блага. Вопросы, касающиеся личностей, вроде того, кто у нас будет королем, стали нынче сентиментальными глупостями,— политика должна быть выше их. В этом отношении англичане с их королем-дожем ушли значительно дальше нас. Политика уже не в этом, дружище. Политика — в том, чтобы дать нации толчок, создав олигархию, олицетворяющую твердую власть и направляющую государственные дела по определенному пути, вместо того чтобы дергать страну то туда, то сюда, как это происходит уже сорок лет в нашей прекрасной Франции, столь разумной и в то же время столь глупой, столь мудрой и все-таки безрассудной. Наша страна нуждается не в людях, а в порядке. Не все ли равно, кто осуществит этот славный замысел? Если осуществляется великая цель, если народ счастлив и не волнуется, что ему за дело до выгод, приносимых нам властью, до наших привилегий, богатств и удовольствий?

Мои средства сейчас довольно ограничены. Я получаю полтораста тысяч дохода от трехпроцентной государственной ренты, сверх того имеется и запасной капитал, тысяч двести, для покрытия возможных убытков. Но это, по-моему, маловато для человека, который вот-вот достигнет власти.

Счастливый случай способствовал тому, что я решился наконец вступить на это поприще, мало мне улыбающееся,— ведь ты знаешь, что я предпочитаю по-восточному ленивый образ жизни. Моя уважаемая матушка внезапно проснулась после тридцатипятилетнего сна и вспомнила, что у нее есть сын, делающий честь ее имени. Если вырывают с корнем виноградную лозу — через несколько лет снова появляются ростки ее; так вот, мой друг, хотя матушка изгнала меня из своего сердца, я все-таки засел у нее в мозгу. Ей стукнуло уже пятьдесят восемь, и она наконец настолько постарела, что единственный мужчина, о котором

она может теперь думать,— ее сын. Недавно она встретила где-то на водах восхитительную старую деву, англичанку, обладательницу двухсот сорока тысяч дохода, и, как полагается заботливой матери, внушила ей честолюбивое желание стать моей женой. Сей деве тридцать шесть лет — честное слово! — и она воспитана, как истая пуританка. Это настоящая наседка, убежденная, что женщин, виновных в прелюбодеянии, следовало бы публично сжигать на кострах. «Откуда же взять столько дров?» — спросил я ее.

Я охотно послал бы ее ко всем чертям, ведь свобода и будущее для меня дороже двухсот сорока тысяч в год; как физически, так и морально я стóю гораздо больше. Но она единственная наследница одного лондонского пивовара, старого подагрика, который в более или менее непродолжительном времени оставит ей в наследство капитал, по крайней мере равный тому, каким уже обладает эта прелестная особа.

Богатство — ее единственное преимущество: нос у нее лиловый, глаза — как у дохлой козы, фигура такая, что я опасаюсь, как бы эта мисс не разбилась вдребезги, если упадет. Она похожа на плохо раскрашенную куклу. Зато она бережлива; зато она будет боготворить мужа, несмотря ни на что; зато у нее чисто английский характер; она будет лучше всякого управляющего следить, чтобы мой дом, мои конюшни, мои имения содержались в полном порядке. Она донельзя добродетельна и держится прямо, словно играет наперсницу на сцене Французской комедии. Никак не могу отделаться от мысли, что она когда-то проглотила палку, которая так в ней и застряла. Впрочем, кожа мисс Стивенс довольно бела, и жениться на ней в случае необходимости будет не слишком противно.

Меня огорчает лишь то, что у нее красные руки, каким и положено быть у девы, целомудренной, как мадонна; они до того красны, что я не представляю себе, как, не разорясь вконец, сделать их побелее, а пальцы, похожие на сосиски, чуточку потоньше. По своим рукам она дочь пивовара, по своему богатству — аристократка; подобно всем богатым англичанкам, желающим, чтобы их принимали за леди, она усвоила чересчур претенциозные манеры и не умеет прятать свои

рачьи клешни. К счастью, ума у нее не больше, чем я требую его от женщины, на которой хотел бы жениться. Если бы можно было найти еще глупее — я готов пуститься на поиски.

Никогда эта особа — зовут ее Диной — не будет критиковать мое поведение, никогда не станет мне прекословить; я буду ее господином, палатой лордов, палатой общин. Словом, Поль, она является неоспоримым доказательством величия английского духа; это — произведение британской промышленности, доведенной до высшей степени совершенства; ее, наверное, сфабриковали в Манчестере, где-нибудь между фабрикой перьев Перри и заводом паровых машин. Этот механизм ест, пьет, ходит, может производить на свет детей, ухаживать за ними, прекрасно их воспитывать — и так похож на женщину, что можно подумать, уж не женщина ли это в самом деле?

Прежде чем познакомить меня с этой машиной, моя мать хорошенько ее завела, приладила все болтики, смазала все колесики, чтобы ничего не скрипело; затем, увидев, что я не проявляю особого отвращения, она нажала на потайную пружинку, и машина заговорила. Наконец мать не умолчала и о самом главном: мисс Дина Стивенс тратит не больше тридцати тысяч в год и лет семь уже путешествует — из экономии! Стало быть, у нее припрятана еще малая толика в звонкой монете.

Дело настолько подвинулось вперед, что на днях состоится оглашение нашего брака в церкви. Мы зовем друг друга my dear love [1], и она бросает на меня взгляды, которые сбили бы с ног и носильщика. Сделка заключена; о том, насколько я богат,— даже не заикались. Мисс Стивенс предназначает часть своего капитала для приобретения недвижимости; будет учрежден майорат, приносящий двести сорок тысяч в год, и в придачу к нему будет куплен особняк. Общая сумма приданого, получаемая мною согласно брачному контракту, достигает миллиона. Ей нечего жаловаться, так как я целиком предоставляю ей дядюшку. Добрый пивовар, внесший и свою долю при учреждении майората, был вне себя от радости, узнав, что его племянница сде-

---

[1] Моя любовь *(англ.)*.

лается маркизой. Он способен все принести в жертву ради моего будущего первенца.

Как только государственная рента начнет котироваться по восьмидесяти франков, я продам все свои ценные бумаги и помещу деньги в недвижимую собственность. Через два года поместья начнут приносить мне четыреста тысяч дохода, а когда пивовар окочурится, можно рассчитывать и на шестьсот тысяч. Видишь, Поль, я советую друзьям только то, что и сам готов исполнить. Послушайся ты меня — ты был бы сейчас женат на англичанке, дочери какого-нибудь набоба, оставался бы независим, как холостяк, и имел бы полную возможность играть в вист честолюбия. Я уступил бы тебе свою нареченную, не будь ты уже женат. Но что сделано — то сделано. Я не собираюсь пилить тебя за прошлые ошибки.

Это предисловие понадобилось для того, чтобы объяснить тебе следующее: я буду обладать богатством, нужным для всякого, кто хочет вести крупную игру... в бирюльки. Я всегда к твоим услугам, дружок. Вместо того чтобы увязнуть в Индии, было бы гораздо лучше пуститься со мной в совместное плавание по Сене. Поверь, Париж — одно из тех мест, где особенно обильно бьет источник удачи.

Потозские рудники находятся на улице Вивьен, на улице Мира, на Вандомской площади, на улице Риволи. Во всякой другой стране, чтобы разбогатеть, нужно трудиться до седьмого пота, тратить массу усилий, бегать высунув язык; а здесь достаточно одной пришедшей в голову блестящей мысли. Здесь человек хоть сколько-нибудь изобретательный может открыть золотую жилу, надевая домашние туфли, ковыряя после обеда в зубах зубочисткой, ложась спать или же вставая с постели. Укажи мне другое место на свете, где удачная мысль, как бы глупа она ни была сама по себе, быстрее подхватывается и приносит больше дохода!

Неужели ты думаешь, что я, достигнув вершины лестницы, откажусь протянуть тебе руку помощи, замолвить за тебя словечко, дать свою подпись? Разве повесы вроде меня тоже не нуждаются в друзьях, на которых можно положиться, хотя бы для того, чтобы скомпрометировать их вместо себя, использовать как

простых солдат, посылаемых на смерть, лишь бы спасти генерала? Невозможно быть политиком, не имея возле себя честного человека, которому можно все рассказать и все поручить. Итак, вот что я тебе посоветую: пусть «Прекрасная Амели» отплывает без тебя; вернись сюда неожиданно, как удар грома. Я устрою тебе дуэль с Феликсом де Ванденесом, ты будешь стрелять первый и ухлопаешь его, как куропатку.

Во Франции оскорбленный муж, убивший соперника, сразу приобретает всеобщее уважение. Никто больше не издевается над ним. Страх, мой милый,— одна из основ общества и отличное средство добиться успеха, особенно для тех, кто ни перед кем не опускает взгляда. Я никогда не испытывал страха и дорожу жизнью не больше, чем чашкой ослиного молока; но я заметил, милый мой, поразительное влияние этого чувства на современные нравы. Одни боятся утратить удовольствия, ставшие для них привычными, других страшит перспектива расстаться с любимой женщиной. Смелые нравы былых времен, когда жизнь швыряли, как стоптанный башмак, давно исчезли. Храбрость большинства людей — не более как тонкий расчет, основанный на том, что их противников охватит страх. В нынешней Европе одни лишь поляки дерутся из удовольствия драться; у них еще сохранилось чистое искусство, не знающее расчета. Убей Ванденеса, и все будут трепетать перед тобой: и жена, и теща, и публика; ты реабилитируешь себя, всенародно докажешь свою безумную любовь к жене,— и все тебе поверят, ты станешь героем. Такова уж Франция. Я дам тебе взаймы не одну сотню тысяч, ты заплатишь часть долгов, предотвратишь банкротство, продав свои земли с правом обратного выкупа. В самом скором времени ты займешь видное положение и сможешь досрочно расплатиться со всеми кредиторами. Теперь, когда ты знаешь истинный характер своей жены, она будет беспрекословно повиноваться тебе. Пока ты любил ее, ты не мог с нею бороться; разлюбив ее, ты приобретешь безграничную власть над нею.

Постараюсь, чтобы твоя теща стала послушной, как овечка; ведь нужно же вернуть тебе полтораста тысяч годового дохода, которым завладели эти женщины.

Итак, брось мысль о добровольном изгнании, умные люди так не поступают. Бежать — не значит ли дать сплетням одержать верх? Игрок, кинувшийся за деньгами, чтобы продолжать игру, проиграет наверняка. Деньги должны быть у него в кармане. Ты же, друг мой, спешишь за подкреплением в Индию. Глупо! Мы с тобой — два игрока, кидающие ставки на зеленое сукно политики; помогать друг другу — наш закон. Так вот, закажи лошадей, вернись в Париж и вновь начни игру; с таким партнером, как Анри де Марсе, ты выиграешь, потому что у Анри де Марсе верная рука и твердая воля. Вот как обстоит дело: мой отец пользуется немалым влиянием в английском правительстве; мы найдем единомышленников и в Испании, с помощью г-жи Эванхелиста, ибо, однажды, показав друг другу когти, мы с твоей тещей сочтем бесполезной взаимную борьбу: ведь ворон ворону глаз не выклюет. Монриво, милый мой, уже сейчас генерал-лейтенант; когда-нибудь он, наверное, станет военным министром, так как благодаря своему красноречию приобрел большую популярность в палате. Ронкероль уже назначен министром, а также членом тайного совета, Марсиаль де Ларош-Югон — посол в Германии и пэр Франции; вместе с ним мы заполучили маршала герцога Карильяно, а также весь хвостик, оставшийся от Империи и так нелепо приросший к позвоночнику Реставрации. Серизи орудует в государственном совете, где он незаменим; Гранвиль — в суде, вместе с обоими сыновьями; Гранлье при дворе в большой чести; Ферро стал душой кружка Гондревиля, низких интриганов, которые почему-то пошли в гору. Чего нам бояться, имея такую поддержку?

У нас есть свои люди во всех столицах мира, во всех правительствах, мы незаметно захватываем власть. Что значат деньги по сравнению с нашими великими замыслами? Сущие пустяки, безделица! Что значит женщина? Неужели ты навсегда останешься школьником? Во что превращается жизнь, дорогой мой, если все сосредоточено в женщине? В никем не управляемое, отданное на волю всех ветров судно, послушное магнитной стрелке, устремленной к полюсу безумия, в настоящую галеру, на которой мужчина отбывает каторгу, повинуясь не только

законам общества, но и безнаказанному произволу надсмотрщика. Тьфу!

Повиноваться страстно любимой женщине, испытывать наслаждение, передав свою власть в белые ручки,— это я еще понимаю. Но повиноваться Медору! В таком случае — к чертям Анжелику!

Весь секрет социальной алхимии, дружище, в том, чтобы брать от жизни как можно больше, в каком бы возрасте мы ни находились, срывать весною всю зелень, летом — все цветы, осенью — все плоды. Целых двенадцать лет компания весельчаков, к которой принадлежал и я, прожигала жизнь не хуже черных, серых и красных мушкетеров, ни в чем себе не отказывая, позволяя себе порою даже пиратские налеты. Теперь же, умудренные опытом, мы собираемся трясти с деревьев спелые сливы. Присоединись к нам! На твою долю достанется кусок пудинга, который мы состряпаем. Приезжай, и ты найдешь преданного друга в лице *Анри де Марсе*».

Когда Поль де Манервиль окончил чтение этого письма, каждая фраза которого, точно ударом молота, крушила воздушные замки его надежд, иллюзий и любви,— корабль был уже далеко за Азорскими островами. Его охватил приступ холодного бешенства и бессильного гнева.

«Что я им сделал?» — подумал он.

Обычные слова неудачников, слова людей слабохарактерных, недальновидных, не умеющих заглянуть в будущее.

«Анри! Анри!» — воскликнул он мысленно, обращаясь к своему верному другу.

Многие на месте Поля сошли бы с ума; он же бросился на койку и заснул тем тяжелым сном, какой овладевает людьми, потерпевшими полное поражение. Таким сном заснул Наполеон после битвы при Ватерлоо.

Париж, сентябрь — октябрь 1835 г.

ОБЕДНЯ БЕЗБОЖНИКА

Огюсту Борже посвящает его друг
де Бальзак.

Доктор Бьяншон, обогативший науку ценной физиологической теорией и еще в молодости ставший знаменитостью Парижского медицинского факультета — центра просвещения, почитаемого европейскими медиками,— до того как сделаться терапевтом, долгое время был хирургом. В свои студенческие годы он работал под руководством прославленного Деплена, одного из величайших французских хирургов, блеснувшего в науке, как метеор. Даже враги Деплена признавали, что он унес с собой в могилу свой метод, который невозможно было передать кому-либо другому. Как у всех гениальных людей, у него не оказалось наследников: он все принес и все унес с собой. Слава хирургов напоминает славу актеров: они существуют, лишь пока живут, а после смерти талант их трудно оценить. Актеры и хирурги, а также, впрочем, великие певцы и музыканты-виртуозы, удесятеряющие своим исполнением силу музыки, все они герои одного мгновения. Судьба Деплена служит доказательством того, как много общего в участи этих мимолетных гениев. Его имя, еще вчера столь знаменитое, нынче почти забытое, не выйдет за пределы медицинского мира. Но, впрочем, разве не требуются чрезвычайные обстоятельства, чтобы имя ученого перешло из области науки в общую историю человечества? Обладал ли Деплен той универсальностью знаний, которая делает человека *выразителем* или *фигурой* своего века? У Деплена было изумительное

чутье: он постигал больного и его болезнь путем не то природной, не то приобретенной интуиции, позволявшей ему установить индивидуальные особенности данного случая и точно определить тот час и минуту, когда следовало производить операцию, учтя при этом атмосферические условия и особенности темперамента больного. Чтобы иметь возможность идти таким образом в ногу с природой, не изучил ли Деплен непрестанное усвоение тех элементов, которые человек извлекает из воздуха и земли и перерабатывает на свой особый лад? Пользовался ли он той мощной силой дедукции и аналогии, которой был обязан своим гением Кювье? Как бы там ни было, этот человек стал поверенным всех тайн плоти, он читал в ее прошлом и в ее будущем, опираясь на настоящее. Но воплотил ли он в своем лице всю науку, как Гиппократ, Гален, Аристотель? Создал ли он школу, открыл ли ей пути к новым мирам? Нет. Правда, нужно признать, что этот неусыпный наблюдатель химии человеческого организма проник в древнюю науку магов: он схватывал жизненные начала еще в их становлении, видел истоки жизни, видел ту жизнь, которая не стала еще жизнью и которая подготовительной своей работой обусловливает существование организма. Но, к сожалению, все в Деплене носило личный характер: эгоизм был при жизни причиной его одиночества, и этот же эгоизм убил его посмертную славу. Над его могилой не высится статуя, которая громко вещает грядущим поколениям тайны, раскрытые самоотверженными исканиями гения. Но, быть может, талант Деплена соответствовал его убеждениям, а потому и был смертен. Для Деплена земная атмосфера была полостью, зарождающей в себе жизнь, земля была подобна яйцу в скорлупе, и вот он, не будучи в состоянии ответить на вопрос, что было вначале: яйцо или курица, отрицал и петуха и яйцо. Он не верил ни в сотворение первобытного животного мира, ни в бессмертие человеческой души. Деплен не сомневался, он отрицал. То был откровенный, чистейшей воды атеизм, который присущ многим ученым: это прекраснейшие люди, но они до мозга костей атеисты — атеисты, исповедующие атеизм с такой же убежденностью, с какой религиозно настроенные люди его отвергают. У Деплена и не могло

сложиться иных убеждений: ведь он с молодых лет привык рассекать скальпелем человека — венец всего живого — до его рождения, при жизни и после смерти, привык копаться во всех его органах и нигде не находил эту единую душу, столь необходимую для всех религиозных учений. Обнаружив в организме три центра — мозговой, нервный и дыхательно-кровеносный,— из которых первые два способны так замечательно заменять друг друга, Деплен в конце своей жизни даже пришел к убеждению, что слух и зрение не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы слышать и видеть: их явно может заменить солнечное сплетение. Найдя таким образом в человеке две души, Деплен увидел в этом подтверждение своих атеистических взглядов, хотя вопрос о боге этим фактом отнюдь не задевался. Говорят, что знаменитый хирург умер, не раскаявшись в своих заблуждениях, как, к сожалению, умирают многие гениальные люди, да помилует бог их души.

Этот крупный человек был во многом мелочен — так говорили о Деплене враги, желавшие омрачить его славу. Но в том, что они считали его мелочностью, правильнее видеть противоречия чисто внешнего порядка. Завистники и тупицы никогда не могут понять тех побуждений, по которым действуют выдающиеся умы; поэтому, как только они подметят несколько таких поверхностных противоречий, они тотчас хватаются за них, составляют на их основании обвинительный акт и добиваются немедленного осуждения обвиняемого. Пусть в дальнейшем успешное достижение цели оправдывает тактику, подвергшуюся стольким нападкам, и обнаруживает соответствие между средствами и целью, но авангардные стычки с клеветой не проходят бесследно. Так в наши дни осуждали Наполеона за то, что он простирал крылья своего орла над Англией: только 1822 год уяснил нам 1804 год и булонские десантные суда.

Слава и познания Деплена были неуязвимы; поэтому его враги избрали своей мишенью всякие странности его нрава, его характер. Между тем Деплену просто была присуща та черта, которую англичане зовут эксцентричностью. То он одевался с великолепием трагика Кребильона, то обнаруживал странное равнодушие к вопросам костюма, то ездил в коляске, то ходил

пешком. То резкий, то добрый, казавшийся жадным и скупым и, однакоже, способный предоставить свое состояние в распоряжение своих изгнанных повелителей, которые удостоили его чести принять на несколько дней его поддержку,— он больше чем кто бы то ни было вызывал самые противоречивые суждения. Правда, чтобы добиться некоей черной орденской ленточки, гоняться за которой ему бы, как врачу, не пристало, он оказался способен выронить при дворе молитвенник из кармана,— но будьте уверены, что втайне он над всем в жизни насмехался. Деплен имел возможность наблюдать людей и с показной стороны и без прикрас, он видел их такими, какими они являются в действительности, в самых торжественных и в самых обыденных жизненных обстоятельствах,— и он глубоко презирал людей. У великого человека качества его души нередко находятся в соответствии друг с другом. Если у кого-нибудь из этих колоссов больше таланта, чем ума, он все-таки умнее того, о ком говорят просто: «Это умный человек». Гениальность предполагает внутреннее зрение. Зрение это может быть ограничено кругозором отдельной специальности; но кто видит цветок — видит и солнце. Однажды, услышав из уст спасенного им дипломата вопрос: «Как здоровье императора?», Деплен заметил: «Царедворец ожил,— оживет и человек». Тот, кто способен бросить такое замечание, не только хирург, не только врач,— но еще и большая умница. Вот поэтому наблюдатель, привыкший терпеливо и прилежно всматриваться во все человеческое, извинит его самомнение и поверит, как верил в это он сам, что из великого хирурга мог бы выйти не менее великий министр.

Из целого ряда загадок, усматриваемых современниками в жизни Деплена, мы выбрали одну из самых интересных: в конце нашего рассказа будет дана ее разгадка, и эта разгадка очистит память Деплена от некоторых нелепых обвинений.

Орас Бьяншон был одним из любимых учеников Деплена. Прежде чем поступить ассистентом-практикантом в клинику Отель-Дье, Орас Бьяншон, будучи студентом-медиком, проживал в Латинском квартале, в нищенском пансионе, известном под названием «Дом Воке». Бедный молодой человек испытывал там муки жестокой

нужды, но, как из горнила, мощные таланты должны выходить из нее чистыми и неуязвимыми, подобно алмазам, которые могут выдержать любой удар, не разбившись. Закаляясь на огне своих яростно пылающих страстей, они проникаются неподкупной честностью и, замкнув свои обманутые вожделения в пределы непрестанного труда, заранее приучаются к той борьбе, которая составляет удел гениев. Орас был человек прямой, не способный ни на какие компромиссы в вопросах чести,— человек не фразы, а действия, готовый заложить для друга свой единственный плащ, пожертвовать для него своим временем и сном. Словом, это был один из тех друзей, которые не задумываются над тем, много ли они получат в обмен за то, что дают сами, так как бывают уверены, что и сами они, в свою очередь, получат больше, чем дадут. Большинство друзей Ораса испытывало к нему то глубокое внутреннее уважение, какое внушает к себе добродетель, чуждая всякой позы; некоторые же из них боялись его осуждения. Но Орас проявлял свои достоинства без малейшей педантичности. В нем не было никакой склонности к пуританизму или к проповедничеству: давая совет, он охотно пересыпал его крепкими словечками и при случае любил выпить и закусить на славу.

Веселый собутыльник, столь же мало чопорный, как и любой кирасир, прямой и откровенный, не как моряк — ибо теперешние моряки — хитрые дипломаты,— а как славный молодой человек, которому нечего скрывать в своей жизни, он шел вперед с высоко поднятой головой и смеющимися глазами. Чтобы выразить все одним словом, скажем, что он был Пиладом многих Орестов: ведь в наши дни наиболее реальным воплощением античных фурий являются кредиторы. Орас переносил свою бедность с той легкостью духа, которая является, быть может, одним из основных элементов мужества; и как все те, у кого нет ничего, почти никогда не брал у других взаймы. Воздержанный, как верблюд, проворный, как олень, он отличался твердостью убеждений и строгостью. Когда знаменитый хирург понял те достоинства и недостатки, которые в их совокупности делают вдвойне драгоценным доктора Ораса Бьяншона для его друзей, тогда началась счастливая пора

в жизни Ораса. Если главный врач клиники берет молодого человека под свое покровительство, карьера этого молодого человека может считаться обеспеченной. Деплен обычно брал с собой Бьяншона в качестве ассистента при своих врачебных визитах в богатые дома; некоторое вознаграждение обычно перепадало при этом и ассистенту, не считая того, что во время этих визитов ему, провинциалу, постепенно раскрывались тайны парижской жизни. Деплен прибегал к услугам Бьяншона в качестве ассистента и тогда, когда принимал больных у себя на дому, иногда он поручал ему сопровождать какого-нибудь богатого больного на минеральные воды — словом, он подготовлял Бьяншону клиентуру. В результате у хирурга-тирана появился через некоторое время Сеид. Эти два человека, из которых один, находившийся на вершине почестей и знания, пользовался огромным богатством и огромной славой, другой, не богатый и не знаменитый, мерцал незаметной звездочкой на парижском небосклоне, стали близки друг другу. Великий Деплен ничего не скрывал от своего ассистента. Бьяншону было известно, села ли такая-то женщина на стул рядом с его учителем или на тот пресловутый диван, который стоял в кабинете Деплена и на котором он спал; Бьяншон был посвящен в тайны этого темперамента, соединившего в себе пылкость льва и силу быка, темперамента, который постепенно раздвинул, расширил сверх меры грудь великого человека и послужил причиной его смерти (Деплен умер от расширения сердца). Ассистент изучил все странности этой безмерно занятой жизни, все расчеты скаредной скупости, все надежды политика, скрытого в этом человеке науки, и он предвидел то разочарование, которое принесет Деплену единственное чувство, доступное его сердцу: ибо все-таки это было сердце не из бронзы, а только снаружи похожее на бронзовое.

Однажды Бьяншон рассказал Деплену, что один бедный водонос, живший в квартале Сен-Жак, тяжко заболел от переутомления и нужды: всю долгую зиму 1821 года этот бедный овернец питался одной картошкой. Деплен бросил всех своих больных. Чуть не загнав свою лошадь, он примчался с Бьяншоном к бедняку, которого и перевезли под личным присмотром Деп-

лена в больницу, открытую знаменитым Дюбуа в предместье Сен-Дени. Деплен вылечил овернца, а когда тот выздоровел, дал ему денег на покупку лошади и бочки. Этот овернец отличился впоследствии одним своеобразным поступком. Кто-то из его друзей заболел. Овернец тотчас же привел его к Деплену, говоря своему благодетелю:

— Я не потерпел бы, чтобы он пошел к кому-нибудь другому.

Как ни был груб Деплен, но тут он пожал овернцу руку и сказал ему:

— Приводи их всех ко мне.

Он поместил уроженца Канталя в клинику Отель-Дье и проявил в отношении его величайшую заботливость. Бьяншон уже неоднократно замечал пристрастие своего принципала к овернцам-водоносам; но так как для Деплена его работа в клинике Отель-Дье служила предметом своеобразной гордости, ассистент не усмотрел в его поведении ничего необычного.

Однажды, проходя часов в девять утра по площади св. Сульпиция, Бьяншон увидел своего учителя: Деплен входил в ту церковь, от которой получила свое имя и площадь. Деплен, всегда пользовавшийся кабриолетом, на этот раз, однако, пришел пешком и украдкой вошел в церковь через боковые двери с улицы Пти-Лион, будто входил в какой-то подозрительный дом. Ассистент, знавший убеждения своего учителя и к тому же сам кабанист, *диавольски* (именно в таком начертании, по-видимому, означающем у Рабле высшую степень дьявольщины) упорный, почувствовал понятное любопытство; стараясь остаться незамеченным, он проник в церковь и увидел картину, немало его удивившую: великий Деплен, этот атеист, так безжалостно издевавшийся над ангелами, которые недоступны ланцету, не знают ни фистулы, ни гастритов,— этот неустрашимый насмешник смиренно стоял на коленях... и где же? В часовне богоматери! Он отстоял там обедню, пожертвовал на церковь, на бедных — и все это с той же серьезностью, как при какой-нибудь операции.

«Уж верно, он зашел в церковь не затем, чтобы кое-что выяснить в вопросе о родах богоматери,— подумал изумленный Бьяншон.— Если б я увидел его поддер-

живающим одну из кистей балдахина на празднике Тела господня, это было бы только смешно. Но застать его в церкви в этот час, одного, без свидетелей — это поистине наводит на размышления!»

Не желая, чтобы кто-нибудь мог подумать, будто он подсматривает за главным хирургом клиники Отель-Дье, Бьяншон удалился. Случайно Деплен в тот же день пригласил его отобедать с ним в ресторане. За десертом Бьяншон искусно навел разговор на обедню, назвав ее лицемерной комедией.

— Комедия, которая стоила христианскому миру больше крови, чем все войны Наполеона и все пиявки Бруссе,— сказал Деплен.— Обедня — папское изобретение, не старше шестого века; в основе его лежат слова: «Сие есть тело мое». Какие потоки крови пришлось пролить, чтобы установить праздник Тела господня, которым папский престол хотел ознаменовать свою победу, в споре о реальном пресуществлении даров, над еретиками, которые триста лет вносили смуту в церковь. Папское нововведение привело к войнам с графом Тулузским и альбигойцами: вальденсы и альбигойцы не хотели признавать его.

Тут Деплен дал волю своему остроумию атеиста, и из уст его полился поток вольтерьянских острот; выражаясь точнее, это было скверное подражание «Цитатору».

«Что за чудеса? — думал Бьяншон.— Куда же девался мой утренний богомолец?»

Он ничего не сказал Деплену и усомнился в том, действительно ли видел его в церкви св. Сульпиция. Деплен не стал бы лгать Бьяншону: они слишком хорошо знали друг друга и уже не раз обменивались мыслями по другим, не менее важным вопросам, не раз обсуждали различные системы, трактующие de rerum natura [1], зондировали или рассекали их ножами и скальпелем неверия. Прошло три месяца. Бьяншон не возвращался более к этому эпизоду, хотя он и запечатлелся в его памяти. В том же году однажды один из врачей клиники Отель-Дье в присутствии Бьяншона взял Деплена за руку, как бы желая задать ему вопрос.

---

[1] О природе вещей *(лат.)*.

— Зачем вы заходили в церковь святого Сульпиция, уважаемый учитель? — спросил он.

— Я шел к больному священнику — у него гнойное воспаление коленной чашки,— ответил Деплен.— Герцогиня Ангулемская оказала мне честь, обратясь ко мне с просьбой, чтобы я взял на себя его лечение.

Атака была отбита. Врач удовлетворился полученным объяснением, но Бьяншона оно не убедило.

«Вот как! Он ходит в церковь осматривать больные колени! — сказал себе ассистент.— Он был у обедни».

Бьяншон решил выследить Деплена; он припомнил, в какой именно день и час входил Деплен в церковь св. Сульпиция, решил через год быть в это же время у церкви, чтобы проверить, явится ли он снова. Если бы Деплен действительно явился, такая периодичность посещений церкви могла бы послужить основанием для научного исследования данного случая, ибо прямого противоречия между мыслью и действием у такого человека существовать не могло. На следующий год, в тот же день и час, Бьяншон, который уже не был ассистентом Деплена, увидел, как кабриолет хирурга остановился на углу улицы Турнон и улицы Пти-Лион, как его друг вышел из кабриолета и, с иезуитской осторожностью пробираясь вдоль стен домов, направился к церкви, вошел в нее и снова отстоял обедню перед алтарем богоматери. Это был Деплен, собственной персоной! Главный хирург, в душе атеист, игрой случая — богомолец. Положение осложнялось. Упорство знаменитого ученого путало все карты. По уходе Деплена Бьяншон подошел к ризничему, прибиравшему церковную утварь, и спросил у него, был ли только что ушедший господин постоянным посетителем церкви.

— Вот уже двадцать лет, как я здесь служу,— ответил ризничий,— и все время господин Деплен приходит четыре раза в год к этой обедне; она и служится по его заказу.

«Обедня, заказанная Депленом! — подумал, уходя, Бьяншон. — Это, на свой лад, стоит тайны непорочного зачатия, а ведь одной этой тайны довольно, чтобы сделать любого врача неверующим».

Время шло. Хоть доктор Бьяншон и был другом Деплена, ему никак не удавалось найти удобный слу-

чай заговорить с ним об этой особенности его жизни. Обычно они встречались во врачебной или светской обстановке; но в ней невозможны те откровенные беседы наедине, когда друзья, грея ноги у камина и откинувшись головой на спинку кресла, поверяют друг другу свои тайны. Наконец через семь лет, после революции 1830 года, когда толпа громила архиепископскую резиденцию, когда под влиянием агитации республиканцев она уничтожала золоченые кресты, сверкавшие подобно молниям над необозримым океаном домов, когда улицей владели Неверие и Мятеж,— Бьяншон вновь подглядел, как Деплен входит в церковь св. Сульпиция. Он последовал за ним и стал с ним рядом. Друг его не выразил ни малейшего удивления, не подал ему никакого знака. Они вместе отстояли заказанную Депленом обедню.

— Не откроете ли вы мне причину вашего благочестивого маскарада, друг мой? — спросил Бьяншон у Деплена, когда они вышли из церкви.— Я трижды заставал вас здесь у обедни — вас! Вы должны раскрыть мне эту тайну, объяснить мне это явное противоречие между вашими убеждениями и вашим поведением. Вы не верите в бога — и ходите к обедне! Дорогой учитель, будьте любезны ответить.

— Я похож на многих благочестивцев, которые внешне кажутся глубоко религиозными людьми, а на самом деле столь же атеистичны, как вы и я.

И Деплен разразился потоком острот, издеваясь над некоторыми политическими деятелями, наиболее известный из которых представляет собой новейшее издание мольеровского Тартюфа.

— Я спрашиваю вас не об этом,— сказал Бьяншон.— Я хочу знать, зачем вы пришли сюда и зачем заказали эту обедню.

— Ладно, милый друг,— сказал Деплен.— Я на краю могилы и могу рассказать вам теперь, как я начинал свою жизнь.

Бьяншон и великий человек находились в эту минуту на улице Четырех ветров — чуть ли не самой отвратительной парижской улице. Деплен указал Бьяншону на седьмой этаж одного из тех домов, похожих на обелиск, в которые попадаешь по длинному переходу, ве-

дущему от калитки до винтовой лестницы; она обычно скупо освещается глухими оконцами, которые действительно глухи... к проклятьям спотыкающихся жильцов. Этот дом был зеленоватого цвета; в первом его этаже жил торговец мебелью; в остальных этажах, казалось, ютились все разновидности нужды. Подняв энергичным движением руку, Деплен сказал Бьяншону:

— Я прожил два года там, наверху.

— Знаю. Там жил и д'Артез. Я бывал там почти ежедневно в своей ранней молодости. Мы прозвали эту мансарду «банка, где настаиваются гении». Что же дальше?

— Прослушанная нами обедня связана с некоторыми событиями из моей жизни. Они относятся к тому времени, когда я проживал в той мансарде, в которой, по вашим словам, жил д'Артез,— вон там, где стоит горшок с цветами, а над ними развешано белье. Я начинал мою парижскую жизнь в таких трудных условиях, дорогой Бьяншон, что могу претендовать на пальму первенства в смысле тяжести тех страданий, которые заставил меня вынести Париж. Я испытал все: голод, жажду, отсутствие денег, отсутствие платья, обуви, белья — словом, самую жестокую нужду. В этой «банке для настойки гениев» я дышал на свои пальцы, окоченевшие от холода, и мне хотелось бы снова заглянуть туда вместе с вами. Выдалась одна такая зима, когда я работал и видел поднимающийся над моей головой пар, различал собственное дыхание, вроде того пара, который валит в морозные дни от лошадей. Не знаю, в чем находишь себе опору для борьбы с такой жизнью. Я был один, без чьей-либо поддержки, не имел ни одного су на покупку книг и на оплату моего медицинского образования. Друзей у меня не было из-за моего вспыльчивого, подозрительного, беспокойного характера. Никто не хотел понять, что моя раздражительность объясняется жизненными трудностями и непомерной работой: ведь я находился на самом дне социальной жизни, а хотел выбиться на ее поверхность. Тем не менее — могу вам это сказать, так как мне нет нужды притворяться перед вами,— я сохранил в своей душе те добрые чувства и ту отзывчивость, которые всегда будут отличать сильных людей, умеющих взо-

браться на любую вершину, хотя бы до этого им и пришлось проблуждать немалое время, увязая в болотах нужды. Мне нечего было ждать ни от своих родных, ни от родного города сверх того скудного пособия, которое я получал. Достаточно вам сказать, что в ту пору я покупал себе на завтрак у булочника на улице Пти-Лион черствый хлебец (он был дешевле свежих) и размачивал его в молоке: таким образом, утренний завтрак обходился мне всего в два су. Обедал я через день в одном пансионе, где обед стоил шестнадцать су. Таким образом, я тратил всего десять су в день. Вы понимаете не хуже меня, много ли я мог уделять внимания платью и обуви. Не знаю, сравнимо ли огорчение, которое впоследствии случалось нам испытывать при виде предательских поступков того или другого коллеги, сравнимо ли это огорчение с тем горем, которое мы с вами испытывали, когда замечали лукавую усмешку разорвавшегося башмака или когда слышали треск сюртука, лопнувшего под мышкой. Я пил только воду и питал высокое уважение к парижским кафе. Кафе Ционни казалось мне чем-то вроде земли обетованной, доступной лишь Лукуллам Латинского квартала. «Ужели когда-нибудь и я смогу выпить там чашку кофе со сливками и сыграть партию в домино?» — думал я. То неистовство, которое вызывала во мне нужда, я переносил на свою работу. Я старался приобрести как можно больше твердых знаний, чтобы возможно больше повысить свою ценность и заслужить таким образом место, которое хотел завоевать. Я потреблял больше бутылок масла, чем ломтей хлеба: лампа, светившая мне в часы упорной ночной работы, обходилась дороже, чем пропитание. Это был поединок — долгий, ожесточенный, безотрадный. Ни в ком я не возбуждал сочувствия. Ведь чтобы иметь друзей, нужно поддерживать знакомство с молодыми людьми, нужно иметь несколько су, на которые ты мог бы пображничать, нужно ходить с ними туда, куда ходят студенты. У меня же не было ничего! А никто в Париже не представляет себе, что значит *ничего*. Когда приходилось рассказывать другим, в какой нужде я живу, я чувствовал, что нервная судорога сжимает мне горло, что к нему подкатывается тот комок, о котором говорят нам

наши больные. Мне случалось потом встречать людей, родившихся в богатой семье, никогда ни в чем не нуждавшихся, не знавших этой задачи на тройное правило: молодой человек так относится к преступлению, как пятифранковая монета относится к иксу. Эти богатые болваны говорили мне: «А зачем вы влезли в долги? А зачем обременяли себя тяжкими обязательствами?»

Они напоминают мне ту принцессу, которая, услышав, что народ умирает с голода, спросила, почему не покупает он сдобных булочек. Хотел бы я посмотреть на кого-нибудь из этих богачей, которые жалуются, что я беру с них слишком дорого за операцию,— хотел бы посмотреть на него, окажись он один-одинешенек в Париже, без единого гроша, без друзей, без кредита и располагая лишь головой да руками, чтобы заработать себе на хлеб! Что бы он делал? Куда бы пошел искать себе пропитание? Вам случалось видеть меня озлобленным и безжалостным, Бьяншон: я мстил за свои юношеские страдания той бесчувственности, тому эгоизму, которые на каждом шагу встречаются мне в высшем обществе; я вспоминал о том, сколько преград на моем пути к славе пытались создать ненависть, зависть, клевета. В Париже, когда некоторые люди видят, что вы вот-вот готовы сесть в седло, иной начинает тащить вас за полу, а тот отстегивает подпругу, чтобы вы упали и разбили себе голову; третий сбивает подковы с ног вашей лошади, четвертый крадет у вас хлыст; самый честный — тот, кто приближается к вам с пистолетом в руке, чтобы выстрелить в вас в упор. У вас есть талант, мое дитя, и вы скоро узнаете, какую страшную, непрестанную борьбу ведет посредственность с теми, кто ее превосходит. Проиграете ли вы вечером двадцать пять луидоров — на следующий день вас обвинят в том, что вы игрок, и лучшие ваши друзья будут рассказывать, что вы проиграли двадцать пять тысяч франков. Заболит ли у вас голова, скажут, что вы начинаете сходить с ума. Вырвалось ли у вас какое-нибудь резкое слово — и вот уже вы человек, с которым никто не может ужиться. Если в борьбе с этой армией пигмеев проявите и силу и решительность, ваши лучшие друзья завопят, что вы не терпите никого рядом с собою, что вы хотите господствовать, повелевать. Словом, ваши до-

стоинства обратятся в недостатки, в пороки, и ваши благодеяния станут преступлениями. Удалось ли вам спасти кого-нибудь — скажут, что вы его убили; хотя больной вернулся к нормальной жизни — скажут, что это искусственно вызванное вами временное улучшение, за которое ему придется расплатиться в будущем: если он не умер сейчас, он умрет потом. Споткнетесь — скажут: «Упал». Изобретете что-нибудь и попробуете отстоять свои права — прослывете человеком крайне несговорчивым да еще и расчетливым хитрецом, который не дает выдвинуться молодым силам. Таким образом, друг мой, если я не верю в бога, я еще менее верю в человека. Ведь вы знаете, что во мне живет Деплен, совершенно непохожий на того Деплена, о котором говорят столько дурного. Но не будем копаться в такой грязи. Итак, я жил в этом доме, работал, готовясь к первому экзамену, и сидел без гроша. Знаете, я дошел до той крайности, когда человек решает: «Пойду в солдаты!» У меня оставалась одна надежда: я должен был получить из того города, откуда был родом, чемодан с бельем — подарок старых провинциальных теток, которые, не имея понятия о парижской жизни, уверенные в том, что на тридцать франков в месяц их племянник питается рябчиками, заботятся о его рубашках. Чемодан прибыл в мое отсутствие — я был в университете; оказалось, что за провоз его следует уплатить сорок франков. Привратник — немец-сапожник, ютившийся в каморке под лестницей, уплатил эти сорок франков и оставил чемодан у себя. Долго бродил я по улице Фоссе-Сен-Жермен-де-Пре и по улице Медицинского факультета, ломая себе голову над тем, как бы мне выручить мой чемодан, не уплатив предварительно сорока франков,— понятно, я уплатил бы их, продав белье. Моя несообразительность показала мне, что единственное мое призвание — хирургия. Друг мой, души с тонкой организацией, сильные, когда им приходится действовать в более высокой сфере, лишены той способности к житейским интригам, той находчивости, той оборотливости, которые свойственны более мелким людям; случай — вот добрый гений этих душ; они не ищут — они находят.

Я вернулся домой поздно вечером; в это же время

вернулся и мой сосед — водонос родом из Сен-Флура, по имени Буржа́. Мы были знакомы с ним настолько, насколько могут считаться знакомыми два жильца, комнаты которых расположены рядом: каждый из них слышит, как его сосед спит, кашляет, одевается,— и в конце концов они привыкают друг к другу. Сосед сообщил, что хозяин дома выселяет меня за то, что я трижды просрочил платеж за комнату; завтра мне предстояло убраться вон. Оказалось, что хозяин выселяет еще и моего соседа, из-за его ремесла. Я провел самую мучительную ночь в своей жизни. «Где достать носильщика, чтобы вынести мой скудный домашний скарб, мои книги? Из каких денег заплатить носильщику и привратнику? Куда идти?» Обливаясь слезами, я все снова и снова задавал себе эти неразрешимые вопросы, как безумцы твердят одни и те же пришедшие им в голову слова. Наконец я уснул. У нужды есть союзник: божественный сон, полный радужных сновидений. На следующее утро, когда я закусывал размоченным в молоке хлебцем, в комнату мою вошел Буржа́.

— Господин студент,— сказал он мне с сильным овернским акцентом,— я бедный человек, подкидыш, вырос в Сен-Флурском приюте, не знал ни отца, ни матери при моих достатках жениться мне нельзя. У вас тоже не больно много родных, да и добром вы не богаты. Вот что я вам скажу: у меня стоит внизу ручная тележка, я взял ее напрокат по два су за час; все наши пожитки на ней уместятся. Хотите, поищем себе жилье вместе, коли уж нас отсюда выгнали. Да ведь и здесь не рай земной.

— Знаю, мой добрый Буржа́,— сказал я,— но вот в чем затруднение: у меня внизу чемодан, в котором лежит на сто экю белья; я мог бы уплатить из этих денег и за комнату и свой долг привратнику, но в кармане у меня нет и пяти франков.

— Ладно! У меня найдется несколько монеток,— ответил Буржа́, весело показывая мне старый, засаленный кожаный кошелек.— Оставьте ваше белье себе.

Буржа́ заплатил за мою комнату, за свою и отдал привратнику его сорок франков. Затем он взвалил нашу мебель и чемодан с моим бельем на тележку и покатил ее по улицам, останавливаясь у тех домов, где

были вывешены объявления о сдаче комнат внаем. Я входил в каждый такой дом и осматривал сдаваемое помещение. Наступил полдень, а мы все еще скитались по Латинскому кварталу в тщетных поисках жилья. Цена — вот в чем было препятствие. Буржá предложил мне перекусить в винной лавочке; тележку мы оставили у двери. К вечеру, на улице Роган, у Коммерческого проезда, я нашел на самом верху одного дома, под крышей, две комнаты, отделенные друг от друга площадкой лестницы. Мы сняли их; пришлось на брата по шестидесяти франков квартирной платы в год. Теперь у меня и у моего скромного друга было пристанище. Обедали мы вместе. Буржá зарабатывал до пятидесяти су в день. У него было около ста экю. Он рассчитывал вскоре осуществить свою заветную мечту: купить себе бочку и лошадь. С лукаво-проницательным добродушием, воспоминание о котором доныне трогает мое сердце, он выведал все мои секреты и, узнав, в каком положении я нахожусь, отказался на время от мечты всей своей жизни. Буржá двадцать два года носил воду — и он принес в жертву свои сто экю ради моего будущего.

Тут Деплен с силой сжал руку Бьяншона.

— Он дал мне те деньги, которые мне были необходимы, чтобы подготовиться к экзаменам! Друг мой, этот человек понял, что у меня есть назначение в жизни, что нужды моего ума важнее его нужд. Он заботился обо мне, он называл меня «сынок», он давал мне взаймы деньги на покупку книг, а иногда он приходил тихонько посмотреть, как я работаю; наконец он с материнской заботливостью дал мне возможность заменить здоровой и обильной пищей ту скудную и недоброкачественную пищу, на которую я был обречен. Буржá было лет сорок; у него было лицо средневекового горожанина, выпуклый лоб,— художник мог бы писать с него Ликурга. Бедняга не знал, на кого ему излить запас нежности, накопившейся в его сердце. Единственным существом в жизни, которое было к нему привязано, являлся его пудель, незадолго до того умерший, и Буржá беспрестанно говорил со мной о своем пуделе, спрашивал у меня, как я думаю, не согласится ли церковь служить по нему заупокойные обед-

ни. Этот пудель, по его словам, был настоящий христианин: в течение двенадцати лет он ходил с Буржá в церковь, ни разу не залаял, слушал орган тишком-молчком и сидел рядом со своим хозяином с таким видом, будто и сам молился вместе с ним. Этот человек понял мое одиночество, мои страдания,— и он сосредоточил на мне всю силу привязанности, на которую был способен. Он стал для меня самой заботливой матерью, самым бережно-деликатным благодетелем; словом, это был идеал добродетели — человек, находящий удовлетворение в том добром деле, которое он творит. Когда я встречался с Буржá на улице, он бросал мне понимающий взгляд, исполненный непостижимого благородства; он старался идти с таким видом, будто идет без всякой ноши; казалось, он был счастлив тем, что видит меня здоровым и хорошо одетым. Это была самоотверженность простолюдина, любовь гризетки, перенесенная в более высокую сферу. Буржá выполнял мои поручения, будил меня ночью в назначенный час, чистил мою лампу, натирал площадку нашей лестницы; он был мне хорошим отцом и не менее хорошим слугой и мог поспорить чистоплотностью с английской горничной. Все наше хозяйство лежало на нем. Подобно Филопемену, он пилил дрова. Он умел делать все очень просто, но всегда с достоинством, сознавая, казалось, что его работа облагорожена той целью, которую он себе поставил. Когда я поступил в клинику Отель-Дье ассистентом-практикантом, мне пришлось расстаться с Буржá, так как я должен был жить при клинике. Он впал было в глубокое уныние, но потом утешился мыслью, что скопит мне денег на те расходы, которых потребует от меня работа над диссертацией, и просил меня навещать его в свободные дни. Буржá гордился мною, он любил меня ради меня и ради себя. Если бы вы разыскали мою диссертацию, вы увидели бы, что она посвящена ему. В последний год моей работы в больнице в качестве ассистента-практиканта я располагал уж достаточными средствами, чтобы уплатить свой долг достойному овернцу, купив ему лошадь с бочкой. Он страшно рассердился, узнав, что я истратил на него свои деньги, но все же пришел в восторг, ведь это было осуществлением его заветного желания. Он смеялся и выго-

варивал мне; смотрел на свою бочку, на свою лошадь и, утирая слезы, говорил: «Нехорошо! Ах, что за бочка! Не надо вам было этого делать... Ну и крепкая же лошадь — прямо овернская!»

Я не видел ничего более трогательного, чем эта сцена. Несмотря на мои протесты, Буржá пожелал непременно купить мне тот отделанный серебром футляр с набором хирургических инструментов, который вы видели у меня в кабинете,— нет вещи более драгоценной для меня. Он был опьянен моими первыми успехами, но у него никогда не вырвалось ни единого слова, ни единого жеста, говорившего: «Это я вывел его в люди». А ведь не будь его, нужда прикончила бы меня. Бедняга пожертвовал своей жизнью ради меня: оказалось, что он ел один хлеб, натирая его чесноком,— зато покупал мне кофе, необходимый для моих ночных занятий. Он заболел. Вы сами понимаете, что я проводил ночи у его изголовья. В первый раз мне удалось его отстоять. Но через два года болезнь возобновилась, и, невзирая на самый тщательный уход, на все средства, какие только знает медицина, Буржá скончался. Ни за одним королем не ухаживали так, как ухаживали за ним. Да, Бьяншон, я делал неслыханные усилия, чтобы вырвать эту жизнь у смерти. Мне хотелось, чтоб он получил возможность взглянуть на дело рук своих; хотелось выполнить все его желания, хотелось выразить до конца то — уже не повторившееся в моей жизни — чувство благодарности, которое наполняло мое сердце, хотелось затушить тот огонь, который жжет меня доныне!

Буржà, мой второй отец, умер у меня на руках,— продолжал, помолчав, Деплен, заметно взволнованный,— он оставил завещание, по которому все его имущество переходило ко мне; это завещание написали ему в конторе по составлению бумаг, и помечено оно было тем самым годом, когда мы поселились вместе на улице Роган. Этот человек был образцом простосердечной веры. Он любил богоматерь так же, как любил бы свою жену. Хотя он и был страстно верующим католиком, он ни разу не сказал мне ни слова о моем неверии. Когда болезнь его приняла опасный оборот, он просил меня ничего не пожалеть, чтобы обеспечить ему помощь церк-

ви. Я заказал для него на каждый день обедню за здравие. Часто, по ночам, он говорил мне, что боится судьбы, ожидающей его за гробом: ему казалось, что жизнь его была недостаточно праведной. Бедняга! Он трудился с утра до ночи. Если есть рай, кто мог быть достойнее его, чем этот человек? Он принял последнее напутствие церкви, как святой (ведь он и был святым); его смерть была достойна его жизни. Только один человек шел за его гробом: это был я. Похоронив своего единственного благодетеля, я задумался над тем, как смогу я отплатить ему за все, что он сделал для меня. Семьи, друзей, жены, детей у него не было. Но он был верующим, у него были религиозные убеждения — имел ли я право оспаривать их? Он робко заговорил со мной однажды о заупокойных обеднях; он не хотел навязывать мне такого обязательства, думая, что это значило бы требовать платы за свою помощь. При первой возможности я внес в церковь св. Сульпиция нужную сумму и заказал четыре заупокойных обедни в год. Единственное, что я могу сделать для Буржа́,— это удовлетворить его благочестивое пожелание. Поэтому четыре раза в год, весной, летом, осенью и зимой, я прихожу в положенный день в церковь и говорю с искренностью скептика: «Господи, если есть у тебя обитель, где пребывают после смерти люди праведные,— вспомни о добром Буржа́, и если нужно ему вынести какие-либо мучения, переложи эти мучения на меня, чтоб он мог скорее достигнуть того, что называют раем». Вот, мой милый, все, что может разрешить себе человек моего образа мыслей. Бог, вероятно, славный малый — он не обидится, черт возьми! Клянусь, я отдал бы все свое состояние, чтобы вера Буржа̀ вместилась в моем мозгу.

Бьяншон, лечивший Деплена во время его последней болезни, не решается теперь утверждать, что знаменитый хирург умер атеистом. И разве не отрадно думать верующим, что, быть может, смиренный овернец открыл ему врата неба, как некогда он открыл ему врата того земного храма, на фронтоне которого начертаны слова: *«Великим людям — благодарное отечество»*.

Париж, январь 1836 г.

ДЕЛО ОБ ОПЕКЕ

Контр-адмиралу Базошу,
губернатору острова Бурбон,
посвящает благодарный автор

де Бальзак.

Однажды в 1828 году, в первом часу ночи, два молодых человека вышли из особняка, расположенного на улице Фобур-Сент-Оноре, неподалеку от Елисейского дворца Бурбонов; это были известный врач Орас Бьяншон и один из самых блестящих парижан, барон де Растиньяк,— друзья с давних лет. Оба отправили домой свои экипажи, нанять же фиакр им не удалось, но ночь была прекрасна и мостовая суха.

— Пройдемся пешком до бульвара,— предложил Бьяншону Эжен де Растиньяк,— ты возьмешь извозчика у клуба, они стоят там всю ночь до утра. Проводи меня домой.

— С удовольствием.

— Ну, что скажешь, дорогой?

— Об этой женщине? — холодно спросил доктор.

— Узнаю Бьяншона! — воскликнул Растиньяк.

— А что такое?

— Но, мой милый, ты говоришь о маркизе д'Эспар, как о больной, которую собираешься положить к себе в лечебницу.

— Хочешь знать мое мнение? Если ты бросишь баронессу де Нусинген ради этой маркизы, ты променяешь кукушку на ястреба.

— Госпоже де Нусинген тридцать шесть лет, Бьяншон.

— А этой тридцать три,— живо возразил доктор.

— Даже злейшие ее ненавистницы не дают ей больше двадцати шести.

— Дорогой мой, если хочешь знать, сколько лет женщине, взгляни на ее виски и на кончик носа. К каким бы косметическим средствам ни прибегала женщина, она ничего не может сделать с этими неумолимыми свидетелями ее тревог. Каждый прожитый год оставляет свой след. Когда у женщины кожа на висках стала слегка рыхлой, немного увяла, покрылась сетью морщинок, когда на кончике носа появились точечки, вроде тех едва заметных черных пылинок, которые, вылетая из труб, грязным дождиком сеются на Лондон, где камины топят каменным углем,— слуга покорный! — женщине перевалило за тридцать. Пусть она прекрасна, остроумна, обаятельна, пусть она отвечает всем твоим требованиям, но ей минуло тридцать лет, для нее уже настала пора зрелости. Я не порицаю тех, кто сближается с такими женщинами, однако столь изысканный человек, как ты, не может принимать лежалый ранет за румяное яблоко, которое радует взор на ветке и само просится на зубок. Впрочем, любовь не заглядывает в метрические записи. Никто не любит женщину за юность или зрелость, за красоту или уродство, за глупость или ум; любят не за что-нибудь, а просто потому, что любят.

— Ну, меня увлекает в ней другое. Она маркиза д'Эспар, урожденная Бламон-Шоври, она блистает в свете, у нее возвышенная душа, у нее прелестная ножка, не хуже, чем у герцогини Беррийской; у нее, вероятно, сто тысяч ливров дохода, и я, вероятно, в один прекрасный день женюсь на ней! И тогда конец всем долгам.

— Я думал, ты богат,— заметил медик.

— Помилуй! Все мои доходы — двадцать тысяч ливров, только-только хватает на собственный выезд. Я запутался с Нусингеном, как-нибудь я тебе расскажу эту историю. Я выдал замуж сестер — вот единственная моя удача после разлуки с тобой. Признаюсь, для меня важнее было устроить их, чем стать обладателем доходов в сто тысяч экю. Что же, по-твоему, мне делать? Я честолюбив. Что мне может дать госпожа де Нусинген? Еще

год, и меня сбросят со счетов, я буду конченный человек, все равно как если бы был женат. Я несу все тяготы и брачной и холостой жизни, не зная преимуществ ни той, ни другой,— ложное положение, неизбежное для всякого, кто долго привязан к одной и той же юбке.

— Так ты думаешь, что поймал ерша? — воскликнул Бьяншон.— Знаешь, мой дорогой, твоя маркиза мне совсем не по вкусу.

— Тебя ослепляет либерализм. Если бы это была не госпожа д'Эспар, а какая-нибудь госпожа Рабурден...

— Послушай, мой милый, аристократка она или буржуазка, все равно она всегда останется бездушной кокеткой, законченным типом эгоистки. Поверь мне, врачи привыкли разбираться в людях и в их поступках, наиболее искусные из нас, изучая тело, изучают душу. Будуар, где нас принимала маркиза,— прелестный, особняк — роскошный; и все же, думается, она запуталась в долгах.

— Почему ты это решил?

— Я не утверждаю, а предполагаю. Она говорила о своей душе, как покойный Людовик Восемнадцатый говорил о своем сердце. Поверь мне! Эта хрупкая, бледная женщина с каштановыми волосами жалуется на недуги, чтоб ее пожалели, а на самом деле у нее железное здоровье, волчий аппетит, звериная сила и хитрость. Никогда еще газ, шелк и муслин не прикрывали ложь столь искусно. Ecco! [1].

— Ты пугаешь меня, Бьяншон! Видно, многого довелось тебе насмотреться после нашего пребывания в пансионе Воке!

— Да, дорогой, я перевидел за это время немало марионеток, кукол и паяцев! Я узнал нравы светских дам; они поручают нашему попечению свое тело и самое дорогое, что у них может быть,— своего ребенка, если только они его любят, поручают нам уход за своим лицом, ибо уж о нем-то они всегда нежно заботятся. Мы проводим ночи напролет у их изголовья, из кожи вон лезем, чтобы не допустить малейшего ущерба для их красоты. Мы преуспеваем в этом, не выдаем их тайн, молчим, как могила,— они присылают к нам за счетом

---

[1] Вот! *(итал.)*

и находят его чрезмерным! Кто их спас? Природа! Они не только не восхваляют, они порочат нас, боятся порекомендовать нас своим приятельницам. Друг мой, вы говорите о них: «Ангелы!» — а я наблюдал этих ангелов во всей наготе, без улыбочек, скрывающих их душу, и без тряпок, скрывающих недостатки их тела, без манерничания и без корсета,— они не блещут красотой. Когда в юности житейское море выкинуло нас на скалу «Дом Воке», немало подымалось вокруг нас со дна и мути и грязи, а все же то, что мы там увидели,— ничто. В высшем свете я встретил чудовищ в шелках, Мишоно в белых перчатках, Пуаре, украшенных орденскими лентами, вельмож, дающих деньги в рост не хуже самого Гобсека! К стыду человечества, должен признаться, что когда я захотел пожать руку Добродетели, я нашел ее на чердаке, где она терпела голод и холод, перебиваясь на грошовые сбережения или на скудный заработок, дающий от силы полторы тысячи в год; на чердаке, где ее преследовала клевета, где ее всячески поносили, называя безумием, чудачеством или глупостью. Словом, мой дорогой, маркиза — светская львица, а я не терплю женщин этого сорта. Сказать тебе, почему? Женщина возвышенной души, с неиспорченным вкусом, с мягким характером, отзывчивым сердцем и привычкой к простоте никогда не станет модной львицей. Суди сам! Модная львица и мужчина, пришедший к власти, похожи друг на друга — с той разницей, что свойства, благодаря которым возвеличивается мужчина, облагораживают его и служат к его славе, а качества, которые обеспечивают женщине ее призрачное владычество,— отвратительные пороки, она насилует свою природу, скрывая свой истинный характер, а беспокойная светская жизнь требует от нее железного здоровья при хрупком облике. Как врач я знаю, что хороший желудок и хорошая душа тут несовместимы. Твоя красавица бесчувственна, ее неистовая погоня за удовольствиями — это желание согреть свою холодную натуру, она жаждет возбуждающих впечатлений, подобно старику, который таскается за ними в балет. Рассудок властвует у нее над сердцем, и потому она приносит в жертву успеху истинную страсть и друзей, как генерал посылает в огонь самых преданных офицеров, желая выиграть сра-

жение. Женщина, вознесенная модой, перестает быть женщиной; это ни мать, ни жена, ни любовница; говоря медицинским языком, пол у нее головного характера. У твоей маркизы налицо все признаки извращенности: нос — точно клюв хищной птицы, ясный холодный взор, вкрадчивая речь. Она блестяща, как сталь машины, она задевает в тебе все чувства, но только не сердце.

— В твоих словах есть доля правды, Бьяншон.

— Доля правды? — возмутился Бьяншон.— Все правда! Ты думаешь, не поразила меня в самое сердце эта оскорбительная вежливость, с какой она подчеркивала незримое расстояние между собой — аристократкой — и мною — плебеем? Ты думаешь, не вызвала во мне глубокого презрения ее кошачья ласковость? Ведь я же знал, что сейчас я нужен ей! Через год-другой она палец о палец не ударит для меня, а нынче вечером она расточала мне улыбки, полагая, что я могу повлиять на своего дядю Попино, от которого зависит успех затеянного ею процесса.

— Дорогой мой, а ты предпочел бы, чтобы она наговорила тебе дерзостей? Я согласен с твоей филиппикой против светских львиц, но не об этом речь. Я все же предпочту жениться на маркизе д'Эспар, чем на самой целомудренной, самой серьезной, самой любящей женщине на земле. Жена-ангел! Да тогда надо похоронить себя в глуши и наслаждаться сельскими радостями. Для политика жена — это ключ к власти, машина, умеющая любезно улыбаться, она — самое необходимое, самое надежное орудие для честолюбца; словом, это друг, который может совершить необдуманный поступок, ничем не рискуя, и от которого можно отречься, ничем не поступясь. Вообрази себе Магомета в Париже девятнадцатого века! Жена у него была бы, ни дать ни взять, Роган, хитрая и льстивая, как жена посланника, ловкая, как Фигаро. Любящая жена бесполезна для карьеры мужа, а с женою, светской женщиной, добьешься всего; она алмаз, которым мужчина вырезает все стекла, когда у него нет золотого ключа, открывающего все двери. Мещанам — добродетели мещан, а честолюбцам — пороки честолюбцев. Да разве, мой друг, сама любовь герцогини де Ланже, или де Мофриньез, или леди Дэд-

лей не огромное наслаждение? Если бы ты знал, какую прелесть придает холодная и строгая сдержанность этих женщин малейшему проявлению их чувства! Какая радость любоваться барвинком, пробивающимся из-под снега! Улыбка, полуприкрытая веером, опровергает холодность, предписываемую приличием, и разве с ней могут сравниться необузданные ласки твоих мещанок с их сомнительным самопожертвованием, ибо в любви самопожертвование — почти тот же расчет! А кроме того, у светской женщины, у Бламон-Шоври, свои достоинства! Ее достоинства — состояние, власть, блеск, известное презрение ко всем, кто ниже ее.

— Благодарю,— отпарировал Бьяншон.

— Неисправимый чудак! — со смехом сказал ему Растиньяк.— Откажись от плебейских замашек, последуй примеру твоего друга Деплена, стань бароном, кавалером ордена Святого Михаила, пэром Франции, а дочерей выдай замуж за герцогов.

— А ну вас с вашими герцогами!

— Вот так так! Да ты знаешь толк лишь в медицине,— право, ты огорчаешь меня.

— Я ненавижу этих людей. Хоть бы произошла революция и навсегда освободила нас от них!

— Итак, дражайший мой Робеспьер, вооруженный ланцетом, ты не пойдешь завтра к дяде?

— Пойду,— ответил Бьяншон.— Для тебя я готов в огонь и в воду...

— Дорогой мой, ты меня растрогал, я ведь обещал, что маркиза д'Эспара возьмут под опеку! Послушай, у меня навертываются слезы благодарности, как в былые дни.

— Но не ручаюсь,— продолжал Орас,— что Жан-Жюль Попино пойдет вам навстречу. Ты его еще не знаешь. Во всяком случае я притащу его послезавтра к твоей маркизе — пускай обольстит, если может. Но сомневаюсь. Его не соблазнят ни трюфели, ни пулярки, ни птицы высокого полета; его не устрашит гильотина; пусть король пообещает ему пэрство, господь бог посулит место в раю и доходы с чистилища — никакие силы не заставят его переложить соломинку с одной чаши весов на другую. Это судья неподкупный, как сама смерть.

Друзья дошли до министерства иностранных дел, на углу бульвара Капуцинок.

— Вот ты и дома,— смеясь, сказал Бьяншон и указал на особняк министра.— А вот и моя карета,— прибавил он, указывая на наемный экипаж.— Таково наше будущее.

— Ты счастливо проживешь в тихих заводях,— сказал Растиньяк,— а я буду бороться с бурями в открытом море, пока, потерпев кораблекрушение, не попрошу приюта в твоем затоне, дорогой друг.

— До субботы,— сказал Бьяншон.

— До субботы! — ответил Растиньяк.— Так ты уговоришь Попино?

— Да, я сделаю все, что позволит мне совесть. Кто знает, не скрывается ли за этим требованием опеки какая-нибудь «драмарама», как говаривали мы в наши счастливые тяжелые дни.

«Бедняга Бьяншон! Так он всю жизнь и останется просто порядочным человеком»,— подумал Растиньяк, глядя вслед удалявшейся извозчичьей коляске.

«Ну и задал мне задачу Растиньяк,— подумал на другой день Бьяншон, просыпаясь и вспоминая возложенное на него щекотливое поручение.— Правда, я еще ни разу не просил дядюшку ни о малейшей услуге, а сам по его просьбе лечил бесплатно тысячи раз. Впрочем, мы не церемонимся друг с другом. Либо он согласится, либо он откажет — и дело с концом».

Наутро после этого небольшого монолога, в семь часов, знаменитый врач направился на улицу Фуар, где проживал г-н Жан-Жюль Попино, следователь суда первой инстанции департамента Сены. Улица Фуар, или, в старом смысле этого слова, Соломенная, в XIII веке была самой известной улицей в Париже. Там помещались аудитории университета, когда голоса Абеляра и Жерсона гремели на весь ученый мир. Теперь это одна из самых грязных улиц Двенадцатого округа, самого бедного парижского квартала, где двум третям населения нечем топить зимою, где особенно много подкидышей в приютах, больных в больницах, нищих на улице, тряпичников у свалок, изможденных стариков, греющихся на солнышке у порогов домов, безработных мастеровых на площадях, арестантов в исправительной

полиции. На этой вечно сырой улице, по сточным канавам которой стекает к Сене черная вода из красилен, стоит старый кирпичный дом с прокладкой из тесаного камня, вероятно перестроенный еще во времена Франциска I. Всем своим видом он, подобно многим парижским домам, так и говорит о прочности. Второй этаж его, выдавшийся вперед под тяжестью третьего и четвертого этажей и подпертый массивными стенами нижнего, напоминает, если можно допустить подобное сравнение, вздутый живот. С первого взгляда кажется, что простенки между окон, несмотря на крепления из тесаного камня, вот-вот завалятся; однако человеку наблюдательному ясно, что этот дом подобен Болонской башне: источенные временем старые кирпичи и старые камни каким-то чудом сохраняют равновесие. Во всякое время года внизу, на прочных еще стенах, лежит особый белесый и влажный налет, свойственный отсыреломy каменному зданию. От стен на прохожего веет холодом, а закругленные тумбы плохо охраняют дом от кабриолетов. Как во всех домах, выстроенных во времена, когда еще не ездили в колясках, сводчатые ворота очень низки и напоминают вход в тюрьму. Направо от ворот три окна забраны снаружи такой частой решеткой, что и самому любопытному зеваке не разглядеть внутреннее убранство сырых и мрачных комнат, к тому же стекла заросли грязью и пылью; налево — два таких же окна; одно из них часто стоит открытым,— тогда видно, как привратник, его жена и дети копошатся, работают, стряпают, ссорятся, едят в комнате с дощатым полом и деревянными панелями; в эту комнату, где все обветшало, спускаются по лестнице в несколько ступенек, что указывает на постепенное повышение парижской мостовой. Если в дождливый день прохожий укроется под сводом с выбеленными стропилами, который тянется до самой лестницы, его взору откроется двор этого дома. Налево разбит квадратный садик, не больше четырех шагов в длину и ширину; трава в нем не растет, решетка для винограда давно стоит голая, а под сенью двух деревьев растительность заменяют тряпье, старая бумага, всякий мусор, битая черепица,— не сад, а бесплодный пустырь; стены, стволы и ветви обоих деревьев покрылись пыльным налетом времени, словно

остывшей сажей. Дом состоит из двух частей, расположенных под прямым углом, и выходит окнами в сад, сдавленный двумя соседними домами старинной стройки, облупившимися и грозящими обвалом. Каждый этаж являет взору причудливые образцы изделий жильцов. На длинных шестах сушатся огромные мотки окрашенной шерсти, на веревках ветер треплет выстиранное белье, чуть повыше на досках красуются свежепереплетенные книги с разделанными под мрамор обрезами; женщины поют, мужчины насвистывают, дети кричат, столяр распиливает доски, из мастерской медника доносится скрежет металла — здесь собраны все ремесла, и от множества инструментов стоит нестерпимый шум. Внутри этого прохода, который нельзя назвать ни двором ни садом, ни подворотней, хотя он напоминает и то, и другое, и третье, поднимаются деревянные арки на каменных цоколях, образующие стрельчатые своды. Две арки выходят в садик, две другие, что напротив ворот, открывают вид на лестницу с дрожащими от ветхости ступенями и затейливыми железными перилами, некогда представлявшими чудо слесарного мастерства. Двойные входные двери квартир, с засаленными, побуревшими от грязи и пыли наличниками, обиты трипом и усажены в косую клетку гвоздиками со стершейся позолотой. Это обветшалое великолепие говорит о том, что при Людовике XIV здесь жил либо советник парламента, либо духовные лица, либо какой-нибудь казначей. Но следы былой роскоши вызывают лишь улыбку, так наивно кажется это противоречие прошлого и настоящего. Г-н Жан-Жюль Попино жил на втором этаже, где из-за узкой улицы было еще темнее, чем это бывает в нижних этажах парижских домов. Это ветхое жилище знал весь Двенадцатый округ, которому провидение даровало в следователи Попино, как оно дарует целебные травы для врачевания или облегчения недугов.

Теперь постараемся набросать наружность человека, которого рассчитывала обольстить маркиза д'Эспар. Как полагается судье, Попино одевался во все черное, и такой костюм делал его смешным в глазах людей, склонных к поверхностным суждениям. Человеку, ревниво оберегающему собственное достоинство, к чему обязывает подобная одежда, приходится постоянно и

тщательно о ней заботиться, но наш милейший Попино был неспособен соблюдать необходимую при черном костюме пуританскую аккуратность. Его неизменно поношенные панталоны как будто сшиты были из той жиденькой материи, которая идет на адвокатские мантии, и из-за присущей ему неряшливости вечно были измяты; вся ткань пестрела беловатыми, порыжелыми и залоснившимися полосами, что говорило или об отвратительной скаредности, или о самой беспечной нищете. Грубые шерстяные чулки спускались на стоптанные башмаки. Сорочка пожелтела, как обычно желтеет белье от долгого лежания в шкафу, что указывало на пристрастие покойной г-жи Попино к запасам белья: следуя фламандскому обычаю, она вряд ли обременяла себя стиркой чаще двух раз в год. Фрак и жилет вполне соответствовали панталонам, башмакам, чулкам, белью. Небрежность никогда не изменяла следователю Попино: стоило ему облачиться в новый фрак, как тот сейчас же уподоблялся всему остальному в его костюме, ибо Попино с поразительной быстротой пачкал одежду. Старик не покупал новой шляпы, пока кухарка не заявляла, что прежнюю пора выбросить. Галстук его всегда был небрежно повязан, и никогда Попино не расправлял воротника сорочки, примятого судейскими брыжами. Его седые волосы не знали щетки, брился он не чаще двух раз в неделю. Перчаток он не носил, а руки засовывал в свои вечно пустые жилетные карманы, засаленные по краям и почти всегда порванные, что еще более подчеркивало его неряшливый вид. Тот, кто бывал во Дворце правосудия, где можно узреть все виды черного одеяния, легко представит себе наружность г-на Попино. Необходимость день-деньской сидеть на месте уродует тело, а досада на докучливое красноречие адвокатов омрачает лицо судейского чиновника.

Сидя в четырех стенах тесных, убогих по своей архитектуре комнат, в спертом воздухе, парижский судья невольно хмурится, лицо его искажается от напряженного внимания, сереет от скуки, бледнеет, приобретает зеленоватый или землистый оттенок, в зависимости от природы каждого. Словом, через известный срок самый цветущий молодой человек превращается в равнодушную «машину для рассмотрения дел», в механизм, с

безразличием часового маятника приспособляющий свод законов ко всем случаям судебной практики. Г-н Попино от природы был наделен не очень привлекательной внешностью, а судейское ремесло отнюдь его не приукрасило. Весь он был какой-то нескладный. Широкие колени, огромные ноги, большие руки совсем не вязались с обликом жреца правосудия; лицо чем-то напоминало кроткую до беспомощности телячью морду — прямой плоский нос, невыпуклый лоб, нелепо торчащие уши, тусклые глаза разного цвета — ничто не оживляло эту бескровную физиономию; жидкие мягкие волосы плохо прикрывали череп. Лишь одна черта привлекла бы внимание физиономиста: рот Попино говорил о неземной доброте. Благодушные толстые красные губы, все в морщинках, резко очерченные и подвижные, выражали одни только хорошие чувства; губы его сразу располагали к нему и возвещали ясный ум, прозорливость, ангельскую душу этого человека; итак, тот не понял бы Попино, кто стал бы судить о нем только по вдавленному лбу, тусклым глазам и жалкому виду. Жизнь его соответствовала лицу, она была заполнена трудом и скрывала добродетели подвижника. Серьезные исследования по вопросам права принесли ему такую известность, что после судебных реформ Наполеона в 1806—1811 годах он был по совету Камбасереса одним из первых назначен членом верховного имперского суда в Париже. Попино не был интриганом. Достаточно было чьей-нибудь просьбы, чьего-нибудь ходатайства о местечке, и министр обходил Попино, который никогда не являлся на поклон ни к великому канцлеру, ни к председателю верховного суда. Из верховного суда он был переведен в окружной суд, где его совершенно затерли люди ловкие и пронырливые. Он был назначен запасным судьей! Вопль негодования раздался в судебной палате: «Попино — запасный судья!» Такая несправедливость возмутила весь судейский мир: стряпчих, судебных приставов — словом, всех, за исключением самого Попино, который и не думал жаловаться. Когда первое возбуждение прошло, каждый решил, что все идет к лучшему в том лучшем из миров, каким безусловно должен считаться судейский мир. Попино так и оставался запасным судьей, пока знаменитый хранитель печати эпохи

Реставрации не обратил внимание на несправедливость, жертвой которой стал этот скромный и тихий человек по милости высших судебных властей империи. А не то, проработав двенадцать лет запасным судьей, Попино умер бы простым судьей округа Сены.

Чтобы можно было понять печальную участь одного из лучших представителей судебного ведомства, необходимы кое-какие разъяснения, которые прольют свет на его жизнь и характер и покажут в действии некоторые колесики грандиозного механизма, именуемого юстицией. Три последовательно сменившихся председателя суда округа Сены причислили г-на Попино к категории рядовых судей. Они не признали за ним репутации человека одаренного, которую он заслужил своими прежними трудами. Ценители искусства, знатоки или невежды,— кто из зависти, кто из самоуверенности, свойственной критикам, кто из предрассудка,— раз и навсегда относят художников к определенным категориям: к пейзажистам, портретистам, баталистам, маринистам или жанристам, сковывают их творчество, предписывая им коснеть в одной и той же области, подходя к ним с тем же предвзятым мнением, с каким подходит свет к писателям, к государственным деятелям, ко всем, кто начинает с какой-нибудь специальности, прежде чем прослывет широкоодаренной натурой. Так произошло и с Попино, которого ограничили узко определенными рамками.

Судьи, адвокаты, стряпчие — все, кто кормится при суде, различают две стороны в каждом юридическом вопросе: право и справедливость. Справедливость исходит из фактов, право — из применения определенных принципов к этим фактам. Человек может быть чист перед справедливостью, но виноват перед законом, и судья тут ничего не может поделать. Между совестью и поступком лежит бездна решающих обстоятельств, неизвестных судье, а именно в этих обстоятельствах — осуждение или оправдание поступка. Судья — не бог, долг предписывает ему подгонять факты к принципам, выносить решения по самым разнообразным поводам, применяя одну установленную мерку. Обладая властью читать в сердцах людей и разбираться в их побуждениях, чтобы выносить справедливые решения, каждый

судья был бы великим человеком. Франции требуется около шести тысяч судей, никакое поколение не может предоставить к ее услугам шесть тысяч великих людей, тем паче к услугам одного лишь судебного ведомства. На фоне парижских нравов Попино был весьма искусным *кади*, который в силу склада своего ума и привычки считаться не только с буквой закона, но и с истинным смыслом фактов, порицал поспешные и жестокие приговоры. Отличаясь в своей области особой внутренней зоркостью, пронизывал он взором двойную оболочку лжи, под которой тяжущиеся скрывали действительную сущность тяжбы. Попино был настоящим судьей, как Деплен был настоящим хирургом; он проникал в тайны человеческой совести, как этот знаменитый ученый проникал в тайны человеческого тела. Жизнь и опыт научили его вскрывать при исследовании фактов сокровеннейшие помыслы. Он докапывался до самой сущности судебных тяжб, как Кювье — до древнейших пластов почвы. Подобно этому великому мыслителю, переходя от вывода к выводу, выносил он заключение и восстанавливал прошлое человеческой совести, как Кювье воссоздавал строение аноплотерия. Нередко под впечатлением какого-нибудь показания просыпался он среди ночи, пораженный верной догадкой, внезапно сверкнувшей перед его внутренним взором, как золотоносная жила. Возмущаясь жестокой несправедливостью, которой обычно завершались юридические столкновения, где все неблагоприятно для честного человека и идет на пользу подлецу, он во имя справедливости, особенно в тех случаях, когда дело было неясно, выносил зачастую решения, грешившие против правовых норм. И он слыл среди сослуживцев неделовым человеком, его всесторонне обоснованные доводы затягивали судопроизводство. Заметив, как неохотно его слушают, Попино стал весьма кратко формулировать свое мнение. Тогда сочли, что должность судьи ему не по плечу; но он поражал своим даром анализа, здравыми суждениями, глубокой проницательностью, и посему решили, что он наделен всеми данными, необходимыми для выполнения тяжелых обязанностей судебного следователя. Итак, большую часть своей жизни он проработал следователем. Хотя по своим данным Попино был как будто предназначен для

этой трудной деятельности и хотя он слыл глубоким криминалистом, любящим свое дело, его доброе сердце всегда обрекало его на пытку: он разрывался между долгом и состраданием. Работа судебного следователя оплачивается лучше, чем работа судьи, и все же она мало кого прельщает,— слишком тяжки ее условия. Попино, человек честный и знающий, скромный труженик, не честолюбец, никогда не сетовал на судьбу: он принес в жертву общественному благу и свои умственные склонности и свое мягкосердечие, беззаветно ушел в дебри судебного следствия, оставаясь одновременно и строгим и добрым. Нередко по его поручению судейский протоколист передавал деньги на табак или на теплую зимнюю одежду арестованным, которых он препровождал из кабинета следователя в Сурисьер, тюрьму для подследственных. Попино был неподкупным следователем и милосердным человеком. И никто лучше его не умел добиться признания, не прибегая к обычным юридическим уловкам. К тому же ему свойственна была исключительная наблюдательность. Этот добрый и простоватый с виду человек, бесхитростный и рассеянный, разоблачал самых отъявленных пройдох, Криспинов каторги, выводил на чистую воду самых изворотливых воровок, смирял закоренелых злодеев. Некоторые особые обстоятельства обострили его проницательность, но, чтобы понять их, необходимо познакомиться с его личной жизнью, ибо для общества он был только следователем, меж тем в нем таился другой, прекрасный и мало кому известный человек.

В 1816 году, за двенадцать лет до начала этой истории, когда страшный голод совпал с пребыванием во Франции так называемых союзников, Попино был назначен председателем Чрезвычайной комиссии по оказанию помощи беднякам его квартала,— как раз в то время, когда он собрался съехать с квартиры на улице Фуар, потому что она не нравилась ни ему, ни его жене. Этот незаурядный законовед, опытный криминалист, превосходство которого казалось его собратьям досадным отклонением от нормы, уже пять лет имел дело с судебными случаями, не вникая в породившие их причины. Взбираясь на чердаки, сталкиваясь с нищетой, наблюдая жестокую нужду, постепенно толкающую

бедняков на предосудительные поступки, короче говоря, постоянно видя их житейскую борьбу, он проникся к ним глубокой жалостью. И судья стал святым Винцентом для этих больших детей, для этих страдающих тружеников. Не сразу произошло это преображение. Благотворительность, как и порок, овладевает человеком постепенно. Добрые дела мало-помалу опустошают кошелек праведника так же, как рулетка поглощает состояние игрока. Попино переходил от горемыки к горемыке, подавал милостыню за милостыней, и когда через год он совлек всю ветошь, прикрывающую, словно повязки, гнойную, смердящую рану общественной несправедливости, он сделался провидением своего квартала. Он стал членом благотворительного комитета и человеколюбивого общества. Повсюду, где нуждались в бесплатной общественной работе, он брался за нее без громких фраз, как тот «добрый человек в коротком плаще», который кормит бедняков на рынках и площадях. У Попино, к счастью, было более широкое поле деятельности и возможность работать в более возвышенной сфере; он все видел, все знал; он предотвращал преступление; он давал работу безработному люду, устраивал убогих в богадельни, разумно распределял свою помощь между теми, кому грозила беда; он был советником вдов и покровителем сирот; он ссужал деньгами мелких торговцев. Никто ни в суде, ни в городе не знал этой тайной стороны жизни Попино. Столь блестящие добродетели не любят света, их обычно держат под спудом. А подопечные Попино работали день-деньской, ночью же валились с ног от усталости, им было не до прославления своего благодетеля, они отличались неблагодарностью детей, которым никогда не расплатиться с родителями, ибо они должны им слишком много. Иногда люди и не по своей вине бывают неблагодарными, но разве великодушное сердце сеет добро только ради того, чтобы пожинать благодарность и славу? На второй год своего тайного апостольского служения Попино обратил в приемную помещение в нижнем этаже своего дома, куда свет проникал через три забранных решеткой окна. Стены и потолок этой огромной комнаты побелили, поставили туда деревянные скамьи, как в школе, простой шкаф, письменный стол орехового дерева и кресла.

В шкафу хранились реестры бедняков, *хлебные боны*, придуманные г-ном Попино, и поденные записи. Чтобы не стать жертвой собственного мягкосердечия, Попино завел настоящую бухгалтерию. Все нужды квартала были зарегистрированы, занесены в книгу, каждый горемыка имел свой счет, как должник у купца. Когда Попино сомневался, стоит ли помочь тому или иному человеку, той или иной семье, он обращался за сведениями к полиции. По хозяину был и слуга,— в Лавьене Попино нашел верного помощника. Лавьен выкупал из ломбарда или перезакладывал вещи, посещал самые страшные трущобы, когда хозяин его уходил на работу. Летом с четырех до семи утра, зимой с шести до девяти в приемной толпились женщины, дети, убогие, и Попино внимательно выслушивал каждого. Даже зимой не было нужды в печке: народу набивалось столько, что было жарко; Лавьен только устилал свежей соломой сырой пол. Со временем скамьи отполировались, как красное дерево, а стены до высоты человеческого роста потемнели и залоснились от рубищ и тряпья нищего люда. Бедняки очень любили Попино, и когда зимним утром им приходилось мерзнуть у закрытых еще дверей, женщины грели руки над чугунами с горячими углями, а мужчины хлопали себя по плечам, но никто ни единой жалобой не нарушал его сна. Тряпичники — люди, выходившие на промысел по ночам,— хорошо знали это жилище, нередко до позднего часа видели они свет в кабинете г-на Попино. Даже воры, проходя мимо, говорили: «Вот его дом» — и не посягали на него. Утром он занимался бедняками, днем — преступниками, вечером — юридическими изысканиями.

Поразительная наблюдательность, свойственная Попино, не могла не открыть ему противоречий: отыскивая в тайниках душ самые неприметные следы преступления, самые скрытые его нити, он обнаруживал добродетель среди нищеты, поруганные добрые чувства, благородные побуждения, неведомое миру самопожертвование. Унаследованное от отца имение давало Попино тысячу экю дохода. Его жена, сестра Бьяншона-отца, врача из Сансера, принесла ему в приданое вдвое больше. Она умерла пять лет назад, оставив все состояние мужу. Запасный судья получает более чем скромное

жалованье, а следователем Попино работал только четыре года; нетрудно понять причину его мелочной бережливости во всем, что касалось его самого и его привычек,— доходы его были скромными, а благотворительность широкой. И наконец равнодушие к одежде, свойственное Попино, как занятому человеку, возможно, является отличительным признаком всех людей, отдающихся науке, самозабвенно преданных искусству, поглощенных вечно деятельной мыслью. Заканчивая портрет его, прибавим, что Попино был из числа тех немногих чиновников судебного ведомства округа Сены, которым забыли пожаловать орден Почетного легиона.

Таков был человек, которому председатель второго отделения суда, где служил Попино, уже два года занимавшийся гражданскими делами, поручил вести предварительное следствие по делу маркиза д'Эспара в связи с ходатайством его жены о назначении над мужем опеки.

Улица Фуар, которую чуть свет наводняли толпы бедняков, пустела к девяти часам утра и принимала свой обычный мрачный и жалкий вид. Бьяншон подгонял лошадь, чтобы застать дядюшку, пока не кончился прием. Он не мог без улыбки представить себе, как нелепо будет выглядеть следователь рядом с г-жой д'Эспар; во всяком случае, Бьяншон решил заставить его приодеться, чтобы он не стал общим посмешищем.

«Да есть ли еще у дядюшки новый фрак? — задал он себе вопрос, когда его кабриолет въехал в полосу слабого света, падавшую из окон приемной.— Пожалуй, лучше всего поговорить об этом с Лавьеном».

На шум кабриолета из-под ворот с удивлением выглянуло человек десять бедняков; узнав доктора, они ему поклонились: Бьяншон, лечивший бесплатно всех больных, о которых просил следователь, был не менее его популярен среди собравшейся тут голи. Бьяншон застал дядю еще в приемной, где на скамьях сидели просители в таких живописных рубищах, что на улице перед ними остановился бы самый равнодушный к искусству прохожий. Живи в наши дни истинный художник, новый Рембрандт, он создал бы великолепную картину, вдохновившись этой простодушно выставленной напоказ безропотной нищетой. Вот суровый старец с

белой бородой, с изрытым морщинами челом апостола,— превосходная натура для образа святого Петра. Раскрытый ворот рубашки обнажал крепкую шею — признак железного здоровья, давшего ему силу выдержать целую эпопею бедствий. Поодаль молодая женщина кормила грудью раскричавшегося малыша; другой сынишка, лет пяти, прижался к ее коленям. Эта мать в лохмотьях, прикрывающих ее сверкающее белизной тело, младенец с прозрачным личиком, его брат — судя по повадкам, в недалеком будущем уличный мальчишка,— вся эта семья умиляла душу, выделялась какой-то особенной трогательностью среди длинного ряда сизых от холода лиц. А дальше старуха, бледная и застывшая,— грозная маска озлобленной нищеты, мстящей в день мятежа за все пережитые страдания. Тут же молодой мастеровой, изнуренный, опустившийся, чей взор, горящий умом, говорил, однако, о дарованиях, загубленных нуждой, которую он тщетно пытался преодолеть; в молчаливой муке ждал он близкой уже смерти, ибо ему не хватило ловкости, чтобы выскользнуть за решетку той чудовищной клетки, где бились эти несчастные, пожирая друг друга. Больше всего здесь было женщин: должно быть, мужья, уходя на работу, поручили им быть ходатаями за всю семью, полагаясь на ум, свойственный женщине из народа, которая почти всегда самовластно распоряжается в своей лачуге. Платки на всех просительницах были изодранные, юбки — с обтрепанными подолами, косынки на плечах — рваные, кофты — заношенные и дырявые, но глаза сверкали, как горящие уголья. Страшное сборище это сперва казалось отвратительным, а затем возбуждало ужас: стоило только заметить, что покорность судьбе у этих людей, прошедших через все жизненные испытания,— чистая случайность, лицемерие, питаемое благотворительностью. Две свечи, горевшие в комнате, мерцали, как в тумане, в смрадном воздухе плохо проветренного помещения.

Следователь был не менее живописной фигурой, чем его подчиненные. На голове у него торчал порыжелый колпак. Галстука на нем не было, из обтрепанного воротника старого халата выступала морщинистая и красная от холода шея. На усталом лице его застыло

тупое выражение, свойственное озабоченным людям. Рот, как у всякого углубленного в работу человека, был сжат, словно туго стянутый кошелек; на лбу набухли вены, как бы под грузом всех сделанных ему тяжких признаний. Он вслушивался, обдумывал и делал выводы; внимательный, как корыстолюбивый заимодавец, он отрывался от книг и справок, проникая взором в самую душу людей, которых оглядывал с поспешностью обеспокоенного скупца. Позади хозяина стоял Лавьен, готовый выполнить его приказания; он воплощал собою надзор, принимал и ободрял застыдившихся новичков. Когда появился доктор, сидящие на скамьях оживились. Лавьен оглянулся и был крайне изумлен, увидев Бьяншона.

— А, это ты, дружок,— сказал Попино потягиваясь.— Что привело тебя в такой ранний час?

— Я боялся, как бы сегодня до встречи со мной вы не посетили одно лицо, по делу, о котором я хочу с вами поговорить.

— Ну вот, голубушка,— продолжал следователь, обращаясь к толстой невысокой бабенке, стоявшей перед ним,— если вы не расскажете мне, что у вас на душе, я сам не догадаюсь.

— Говорите скорее,— поторопил ее Лавьен,— не задерживайте других.

— Сударь,— вымолвила наконец женщина, покраснев от стыда и так тихо, что ее могли слышать только Попино и Лавьен,— я торгую вразнос овощами, у меня ребенок, я задолжала кормилице. Вот я и отложила свои гроши...

— И что же? Их взял ваш муж? — подсказывал Попино, догадываясь, чем закончит она свое признание.

— Да, сударь!

— Как вас зовут?

— Лапомпон.

— А вашего мужа?

— Тупине.

— Улица Пти-Банкье? — продолжал Попино, перелистывая книгу.— Он в тюрьме,— сказал он, читая заметку на полях против графы, в которую было внесено это семейство.

— За долги, ваша милость.

Попино покачал головой.

— Мне, сударь, не на что купить овощей на продажу, а вчера пришел хозяин дома и грозился вышвырнуть меня на улицу, если я не уплачу за квартиру.

Лавьен наклонился к Попино и сказал ему что-то на ухо.

— Ладно. Сколько вам надо на покупку овощей?

— Ах, ваша милость, чтоб расторговаться, мне надо бы... мне надо бы десять франков.

Следователь кивнул Лавьену, тот достал из большого кошеля десять франков и передал их женщине. Попино же занес ссуду в книгу. Увидев, как зеленщица задрожала от радости, Бьяншон понял, с каким волнением шла она сюда.

— Ваша очередь,— обратился Лавьен к старику с белой бородой.

Бьяншон отвел слугу в сторону и спросил, скоро ли кончится прием.

— Прошло уже двести человек, остается *доделать* восемьдесят,— ответил Лавьен.— Вы успеете, господин доктор, съездить к нескольким больным.

— Дружок,— сказал следователь, оборачиваясь и беря Ораса за руку,— вот тебе два адреса, тут совсем рядом — улица Сены и Арбалетная. Навести двоих! На улице Сены угорела девушка, а на Арбалетной болен мужчина, его надо бы положить к тебе в больницу. Я жду тебя к завтраку.

Бьяншон вернулся через час. Улица Фуар была безлюдна; начинало светать; дядюшка уже поднимался наверх, последний бедняк, нищету которого уврачевал судья, пошел домой, кошель Лавьена был пуст.

— Ну, как они? — спросил следователь доктора, который догнал его на лестнице.

— Мужчина умер,— ответил Бьяншон,— девушка выкарабкается.

С тех пор как женская рука перестала наводить порядок в жилище Попино, оно уподобилось своему хозяину. Небрежность человека, поглощенного одной властной мыслью, наложила на все свой причудливый отпечаток. Все покрылось застарелой пылью, вещи употреблялись не по назначению, как это водится в хозяйстве холостяка. В вазах для цветов торчали бу-

маги, со столов не убирались пустые пузырьки из-под чернил, повсюду забытые тарелки, жестянки из-под зажигательной фосфорной смеси, которые, по-видимому, служили подсвечниками, когда надо было что-нибудь отыскать; сдвинутая с обычного места мебель, наваленные кучей вещи и расчищенные углы говорили о начатой и незаконченной уборке. Кабинет судьи, особенно пострадавший от этого вечного беспорядка, свидетельствовал о напряженной работе, о самозабвении поглощенного ею человека, запутавшегося во все нарастающих делах. Библиотека выглядела словно после какого-то разгрома, повсюду валялись книги, вложенные одна в другую или упавшие на пол корешком вверх; папки судебных дел стояли вдоль книжного шкафа, загромождая пол. Паркет не натирался уже два года. На столах и повсюду навалены были разные вещи, поднесенные бедняками в знак благодарности. На камине, в вазочках синего стекла, красовались два стеклянных, разноцветных внутри, шара, их пестрые краски придавали им вид любопытных чудес природы. Букеты искусственных цветов, вышивки с инициалами Попино, окруженными сердцами и бессмертниками, украшали стены. Тут были и никчемные претенциозные ящики резной работы и пресс-папье, напоминавшие изделия острожников. Эти шедевры терпения и символы благодарности, эти высохшие букеты придавали кабинету и спальне судьи вид игрушечной лавки. Добряк Попино своеобразно приспособил подарки для своих канцелярских нужд: он совал туда заметки, старые перья и всякие бумажонки. Эти трогательные доказательства великого человеколюбия запылились, поблекли. В залежи ненужных вещиц выделялись прекрасно сделанные, но изъеденные молью чучела птиц и чучело великолепного ангорского кота, некогда любимца г-жи Попино, для которой и постарался какой-то бедняк-чучельник, придав своему произведению подобие жизни, чтобы этим бессмертным сокровищем отблагодарить следователя за небольшую милостыню. Местный живописец вывесок, которого благодарность завела на непривычный путь, написал портреты г-на и г-жи Попино. Повсюду, даже у самой кровати в спальне, виднелись пестрые подушечки для булавок, вышитые крестиком пейзажи и плете-

ные бумажные коврики, замысловатые узоры которых говорили о кропотливой и бессмысленной работе. Занавески на окнах пожелтели от дыма, драпировки совсем выцвели. Между камином и большим письменным столом, за которым работал судья, кухарка поставила на круглом столике две чашки кофе с молоком. Два кресла красного дерева с сиденьями из волосяной материи ожидали дядю и племянника. Тусклый свет из окон не доходил туда, и кухарка принесла нагоревшие грибом свечи, с фитилями чрезмерной длины, бросавшими красноватый свет,— признак медленного сгорания, как свидетельствуют наблюдения скупцов.

— Дорогой дядя, вам надо потеплее одеваться, спускаясь в приемную.

— Мне совестно заставлять ждать моих бедняков! Ну, так чего же ты от меня хочешь?

— Я пришел пригласить вас завтра отобедать у маркизы д'Эспар.

— А она нам родственница? — спросил следователь с таким наивно-озабоченным видом, что Бьяншон рассмеялся.

— Нет, дядя, маркиза д'Эспар — влиятельная, знатная дама, она подала в суд прошение о взятии под опеку ее мужа, и вы должны...

— И ты хочешь, чтобы я у нее отобедал? Да в своем ли ты уме? — воскликнул следователь и взял в руки устав о судопроизводстве.

— Вот, читай! Следователям запрещается пить и есть у лиц, чьи дела подлежат судебному рассмотрению. Если у твоей маркизы есть до меня надобность, пускай приедет сюда. А ведь верно! Завтра мне предстоит допросить ее мужа, с материалами дела я ознакомлюсь сегодня ночью.

Он встал, взял папку, лежавшую на столе под пресс-папье, и, прочитав заголовок, сказал:

— Вот бумаги! Что ж, посмотрим прошение, если тебя интересует твоя влиятельная знатная дама.

Попино запахнул халат, полы которого расходились, обнажая грудь, обмакнул ломтик хлеба в остывший уже кофе, отыскал прошение и принялся читать, вставляя свои замечания, а иногда и обсуждая его вместе с племянником:

«Господину председателю гражданского
суда первой инстанции департамента Сены,
во Дворец правосудия,

от Жанны-Клементины-Атенаис де Бламон-Шоври, супруги г-на Шарля-Мориса-Мари-Андоша, графа Негреплиса, маркиза д'Эспара, землевладельца. *(Знатные господа!)*

Вышеозначенная г-жа д'Эспар, проживающая по улице Фобур-Сент-Оноре, в доме № 104, супруга вышеозначенного г-на д'Эспара, проживающего по улице Монтань-Сент-Женевьев, в доме № 22 *(Ну да, председатель говорил мне, что это в моем квартале!)*, через своего поверенного в делах г-на Дероша...»

— Дерош — крючкотвор, он на плохом счету и в суде и у товарищей, он может только напортить своим клиентам.

— Что с него взять! — заметил Бьяншон.— У него ни гроша за душой, вот он и вертится, как бес перед заутреней.

«...имеет честь сообщить вам, господин председатель, что уже в течение года душевные и умственные способности г-на д'Эспара, мужа истицы, весьма ослабели, и в настоящее время он находится в состоянии безумия и невменяемости, предусмотренном статьей 486 гражданского кодекса, а посему требуется в интересах его самого, его имущества и его детей, находящихся при нем, применить к нему меры, предусмотренные данной статьей.

Не подлежит сомнению, что душевное состояние г-на д'Эспара, внушающее уже несколько лет серьезные опасения, основанные на принятом им способе распоряжения своим имуществом, достигло, особенно за последний год, крайнего предела подавленности; и последствия этой болезни прежде всего сказались на его воле, причем этот упадок сил подверг г-на маркиза д'Эспара всем опасностям слабоумия, подтверждаемого нижеприводимыми фактами.

В течение длительного времени все доходы, получаемые с земель маркизом д'Эспаром, переходят без уважительных причин и без какой-либо, пускай хоть самой

легкомысленной, цели к известной всем своей безобразной наружностью старой женщине по имени Жанрено, проживающей то в Париже, на улице Врийер, в доме № 8, то в Вильпаризи, близ Клэ, в департаменте Сены-и-Марны, а также к сыну ее в возрасте тридцати шести лет, офицеру бывшей императорской гвардии, для которого, пользуясь своим влиянием, г-н маркиз д'Эспар исхлопотал в королевской гвардии место эскадронного командира первого кирасирского полка. Вышепоименованные лица, впавшие в 1814 году в крайнюю нищету, за последнее время приобрели на значительную сумму недвижимое имущество и в числе прочего особняк на улице Гранд-Верт, на устройство которого г-н Жанрено тратит последнее время большие деньги, собираясь ввиду задуманной им женитьбы поселиться там со своей матерью г-жой Жанрено; означенные траты уже превысили сто тысяч франков. Маркиз д'Эспар немало содействовал браку молодого человека и склонил своего банкира, г-на Монжено, отдать последнему руку племянницы, обещая притом исхлопотать для жениха баронское достоинство. Титул этот был дарован его величеством 29 декабря прошлого года по ходатайству маркиза д'Эспара, что может подтвердить его высокопревосходительство хранитель печати, если суд сочтет нужным прибегнуть к его свидетельству. Никакие причины, даже из тех, *кои в равной мере осуждаются и нравственностью и законом*, не могут ни объяснить власть вдовы Жанрено над маркизом д'Эспаром, который к тому же видит ее очень редко, ни оправдать странную привязанность его к вышеназванному барону Жанрено, с которым он почти не встречается; однако их власть над ним так велика, что всякий раз, когда они нуждаются в деньгах, хотя бы для удовлетворения какой-либо прихоти, г-н д'Эспар беспрекословно предоставляет этой особе или ее сыну...»

— Так, так! Причины, которые *осуждаются нравственностью и законом?* На что здесь намекает стряпчий или его помощник?

Бьяншон рассмеялся.

«...этой особе или ее сыну все, что они пожелают, а в случае отсутствия наличных денег г-н д'Эспар под-

писывает им векселя, учитываемые г-ном Монжено, который по просьбе истицы готов дать показания.

Упомянем еще в подтверждение этого факта, что недавно при возобновлении аренды на земли г-на д'Эспара фермеры уплатили в счет продленных договоров значительную сумму, каковой незамедлительно завладел г-н Жанрено.

Маркиз д'Эспар проявляет полное равнодушие, отдавая столь крупные суммы, а когда ему на то пеняют, утверждает, что запамятовал; его ответы на вопросы людей достойных о причинах его привязанности к этим двум особам обнаружили такое полное пренебрежение собственными взглядами и выгодами, что тут следует искать каких-то тайных причин, за коими, несомненно, скрываются преступные деяния, беззаконие и вымогательство, если не явления, подлежащие ведению судебной медицины, ибо такая подавленность личности объясняется насилием над волей, что и привело маркиза д'Эспара к состоянию, которое можно определить лишь необычным словом «одержимость»,— а посему просительница и взывает к недремлющему оку правосудия».

— Ах, черт возьми! — воскликнул Попино.— Что ты, доктор, на это скажешь? Странные факты.

— Пожалуй,— ответил Бьяншон,— их можно объяснить магнетической силой.

— Как, ты веришь в бредни Месмера, в его бадью с водой, в способности видеть сквозь стены?

— Да, дядя,— серьезно ответил доктор.— Я думал о магнетизме, слушая это прошение. Уверяю вас, я сам неоднократно наблюдал в другой сфере человеческой деятельности подобные факты, доказывающие неограниченную власть человека над человеком. Вопреки мнению моих коллег, я глубоко убежден в могуществе человеческой воли, этой движущей жизненной силы. Я не отрицаю, много здесь досужих вымыслов и шарлатанства, но я сам был свидетелем подлинной одержимости. Магнетические внушения, полученные во время сна, с точностью выполнялись в состоянии бодрствования. Воля одного становилась волей другого.

— И вызывала любые поступки?

— Да.

— Даже преступные?

— Даже преступные.

— Заговори об этом кто другой, я и слушать бы не стал.

— Обещаю дать вам возможность самому удостовериться в этом,— заверил его Бьяншон.

— Гм! Гм!— промычал судья.— Ну, если «одержимость» маркиза относится к такому роду явлений, нелегко ее будет определить и заставить суд с нею считаться.

— Раз госпожа Жанрено безобразна и стара,— заметил Бьяншон,— как могла она покорить маркиза?

— Но в тысяча восемьсот четырнадцатом году, когда, как это явствует из прошения, он поддался соблазну, она была на четырнадцать лет моложе,— возразил следователь,— если же она сблизилась с маркизом д'Эспаром еще за десять лет до этого, то вычисления отодвигают нас на двадцать четыре года назад; как знать, возможно, тогда она была молодой и красивой и могла самым обыкновенным способом покорить маркиза д'Эспара и приобрести над ним, себе и сыну на пользу, ту власть, от которой иной раз не могут освободиться мужчины. Правосудие осуждает такую власть, но природа ее оправдывает. Госпожа Жанрено могла быть недовольна браком маркиза с мадемуазель де Бламон-Шоври, состоявшимся примерно в это время, и, возможно, всему причиной женское соперничество, раз маркиз уже давно не живет вместе с госпожой д'Эспар.

— Но, дядя, ведь госпожа Жанрено уродлива!

— Сила обольщения иногда усугубляется уродством,— возразил следователь,— это старая истина. Впрочем, возможны и последствия оспы, не так ли, доктор? Однако продолжаем:

«В 1815 году, чтобы располагать деньгами, необходимыми для удовлетворения этих двух лиц, г-н маркиз д'Эспар переехал с обоими сыновьями на улицу Монтань-Сент-Женевьев, в жалкий дом, недостойный ни его имени, ни его положения *(Всякий живет, как хочет!)*, где и воспитывает своих сыновей — графа Клемана д'Эспара и виконта Камилла д'Эспара — в обстановке, не соответствующей ни их будущему положению, ни их про-

исхождению, ни их состоянию, и нередко г-н д'Эспар испытывает такой недостаток в средствах, что недавно, например, домовладелец г-н Мариаст описал его обстановку, причем, когда эта мера воздействия приводилась в исполнение, то присутствовавший при этом маркиз д'Эспар сам помогал судебному приставу, обращался с ним, как с дворянином, оказывая ему всяческие знаки уважения и внимания, кои подобает оказывать лишь вышестоящему лицу...»

Тут дядя и племянник взглянули друг на друга и рассмеялись.

«Кроме того, и прочие поступки г-на д'Эспара, помимо приводимых фактов в отношении вдовы Жанрено и г-на барона Жанрено, ее сына, носят печать безумия: вот уже скоро десять лет, как он так увлечен изучением Китая, его обычаев, нравов, его истории, что все воспринимает на китайский лад; когда с ним беседуют на эту тему, он путает дела наших дней, недавние факты с событиями китайской истории; он осуждает мероприятия правительства и поведение короля (хотя лично предан ему), сравнивая их с китайской политикой.

Эта мания толкнула маркиза д'Эспара на поступки, лишенные всякого смысла; так, вопреки привычкам, свойственным лицам его положения, и вопреки его собственным взглядам на обязанности дворянства, он открыл коммерческое предприятие, из-за чего ежедневно подписывает краткосрочные обязательства, кои ныне уже угрожают его чести и состоянию, поскольку они связаны со званием негоцианта, а в случае неуплаты он может быть объявлен несостоятельным должником; обязательства его перед торговцами бумагой, типографами, литографами и художниками, которые снабжают его материалами, необходимыми для издаваемой им «Живописной истории Китая», выходящей отдельными выпусками, так значительны, что сами поставщики, дабы спасти свои капиталы, умоляли просительницу ходатайствовать об учреждении опеки над маркизом д'Эспаром...»

— Да это сумасшедший! — воскликнул Бьяншон.

— Ты так полагаешь? — переспросил судья.— Надо

поговорить с ним самим. Кто слышал только припев, тот еще не знает песни.

— Но мне сдается...— начал было Бьяншон.

— Но мне сдается,— перебил его Попино,— что, пожелай кто из моих родичей завладеть моим имуществом и не будь я судьей, нормальное состояние которого ежедневно могут засвидетельствовать его товарищи по работе, а будь я герцогом или пэром, то всякий крючкотворстряпчий вроде Дероша мог бы возбудить подобное же дело против меня.

«Воспитание детей пострадало от этой мании; так, вопреки всей системе образования, принятой у нас, он заставляет их изучать китайскую историю, заставляет их твердить китайскую грамоту, что противно догматам католической церкви...»

— Вот тут Дерош, по-моему, перехватил,— сказал Бьяншон.

— Прошение составлено его первым письмоводителем Годешалем, а для него, как тебе известно, всякая наука — китайская грамота.

«Часто дети страдают от отсутствия самого необходимого; просительнице, несмотря на настоятельные ее мольбы, разрешается видеться с ними только раз в год; зная, каким они подвергаются лишениям, она тщетно пыталась предоставить им самое необходимое для существования...»

— Ах, госпожа маркиза, что за комедия! Кто слишком много доказывает, тот не докажет ничего. Милый мой,— сказал следователь, положив папку на колени,— виданное ли это дело, чтобы сердце, ум, нутро не подсказали матери действий, которые ей должен внушить простой животный инстинкт любви к ребенку? Мать с такой же хитростью будет добиваться встречи с детьми, как девушка — свидания с возлюбленным. Пожелай твоя маркиза накормить или одеть своих сыновей, сам сатана не остановил бы ее. Разве не так? Все тут белыми нитками шито, меня не проведешь, я старый воробей! Читаем дальше!

«Возраст означенных детей требует немедленного принятия мер, дабы избавить их от пагубных следствий такого воспитания, обеспечить их всем, согласно их званию, и оберечь от дурного примера, подаваемого им отцом.

В подтверждение вышеизложенных фактов имеются доказательства, в истинности которых суд легко может убедиться. Неоднократно г-н д'Эспар называл мирового судью Двенадцатого округа мандарином третьего класса, а преподавателей коллежа Генриха IV — мудрецами *(Нашли на что обижаться!)*. Упоминая о самых обычных вещах, заявлял, что в Китае так не делается; если же разговор хотя бы вскользь касался г-жи Жанрено или событий времен царствования Людовика XIV, он впадал в черную меланхолию; нередко он воображает себя в Китае. Многие из его соседей, как-то: господа Эдм Беккер, студент-медик, и Жан-Батист Фремио, преподаватель, проживающие в том же доме,— после знакомства с маркизом д'Эспаром стали полагать, что его маниакальное пристрастие к Китаю искусственно возбуждается бароном Жанрено и его матерью, вдовой Жанрено, ставящими себе целью добиться полного ослабления умственных способностей маркиза д'Эспара, принимая во внимание, что единственная услуга, оказываемая г-ну д'Эспару г-жой Жанрено, заключается в собирании для него вещей, относящихся к Китаю.

Наконец просительница берется доказать суду, что на г-на и г-жу Жанрено с 1814 по 1828 год истрачено не менее миллиона франков.

В подтверждение вышеизложенного просительница предлагает г-ну председателю воспользоваться свидетельством лиц, кои постоянно встречаются с маркизом д'Эспаром и чьи имена и звания приведены ниже; многие из них настаивают на опеке над г-ном маркизом д'Эспаром, как на единственном способе уберечь его имущество от растраты, а детей — от пагубного влияния.

Принимая во внимание все вышеизложенное, а также прилагаемые при сем документы и считая, что вышеперечисленные факты с очевидностью доказывают состояние невменяемости и слабоумия вышеназванного г-на маркиза д'Эспара (звание, местожительство и обстоятельства жизни коего указаны), просительница хо-

датаиствует, г-н председатель, о том, чтобы в целях назначения опеки над г-ном д'Эспаром настоящее прошение с прилагаемыми к нему документами было по вашему распоряжению препровождено королевскому прокурору, а кому-либо из следователей было поручено представить в назначенный вами день материалы дознания, на основании коих суд вынесет соответствующее постановление».

— А вот и приказ председателя, поручающий это дело мне. Ну, что же надобно от меня маркизе д'Эспар? Я уже все знаю. Завтра я пойду со своим протоколистом к маркизу, потому что все это мне кажется маловразумительным.

— Послушайте, дорогой дядя, я никогда не обращался к вам как к следователю с просьбой об услугах. Так вот, я прошу вас о любезности, госпожа д'Эспар этого заслуживает. Если бы она пришла к вам, вы бы ее выслушали?

— Да.

— Ну так выслушайте ее у нее на дому: госпожа д'Эспар болезненная, нервная, изнеженная женщина, ей станет дурно в вашем логове. Подите к ней вечером и не принимайте ее приглашения на обед, раз закон запрещает вам пить и есть у подсудных вам лиц.

— А закон не запрещает врачам получать наследство после умерших пациентов? — съязвил Попино, которому показалось, будто племянник иронически улыбается.

— Послушайте, дядя, исполните мою просьбу, хотя бы для того, чтобы узнать правду. Вы придете к ней как следователь, желающий выяснить обстоятельства дела. Черт возьми! Допросить маркизу не менее важно, чем ее мужа.

— Ты прав,— согласился судья,— чего доброго, она сама окажется не в своем уме. Пойду!

— Я заеду за вами; отметьте у себя в записной книжке: «Завтра вечером, в девять часов, зван к г-же д'Эспар». Вот и чудесно,— прибавил Бьяншон, видя, что Попино записал предстоящий визит.

На следующий день, в девять часов вечера, доктор Бьяншон поднялся по грязной лестнице, ведущей в квартиру дяди, и застал его за редактированием реше-

ния по какому-то запутанному делу. Портной еще не принес заказанного Лавьеном фрака, и Попино пришлось облачиться в свой старый, замусоленный фрак, так что он остался прежним «ужасным Попино», наружность которого вызывала усмешку на устах тех, кто не знал его добрых дел. Все же Бьяншон заставил его привести в порядок галстук и застегнуться справа налево, скрыв таким образом пятна и выставив на вид чистый еще борт. Но через несколько минут следователь вздернул все кверху, засунув, по своему обыкновению, руки в жилетные карманы. Поношенный фрак собрался складками спереди и сзади, на манер горба, а между жилетом и брюками вылезла рубашка. Как назло, Бьяншон заметил этот смешной беспорядок в костюме своего дяди только тогда, когда Попино уже предстал перед маркизой.

Теперь необходимо сообщить краткие сведения о жизни той особы, к которой отправились доктор со следователем, иначе не понять предстоящей беседы между Попино и ею.

Госпожа д'Эспар уже семь лет была в большой моде в Париже, где мода поочередно то возносит, то низвергает отдельных людей, и они предстают перед нами то великими, то ничтожными,— иначе говоря, то общими баловнями, то людьми всеми позабытыми, а под конец невыносимыми, как впавшие в немилость министры и свергнутые властелины. Эти люди, восхваляющие прошлое, несносны из-за своих устаревших претензий; они все знают, все порицают и, как промотавшиеся расточители, считают себя друзьями всего света. Маркиза д'Эспар, должно быть, вышла замуж в начале 1812 года, судя по тому, что к 1815 году она уже была брошена мужем. Следовательно, старшему ее сыну было пятнадцать, а младшему тринадцать лет. Каким чудом объяснить, что мать семейства, женщина тридцати трех лет, была все еще в моде? Хотя мода своенравна и никто не в состоянии предугадать ее избранников, хотя она нередко высоко возносит жену какого-нибудь банкира или особу сомнительного изящества и красоты,— все же может показаться сверхъестественным, что мода приобрела конституционные замашки и установила преимущества *старшинства*. Но маркиза

д'Эспар ввела в заблуждение моду, как и весь свет, и та сочла ее молодой. Маркизе было тридцать три года по метрике и двадцать два — вечером в гостиной. Каких это стоило забот и ухищрений! Искусно завитые локоны скрывали морщинки на висках. Дома она обрекала себя на полумрак, жалуясь на недомогание, прибегая к спасительным муслиновым занавесям, смягчавшим дневной свет. Как Диана де Пуатье, она принимала холодные ванны и, как она, спала на жестком матраце, подкладывая под голову сафьяновые подушки, чтобы сохранить волосы; она мало ела, пила только воду, рассчитывала каждое свое движение, чтобы не утомляться, и всю свою жизнь подчинила чисто монастырскому уставу. Как говорят, такую строгую систему в наши дни довела до крайности знаменитая полька, которая вместо воды употребляет лед, ест только холодную пищу и, достигнув почти столетнего возраста, предается развлечениям кокетливой женщины. Судьба предопределила ей жить столько же, сколько жила Марион Делорм, умершая, по словам биографов, ста тридцати лет. В наше время старая жена наместника Царства Польского, дожив почти до ста лет, пленяет умом, юным сердцем, прелестным лицом, стройным станом; в сверкающем остроумием разговоре ей ничего не стоит сравнить людей и книги нашего времени с людьми и книгами XVIII века. Она живет в Варшаве, а шляпки заказывает в Париже, у мадам Эрбо. Эта великосветская дама отличается пылом молоденькой девушки: она плавает, бегает, как школьница, и умеет опуститься на кушетку с кокетливой грацией юности; она издевается над смертью, смеется над жизнью. Некогда поразив императора Александра, теперь она может восхищать великолепием своих празднеств императора Николая. Еще сейчас она заставит увлеченного ею юношу проливать слезы, ибо ей можно дать столько лет, сколько она сама пожелает; ей свойственна непостижимая влюбчивость гризетки. Словом, она настоящая волшебная сказка, или, если угодно,— сказочная волшебница. Знала ли г-жа д'Эспар г-жу Зайончек? Хотела ли ей подражать? Во всяком случае, маркиза доказала пользу такого образа жизни: цвет лица у нее был прекрасен, лоб — без единой морщинки; тело, как у возлюблен-

ной Генриха II, сохраняло гибкость и свежесть — тайную прелесть, которая возбуждает любовь мужчин и пленяет их. Сам характер маркизы помогал ей соблюдать меры, предотвращающие старость, предписанные знанием, природой, а возможно, и собственным опытом. Маркиза относилась с полнейшим равнодушием ко всему, кроме своей особы; мужчины занимали ее, но не один из них не возбуждал в ней того сильного чувства, которое глубоко волнует женщину и мужчину и часто разбивает их жизнь. Она не знала ни ненависти, ни любви. Когда ее оскорбляли, она мстила холодно и расчетливо, спокойно выжидая случая выполнить свой злобный замысел по отношению к тому, кто оставил ей о себе недобрую память. Она не утруждала себя, не возмущалась; она действовала только словами, зная, что двумя словами женщина в силах убить троих мужчин. Уход г-на д'Эспара она встретила, как это ни странно, с удовлетворением: он взял с собою детей, которые к тому времени порядком ей наскучили, а позже могли повредить ее желанию нравиться. Самые близкие ее друзья, как и самые мимолетные ее поклонники, не видя этих живых сокровищ Корнелии, которые, сами того не зная, своим присутствием выдают возраст матери, считали ее молодой женщиной; и сыновья, о которых, судя по прошению, маркиза так сильно беспокоилась, и их отец были столь же неизвестны свету, как морякам неизвестен Северо-Восточный морской путь. Г-н д'Эспар прослыл оригиналом, покинувшим свою жену, не имея ни малейшего повода на нее жаловаться. Став в двадцать два года независимой женщиной и полновластной владелицей состояния, приносящего двадцать шесть тысяч ливров годового дохода, маркиза долго колебалась, перед тем как на что-нибудь решиться и окончательно определить свою жизнь. Хотя ей остался особняк, на устройство которого муж потратил много денег, вся обстановка, выезд, лошади — словом, прекрасно поставленный дом, она жила уединенно в течение 1816, 1817 и 1818 годов, когда дворянство только еще оправлялось после потрясений, вызванных политическими событиями. Она принадлежала к одной из самых аристократических и влиятельных фамилий Сен-Жерменского предместья, и родственники посоветовали ей жить

уединенно после вынужденной разлуки с мужем, на которую ее обрекла его необъяснимая прихоть. В 1820 году маркиза очнулась от летаргии, стала бывать при дворе, на празднествах, принимать у себя. С 1821 по 1827 год она вела открытый образ жизни и привлекла всеобщее внимание изысканностью своего вкуса и нарядов: она стала принимать у себя в установленные дни и вскоре взошла на трон, где до нее блистали виконтесса де Босеан, герцогиня де Ланже, г-жа Фирмиани, после брака своего с г-ном де Каном уступившая скипетр герцогине де Мофриньез, из рук которой его вырвала уже г-жа д'Эспар. Свет совсем не знал личной жизни маркизы д'Эспар. Казалось, все сулило, что она будет долго блистать на парижском горизонте, как солнце, которое начало клониться к закату, но закатится еще не скоро. Маркиза была связана дружбой с герцогиней, которая славилась как своей красотой, так и преданностью некоему князю, находившемуся тогда в опале, но привыкшему вступать победителем во все вновь образующиеся правительства. Г-жа д'Эспар была близка и с одной иностранкой, у которой в салоне прославленный русский дипломат, известный своей хитростью, толковал события общественной жизни. Наконец ее приголубила одна старая графиня, привыкшая тасовать карты в крупной политической игре. Каждому проницательному человеку было ясно, что г-жа д'Эспар подготовляла таким образом путь к новой, тайной, но подлинной власти взамен того легковесного влияния, которым ее наделили светский успех и мода. Ее салон принимал политический характер. Уже находилось немало глупцов, у которых то и дело было на языке: «Что у госпожи д'Эспар?» — «У госпожи д'Эспар высказываются против того-то и того-то»,— и это придавало толпе ее приверженцев значение политической партии. Несколько обиженных политиков, пригретых и обласканных ею, как, например, любимец Людовика XVIII, с которым уже не считались, министры в отставке, стремящиеся к власти, говорили, что она разбирается в дипломатии не хуже жены русского посла в Лондоне. Не раз маркиза внушала то депутатам, то пэрам слова и мысли, провозглашавшиеся затем с трибуны на всю Европу. Нередко она правильно судила о событиях, о кото-

рых ее гости не осмеливались выражать свое мнение. Виднейшие придворные сановники собирались у нее по вечерам за вистом. А кроме того, ее недостатки сходили за достоинства. Она была скрытной, а ее считали сдержанной. Ее дружба казалась надежной. Она покровительствовала своим любимцам с постоянством, которое доказывало, что она больше старалась упрочить свое влияние, нежели умножить число своих приверженцев. Такое поведение вызывалось тщеславием — ее преобладающей страстью. Победы и удовольствия, которые так любят женщины, для нее были только средствами; она хотела ощутить жизнь во всей ее полноте. Среди еще молодых мужчин с блестящим будущим, собиравшихся в ее салоне в дни больших приемов, можно было встретить де Марсе, де Ронкероля, де Монриво, де Ла-Рош-Югона, де Серизи, Ферро, Максима де Трай, де Листомэра, обоих Ванденесов, дю Шатле и других. Нередко она принимала мужа, но отказывалась видеть у себя его жену, и власть ее была уже так велика, что некоторые честолюбивые люди, как, например, оба знаменитых банкира-роялиста, Нусинген и Фердинанд дю Тийе, соглашались на эти тяжкие условия. Она хорошо изучила слабые и сильные стороны парижского светского общества и в соответствии с этим вела себя так, что никто из мужчин не мог приобрести над ней власть. Ни за какие деньги нельзя было достать компрометирующее ее письмо или записку. Если душевная черствость позволяла ей играть безо всяких усилий свою роль, то ее внешность также немало ей помогала. У нее была девичья талия, голос ее по желанию мог быть гибким и свежим, ясным и твердым. Она мастерски владела тайной светского обхождения, с помощью которого женщина заставляет забыть о прошлом. Маркиза знала, как вовремя отстранить человека, вообразившего после случайного успеха, что имеет право на близость с ней,— ее властный взор умел все отрицать. Слушая ее, можно было подумать, что она исполнена благородных чувств, великодушных решений, идущих из глубины души, от чистого сердца, но на самом деле все в ней было голым расчетом, и, чтоб устроить свои собственные дела, она способна была без зазрения совести погубить любого человека, по простоте душевной доверившегося ей.

Растиньяк пытался сблизиться с этой женщиной, понимая, какое отменное оружие может в ней приобрести, но не успел он пустить его в ход, а уже сам был им ранен. Молодой политический кондотьер, обреченный, как Наполеон, неизменно добиваться побед, понимая, что первое же поражение станет могилой его карьеры, встретил в лице своей покровительницы опасного противника. Впервые за всю свою бурную жизнь он вел серьезную игру с достойной его партнершей. Завоевание маркизы сулило ему министерский портфель, но она подчинила Растиньяка раньше, чем он ее. Опасное начало!

У г-жи д'Эспар было множество слуг, дом был поставлен на широкую ногу. Большие приемы происходили в первом этаже, сама же маркиза жила во втором. Великолепная парадная лестница, благородное убранство комнат, напоминавших Версаль былых времен,— все указывало на огромное состояние. Перед кабриолетом доктора распахнулись ворота, и следователь быстро разглядел все: швейцарскую, швейцара, двор, конюшни, расположение дома, цветы, украшающие лестницу, блеск полированных перил, стены, ковры; он сосчитал ливрейных лакеев, сбежавшихся на площадку при звуке колокольчика. Взор его, еще накануне открывавший под грязными отрепьями людей, теснившихся в его приемной, величие нищеты, с такой же проницательностью постигал теперь нищету величия в роскошной обстановке комнат, анфиладой которых он шел.

— Господин Попино! Господин Бьяншон!

Фамилии были провозглашены у дверей будуара, очаровательной, заново обставленной комнаты, выходящей окнами в сад. Г-жа д'Эспар сидела в старинных креслах стиля рококо, которые ввела в моду герцогиня Беррийская. Растиньяк устроился по левую руку от нее на низеньком стуле, словно чичисбей итальянской синьоры. Поодаль, у камина, стоял неизвестный господин. Как и полагал опытный врач Бьяншон, маркиза была нервная женщина, сухого телосложения; не соблюдай она строгого режима, лицо ее приняло бы красноватый оттенок, характерный для возбужденного состояния; она подчеркивала свою искусственную бледность теплыми красками тканей в одежде и обстановке. То-

на темно-кирпичный, каштановый, коричневый с искрой были ей удивительно к лицу. Будуар ее, копия будуара весьма известной леди, бывшей тогда в моде в Лондоне, был обит бархатом цвета дубовой коры, но она смягчила царственную торжественность этого цвета множеством изящных украшений. Причесана она была, как молоденькая девушка,— на прямой пробор, с локонами вдоль щек, что еще больше подчеркивало удлиненный овал ее лица; но насколько круглое лицо просто, настолько благородно продолговатое. Выпуклые и вогнутые зеркала, по желанию удлиняющие или округляющие лицо, дают неопровержимое доказательство этого правила применительно к любой наружности. Попино замер на пороге, будто испуганное животное, вытянув вперед шею, засунув левую руку в жилетный карман, а правой держа шляпу с засаленной подкладкой, и маркиза с затаенной усмешкой взглянула на Растиньяка. Простоватый и растерянный вид добряка был под стать его нелепому костюму, и Растиньяк, увидев огорченное лицо Бьяншона, который чувствовал себя оскорбленным за дядю, отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Маркиза кивнула ему головой, сделала мучительное усилие, чтобы приподняться с кресла, и снова грациозно опустилась на место, как бы стараясь оправдать свою невежливость хорошо разыгранной слабостью.

Тогда господин, стоявший между камином и дверью, слегка поклонился, пододвинул два стула, указал на них доктору и следователю, а когда те сели, снова прислонился к стене, скрестив на груди руки. Несколько слов об этом человеке. Один из современных нам художников, Декан, в совершенстве владеет искусством заинтересовать тем, что он изображает,— будь то камень или человек. В этом смысле карандаш его отличается бо́льшим мастерством, чем его кисть. Он нарисует пустую комнату, поставит там метлу у стены, и вы содрогнетесь, если он того захочет: вам почудится, будто эта метла была орудием преступления, будто она измазана кровью, вы вообразите, что это та самая метла, которой вдова Банкаль подметала комнату, где был убит Фюальдес. Да, художник растреплет метлу, как будто это голова разъяренного человека, он взъерошит ее прутья, словно это вставшие дыбом волосы, сделает ее связу-

ющим звеном между тайной поэзией своего воображения и поэзией, пробужденной в вашем воображении. И вот, нагнав на вас ужас этой метлой, он назавтра нарисует другую, возле нее клубочком свернется кошка, но в спящей кошке будет какая-то таинственность, и вы поверите художнику, что это то самое помело, на котором жена немецкого сапожника летает на шабаш. Или наконец он изобразит самую безобидную метлу, на которую повесит сюртук чиновника казначейства. Кисть Декана, как и смычок Паганини, гипнотизирует. Да, надо было бы проникнуться стилем этого поразительно одаренного художника, тонким мастерством его рисунка, чтобы изобразить прямого, сухопарого, высокого господина, одетого во все черное, с длинными черными волосами, молча стоявшего у камина. Лицо его было словно лезвие ножа — холодное, острое; цветом своим оно напоминало взбаламученные воды Сены, загрязненные углем с затонувших барж. Он уставился в землю, слушал и взвешивал. Его неподвижность пугала. Он был подобен страшной, обличающей преступления метле Декана. Порой во время беседы маркиза пыталась добиться от него безмолвного совета, на мгновение задерживая на нем взгляд, но, несмотря на красноречие этих немых вопросов, он стоял величавый и окаменелый, словно статуя командора.

Добряк Попино, держа шляпу на коленях, примостился на краешке стула против камина и рассматривал золоченые канделябры, часы, редкие безделушки, расставленные на камине, замысловатый узор штофных обоев — словом, все те дорогие и красивые пустячки, которые окружают светскую женщину. Г-жа д'Эспар отвлекла его от этого обывательского любопытства и пропела нежным голосом:

— Сударь, тысяча благодарностей...

«Тысяча? Не слишком ли много? Хватит и одной, только искренней»,— подумал старик.

— Я вам так обязана за то, что вы соблаговолили взять на себя труд...

«Соблаговолили! — подумал он.— Да она издевается надо мной!»

— ...соблаговолили взять на себя труд посетить меня, бедную просительницу; я больна и не выхожу из дома...

Тут следователь смутил маркизу, бросив на нее испытующий взгляд, который сразу определил состояние здоровья «бедной просительницы».

«Она крепка, как дуб»,— решил он про себя.

— Сударыня,— ответил он почтительным тоном,— вы мне нисколько не обязаны. Хотя мой визит и не в обычаях суда, но мы не должны ничем пренебрегать для выяснения истины в подобных делах. Тогда наши решения не будут только мертвой буквой закона, нам продиктует их наша совесть. Найду я правду у себя в кабинете или здесь,— безразлично; была бы она только найдена.

Пока Попино разговаривал, Растиньяк пожал руку Бьяншону, а маркиза мило кивнула ему с благосклонной улыбкой.

— Кто этот господин? — спросил Бьяншон шепотом у Растиньяка, указывая ему на человека в черном.

— Шевалье д'Эспар, брат маркиза.

— Ваш племянник господин Бьяншон говорил мне, как вы заняты,— сказала маркиза.— Я уже знаю, что вы скрываете свои благодеяния, чтобы избавить людей от обязанности вас благодарить. Кажется, работа в суде крайне вас утомляет. Почему не увеличат штат следователей?

— Эх, сударыня, где там! — возразил Попино.— Оно, конечно бы, неплохо. Да только увеличат штат следователей, когда рак свистнет!

Услышав эти слова, которые так соответствовали всему облику Попино, шевалье смерил его взглядом, как бы говоря: «Ну, с ним справиться нетрудно».

Маркиза посмотрела на Растиньяка, который наклонился к ней.

— Вот они, вершители наших судеб,— сказал молодой денди.

Как и большинство людей, состарившихся за работой в одной и той же области, Попино невольно поддавался профессиональным привычкам, что прежде всего проявлялось в его образе мыслей. В разговоре его чувствовался судебный следователь. Он любил выспросить собеседника, озадачить его неожиданными выводами, заставить сказать то, что тому хотелось бы утаить. Как рассказывают, Поццо ди Борго для забавы

выпытывал тайны собеседников, расставляя им дипломатические ловушки; он поступал так, подчиняясь непреодолимой привычке, и обнаруживал при этом свой испытанный в хитростях ум. Как только Попино, так сказать, нащупал почву, он решил, что необходимо прибегнуть к самым искусно замаскированным и хитроумным судебным уловкам, чтобы выведать истину. Бьяншон молчал, холодный и суровый, как человек, решивший вытерпеть пытку до конца, но в душе он желал своему дяде раздавить эту женщину, как гадюку,— длинное платье, гибкое тело, вытянутая шея, маленькая головка и плавные движения маркизы внушали ему это сравнение.

— Итак, сударь,— продолжала г-жа д'Эспар,— хоть это и эгоистично по отношению к вам, но я слишком давно страдаю, а потому не могу не хотеть скорейшего окончания дела. Могу я рассчитывать на скорый благоприятный исход?

— Сударыня, я сделаю все зависящее от меня, чтобы скорее закончить дело,— ответил Попино с благодушнейшим видом.— Подозреваете ли вы причины разрыва с вами господина д'Эспара? — спросил он, глядя на маркизу.

— Да, сударь,— ответила она, усаживаясь поудобнее и собираясь начать заранее подготовленный рассказ.— В начале тысяча восемьсот шестнадцатого года маркиз, совершенно изменившийся за предшествовавшие три месяца, предложил мне переселиться в его поместье, неподалеку от Бриансона, не считаясь ни с моим здоровьем, для которого губителен климат тех мест, ни с моими привычками; я отказалась. Мой отказ вызвал с его стороны такие несправедливые упреки, что с той минуты я усомнилась в его рассудке. На другой же день он покинул меня, предоставив в мое полное распоряжение свой особняк и доходы, сам же, взяв с собой обоих сыновей, поселился на улице Монтань-Сент-Женевьев.

— Позвольте узнать, сударыня,— прервал ее следователь,— как велики эти доходы?

— Двадцать шесть тысяч ливров,— бросила маркиза и продолжала рассказ: — Я сейчас же обратилась за советом к старику Бордену, желая выяснить, что сле-

дует предпринять, но оказалось, что отобрать у отца детей очень трудно, и я вынуждена была примириться с одиночеством в двадцать два года, в возрасте, когда женщины способны на всякие безрассудства. Вы, конечно, прочли мое прошение, вы знаете основные причины, побуждающие меня ходатайствовать о назначении опеки над господином д'Эспаром?

— Просили ли вы его, сударыня, вернуть вам детей? — поинтересовался следователь.

— Да, сударь, но все старания были безуспешны. Для матери мучительно лишиться детской ласки, а ведь женщина, у которой отняты всякие радости, особенно в ней нуждается.

— Старшему, кажется, уже шестнадцать лет? — спросил Попино.

— Пятнадцать,— быстро поправила маркиза.

Тут Бьяншон взглянул на Растиньяка. Г-жа д'Эспар закусила губу.

— Почему вас интересует возраст моих детей?

— Ах, сударыня,— возразил следователь, как будто не придавая значения своим словам,— пятнадцатилетний мальчик и его брат, которому, вероятно, не меньше тринадцати, достаточно умны и расторопны, они могли бы приходить к вам тайком от отца; если они не приходят, значит подчиняются отцу, а подчиняются потому, что крепко его любят.

— Я не понимаю вас,— сказала маркиза.

— Вы, вероятно, не знаете,— объяснил Попино,— что ваш стряпчий утверждает в прошении, будто ваши дорогие детки очень несчастны, живя с отцом...

Г-жа д'Эспар заявила с очаровательной наивностью:

— Я не знаю, какие слова приписал мне стряпчий.

— Извините меня за эти выводы, но правосудие должно все взвесить,— продолжал Попино.— Я расспрашиваю вас лишь потому, что хочу как следует разобраться в деле. По вашим словам выходит, что господин д'Эспар бросил вас из самых легкомысленных побуждений. Вместо того, чтобы переехать в Бриансон, куда он звал вас, он остался в Париже. Тут что-то неясно. Знал он эту госпожу Жанрено до женитьбы?

— Нет, сударь,— ответила маркиза с некоторым не-

удовольствием, замеченным, однако, только Растиньяком и шевалье д'Эспаром.

Ее оскорбляло, что следователь выспрашивает ее, тогда как она сама рассчитывала воздействовать на него, но Попино, по-прежнему погруженный в размышления, казался человеком простоватым, и она приписала его расспросы «вопросительному зуду» вольтеровского судьи.

— Родители,— продолжала она,— выдали меня в шестнадцать лет замуж за маркиза д'Эспара, чье имя, состояние, привычки отвечали всем требованиям, какие моя семья предъявляла к моему будущему мужу. Тогда господину д'Эспару было двадцать шесть лет, он был джентльменом в настоящем смысле этого слова; мне нравились его манеры, он казался очень честолюбивым, а я ценю честолюбцев,— прибавила она, взглянув на Растиньяка.— Если бы господин д'Эспар не встретил эту самую Жанрено, то благодаря своим достоинствам, знаниям, уму он мог бы стать влиятельным лицом, как полагали тогда его друзья; король Карл Десятый, в те дни еще только брат короля, очень его ценил, и его ждало пэрство, придворные должности, высокое положение... Эта женщина затуманила его разум и разрушила будущее всей семьи.

— Каковы были тогда религиозные убеждения господина д'Эспара?

— Он всегда был и по сие время остался глубоко верующим человеком,— сказала маркиза.

— А не могла ли госпожа Жанрено играть на его мистических настроениях?

— Нет, сударь.

— У вас прекрасный дом, сударыня,— вдруг сказал Попино. Он встал, вынул руки из жилетных карманов и раздвинул фалды фрака, чтобы погреться у камина.— Ваш будуар очарователен. Великолепные кресла, роскошная обстановка! В самом деле, как мучаетесь вы здесь, зная, что ваши дети плохо устроены, плохо одеты, что их плохо кормят. Для матери, по-моему, это хуже всего!

— Да, сударь. Я так хотела бы доставить какое-нибудь удовольствие бедным мальчикам, ведь отец за-

ставляет их с утра до вечера сидеть над скучнейшей историей Китая.

— Вы даете блестящие балы, они повеселились бы у вас; а впрочем, они привыкли бы, пожалуй, к рассеянному образу жизни. Все же отец мог бы разрешить им погостить у вас раза два в течение зимы.

— Они бывают у меня на Новый год и в день моего рождения. В эти дни господин д'Эспар милостиво изволит обедать с ними у меня.

— Странное поведение! — сказал Попино тоном убежденного человека.— А случалось вам видеть эту госпожу Жанрено?

— Как-то мой деверь, желая помочь брату...

— А! — прервал Попино маркизу.— Значит, вы, сударь, брат маркиза д'Эспара?

Черный шевалье молча поклонился.

— Господин д'Эспар в курсе дела, он возил меня в Ораторию, где эта женщина слушает проповеди,— она протестантка. Я видела ее там, в ней нет ничего привлекательного, просто безобразная торговка, толстая, рябая, с огромными руками и ногами, косоглазая — словом, настоящее чучело.

— Непостижимо! — пробормотал Попино, прикидываясь самым простодушным следователем в королевстве.— И эта особа живет здесь, совсем близко, в особняке на улице Верт! Нет больше лавочников, все одворянились!

— На этот особняк ее сын истратил бешеные деньги.

— Сударыня,— сказал следователь,— я живу в предместье Сен-Марсо, я не представляю себе расходов такого рода; что называете вы бешеными деньгами?

— Помилуйте,— воскликнула маркиза,— конюшня, пять лошадей, три экипажа: коляска, карета, кабриолет.

— И получается изрядная сумма? — с удивлением спросил Попино.

— Огромная,— вмешался в разговор Растиньяк.— При подобном образе жизни на конюшню, выезды и ливреи уходит от пятнадцати до шестнадцати тысяч.

— Возможно ли это, сударыня? — продолжал недоумевать следователь.

— Да, это самое меньшее,— ответила маркиза.

— А чтоб обставить особняк, понадобилась тоже изрядная сумма?

— Не меньше ста тысяч франков,— подсмеиваясь над простотою следователя, ответила маркиза.

— Следователь, сударыня,— продолжал Попино,— человек недоверчивый, за это самое ему и платят, я тоже таков. Что же, барон Жанрено с матерью попросту обобрали господина д'Эспара? Одна конюшня, как вы говорите, обходится в шестнадцать тысяч франков в год. На стол, жалованье слугам, большие расходы по дому нужно еще вдвое больше, так что всего потребуется пятьдесят — шестьдесят тысяч в год. Откуда у этих людей, еще недавно совсем нищих, могут быть такие средства? Миллион и то дает не больше сорока тысяч ливров годового дохода.

— Мать и сын вложили деньги, переданные им господином д'Эспаром, в государственную ренту, когда она стоила от шестидесяти до восьмидесяти франков. Я полагаю, что их доходы должны превышать шестьдесят тысяч франков. Сын получает к тому же прекрасное жалованье.

— Если он тратит шестьдесят тысяч франков, то сколько же тратите вы?

— Да примерно столько же,— ответила г-жа д'Эспар.

Черного господина передернуло, маркиза покраснела, Бьяншон взглянул на Растиньяка; но следователь хранил неизменное благодушие, что обмануло г-жу д'Эспар. Шевалье больше не пытался вступать в разговор, он понял, что все проиграно.

— Эти люди, сударыня,— сказал Попино,— могут быть привлечены к уголовному суду по особо важным делам.

— Вполне с вами согласна,— поддержала его восхищенная маркиза.— Надо пригрозить смирительным домом, и они пойдут на полюбовную сделку.

— Сударыня,— спросил Попино,— когда господин д'Эспар вас покинул, не оставил ли он вам доверенности на управление и распоряжение имуществом?

— Я не понимаю цели этих вопросов,— живо возразила маркиза.— Мне кажется, если принять во внима-

ние, до чего довело меня безумие моего мужа, вы должны заниматься им, а не мною.

— Сударыня,— ответил Попино,— доберемся и до него. Прежде чем доверить вам или кому-либо другому управление имуществом господина д'Эспара в случае взятия маркиза под опеку, суд должен знать, как управляете вы своим собственным имуществом. Если господин д'Эспар дал вам соответствующие полномочия, он, следовательно, оказал вам доверие, и суд примет это во внимание. Была у вас доверенность? Могли вы покупать и продавать недвижимость, приобретать ценные бумаги?

— Нет, сударь, не в обычаях Бламон-Шоври заниматься торговлей,— забыв об успехе дела, возмутилась маркиза, оскорбленная в своей дворянской гордости.— Мои поместья остались нетронутыми, и господин д'Эспар не давал мне никакой доверенности.

Шевалье прикрыл глаза рукой, чтобы скрыть досаду, вызванную недальновидностью невестки, которая губила себя своими ответами. Попино шел упорно к своей цели, хотя и окольными путями допроса.

— Сударыня,— сказал следователь, указывая на шевалье,— этот господин, без сомнения, преданный вам родственник? Мы можем говорить вполне откровенно в присутствии этих лиц?

— Говорите,— ответила маркиза, удивленная такой предосторожностью.

— Допустим, сударыня, вы тратите не больше шестидесяти тысяч франков в год,— и эта сумма покажется еще скромной каждому, кто увидит ваши конюшни, ваш особняк, многочисленных слуг, весь уклад вашего дома, который своим блеском, как мне кажется, затмевает дом Жанрено.

Маркиза кивнула головой.

— Итак,— продолжал следователь,— если в вашем распоряжении всего двадцать шесть тысяч франков дохода, то, говоря между нами, у вас наберется долгов тысяч на сто. Суд будет вправе предположить, что ваше требование взять под опеку мужа продиктовано личной корыстью, необходимостью расплатиться с долгами, если только они у вас есть. О вас говорили со мною, и я заинтересовался вашим положением, обдумайте его

сами, будьте откровенны. Если мои предположения правильны, все же можно еще избежать неприятностей, угрожающих вам в случае, если суд воспользуется своим правом вынести порицание за сокрытие истинных обстоятельств дела. Мы обязаны разбирать побуждения просителей так же, как и выслушивать доводы того, кто подлежит опеке,— выяснять, не возбуждено ли дело под влиянием какой-либо страсти или корыстолюбия — к несчастью, нередко имеющим место...

Маркиза сидела, как на раскаленных угольях.

— ...и мне надо получить кое-какие разъяснения по этому вопросу,— сказал следователь.— Сударыня, я не требую отчета, но не объясните ли вы мне, откуда была у вас возможность, да еще в течение нескольких лет, вести образ жизни, требующий шестидесяти тысяч ливров дохода? Немало найдется женщин, творящих подобные чудеса в своем хозяйстве, но вы к ним не принадлежите. Расскажите все; вы, возможно, располагаете вполне законными средствами: королевскими пожалованиями, какими-нибудь суммами, выданными вам согласно недавнему закону о возмещении,— но ведь для получения их необходима доверенность вашего мужа.

Маркиза молчала.

— Подумайте,— прибавил Попино,— господин д'Эспар, несомненно, воспротивится вашим домогательствам, и его поверенный будет вправе поинтересоваться, есть ли у вас долги. Ваш будуар заново обставлен, в доме уже не та мебель, которую в тысяча восемьсот шестнадцатом году оставил вам господин маркиз. Я имел честь слышать от вас, что обстановка стоила Жанрено немало, но ведь она еще дороже обошлась вам, великосветской даме. Хоть я и следователь, но я человек и могу ошибиться. Объясните же мне положение дел. Подумайте об обязанностях, которые возлагает на меня закон, о тщательных разысканиях, которые закон требует произвести, прежде чем взять под опеку отца семьи, находящегося в цвете лет. Итак, сударыня, простите мне сомнения, которые я имел честь изложить вам, и не откажите в любезности кое-что разъяснить. Когда человека берут под опеку как душевнобольного, то назначают над ним опекуна. Кто же будет этим опекуном?

— Его брат,— сказала маркиза.

Шевалье поклонился. На минуту воцарилось молчание, тягостное для всех присутствующих. Следователь как бы невзначай коснулся больного места этой женщины. Простоватый с виду Попино, над которым маркиза, шевалье д'Эспар и Растиньяк были склонны посмеяться, предстал перед ними в истинном свете. Исподтишка разглядывая его, все трое уловили изменчивую красноречивую выразительность его рта. Смешной человек на глазах преображался в прозорливого следователя. Внимание, с каким он рассматривал будуар, подсчитывая стоимость его обстановки, стало теперь понятным; он начал с золоченого слона, поддерживающего каминные часы, и кончил тем, что узнал настоящую цену самой маркизе.

— Допустим, маркиз д'Эспар и помешался на Китае, но как будто вам самой тоже нравятся китайские вещицы,—заметил Попино, указывая на драгоценные безделушки, украшавшие камин.— А может быть, их подарил вам господин маркиз?

Эта остроумная насмешка развеселила Бьяншона, а Растиньяка поразила; маркиза закусила тонкие губы.

— Сударь,— сказала г-жа д'Эспар,— вы должны бы защитить женщину, поставленную перед страшным выбором: либо потерять состояние и детей, либо стать врагом собственного мужа, а вы обвиняете меня! Вы сомневаетесь в чистоте моих намерений! Согласитесь, ваше поведение странно...

— Сударыня,—с живостью ответил Попино,—осмотрительность, с какой суд подходит к делам подобного рода, заставила бы всякого другого следователя быть еще более придирчивым. Неужели же вы думаете, что адвокат господина д'Эспара будет на все смотреть сквозь пальцы? Разве он не постарается очернить намерения, которые, быть может, чисты и бескорыстны? Он вторгнется в вашу жизнь, начнет беспощадно копаться в ней, я же отношусь к вам с почтительной деликатностью.

— Благодарю вас, сударь,— иронически заметила маркиза.— Предположим на минуту, что я должна тридцать, пятьдесят тысяч франков, это сущий пустяк для семьи д'Эспаров и Бламон-Шоври; разве это обстоятельство может помешать взять под опеку моего мужа, если он не в здравом уме?

— Нет, сударыня,— ответил Попино.

— Хотя вы и расспрашивали меня с коварством, в данном случае совершенно излишним для следователя, так как и без всяких особых ухищрений можно было узнать истину,— продолжала она,— и хотя я считаю себя вправе больше ничего не отвечать на ваши вопросы, я чистосердечно признаюсь вам, что мое положение в свете, усилия, к которым я прибегаю для поддержания связей, совершенно не соответствуют моим вкусам. Сначала я долго жила в одиночестве, но меня стала тревожить судьба детей, я поняла, что должна заменить им отца. Принимая друзей, поддерживая связи, делая долги, я старалась обеспечить им в будущем помощь и поддержку, готовила им блестящую карьеру; а на все это, достигнутое благодаря мне, многие расчетливые люди, чиновники или банкиры, не пожалели бы никаких денег.

— Я высоко ценю вашу самоотверженность, сударыня,— ответил следователь.— Она делает вам честь, и мне не в чем вас упрекнуть. Суду надлежит всем интересоваться; он должен все знать, должен все взвесить.

Чувство такта и привычка разбираться в людях подсказали маркизе, что на г-на Попино не могут повлиять никакие расчеты. Она думала встретить честолюбивого чиновника, а неожиданно столкнулась с совестливым человеком. Внезапно у нее мелькнула мысль, что своей цели она добьется другими путями. Лакеи подали чай.

— Сударыня, не желаете ли вы еще что-нибудь сообщить мне? — спросил Попино, увидев приготовления к чаю.

— Сударь,— высокомерно бросила маркиза,— исполняйте свой долг: допросите господина д'Эспара, и вы сами меня пожалеете, я не сомневаюсь...

Подняв голову, она гордо и дерзко взглянула на Попино; старик почтительно поклонился.

— Нечего сказать, хорош твой дядюшка,— сказал Растиньяк Бьяншону.— Что он, совсем ничего не понимает? Не знает, кто такая маркиза д'Эспар, представления не имеет, каким пользуется она влиянием, как велика ее тайная власть над светом? Завтра у нее будет хранитель печати.

— Я тут ни при чем,— возразил Бьяншон.— Ведь я

же тебя предупреждал! Дядюшка человек неподатливый.

— Ну, так ему поддадут как следует,— сказал Растиньяк.

Доктор раскланялся с маркизой и бессловесным шевалье и поспешил за Попино, который не склонен был затягивать неудобное положение и уже семенил к выходу.

— У этой женщины долгов наберется на сто тысяч экю,— заметил следователь, садясь в кабриолет своего племянника.

— Что думаете вы об этом деле?

— Я ничего не могу сказать, пока всего не разузнаю,— сказал следователь.— Завтра с утра я вызову к себе к четырем часам госпожу Жанрено и попрошу объяснить известные компрометирующие ее обстоятельства.

— Мне бы очень хотелось узнать, чем закончится это дело.

— Ах, господи! Неужели ты не видишь? Ведь маркиза — орудие в руках этого длинного сухого господина, который не проронил ни слова Он немного сродни Каину, но этот Каин ищет палицу в суде, где, на его беду, кой у кого сохранился еще меч Самсона.

— Ах, Растиньяк, Растиньяк! — воскликнул Бьяншон.— И понес же тебя черт в это болото!

— Мы уже привыкли к семейным заговорам; не проходит и года, чтобы суд за отсутствием оснований не прекращал дела об учреждении над кем-нибудь опеки. В нашем обществе не клеймят позором подобные попытки, и в то же время мы посылаем на каторгу оборванца, разбившего стекло, чтобы завладеть золотом. Нет, нашим законам далеко до совершенства!

— Ну, а факты, изложенные в прошении?

— Дорогой мой, ты до сих пор не подозреваешь, какие сказки плетут клиенты своим поверенным. Если бы стряпчий брался только за защиту справедливых интересов, ему не окупить бы даже стоимости своей конторы.

На другой день, в четыре часа дня, тучная женщина, несколько напоминавшая бочку, на которую напялили платье с поясом, пыхтя и обливаясь потом, поднималась по лестнице к Попино. С великими трудностями вы-

лезла она из зеленого ландо, которое было ей под стать. Толстуху невозможно было себе представить без ее зеленого ландо, а ландо — без толстухи.

— Ну, вот и я, уважаемый! — доложила она, появляясь в дверях кабинета.—Я госпожа Жанрено. Вы потребовали меня к себе, словно какую-то воровку.

Эти обыденные слова, произнесенные обыденным голосом, прерывались астматической одышкой и закончились приступом кашля.

— Ах, сударь, вы не представляете себе, как вредна мне сырость. Не в обиду вам будь сказано, я долго не протяну. Ну, вот и я!

Следователь опешил при виде сей предполагаемой маршальши д'Анкр. У г-жи Жанрено было красное, изрытое оспой, круглое, как луна, лицо с низким лбом и вздернутым носом; да и вся она была кругла, как шар. У нее были живые глаза сельской жительницы, простодушный вид, бойкая речь, темно-русые волосы, прикрытые поверх чепчика зеленой шляпой с потрепанным букетиком желтых цветочков. На ее объемистую грудь нельзя было смотреть без смеха; когда она кашляла, казалось, что лиф вот-вот лопнет; а ноги у нее были толстые, как тумбы; парижские мальчишки называют таких женщин *трамбовками*. На вдове Жанрено было зеленое платье, отделанное шиншиллой и сидевшее на ней, как на корове седло. Словом, вся ее наружность была в духе ее заявления: «Ну, вот и я!»

— Сударыня,— обратился к ней Попино,— вас подозревают в обольщении маркиза д'Эспара, в вымогательстве у него значительных сумм...

— В чем, в чем подозревают? — завопила она.— В обольщении? Но, уважаемый, ведь вы человек почтенный, следователь,— значит, должны быть с понятием. Посмотрите на меня! Ну кто на меня такую позарится! Мне наклониться и завязать шнурки на башмаках — и то не под силу. Слава те господи, вот уже двадцать лет, как я не ношу корсета,— боюсь богу душу отдать. В семнадцать лет я была тоненькая, как тростинка, и прехорошенькая,— что уж теперь скромничать! И вышла я замуж за Жанрено, человека самостоятельного, хозяина соляной баржи. У меня родился сын, красавец, моя гордость,— не хвалясь, скажу, что сын удался у меня на

славу! Мой мальчуган был солдатом у Наполеона, да не из последних, в императорской гвардии служил. Увы! Старик мой утонул — и все пошло прахом! Я заболела оспой, два года сиднем сидела у себя в комнате, а вылезла оттуда, видите, какой толстухой, изуродованная навсегда, несчастная... Ну чем тут обольстить?..

— Но, сударыня, почему же тогда господин д'Эспар давал вам такие...

— Огромные суммы, так? Пожалуйста, не стесняйтесь! Ну, а вот почему давал — говорить не велено.

— Напрасно. В настоящее время его семья, не без основания встревоженная этим, начала дело...

— Господи боже мой! — воскликнула она, вскочив, как ужаленная.— Неужто он пострадает из-за меня? Он — праведник, другого такого на свете нет! Да мы все ему отдадим, господин судья, только бы он не знал никаких горестей, только бы ни один волос у него с головы не упал. Так и запишите в своих бумагах. Господи боже мой! Побегу я к Жанрено, расскажу, что случилось. Ай-ай! Дела-то какие!

И толстуха вскочила, бросилась к дверям, кубарем скатилась с лестницы и исчезла.

«Вот эта не лжет,— подумал следователь.— Ну что же, подождем до завтра; завтра отправлюсь к маркизу д'Эспару».

Люди, пережившие тот возраст, когда неосмотрительно расточают силы, знают, какое огромное влияние подчас оказывают на важные события ничем не примечательные с первого взгляда случайности, и не удивятся поэтому, что следующее пустяковое обстоятельство оказалось столь значительным. На другой день Попино нездоровилось, у него был самый обыкновенный насморк. Не подозревая, сколь опасна может быть затяжка дела, старик, которого слегка знобило, остался дома и отложил допрос маркиза д'Эспара. Пропущенный день сыграл в данном случае такую же роль, как и бульон, из-за которого Мария Медичи опоздала в *день одураченных* на свидание с Людовиком XIII, что дало возможность Ришелье приехать первым в Сен-Жермен и вновь покорить своего царственного пленника. Прежде чем отправиться за следователем и его протоколистом к маркизу д'Эспару, стоило бы, пожалуй, познакомиться

с домом, обстановкой и образом жизни этого отца семейства, представленного в прошении его жены умалишенным.

В старых кварталах Парижа встречаются здания, вид которых говорит археологу об известном стремлении украсить город и о любви к своему дому, побуждающей строить на совесть. Дом, где в ту пору проживал г-н д'Эспар, на улице Монтань-Сент-Женевьев, являл собой один из таких старинных памятников; он был выстроен из тесаного камня с некоторым архитектурным великолепием, но камни почернели от времени, а внешняя и внутренняя отделка пострадала от коловращения городской жизни; высокопоставленные лица, некогда проживавшие в Университетском квартале, выехали оттуда вместе с высшими церковными учреждениями; в доме нашли себе пристанище такие промыслы и такие жильцы, для которых он не предназначался. В конце прошлого века там помещалась типография; паркет был испорчен, деревянные панели загрязнились, стены почернели, почти везде комнаты были наново перегорожены. В этом величественном здании, некогда принадлежавшем кардиналу, квартировали теперь безвестные жильцы. Архитектура его указывала на то, что оно построено во времена Генриха III, Генриха IV или Людовика XII — в ту же пору, когда возводились близ него дворцы Миньон, Серпант, дворец Анны Гонзаго и когда расширялась Сорбонна. Какой-то старик уверял, будто в прошлом веке он назывался особняком Дюперрона. Вполне возможно, что знаменитый кардинал построил его или по крайней мере жил там. В глубине двора до сих пор сохранился боковой каменный подъезд-перрон, в сад выходил другой перрон, расположенный посередине заднего фасада. Несмотря на упадок, в котором находилось здание, археологи могут обнаружить в скульптурном орнаменте обоих *перронов* наивный намек на витые шнуры, украшавшие кардинальскую шляпу *Дюперрона*. Маркиз д'Эспар занимал нижний этаж,— без сомнения, ради удовольствия пользоваться садом, имевшим два преимущества, очень важных для здоровья его сыновей: он выходил на юг и был довольно большим для этого квартала. Местоположение дома — на улице, само название которой указывало на

крутой подъем,— было достаточно высоким, что оберегало от сырости даже первый этаж. Г-н д'Эспар поселился здесь, чтоб жить поблизости от учебных заведений и наблюдать за образованием своих сыновей, и, надо полагать, снял это помещение за весьма скромную плату, ибо в то время квартиры здесь были недороги. Да и владелец, верно, был сговорчив, так как помещение пришло в полный упадок и требовало основательного ремонта. Таким образом, г-н д'Эспар мог разрешить себе произвести некоторые затраты, чтобы получше устроиться и все же не прослыть безумцем. Высокие комнаты, их расположение, прекрасные потолки, деревянная обшивка стен, от которой остались одни лишь рамы,— все здесь дышало тем величием, которое в старину церковь придавала всему, предпринятому и созданному ею, которое художники находят и поныне во всем, что уцелело от этой старины,— будь то книга, одежда, створка книжного шкафа или какое-нибудь кресло. Деревянная обшивка была по распоряжению маркиза окрашена в коричневые тона, любимые голландцами и старой парижской буржуазией, да и в наши дни придающие особенную прелесть полотнам художников-жанристов. Стены были оклеены гладкими обоями, прекрасно подобранными под цвет панелей. На окнах висели занавески из недорогой материи, гармонирующие со всей обстановкой. Мебели было немного, но расположена она была со вкусом. Каждого, кто входил в этот дом, охватывало безмятежное и отрадное чувство, навеянное глубокой тишиной и покоем, царившими там, скромностью и гармонией красок, если придавать этому выражению смысл, какой вкладывают в него живописцы. Благородство во всех мелочах, безукоризненная чистота, полное соответствие между вещами и людьми — все подсказывало одно определение: приятный дом. Мало кто допускался в покои маркиза и его сыновей, и соседям жизнь их могла казаться таинственной. В другой части здания, выходящей на улицу, на четвертом этаже находились три большие комнаты, где после пребывания там типографии царил разгром и невероятное запустение. Эти три комнаты, предназначенные для работ над изданием «Живописной истории Китая», были отведены для конторы, склада и кабинета, где г-н д'Эспар проводил часть

дня: он приходил к себе в кабинет после завтрака и оставался там до четырех часов дня, наблюдая за предпринятым им изданием. Там обычно принимал он и посетителей. Часто его сыновья, возвратившись из школы, прямо поднимались к отцу наверх. Комнаты первого этажа были как бы святилищем, где с обеденного часа и до утра маркиз уединялся с сыновьями. Итак, семейная жизнь его была старательно ограждена от посторонних взглядов. Из прислуги он держал только старуху-кухарку, с давних пор работавшую в его семье, и лакея лет сорока, который служил у маркиза еще до женитьбы его на девице де Бламон. При мальчиках находилась гувернантка. Чистота и порядок в комнатах говорили о том, как была преданна г-ну д'Эспару эта женщина, ведавшая хозяйством и ходившая за детьми. Все трое домочадцев, серьезные и малообщительные, понимали, казалось, цель, которой подчинил маркиз свою домашнюю жизнь. Отличие их привычек от привычек, обычно свойственных барской челяди, бросалось всем в глаза, окутывало дом покровом какой-то тайны и давало обильную пищу клевете, чему немало содействовал и сам г-н д'Эспар. По вполне уважительным причинам маркиз не сближался с жильцами дома. Он занялся воспитанием детей и решил оградить их от соприкосновения с чуждыми им людьми. Возможно также, что он хотел отделаться от навязчивых соседей. Подобное поведение знатного дворянина в годы, когда либерализм, как никогда прежде, захватил Латинский квартал, разжигало мелкие страсти, ничтожные и низкие чувства, порождающие сплетни в швейцарских, язвительные пересуды на лестнице, неизвестные ни г-ну д'Эспару, ни его слугам. Лакей его прослыл иезуитом, кухарка — притворщицей, экономка же — сообщницей г-жи Жанрено, обиравшей помешанного. А помешанным называли самого маркиза. Мало-помалу жильцы стали объяснять безумием многие поступки г-на д'Эспара и судачили о них между собой, не находя в них ни капли смысла. Мало веря в успех издания, посвященного Китаю, они кончили тем, что убедили домовладельца, будто г-н д'Эспар сидит без денег, и сделали это как раз в то самое время, когда, по рассеянности, свойственной занятым людям, он просрочил уплату налога и получил из управления сборами

повестку о принудительном взыскании. И вот 1 января домовладелец письменно потребовал от него взноса квартирной платы, а привратница потехи ради задержала эту бумагу. 15 января было уже вынесено постановление, которое привратница опять слишком поздно отдала г-ну д'Эспару, полагавшему, впрочем, что произошла какая-то путаница: он не допускал злостных намерений со стороны человека, в доме которого прожил двенадцать лет. На имущество маркиза был наложен судебным приставом арест в тот самый момент, когда лакей г-на д'Эспара собирался отнести домовладельцу деньги за помещение. Об этом случае с умыслом было рассказано лицам, с которыми маркиз был связан деловыми отношениями; кое-кто из них встревожился, тем более что они и так уже сомневались в его платежеспособности, обеспокоенные россказнями о громадных суммах, которые якобы вымогали у него барон Жанрено и его мать. Подозрения жильцов, кредиторов и домовладельца почти оправдывались чрезмерной экономией маркиза в его личных расходах. Он вел себя, как разорившийся человек. Покупая что-нибудь у соседних лавочников, люди его немедленно расплачивались за всякую мелочь, словно боялись долгов; если бы они попросили отпустить что-нибудь на слово, то им, наверное, отказали бы — так подорвали в квартале кредит маркиза гнусные сплетни. Некоторые лавочники благоволят к неаккуратным плательщикам, поддерживающим с ними добрые отношения, и недолюбливают исправных, если те держатся слишком независимо и не якшаются с ними,— слово грубое, но выразительное. Таковы уж люди. Почти во всех слоях общества они покровительствуют пролазам и низким душонкам, которые им льстят, и питают неприязнь к людям, которые оскорбляют их своим превосходством, в чем бы оно ни выражалось. Лавочник, хулящий королевский двор, окружен собственными придворными. Словом, образ жизни маркиза и его сыновей неизбежно должен был вызвать озлобление соседей, и оно достигло того предела, когда люди не останавливаются уже перед подлостью, чтобы погубить своего воображаемого врага. Г-н д'Эспар был дворянином до мозга костей, как жена его была великосветской дамой; такие люди теперь почти перевелись во Франции,

и лиц, которые подходят под это определение, можно перечесть по пальцам. Эти люди выросли еще на старой почве, на верованиях, унаследованных от отцов, на привычках, укоренившихся с детства. Для того чтобы верить в чистоту крови, в привилегию породы, надо в душе считать себя выше других, с самого рождения чувствовать расстояние между патрицием и плебеем. Можно ли повелевать, признавая других равными себе? Наконец и само воспитание укрепляло мысли, естественные для вельмож, увенчанных дворянской короной еще до того, как мать запечатлела на их челе первый поцелуй. Такие мысли и такое воспитание более невозможны во Франции, где вот уже сорок лет, как случай присвоил себе право жаловать дворянство, омывая своих избранников кровью сражений, позлащая их славой, венчая ореолом гения; где из-за отмены законов о заповедном имуществе и майорате дробятся земельные владения и дворяне вынуждены заниматься своими собственными делами, вместо того, чтобы заниматься делами государственными; где величие личности стало величием, утверждаемым в постоянно напряженном труде. Наступила новая эра. Г-н д'Эспар, если рассматривать его как обломок великого здания феодализма, вызывал почтительное восхищение. Он признавал, что происхождение возвышает его над толпой; но он признавал также и все обязанности дворянства; он обладал добродетелями и твердостью, которые требуются от человека благородного происхождения В этих правилах воспитал он детей и с колыбели внушил им веру в свою касту. Глубокое чувство собственного достоинства, фамильная гордость, уверенность в собственном значении породили в них царственную надменность, рыцарскую отвагу и отеческую доброту феодального сеньора; манеры их соответствовали их образу мыслей и были бы прекрасны при дворе, но раздражали всех на улице Монтань-Сент-Женевьев, в этой стране равенства, если только таковая существует, где, впрочем, все считали г-на д'Эспара разоренным, где все от мала до велика отказывали в привилегиях дворянства дворянину без состояния, ибо каждый считал здесь, что они должны принадлежать разбогатевшим буржуа. Итак, отчужденность между этой семьей и соседями была не только внешней, но и внутренней.

У отца, как и у детей, наружность соответствовала всему их духовному облику. Г-н д'Эспар — ему было тогда лет пятьдесят — мог бы служить образцом родовитого дворянина XIX века. Худощавый, светловолосый, с благородным лицом, он обладал каким-то прирожденным изяществом, говорившим о возвышенных чувствах; однако он поражал своей подчеркнутой холодностью, как бы требуя к себе особого уважения Орлиный, слегка искривленный вправо нос — недостаток, не лишенный своеобразной прелести,—синие глаза, высокий лоб с резкими надбровными дугами, только сильнее оттенявшими глаза, сгущая их синеву,— все указывало на ум прямой и настойчивый, на безупречную честность, но в то же время придавало его лицу какое-то странное выражение. Крутой лоб действительно мог показаться отмеченным печатью безумия, а густые сросшиеся брови еще усиливали своеобразие лица. У него были белые, холеные руки аристократа, узкая, с высоким подъемом нога. Речь у него была невнятная, заикающаяся, манера излагать свои мысли — неясная, и у собеседника создавалось впечатление, будто он, как принято выражаться в просторечии, плетет языком, сбивается, не находит главного, сам себя прерывает, не заканчивает фразы. Этот чисто внешний недостаток совсем не вязался с твердой линией рта и резко очерченным профилем. Несколько порывистая походка соответствовала его манере говорить. Все эти особенности как бы подтверждали приписываемое ему помешательство. Всегда тщательно одетый, он, тем не менее, очень мало тратил на самого себя, по три, по четыре года носил один и тот же черный сюртук, старательно вычищенный старым слугой. Оба его сына отличались красотой и тем особым изяществом, которое уживается с аристократической надменностью. Прекрасный цвет лица, ясный взгляд, нежная, прозрачная кожа свидетельствовали о чистоте нравов, правильном образе жизни, равномерном чередовании работы и развлечений. У обоих были черные волосы и синие глаза, слегка искривленный, как у отца, нос, но, возможно, от матери они унаследовали спокойную уверенность речи, взгляда и осанки, свойственную всем Бламонам-Шоври. Их голоса, чистые, как хрусталь, волновали душу и очаровывали своей мягкостью; словом, женщина жа-

ждала бы услышать такой голос, после того как заглянула бы в синее пламя таких глаз. В их гордости была своеобразная скромность, целомудренная сдержанность, своего рода «*noli me tangere*» [1]; будь они старше, во всем этом можно было бы заподозрить расчет, настолько они возбуждали желание узнать их поближе. Старшему, графу Клеману де Негреплису, пошел шестнадцатый год. Уже два года как он снял изящную английскую курточку, какую еще носил младший брат, виконт Камилл д'Эспар. Граф, полгода тому назад оставивший коллеж Генриха IV, был одет, как молодой человек, и, видимо, испытывал удовольствие от своего первого элегантного костюма. Отец не хотел, чтобы юноша загубил целый год на изучение философии, и решил завершить его образование изучением высшей математики. Кроме того, маркиз обучал его восточным языкам, международному праву, геральдике, истории по первоисточникам: по грамотам, летописям, сборникам узаконений. Камилл же только недавно перешел в класс риторики.

День, избранный Попино для допроса г-на д'Эспара, пришелся на четверг, когда в коллежах нет занятий. Оба брата играли в саду до девяти часов утра, пока не проснется отец. Младший брат впервые собирался отправиться в тир и просил старшего замолвить за него словечко перед отцом и получить разрешение. Клеман пытался сопротивляться его уговорам. Виконт всегда чуть-чуть злоупотреблял тем, что он был сильнее брата, и нередко вызывал его на драку. И вот оба мальчика под конец увлеклись, принялись бороться и драться, забавляясь, как школьники. Гоняясь друг за другом по саду, они расшалились и разбудили отца; не замеченный ими в пылу боя, он смотрел на них из окна. Маркиз с радостью глядел на сыновей; тела их сплетались, как змеи; лица, разгоряченные борьбой, раскраснелись, глаза метали искры, руки и ноги извивались, словно струна на огне; они падали, подымались, вновь сходились, как борцы на арене, и доставляли отцу то ощущение счастья, которое вознаграждает за самые жгучие страдания бурной жизни. Двое жильцов — один в третьем, другой во втором этаже — принялись злословить насчет помешанного

---

[1] Не тронь меня (*лат.*).

старика, стравливающего себе на потеху собственных детей. Сейчас же отовсюду высунулись любопытные физиономии, маркиз их заметил и позвал сыновей. Они тут же взобрались на подоконник и спрыгнули к нему в спальню, и через минуту Клеман добился разрешения для Камилла. У соседей же только и было разговоров, что о новом признаке помешательства маркиза.

Когда около полудня Попино с протоколистом вошли в дом и спросили г-на д'Эспара, привратница взялась проводить их на четвертый этаж и по дороге рассказала, как г-н д'Эспар еще сегодня утром стравил своих сыновей и смеялся, словно изверг, каким он и был на самом деле, видя, что младший до крови искусал старшего, и как ему хотелось, чтобы дети разорвали друг друга у него на глазах.

— А спросите-ка, почему? — прибавила она.— Ну, на это он и сам вам не ответит.

Привратница вынесла свой приговор уже на площадке четвертого этажа, у самой двери с объявлением о выходящих выпусках «Живописной истории Китая». Грязная площадка, испачканные перила, дверь со следами типографской краски, разбитое окно, потолок, на котором ученики, балуясь, написали коптящей свечой разные непристойности, кучи бумаг и мусора, нарочно или по небрежности наваленные в углах,— словом, все подробности представшей перед ними картины так наглядно подтверждали все, сообщенное маркизой, что, несмотря на все свое беспристрастие, следователь не мог не поверить ей.

— Вот вы и пришли, господа,— сказала привратница.— Заведенье всем на удивленье! Тут на китайские дела денег столько просадили, что хватило бы на целый квартал.

Протоколист с усмешкой взглянул на Попино, и тот с трудом удержался от улыбки. В первой комнате они застали старика, который, как видно, был одновременно рассыльным, кладовщиком и кассиром. Старик этот был мастер на все руки по «китайским делам». Вдоль стен тянулись длинные полки, заваленные отпечатанными уже выпусками. В дальнем конце комнаты за деревянной решетчатой перегородкой, изнутри задернутой зелеными занавесками, находилось нечто вроде кабинета. По по-

лукруглому окошечку для выдачи денег видно было, где помещается касса.

— Могу я видеть господина д'Эспара? — обратился Попино к старику в серой блузе.

Кладовщик открыл дверь в соседнюю комнату; там следователь и протоколист увидели скромно одетого седовласого старика с орденом Святого Людовика на груди. Сидя за столом, он сравнивал цветные эстампы и при виде посетителей оторвался от работы. Эта скромная комната, служившая конторой, была завалена книгами и оттисками. За другим столом, выкрашенным в черную краску, должно быть, обычно еще кто-то работал.

— Сударь, я имею честь говорить с маркизом д'Эспаром? — спросил Попино.

— Нет, сударь,— ответил старик, вставая.— Какая у вас до него надобность? — прибавил он, подходя к вошедшим с учтивостью благовоспитанного аристократа.

— Мы хотели бы поговорить с ним по сугубо личным делам,— ответил Попино.

— Д'Эспар, тут тебя два господина спрашивают,— сказал старик, проходя в последнюю комнату, где маркиз у камина читал газеты.

В кабинете на полу лежал потертый ковер, на окнах висели занавеси сурового полотна; из мебели здесь стояло несколько стульев красного дерева, два кресла, секретер, высокая конторка, а на камине дрянные часы и два старых канделябра. Старик ввел в комнату Попино и протоколиста и предложил им стулья, словно он был хозяином дома; г-н д'Эспар спокойно ждал. После взаимных приветствий, во время которых следователь наблюдал предполагаемого умалишенного, маркиз, естественно, поинтересовался целью визита. Тогда Попино посмотрел на старика и на маркиза достаточно выразительным взглядом.

— Я полагаю, господин маркиз,— объяснил г-н Попино,— что характер моих обязанностей и порученное мне расследование требуют, чтобы мы остались с вами наедине, хотя закон допускает в подобных случаях присутствие домашних при допросе. Я следователь суда первой инстанции департамента Сены и направлен к вам председателем суда, чтобы допросить вас о фактах,

изложенных в прошении маркизы д'Эспар о взятии вас под опеку.

Старик вышел из комнаты. Когда следователь приступил к беседе с маркизом, протоколист закрыл дверь, бесцеремонно уселся за конторкой, разложил на ней свои бумаги и приготовился вести протокол. Попино не спускал глаз с г-на д'Эспара, он наблюдал, как тот воспринял заявление, такое жестокое для всякого нормального человека. Маркиз д'Эспар, обычно бледный, как все блондины, так и вспыхнул от гнева, весь передернулся, сел, положил газету на камин и опустил глаза. Он тотчас же взял себя в руки и стал разглядывать следователя, как видно, пытаясь понять по лицу, что это за человек.

— Почему же, сударь, меня не предупредили о подобном прошении? — спросил он.

— Маркиз, принято считать, что лица, подлежащие опеке, находятся не в здравом уме, а потому предупреждать их о такого рода заявлениях бесполезно. Обязанность суда проверить прежде всего доказательства просителя.

— Вполне правильно,— ответил маркиз.— Итак, сударь, не откажите в любезности сказать мне, что я должен вам сообщить?

— Вы должны только отвечать на мои вопросы, не упуская никаких подробностей. Как бы ни были деликатны причины вашего поведения, давшего повод госпоже д'Эспар подать это прошение, говорите смело. Нет надобности заверять вас, что суд знает свои обязанности и что в подобных случаях гарантируется строжайшая тайна...

— Сударь,— ответил маркиз, лицо которого выражало неподдельную муку,— а каковы будут последствия, если мои показания бросят тень на поведение госпожи д'Эспар?

— Суд может вынести ей порицание при мотивировке своего решения.

— Это порицание обязательно? Если я попрошу вас, прежде чем давать вам показания, чтобы суд в своем решении не допустил ничего оскорбительного для госпожи д'Эспар в случае благоприятного для меня исхода дела,— будет ли принята во внимание моя просьба?

Следователь взглянул на маркиза, и эти два благородных человека без слов поняли друг друга.

— Ноэль,—обратился Попино к протоколисту,—выйдите в соседнюю комнату. Я позову вас, когда вы понадобитесь. Если, как я сейчас предполагаю,— продолжал он, когда протоколист вышел,— в основе вашего дела лежит что-либо, не подлежащее оглашению, обещаю вам, что суд уважит вашу просьбу и будет действовать деликатно. Первое обвинение, выдвинутое против вас госпожой д'Эспар,— самое серьезное, и я прошу вас разъяснить его мне,— сказал следователь, помолчав.— Речь идет о растрате вами вашего состояния ради некоей госпожи Жанрено, вдовы владельца речной баржи, или, вернее, ради сына ее — полковника Жанрено, для которого вы исхлопотали у короля гвардейский полк и которому так покровительствуете, что устраиваете ему выгодный брак. Прошение заставляет думать, что ваша приязнь превосходит своей горячностью всякое чувство, как допустимое нравственностью, так и порицаемое ею.

Внезапно краска залила все лицо маркиза, даже слезы навернулись у него на глаза и смочили ресницы; но справедливое негодование преодолело чувствительность, которая считается слабостью у мужчины.

— Правду сказать, сударь,— ответил маркиз изменившимся голосом,— вы ставите меня в очень затруднительное положение. Мотивы моего поведения должны были умереть вместе со мной... Объясняя их, я принужден обнажить перед вами скрытые раны, доверить вам честь нашей семьи и говорить о самом себе, а вы понимаете, как это трудно. Я надеюсь, что все это останется между нами. Вы найдете, конечно, юридическую форму, чтобы выразить ваше решение, и не упоминая о моих признаниях...

— Можете быть спокойны, маркиз.

— Спустя некоторое время после моей женитьбы,— начал г-н д'Эспар,— моя жена растратила столько денег, что мне пришлось прибегнуть к займу. Ведь вам известно, каково было положение дворянства во время Революции? У меня не было средств ни на управляющего, ни на стряпчего. В наши дни почти все дворяне вынуждены сами вести свои дела. Большая часть бумаг на земельные владения в Лангедоке, Провансе или Кон-

те были перевезены отцом в Париж: отец не без основания боялся розысков, предпринимавшихся в целях уничтожения фамильных бумаг землевладельцев, или, как тогда говорили, дворянских грамот. Мы происходим из рода Негреплис. Д'Эспар — имя, связанное с титулом, приобретенным при Генрихе Четвертом через брак, принесший нам земли и маркизат при условии, что мы соединим с нашим гербом герб старинного беарнского рода д'Эспаров, связанного по материнской линии с домом д'Альбре,— *четверочастный щит, по золотому полю три черные перевязи, по лазоревому полю две скрещенные серебряные лапы грифонов с червленными когтями* со знаменитым девизом: Des partem leonis [1]. В то время мы потеряли Негреплис, маленький городок, покрывший себя славой в годы религиозных войн, так же как и предок мой, носивший его имя. Вождь католиков Негреплис был разорен пожаром: протестанты не пощадили друга Монлюка. Королевская власть отнеслась несправедливо к Негреплису; он не получил ни маршальского жезла, ни управления какой-либо провинцией, ни награды; Карл Девятый, любивший его, умер, не успев воздать ему должное; Генрих Четвертый содействовал его браку с девицей д'Эспар и закрепил за ним земли этого дома; но все имущество Негреплисов уже перешло в руки заимодавцев. Мой прадед, маркиз д'Эспар, как и я, вынужден был совсем молодым взяться за дела, когда отец его умер, промотав состояние своей жены и оставив ему только земли, перешедшие от рода д'Эспар, но с выделом вдовьей части. Молодой маркиз д'Эспар находился в очень стесненных обстоятельствах, тем более, что он нес службу при дворе. Он пользовался благосклонностью Людовика Четырнадцатого, и королевская милость стала источником его богатств. Вот тогда, сударь, и легло на наш герб никому не известное пятно, грязное и кровавое пятно; его я и смываю. Я узнал эту тайну из земельных документов Негреплиса и из старых писем.

В эту торжественную минуту маркиз говорил без заикания, не повторял, как обычно, одних и тех же слов; нетрудно убедиться, что лица, страдающие этими двумя

---

[1] Отдай львиную долю *(лат.)*.

недостатками в обычной обстановке, освобождаются от них, когда страсть вдохновляет их речь.

— Нантский эдикт был отменен,— продолжал он.— Возможно, вы знаете, сударь, что большинству королевских любимцев отмена эдикта принесла богатство. Людовик Четырнадцатый раздавал вельможам земли, отобранные у протестантов, не успевших продать свои владения. Несколько королевских любимцев отправились, как тогда говорили, на охоту за протестантами. Так я убедился, что земли, принадлежащие в настоящее время двум герцогским фамилиям, были отобраны у злополучных негоциантов. Я не стану объяснять вам, юристу, какие сети расставляли беглецам, старавшимся вывезти свои крупные капиталы; скажу только, что владения Негреплис, в которые входили двадцать два прихода и право на город, что земли Граванж, некогда также принадлежавшие нашему роду, были в те времена собственностью протестантской семьи. Мой дед получил их в дар от короля Людовика Четырнадцатого. Дар этот был актом величайшей несправедливости. Владелец этих земель, надеясь вернуться во Францию, оформил фиктивную продажу их и собрался выехать в Швейцарию, куда он уже отправил свою семью. Вероятно, он решил воспользоваться всеми предоставляемыми указом отсрочками, чтобы привести в порядок свои дела. Человек этот был арестован по приказу губернатора, подставной покупатель сознался, беднягу негоцианта повесили, и мой дед, который был замешан в этом темном деле, получил его земли; губернатор был его дядей с материнской стороны, и мне, к несчастью, попалось письмо, в котором дед просил похлопотать за него перед «Богоданным» — так называли короля его придворные. О жертве в письме говорилось в таком пренебрежительно-шутливом тоне, что я содрогнулся. Мало того, деньги, присланные во Францию эмигрировавшей семьей, чтобы спасти жизнь отцу, были приняты губернатором, что не помешало ему отправить беднягу на тот свет.

Маркиз д'Эспар остановился,— как видно, воспоминания все еще угнетали его.

— Несчастного звали Жанрено,— продолжал он.— Имя это должно объяснить вам мое поведение. Я не мог вспоминать без острого стыда о позорной тайне,

запятнавшей прошлое нашего рода. Это богатство дало возможность деду жениться на девице Наваррен-Лансак, наследнице всех владений младшей ветви этого рода, в то время более богатой, чем старшая. Так отец стал одним из крупных землевладельцев королевства. Он женился на моей матери, представительнице младшей линии рода Гранлье. Состояние, нечестно нажитое, как это ни странно, пошло нам впрок. Решив немедленно исправить зло, я написал в Швейцарию и не успокоился, пока не напал на след потомков этого протестанта. В конце концов я узнал, что Жанрено, дошедшие до полной нищеты, покинули Фрейбург и вернулись во Францию. И вот мне стало известно, что наследник этой несчастной семьи — господин Жанрено, скромный лейтенант кавалерийских войск Бонапарта. С моей точки зрения, права семьи Жанрено бесспорны. Но, чтобы восстановить их права, надо было привлечь к ответственности фактических владельцев земель, не так ли, сударь? К каким же властям могли обратиться эти изгнанники? Суд ждет нас на небесах, или, вернее, он здесь,— сказал маркиз, ударяя себя в грудь.— Я не хотел, чтобы сыновья думали обо мне так, как я думаю о своем отце и предках: я хотел, чтобы они унаследовали незапятнанный герб и состояние, я не хотел, чтобы мое поведение дало повод считать благородство пустым звуком. К тому же, рассуждая исторически, какое право имеют на земли, добытые преступной конфискацией, эмигранты, восстающие против конфискаций революционных? В лице же господина Жанрено и его матери я встретил щепетильно честных людей: послушать их, так покажется, что они меня грабят. Несмотря на все мои уговоры, они согласились принять лишь то, что стоили эти земли в ту пору, когда наш род получил их от короля. Стоимость эту мы определили в миллион сто тысяч франков, причем они предоставили мне право выплаты по собственному моему усмотрению и без всяких процентов. Мне пришлось отказаться на длительный срок от всех доходов, чтобы выполнить это обязательство. И вот тогда, сударь, рассеялись мои иллюзии относительно госпожи д'Эспар. Когда я предложил ей покинуть Париж и поселиться в провинции, где на половину наших доходов мы могли бы прилично прожить и таким образом скорее

выплатить долг, о котором я рассказал ей, не касаясь кое-каких тяжких обстоятельств этого дела, госпожа д'Эспар сочла меня сумасшедшим. Тогда я понял истинный характер жены; она с легким сердцем одобрила бы поведение моего деда, нисколько не думая о гугенотах; испугавшись ее бессердечности и равнодушия к детям, которых она отдала мне без всякого сожаления, я расстался с нею, оставив ей все ее состояние и уплатив наши общие долги. Она заявила, что не желает расплачиваться за мои глупости. Не имея достаточных средств на жизнь и образование сыновей, я решил воспитывать их сам и сделать их мужественными и подлинно благородными людьми. Я приобрел на свои доходы процентные бумаги, мне удалось расплатиться скорее, чем я надеялся, так как я выиграл на повышении процентов. Оставив себе с сыновьями четыре тысячи ливров, я мог бы выплачивать только двадцать тысяч экю в год и освободился бы от лежащих на мне обязательств только лет через восемнадцать; однако недавно я выплатил уже все — миллион сто тысяч франков. Итак, я счастлив, что исполнил свой долг, не причинив ни малейшего ущерба сыновьям. Таковы, сударь, причины, побуждавшие меня выплачивать деньги госпоже Жанрено и ее сыну.

— Итак,— спросил Попино, сдерживая волнение, вызванное этим рассказом,— маркиза знает причину вашего отшельничества?

— Да, сударь.

Попино достаточно красноречиво пожал плечами, порывисто встал и открыл дверь кабинета.

— Ноэль, вы можете идти,— сказал он протоколисту.— Сударь,— продолжал следователь,— хотя после того, что вы рассказали, мне все ясно, я, однако, хотел бы услышать от вас кое-что и о других фактах, упоминаемых в прошении. Так, вы взялись за коммерческое предприятие — занятие, не подходящее для человека благородного происхождения.

— Неудобно говорить здесь об этом,— сказал маркиз, знаком приглашая судью последовать за собой.— Нувьон,— обратился он к старику,— я сойду к себе вниз, скоро вернутся дети, оставайся обедать с нами.

— Значит, ваша квартира не здесь, маркиз? — спросил Попино на лестнице.

— Нет, сударь. Я снимаю это помещение под контору типографии. Взгляните,— продолжал он, указывая на объявление,— официально «История Китая» издается не мною, а одним из самых почтенных парижских книгопродавцев.

Маркиз повел судью на первый этаж.

— Вот моя квартира,— сказал он.

Попино умилила та скорее непринужденная, чем изысканная поэзия, которой дышал этот мирный приют. Погода была чудесная, в широко открытые окна из сада доносился аромат цветов; солнечные блики оживляли слегка потемневшую деревянную обшивку и радовали глаз. Осмотрев все вокруг, Попино подумал, что умалишенный вряд ли был бы способен создать пленительную гармонию, так поразившую его в эту минуту.

«Вот бы мне такую квартиру!» — подумал он.

— Вы скоро собираетесь выехать отсюда? — спросил он маркиза.

— Надеюсь,— ответил маркиз.— Но я подожду, пока младший сын окончит школу и характер у моих детей вполне сложится, только тогда введу я их в общество и допущу близость с матерью; кроме того, я хотел бы, чтобы полученное ими солидное образование они пополнили путешествиями: пусть посетят столицы Европы, понаблюдают людей и нравы, привыкнут разговаривать на языках, которые изучали. Сударь,— сказал он, усаживая следователя в гостиной,— мне неудобно было говорить с вами об издании «Истории Китая» при старом друге нашей семьи, графе де Нувьоне, вернувшемся из эмиграции без всякого состояния; с ним вместе я и затеял это дело, не столько ради себя, сколько ради него. Не посвящая его в причины моего уединения, я сказал ему, что я тоже разорен, но все же у меня еще хватит денег на то, чтобы начать дело, в котором он будет мне полезен. Учителем моим был аббат Грозье; Карл Десятый, в чье владение перешла библиотека Арсенала, когда он был еще только братом короля, по моей просьбе назначил его туда библиотекарем. Аббат Грозье прекрасно изучил Китай, его нравы, обычаи; он приобщил меня к своим знаниям в том возрасте, когда трудно не увлечься до самозабвения тем, что изучаешь. В двадцать пять лет я знал китайский язык и, должен ска-

зать, всегда с невольным восхищением относился к этому народу, завоевавшему своих завоевателей; к народу, чьи летописи восходят ко временам значительно более древним, чем мифологические или библейские времена; к народу, который, опираясь на незыблемые традиции, сохранил в неприкосновенности свою страну, где памятники достигают гигантских размеров, управление превосходно, перевороты невозможны, где идеал прекрасного принимается как принцип бесполезного искусства, где изысканная роскошь достигла предела, а ремесла доведены до совершенства, которого нам не превзойти, меж тем как этот народ не уступает нам даже в тех областях, где мы верим в свое превосходство.

Но если иной раз я и готов подшутить над нашими порядками, сравнивая Европу с Китаем, я все же французский дворянин, а не китаец. Если вас смущает финансовая сторона моего предприятия, я могу вам засвидетельствовать, что мы насчитываем две с половиной тысячи подписчиков на это литературное, иконографическое, статистическое и религиозное монументальное издание, значение которого всеми признано; у нас есть подписчики во всех европейских странах, в одной только Франции мы насчитываем их тысячу двести Подписная цена на наше издание составляет около трехсот франков, и граф де Нувьон получит на свою долю от шести до семи тысяч ливров дохода,— ведь забота о его благосостоянии и была тайной причиной, побудившей меня взяться за это предприятие. Сам же я рассчитываю доставить на эти доходы кое-какие удовольствия детям. Сто тысяч франков, попутно приобретенные мною, пойдут на оплату уроков фехтования, на лошадей, наряды, развлечения, на обучение изящным искусствам, на уроки рисования, на книги, которые им захочется купить,— на все те прихоти, которые так приятно удовлетворять отцу. Если бы пришлось отказывать в этих радостях моим милым сыновьям, вполне заслужившим их своим трудолюбием, жертва, которую я приношу, чтобы спасти честь нашего рода, была бы для меня еще тягостней. Сказать правду, за те двенадцать лет, что я живу вдали от света, воспитывая сыновей, меня совершенно забыли при дворе. Я отказался от политической карьеры, я утерял славу, освященную историей, не приобрел новой,

которую мог бы передать детям, но наш род ничего не потерял,— я вырастил благородных людей. Если я не получил пэрства, то они добьются его честно, посвятив себя служению родине и оказав ей услуги, которые не забываются. Смыв пятно с нашего рода, я обеспечил ему блестящее будущее: разве не выполнил я высокий долг, хотя он и не принес мне ни признания, ни славы? Желаете ли вы получить от меня еще какие-нибудь разъяснения?

В эту минуту во дворе раздался стук копыт.

— Да вот и они,— сказал маркиз.

В гостиную, весело пощелкивая хлыстиками, вошли два подростка, просто и элегантно одетые, в ботфортах со шпорами, в перчатках. Их оживленные лица, разрумянившиеся на свежем воздухе, дышали здоровьем. Оба пожали руку отцу, обменялись с ним, как с другом, нежным взглядом и холодно поклонились следователю. Попино счел совершенно излишним расспрашивать маркиза о его отношениях с сыновьями.

— Хорошо провели время? — спросил их маркиз.

— Да, отец. Для первого раза я сбил шесть кукол двенадцатью выстрелами! — сказал Камилл.

— Где вы были?

— В Булонском лесу! Мы встретили там мать.

— Она говорила с вами?

— Мы в эту минуту так мчались, что она вряд ли видела нас! — ответил молодой граф.

— Но почему же вы не подъехали к ней поздороваться?

— Боюсь, отец, что она не любит, когда мы заговариваем с ней в обществе,— тихо сказал Клеман.— Мы уже слишком взрослые.

У следователя был достаточно тонкий слух, он уловил эти слова, несколько омрачившие маркиза. Попино с удовлетворением наблюдал встречу отца с детьми. Его глаза с какой-то особенной нежностью остановились на маркизе д'Эспаре, лицо и манеры которого говорили о самой высокой честности, осмысленной и рыцарской, о благородстве во всем его блеске.

— Вы... вы видите, сударь,— обратился к нему маркиз, вновь начиная заикаться.— Вы видите, представители правосудия могут... могут явиться сюда... сюда в

любую минуту; да, в любую минуту. Если здесь кто и безумен, если кто и безумен, так это только дети, дети, которые немного без ума от своего отца, и отец, который совершенно без ума от своих сыновей; но это безвредное безумие.

В эту минуту в передней раздался голос г-жи Жанрено и она ворвалась в гостиную, несмотря на протесты лакея.

— Некогда мне церемонии разводить! — кричала она.— Да, господин маркиз,— сказала она, раскланиваясь со всеми,— мне надо немедленно с вами поговорить. Ах ты, господи боже мой, опоздала, упредил-таки меня уголовный судья.

— Уголовный? — воскликнули мальчики.

— Ну понятно, где же мне было вас дома застать, когда вы уж тут как тут. Ах, эти судейские кляузники! Только и думают, как бы напакостить порядочным людям. Знайте, господин маркиз, мы с сыном все вам вернем, ведь тут затронута ваша честь. Мы с сыном все, все вернем, только бы не знали вы никаких огорчений. Ей-богу, надо круглым дураком быть, чтобы взять вас под опеку...

— Отца под опеку? — ужаснулись мальчики, бросаясь к маркизу.— Что случилось?

— Замолчите, сударыня! — прикрикнул на нее Попино.

— Дети, оставьте нас,— сказал маркиз.

Оба мальчика, хоть и очень взволнованные, беспрекословно вышли в сад.

— Сударыня,— сказал Попино,— те деньги, которые маркиз передал вам, принадлежат вам на законном основании, хотя господин д'Эспар излишне строго понимает честность. Если бы все люди, владеющие землями, захваченными при тек или иных обстоятельствах, подчас даже нечестным путем, принуждены были через полтораста лет возвратить их прежним собственникам, не много бы осталось во Франции законных владений. Двадцать дворянских семейств разбогатели, получив состояние Жака Кера, многие принцы королевской крови весьма приумножили свои владения за счет противозаконных конфискаций, произведенных англичанами в пользу своих приверженцев в те времена, когда англичане

владели частью Франции. Наше законодательство позволяет маркизу д'Эспару распоряжаться своими доходами по собственному усмотрению, и никто не может обвинить его в расточительстве. Опеке подлежат люди, действия которых лишены всякого разумного основания, но тут передача вам состояния вызвана самыми достойными, самыми священными побуждениями Итак, можете сохранить все вами полученное, не терзайтесь угрызениями совести и предоставьте свету злословить о прекрасном поступке графа. В Париже и самую чистую добродетель не пощадит самая грязная клевета. Прискорбно, что в современном обществе нас поражает своим благородством поведение маркиза. Ради блага Франции хотел бы я, чтобы подобные поступки казались у нас самыми обычными; но нравы наши таковы, что господин д'Эспар выделяется на их фоне как человек, которого следует венчать лаврами, а никак не угрожать ему опекой. За всю мою долгую судебную практику никогда я не видел и не слышал ничего, что тронуло бы меня так, как тронуло то, что я видел и слышал здесь. Но ведь вполне естественно встретить высшую добродетель в человеке, который помнит, к чему его обязывает благородное происхождение. Надеюсь, после моих слов вы, маркиз, можете положиться на мою скромность и спокойно отнесетесь к суду, если он состоится.

— Ну, славу богу! — сказала г-жа Жанрено.— Вот это судья так судья! Знаете, уважаемый, расцеловала бы я вас, не будь я такой уродиной. Говорит как по писаному!

Маркиз протянул руку Попино, и тот сердечно пожал ее, бросив на г-на д'Эспара, великого в частной жизни, взгляд, полный проникновенного понимания, а маркиз ответил ему ласковой улыбкой. Эти два человека, такие одаренные, такие великодушные, один — буржуа чистой жизни, другой — аристократ, исполненный высоких чувств, сблизились друг с другом тихо, без потрясений, без взрыва страстей, словно слились два ясных, светлых луча. Отец всего квартала почувствовал себя достойным протянуть руку этому вдвойне благородному человеку, а маркизу подсказало сердце, что рука этого судьи никогда не устанет творить добрые дела.

— Маркиз,— сказал Попино, раскланиваясь,— к своему большому удовольствию, могу засвидетельствовать, что с первых же ваших слов я счел присутствие протоколиста излишним.— Затем, подойдя к маркизу, он отошел с ним к окну и прибавил:— Вам пора вернуться к прежней жизни: мне кажется, маркиза находится в этом деле под чьим-то влиянием, с которым вам незамедлительно надо начать борьбу.

Попино вышел из дома, и на дворе, даже на улице, он все еще оглядывался, умиленный воспоминаниями об этой сцене. Такие впечатления никогда не изглаживаются из памяти и воскресают, когда душа жаждет утешения.

«Эта квартира мне бы очень подошла,— раздумывал Попино, возвращаясь домой.— Если господин д'Эспар съедет, я ее сниму...»

На другой день, около десяти часов утра, Попино, который накануне письменно изложил свое заключение по делу, направился во Дворец правосудия, собираясь совершить суд скорый и правый. Когда он вошел в гардеробную, чтобы надеть мантию, служитель передал ему, что председатель суда ждет его у себя в кабинете. Попино тотчас к нему отправился.

— Добрый день, дорогой Попино,— сказал ему председатель суда,— я вас ожидал.

— Господин председатель, дело идет о чем-нибудь серьезном?

— Пустяки,— ответил председатель.— Хранитель печати, с которым я имел честь вчера обедать, поговорил со мной с глазу на глаз. До него дошло, что вы пили чай у госпожи д'Эспар, дело которой вы должны были расследовать. Он дал мне понять, что лучше бы вам не принимать участия в этом процессе.

— Ах, господин председатель, уверяю вас, что я ушел от госпожи д'Эспар как раз в тот момент, когда подали чай, к тому же моя совесть...

— Да, да,— заторопился председатель,— весь суд, оба его отделения, весь Дворец правосудия — все знают вас. Я не буду повторять вам того, что я говорил о вас его светлости, но ведь вы знаете: *жена цезаря должна быть вне подозрений.* Так вот, мы и не подымаем из-за этих пустяков вопроса о судебной дисцип-

лине, а хотим уладить все без шума. Между нами говоря, это касается больше суда, чем вас.

— Но, господин председатель, если бы вы знали, какого рода это дело,— сказал следователь, пытаясь вытащить свой доклад из кармана.

— Я наперед скажу, что вы подошли к делу с полной беспристрастностью. Случалось и мне самому, когда я был простым судьей в провинции, пить чай, и не только чай, у людей, которых мне предстояло судить, но что поделаешь, раз хранитель печати обратил на это внимание,— могут пойти разговоры, а суд обязан оградить себя от всяких сплетен. Всякое столкновение с общественным мнением опасно для судейского сословия даже тогда, когда право на нашей стороне, ведь оружие-то неравное! Чего только не выдумают газетчики, чего только они нам не припишут, а нам, по нашему положению, неудобно даже отвечать. Впрочем, я уже договорился с вашим председателем, и вместо вас, согласно вашему прошению, будет назначен Камюзо. Все устроили по-семейному. Так вот подайте прошение о собственном отводе. Я прошу вас об этом, как о личной услуге; вы будете вознаграждены крестом Почетного легиона, который вы давно заслужили; это уж я беру на себя.

Тут, низко кланяясь, вошел г-н Камюзо, следователь, недавно переведенный из провинции. Увидя его, Попино не мог удержаться от иронической улыбки. Этот бледный белокурый молодой человек, снедаемый тайным честолюбием, казалось, в угоду сильным мира сего готов был вздернуть на виселицу или снять с нее и правого и виноватого, следуя скорее примеру Лобардемона, чем Моле. Поклонившись им обоим, Попино удалился; он счел ниже своего достоинства опровергать возведенное на него лживое обвинение.

Париж, февраль 1836 г.

ДОЧЬ ЕВЫ

Графине Болоньини, урожденной Вимеркати

Если вы еще помните, сударыня, о путешественнике, которому удовольствие беседы с вами напоминало в Милане Париж, вы не удивитесь, что, в знак признательности за многие приятные вечера, проведенные близ вас, он подносит вам одну из своих повестей и просит оказать ей покровительство вашим именем, подобно тому как имя это покровительствовало повестям одного из ваших старых писателей, любимого в Милане. У вас подрастает дочь, уже расцветая красотой, и умненькое, улыбающееся личико вашей Эжени свидетельствует о том, что она унаследовала от матери драгоценнейшие качества женщины и что детство ее озарено тем счастьем, какого не знала в доме своей угрюмой матери другая Эжени, выведенная в этой повести. Французов обвиняют в легкомыслии и забывчивости, но, как видите, постоянством и верностью воспоминаниям я сущий итальянец. Часто, написав имя Эжени, я переносился мыслью в вашу прохладную гостиную с белыми стенами или в садик на виколо деи Капучини — свидетель звонкого смеха милой маленькой Эжени, наших горячих споров, наших рассказов Вы покинули Корсо ради Тре Монастери, я совсем не знаю, как вы там живете, мне уж теперь приходится видеть вас лишь мысленным взором, не среди знакомых мне красивых вещей, которые вас окружали и, наверно, окружают теперь, а как один из прекрасных женских образов, созданных Карло Дольчи, Рафаэлем, Тицианом, Аллори и столь далеких от нас, что трудно поверить в их реальное существование.

Если этой книге удастся перенестись через Альпы, пусть будет она доказательством живейшей благодарности и почтительной дружбы

вашего покорного слуги де Бальзака.

В одном из самых красивых особняков на улице Нев-де-Матюрен две женщины сидят в двенадцатом часу ночи перед камином будуара, обитого тем голубым бархатом нежного отлива, который только за последние годы научились выделывать во Франции. Обойщик, подлинный художник, задрапировал двери и окна мягким кашемиром того же голубого цвета. С красивой розетки в центре потолка свисает на трех цепях серебряная лампа изящной работы, отделанная бирюзою. Стиль убранства выдержан в мельчайших подробностях, вплоть до потолка, затянутого голубым шелком, по которому лучами звезды расходятся сборчатые полосы белого кашемира, через равные промежутки ниспадающие на обивку стен, где они перехвачены жемчужными пряжками. Ноги утопают в пушистом ворсе бельгийского ковра, мягком, как дерн, и усеянном синими букетами по светло-серому фону. Резная палисандровая мебель, сделанная по прекрасным моделям былых времен, своими яркими оттенками оживляет общий тон всей этой обстановки, слишком блеклый и вялый по колориту, как сказал бы художник. Спинки стульев и кресел расшиты по дивному белому шелку синими цветами в широкой раме тонкой деревянной резьбы, изображающей листву.

Две этажерки по обе стороны окна уставлены множеством драгоценных безделушек — цветов прикладного искусства, расцветших под лучами изобретательности. На синем мраморном камине платиновые с воронеными узорами часы окружены причудливейшими статуэтками старого саксонского фарфора, пастушками в свадебных нарядах и с хрупкими букетиками в руках — своего рода китайскими изделиями на немецкий лад. Над ними в раме черного дерева с барельефами сверкают острые грани венецианского зеркала, вывезенного, должно быть, из какого-нибудь старинного королевского дворца. Две жардиньерки являют взорам болезненную роскошь теплиц, бледных и дивных цветов, жемчужин растительного мира.

В этом холодном, чинном будуаре, так аккуратно прибранном, словно он предназначен для продажи, вы не нашли бы шаловливого и капризного беспорядка, который свидетельствует о счастье. Здесь царила свое-

образная гармония,— обе женщины плакали, все имело страдальческий вид.

Имя владельца, Фердинанда дю Тийе, одного из самых богатых в Париже банкиров, объясняет безумную роскошь убранства этого особняка, образцом которой может служить будуар. Человек без роду, без племени, бог весть какими средствами поднявшийся на поверхность, дю Тийе, однако, женился в 1831 году на младшей дочери графа де Гранвиля, пожалованного в пэры Франции после Июльской революции, одного из знаменитейших представителей французского судейского сословия. Согласие на этот брак честолюбец оплатил распискою в получении неполученного приданого, равного тому, которое досталось старшей сестре, выданной за графа Феликса де Ванденеса. Гранвили, в свою очередь, купили союз с родом Ванденесов огромной суммою приданого. В итоге банк возместил ущерб, нанесенный знатью судейскому сословию. Если бы граф де Ванденес мог предвидеть, что через три года породнится с такой личностью, как Фердинанд дю Тийе, он, пожалуй, отказался бы от невесты, но кто же мог в конце 1828 года предугадать поразительные перемены, происшедшие после 1830 года в политическом строе, в имущественных условиях и в нравственных понятиях Франции? Сумасшедшим прослыл бы тот, кто сказал бы графу Феликсу де Ванденесу, что при этой кадрили он лишится своей пэрской короны и что она окажется на голове его тестя.

Съежившись в низком кресле, в позе внимательно слушающей женщины, г-жа дю Тийе с материнскою нежностью прижимала к груди и по временам целовала руку сестры, графини Феликс де Ванденес. В свете, называя ее фамилию, присоединяли к ней имя мужа, чтобы не путать графини с ее золовкою, маркизой, женой бывшего посланника — Шарля де Ванденеса, в прошлом богатой вдовой графа Кергаруэта, а в девицах мадемуазель де Фонтэн. Полулежа на козетке, зажав платок в руке, со слезами на глазах, тяжело дыша от сдерживаемых рыданий, графиня только что доверила г-же дю Тийе такие вещи, в которых лишь сестра признается сестре, когда они любят друг друга. А эти сестры нежно любили друг друга. Мы живем в та-

кое время, когда легко допустить холодность между сестрами, столь странно выданными замуж, и поэтому историк обязан сообщить причины этой нежной любви, сохранившейся между ними в полной неприкосновенности, несмотря на взаимную антипатию и социальную рознь их мужей. Краткий очерк их детства объяснит положение каждой из них.

Мари-Анжелика и Мари-Эжени росли в мрачном особняке квартала Марэ и воспитаны были набожной и ограниченной женщиной, которая, согласно классическому выражению, была проникнута сознанием долга по отношению к дочерям. Из домашней сферы, из-под материнского присмотра они не выходили до самой поры замужества, а наступила эта пора для старшей в двадцать, для младшей — в семнадцать лет. Ни разу они не были в театре, его заменяли им парижские церкви. Словом, их воспитание в доме матери было не менее строго, чем в монастыре. Сколько они себя помнили, всегда они спали в комнате, смежной со спальнею графини де Гранвиль, и дверь в нее оставалась открытой всю ночь. Время, свободное от исполнения религиозных обрядов, от занятий, обязательных для благородных девиц, и от туалета, уходило на шитье для бедных, на прогулки, вроде тех, какие позволяют себе англичане по воскресеньям, говоря: «Надо идти как можно медленнее, не то люди подумают, что мы веселимся». Образование их не вышло за пределы, которые установлены были их законоучителями, избранными из числа наименее терпимых и наиболее преданных янсенизму священников. Не было девушек, вступавших в супружество более чистыми и целомудренными, чем они; их мать считала, что, осуществив это — весьма, впрочем, важное — требование морали, она выполнила все свои обязанности перед небом и людьми. Бедные создания до самого замужества не прочитали ни одного романа, а рисовали только такие фигуры, анатомия которых показалась бы Кювье верхом несуразности, и в манере, способной сделать женоподобным даже Геркулеса Фарнезского. Учила их рисованию старая дева. Грамматике, французскому языку, истории, географии и необходимым для женщины начаткам арифметики они обучались у почтенного священника. По вечерам они

читали вслух, но только особо одобренные произведения, вроде «Назидательных писем», «Уроков по литературе» Ноэля, всегда в присутствии духовника их матери, ибо в книге могли встретиться места, которые без мудрых комментариев подействовали бы на их воображение. «Телемак» Фенелона сочтен был опасною книгою. Графиня де Гранвиль так любила своих дочерей, что мечтала сделать из них ангелов наподобие Марии Алакок, но дочери предпочли бы не столь добродетельную и более ласковую мать. Такое воспитание принесло свои плоды. Религия, навязанная как ярмо и представленная своей суровой стороною, утомила обрядами эти невинные молодые души, терпевшие в родном доме обращение, какому подвергают преступников; она подавила в них чувства и, хотя пустила глубокие корни, не привлекла их к себе. Обе Марии должны были стать дурами или возжаждать независимости; чтобы стать независимыми, они пожелали выйти замуж, лишь только увидели свет и получили возможность сопоставить некоторые понятия, но своей трогательной прелести, цены себе они не знали. Не понимая собственной чистоты, как могли они понять жизнь? Они были так же безоружны перед несчастьем, как лишены опыта для оценки счастья. Только в самих себе находили они утешение, томясь в этой родительской тюрьме. Их нежные признания по вечерам, вполголоса, или те немногие фразы, какими они обменивались, когда их на мгновение покидала мать, бывали порою интонациями выразительнее самих слов. Часто брошенный украдкою взгляд, которым они сообщали друг другу свои волнения, подобен был поэме горькой скорби. Безоблачное небо, аромат цветов, прогулка по саду рука об руку дарили их несказанными усладами. Окончание какого-нибудь рукоделия служило источником невинных радостей. Общество, которое они видели у матери, не только не способно было обогатить сердце или развить ум, но могло лишь омрачить все их понятия и привести в уныние чувства, ибо оно состояло из чопорных, сухих, неприветливых старух, беседа которых вращалась вокруг проповедников или духовных наставников, вокруг мелких недомоганий и церковных происшествий, неуловимых даже для газеты «Котидьен» и «Друга ре-

лигии». Что до мужчин этого круга, то они могли бы погасить все факелы любви, так холодны были их лица, такое печальное примирение с судьбою написано было на них; все они достигли того возраста, когда мужчина угрюм и удручен, когда он оживляется только за столом и привержен лишь к тому, что касается телесного благополучия. Религиозный эгоизм иссушил эти сердца, обрекшие себя долгу и замкнувшиеся в обрядности. Чуть ли не все вечера проходили в молчании, за картами. Обе девочки, словно объявленные вне закона этим синедрионом, поддерживавшим материнскую строгость, ловили себя на чувстве ненависти ко всем этим удручающим фигурам с впалыми глазами, с нахмуренными лбами. На темном фоне такой жизни резко выделялось только одно лицо — учитель музыки. Духовники решили, что музыка — искусство христианское, возникшее в католической церкви и ею взлелеянное. Поэтому девочкам позволено было учиться музыке. Девица в очках, преподававшая пение и игру на фортепиано в соседнем монастыре, замучила их упражнениями. Но когда старшей дочери исполнилось десять лет, граф де Гранвиль настоял на приглашении учителя. Идя на эту необходимую уступку, графиня сделала вид, будто подчиняется мужней воле: святошам свойственно ставить себе в заслугу исполнение долга. Учитель был немец-католик, один из тех рождающихся стариками мужчин, которые всегда, вплоть до восьмидесяти лет, кажутся пятидесятилетними. Нечто детское и наивное сохранилось в чертах его худого и морщинистого смуглого лица. Голубизна невинности оживляла глаза, а на губах всегда была веселая молодая улыбка. Седые волосы, естественно лежавшие, как на изображениях Христа, придавали какую-то торжественность его экстатическому виду, но такое впечатление было обманчиво: старик способен был наглупить с самой примерной невозмутимостью. Одежда для него была всего лишь необходимой оболочкою, он не обращал на нее никакого внимания, ибо взор его всегда витал в небесах и не мог снисходить к материальным интересам. Недаром этот безвестный великий артист принадлежал к забавному классу рассеянных людей, которые отдают ближнему время и душу, забывая свои перчатки на всех сто-

лах и свои зонтики подле всех дверей. Руки у него были из числа тех, что остаются грязными после мытья. Словом, его старое тело, плохо утвержденное на старых кривых ногах и показывавшее, в какой мере человек способен сделать его придатком души, относилось к категории тех странных творений природы, которые хорошо описал немец Гофман, поэт того, что кажется невероятным, но тем не менее существует. Таков был Шмуке, бывший капельмейстер маркграфа Ансбахского, ученый, подвергшийся экзамену в синклите святош и спрошенный ими, блюдет ли он посты. Учителю хотелось ответить: «Поглядите на меня»,— но можно ли было шутить с набожными женщинами и священниками-янсенистами? Этот апокрифический старец занял такое место в жизни обеих Марий, они так полюбили этого простодушного человека и большого артиста, довольствовавшегося пониманием искусства, что каждая из них, выйдя замуж, закрепила за ним пожизненную пенсию в триста франков; этой суммы хватало ему на квартиру, пиво, табак и одежду. Шестьсот франков пенсии и уроки превратили жизнь его в рай. В своей бедности и своих мечтах Шмуке имел мужество признаться только этим двум очаровательным девушкам, двум сердцам, расцветшим под снегом материнской строгости и льдом благочестия. Это обстоятельство характеризует всего Шмуке и все детство обеих Марий. Какой аббат или какая набожная старуха открыли этого заблудившегося в Париже немца, так и осталось неизвестным. Едва лишь матери почтенных семейств узнали, что графиня де Гранвиль нашла для дочерей учителя музыки, они все заинтересовались его именем и адресом. Шмуке приглашен был давать уроки в тридцати домах квартала Марэ. Поздний успех его сказался в том, что он приобрел башмаки с пряжками из бронзированной стали и волосяными стельками и чаще стал менять белье. В нем проснулась простодушная веселость, которую слишком долго подавляла благородная и пристойная нищета. Он стал отпускать остроты вроде такой, например: «Суддарини, кошки скушаль са ночь всю слякоть в Париже». Это значило, что грязные накануне улицы просохли ночью от мороза. Но произносил он эту фразу на уморительном германо-галльском наречии.

И, с удовольствием преподнося этим двум ангелам такую своего рода незабудку, Vergissmeinnicht, выбранную среди цветов его остроумия, он обезоруживал их насмешливость лукаво-глубокомысленным выражением лица. Он так был счастлив, когда вызывал улыбку на устах своих учениц, тяжесть жизни которых постиг, что готов был нарочно сделаться смешным, не будь он смешон по природе; но душа его способна была возвратить свежесть самым избитым шуткам,— согласно удачному выражению покойного Сен-Мартена, он мог бы позолотить даже грязь своею небесной улыбкою. Следуя одному из благороднейших правил религиозного воспитания, обе Марии почтительно провожали учителя до дверей своих покоев. Там бедняжки говорили ему несколько ласковых слов, радуясь возможности осчастливить этого человека: дать волю своей женской сердечности они могли только с ним! Таким образом, до замужества музыка сделалась для них второю жизнью; так, говорят, русский крестьянин принимает свои сны за действительность, а жизнь — за дурной сон. Стремясь найти защиту от мелочей, грозивших поглотить их, от притупляющих идей аскетизма, они ринулись в трудности музыкального искусства с риском сломать себе шею. Мелодия, Гармония, Композиция, три дочери неба, хором которых руководил этот опьяненный музыкой старый католический фавн, вознаградили их за труды и скрасили их жизнь своими воздушными плясками. Моцарт, Бетховен, Глюк, Паэзиелло, Чимароза, Гайдн и таланты менее крупные развили в них множество чувств, не выходивших за непорочную ограду их окутанных пеленою душ, но проникших в мир творчества и там упоенно паривших. Сыграв несколько музыкальных пьес и достигнув совершенства в их исполнении, сестры сжимали друг другу руки и обнимались в пылу восторга. Старый учитель называл их своими святыми Цецилиями.

Только на семнадцатом году жизни обе Марии стали выезжать на балы в избранные дома и не чаще четырех раз в год. Отпуская их танцевать, мать читала им наставления, как держать себя с кавалерами, на вопросы которых они вправе были отвечать только «да» и «нет». Взгляд графини не отрывался от дочерей и,

казалось, угадывал слова по движениям губ. Бедные девочки были в безупречно скромных бальных туалетах, в кисейных платьях с воротом до самого подбородка, с множеством чрезвычайно густых рюшей и с длинными рукавами. Стесняя их грацию, скрывая их красоту, этот туалет придавал им отдаленное сходство с мумиями; и все же из этих матерчатых футляров глядели два чарующе-печальных личика. Они терзались, чувствуя себя предметом умиленной жалости. Где та женщина,— как бы ни была она безгрешна,— которая бы не хотела возбуждать зависть? Ни одна опасная, нездоровая или всего лишь сомнительная мысль не грязнила белого вещества их мозга; сердца у них были чисты, руки — ужасающе красны, здоровье било через край. Ева, выходя из рук творца, была не более невинна, чем эти две девушки, когда они вышли из материнского дома и отправились в мэрию и в церковь, получив простое, но страшное напутствие: во всем подчиняться мужу, рядом с которым им предстояло спать или бодрствовать по ночам. По их представлениям, в чужом доме, куда их увозили, не могло быть тоскливее, чем в материнском монастыре.

Отчего же отец этих девушек, граф де Гранвиль, большой человек, ученый и неподкупный судья, правда, слишком увлеченный политикой, не защитил двух юных своих дочерей от губительного деспотизма матери? Увы, в силу полюбовной сделки, заключенной после десяти лет брака, супруги жили раздельно в своем собственном доме. Отец взял на себя воспитание сыновей, предоставив жене воспитывать дочек. Он считал, что для женщин такая система гнета гораздо менее опасна, чем для мужчин. Обе Марии, и без того обреченные тирании любви или брака, меньше теряли, чем мальчики, умственный рост которых нельзя было стеснять, ибо способности их могли бы понести тяжелый урон под давлением религиозных идей, проводимых последовательно и неумолимо. Из четырех жертв две спасены были графом. Графиня считала, что оба ее сына — первого из них граф собирался сделать судьею, а второго прокурором — воспитаны чрезвычайно дурно, и не допускала какой-либо близости между ними и сестрами. Общение этих бедных детей друг с другом стро-

го регулировалось. К тому же, когда сыновья бывали свободны от занятий, граф заботился о том, чтобы они не засиживались дома. Мальчики приходили домой завтракать с матерью и сестрами, затем отец находил для них какие-нибудь развлечения в городе: рестораны, театры, музеи, летом — загородные поездки. За исключением торжественных дней — именин матери или отца, Нового года, выдачи наград,— когда мальчики оставались ночевать в родительском доме, чувствуя себя весьма стесненно, не решаясь поцеловаться с сестрами, за которыми следила графиня, не оставлявшая их наедине с братьями ни на миг, бедные девочки так редко их видели, что между ними не могло быть никакой близости. В такие дни только и слышалось: «Где Мари-Анжелика?», «Что делает Мари-Эжени?», «Где мои дети?» Когда речь заходила об ее сыновьях, графиня возводила к небу свои холодные и тусклые глаза, словно молила бога простить ее за то, что она не уберегла их от нечестия. Ее восклицания, ее умолчания на их счет равнозначны были самым плачевным воплям Иеремии и вводили в заблуждение сестер, смотревших на своих братьев как на людей развращенных и безвозвратно погибших. Когда сыновьям исполнилось восемнадцать лет, граф отвел им комнаты на своей половине и заставил их изучать юриспруденцию под присмотром одного адвоката, своего секретаря, поручив ему посвятить их в тайны предстоявшей им карьеры. В итоге обеим Мариям только в отвлеченной форме знакома была братская любовь. Когда сестры венчались, один из братьев был товарищем прокурора в отдаленном судебном округе, другой начинал службу в провинции, и оба раза их задержали серьезные дела. Во многих семьях, с виду дружных, согласных, жизнь протекает так: братья находятся далеко, поглощены интересами состояния, карьеры, службы; сестры вовлечены в круг интересов мужниной родни. Все члены семейства живут, таким образом, врозь, забывая друг о друге, будучи соединены только слабыми узами воспоминаний, пока их не созовет фамильная гордость, не соберут вместе какие-нибудь материальные интересы,— иногда для того, чтобы разлучить духовно после разлуки, вызванной внешними обстоятельствами. Редким исключением является семья,

члены которой живут вместе в душевной близости. Современный закон, дробя семью на семьи, породил ужаснейшее из всех зол—индивидуализм.

Среди глубокого уединения, в котором протекала юность сестер, Анжелика и Эжени редко видели отца, а если он и появлялся в обширных апартаментах нижнего этажа, где жила его супруга, то неизменно с грустным видом. Важное и торжественное выражение лица, с каким он восседал в судейском кресле, не покидало его и дома. На двенадцатом году жизни, когда девочки вышли из возраста игрушек и кукол, начали рассуждать и уже не смеялись больше над старым Шмуке,— они угадали тайные заботы, бороздившие морщинами лоб графа, разглядели под строгою маскою признаки доброй души и прекрасного характера, поняли, что, уступив религии власть в семье, он был обманут в надеждах супруга, а также уязвлен в нежнейшем чувстве отца, в любви к своим дочерям. Такого рода страдания необычайно волнуют юных девушек, не знающих ласки. Иногда, прогуливаясь по саду между ними, обняв две хрупкие талии, стараясь идти в ногу с девочками, отец останавливал их под сенью деревьев и целовал обеих в лоб. Глаза, губы, все его лицо выражало тогда глубокое сочувствие.

— Вы не очень-то счастливы, мои дорогие девочки,— говорил он им,— но я вас рано выдам замуж и буду доволен, когда вы покинете этот дом.

— Папа,— говорила Эжени,— мы готовы выйти за первого встречного.

— Вот он, горький плод такой системы воспитания! — восклицал отец.— Хотят сделать святых, а делают...

Он не договаривал. Часто дочери чувствовали глубокую нежность в прощальном отцовском поцелуе или в его взглядах, когда он случайно обедал дома. Они жалели отца, которого так редко видели; а кого жалеешь — того любишь.

Строгое и религиозное воспитание привело к тому, что обе сестры, душевно сращенные несчастьем, как Рита и Кристина, телесно были сращены природой, легко нашли себе мужей. Многие мужчины, помышляющие о женитьбе, предпочитают вышедшую из монастыря и

пропитанную благочестием девицу воспитанной в светских понятиях барышне. Середины нет: мужчине приходится жениться либо на весьма просвещенной девице, начитавшейся газетных объявлений и понимающей их смысл, наплясавшейся на балах с сотнями молодых людей, побывавшей во всех театрах, проглотившей кучу романов, на барышне, которой учитель танцев обломал колени, прижимая к ним свои колени, которая равнодушна к религии и выработала себе собственную мораль,— либо на такой неопытной и чистой девушке, как Мари-Анжелика или Мари-Эжени. Возможно, что одинаково опасны оба типа невест. Но огромное большинство мужчин, даже не достигших возраста Арнольфа, все же предпочитают благочестивую Агнесу скороспелой Селимене.

Обе Марии, миниатюрные и тоненькие, были одного роста, у них были одинаковые руки и ноги. Эжени, младшая,— блондинка, в мать; Анжелика — брюнетка, в отца. Но цвет лица у обеих был один и тот же — перламутрово-белый, говоривший о здоровье и чистоте крови, яркий румянец оттенял белизну плотной и тонкой кожи, мягкой и нежной, как лепестки жасмина. Синие глаза Эжени и карие глаза Анжелики выражали наивную беспечность, непритворное удивление, зрачки как бы тонули во влаге, подернувшей белки. Обе они были хорошо сложены: худощавым плечам предстояло округлиться позднее, но грудь, так долго таившаяся под покровами, поразила всех совершенством, когда по просьбе мужей та и другая декольтировались для бала. Мужья наслаждались тогда очаровательной стыдливостью этих простодушных созданий, от смущения зардевшихся еще дома, при закрытых дверях, и потом красневших весь вечер. В то время, к которому относится эта сцена, когда старшая плакала и внимала утешениям младшей, руки и плечи у них успели приобрести молочную белизну. Обе они уже были матерями, одна вскормила сына, другая— дочь. Графиня де Гранвиль считала Эжени «бедовой девчонкою» и была с нею вдвойне бдительна и строга. В благородной и гордой Анжелике строгая мать предполагала восторженную душу, которая будет сама себя охранять, тогда как шаловливая Эжени, по-видимому, нуждалась в узде. Существуют обойденные судьбой, пле-

нительные создания, которым, казалось бы, все должно удаваться в жизни, а между тем они живут и умирают несчастными жертвами злого рока и непредвиденных обстоятельств. Веселая, невинная Эжени, вырвавшись из материнской тюрьмы, попала во власть деспотичного выскочки-банкира. Анжелика, предрасположенная к великим борениям чувств, была брошена — хотя и на привязи — в высшие сферы парижского общества.

Сгибаясь под бременем страданий, слишком тяжких для ее души, графиня де Ванденес, все еще наивная после шести лет замужества, лежала на козетке, уронив голову на спинку, скорчившись, подогнув ноги под себя. Она примчалась к сестре из Итальянской оперы, только показавшись там, и в косах у нее еще оставалось немного цветов, остальные валялись на ковре вместе с перчатками, шубкою, крытой шелком, муфтою и капором. Слезы, сверкавшие среди алмазов на ее белой груди и застывшие в глазах, сопровождали странную исповедь. Посреди такой роскоши — не ужас ли это? Наполеон сказал правду: ничто в этом мире не бывает похищено, за все приходится платить. У Анжелики не хватало мужества говорить.

— Бедная моя голубка,— сказала Эжени,— какое же у тебя ложное представление о моей жизни с мужем, если ты решила искать помощи у меня!

При этих словах, вырванных из сердца жены банкира тою бурей, которую внесла в него графиня де Ванденес (так таяние снегов вырывает самые тяжелые камни из русла потоков), Анжелика устремила на сестру растерянный и неподвижный взгляд; пламя ужаса осушило ее слезы.

— Неужели ты тоже несчастна, мой ангел? — вполголоса спросила она.

— Мои муки не уймут твоих страданий.

— Расскажи же мне о них, дорогая. Я еще не настолько очерствела, чтобы не выслушать тебя! Мы, значит, снова страдаем вместе, как в юности?

— Мы страдаем порознь,— ответила грустно Эжени.— Мы принадлежим к двум враждующим слоям общества. Я бываю в Тюильри, где ты уже не бываешь. Наши мужья — люди противоположных партий. Я жена честолюбивого банкира, дурного человека, сокрови-

ще мое! А твой муж — добрый, великодушный, благородный человек.

— О, не надо упреков,— сказала графиня.— Упрекать меня была бы вправе только та женщина, которая, познав тоску бесцветного и тусклого существования, попала бы в рай любви, постигла счастье сознавать, что вся ее жизнь принадлежит другому, делила бы с поэтом беспредельные волнения его души и жила двойною жизнью, вместе с ним парила в воздушных пространствах и вращалась в мире честолюбцев, страдала его страданиями, возносилась на крыльях его безмерных наслаждений, находила широкую арену для своего развития и в то же время была спокойна, холодна, безмятежна перед внимательными взглядами света. Да, дорогая, часто приходится сдерживать целый океан в своем сердце, сидя дома, перед камином, на козетке, как мы сидим теперь с тобою. И все же какое счастье быть во власти огромного увлечения, когда от него словно умножаются и натягиваются все струны сердца; ни к чему не быть безучастной, чувствовать, что жизнь твоя зависит от какой-нибудь прогулки, когда в толпе увидишь горящий взгляд, от которого померкнет солнце; волноваться из-за опоздания, быть готовой убить докучливого человека, похищающего одно из тех драгоценных мгновений, когда счастье трепещет в каждой жилке! Как упоительно — наконец-то жить! Ах, дорогая,— жить, когда столько женщин на коленях молят о радостях, от них ускользающих! Подумай, дитя мое, ведь переживать эти поэмы можно только в молодости! Через несколько лет придет зима, холод. О, если бы ты владела этими живыми сокровищами сердца и тебе грозило утратить их...

Госпожа дю Тийе в испуге закрыла лицо руками, внимая этой страстной тираде.

— У меня и в мыслях не было в чем-нибудь упрекнуть тебя, дорогая,— сказала она наконец, видя, что лицо ее сестры залито горючими слезами.— Ты только что в один миг зажгла в моей душе такой пожар, какого еще не гасили мои слезы. Да, жизнь, какую я веду, могла бы оправдать любовь, только что тобою описанную, если бы она расцвела и в моем сердце. Позволь мне думать, что, встречаясь чаще, мы не дошли бы до поло-

жения, в каком находимся теперь. Да, Мари, зная мои страдания, ты бы ценила свое благополучие, а в меня вдохнула бы мужество для сопротивления, и я была бы счастлива. Твоя беда — несчастный случай, и ей поможет случай счастливый, между тем как моему горю нет конца. В глазах моего мужа я — олицетворение его роскоши, вывеска для его честолюбия, одна из утех его удовлетворенного тщеславия. Нет у него ко мне ни подлинной привязанности, ни доверия. Фердинанд сух и холоден, как этот мрамор,— и она постучала по плите камина.— Он остерегается меня. О чем бы я ни попросила для себя, меня заранее ждет отказ. Но если это повод щегольнуть, почваниться богатством, то я даже не успеваю высказать желание: он украшает мои комнаты, тратит огромные суммы на мой стол. У меня отменная прислуга, лучшие ложи в театре, изысканная обстановка Ради своего тщеславия он ничего не жалеет, он готов обшить дорогими кружевами пеленки своих детей, но не станет слушать их криков, не поймет их нужд. Понимаешь ли ты меня? Я осыпана алмазами на приемах во дворце, увешана самыми дорогими побрякушками, когда делаю визиты,— и не могу распорядиться ни одним грошом. Да, жена банкира дю Тийе, вероятно, возбуждающая зависть, с виду купается в золоте, а у нее нет для себя ста франков. Не заботясь о своих детях, отец еще меньше заботится об их матери. Ах, он очень грубо дал мне понять, что заплатил за меня и что мое личное состояние, которым я не располагаю, вырвано у него. Быть может, я даже попыталась бы пленить его,— только ради того, чтобы подчинить его себе; но я наталкиваюсь на постороннее влияние, на влияние одной женщины, вдовы нотариуса. Ей минуло пятьдесят лет, но она еще сохранила прежние притязания и властвует над ним. Я чувствую, что освобожусь только после ее смерти. Здесь моя жизнь подчинена регламенту, как жизнь королевы: к завтраку и к обеду меня приглашает звонок, как гостей в твоем поместье. Я выезжаю в точно определенное время для прогулки по Булонскому лесу. Меня всегда сопровождают двое слуг в парадных ливреях, и возвращаться я должна всегда в один и тот же час. Не я распоряжаюсь, а мною распоряжаются. На балу или в театре лакей докладывает мне: «Карета по-

дана»,— и мне приходится уезжать, часто в разгар веселья. Фердинанда рассердило бы отступление от этикета, установленного для его жены, а я его боюсь. Посреди этой проклятой роскоши я начинаю тосковать по прошлому и считать, что наша мать была хорошей матерью: она по крайней мере оставляла нас в покое по ночам, и я могла болтать с тобою. Я жила подле создания, любившего меня и страдавшего со мною, между тем как здесь, в этом великолепном доме, я себя чувствую, как в пустыне.

Внимая этой горестной исповеди, графиня, в свою очередь, взяла руку сестры и плача поцеловала ее.

— Как я могу помочь тебе?—шепотом сказала Эжени.— Если бы он застал нас тут, в нем проснулась бы подозрительность, он пожелал бы узнать, о чем ты рассказывала мне целый час, мне пришлось бы лгать ему, а трудно лгать такому хитрому и коварному человеку: он мигом поймал бы меня. Но оставим мои невзгоды и подумаем о тебе. Нужно достать сорок тысяч франков, моя дорогая. Это безделица для Фердинанда, ведь он ворочает миллионами вместе с другим крупным банкиром, бароном Нусингеном. Я иногда сижу с ними за обеденным столом, слушаю, что они говорят, и меня бросает в дрожь. Фердинанд знает, что я умею молчать, и они беседуют в моем присутствии, не стесняясь. И вот, уверяю тебя, убийства на большой дороге представляются мне добрыми делами по сравнению с некоторыми финансовыми комбинациями. Нусингену и моему мужу так же безразлична судьба разоряемых ими людей, как мне вся эта роскошь. Часто мне приходится принимать бедных простаков, которым накануне при мне был вынесен приговор; они бросаются в аферы, где им предстоит потерять все состояние. Мне хочется, как Леонарде в пещере разбойников, крикнуть им: «Берегитесь!» Но что станется со мною? И я молчу. Этот пышный особняк — разбойничий притон. Между тем дю Тийе и Нусинген пачками бросают тысячефранковые билеты на свои прихоти. Фердинанд покупает в Тийе усадьбу, где стоял старый замок, и собирается его восстановить, присоединив к нему лес и обширные земли. Он уверяет, что сын его будет графом и что в третьем поколении это будет знатный род. Нусингену надоел его

особняк на улице Сен-Лазар, и он строит дворец. Его жена — моя приятельница... Ах! — воскликнула вдруг Эжени,— она может нам быть полезна; со своим мужем она ведет себя смело, своим имуществом распоряжается сама — она спасет тебя.

— Голубка, у меня осталось только несколько часов, едем к ней сегодня же вечером, едем немедленно,— сказала графиня, бросившись в объятия к сестре и заливаясь слезами

— Как же мне выйти из дому в двенадцатом часу ночи?

— Меня ждет карета.

— О чем вы тут сговариваетесь? — произнес дю Тийе, открывая дверь будуара.

Он появился перед обеими сестрами с самым безобидным видом, улыбаясь с напускной любезностью. Ковры заглушили его шаги, а сестры были так озабочены, что не слышали, как подкатила его карета. Графиня, в которой светская жизнь и предоставленная ей Феликсом свобода развили ум и находчивость, все еще подавленные у ее сестры деспотизмом мужа, сменившим деспотизм матери, сообразила, что испуг Эжени может выдать ее, и спасла сестру откровенным ответом.

— Я думала, что моя сестра богаче, чем оказалось,— сказала она, глядя на своего зятя.— Женщины порою попадают в стесненное положение и не желают сообщать о нем своим мужьям, как это случалось с Жозефиною Бонапарт, и я приехала попросить сестру об услуге.

— Ей легко оказать вам услугу, сестрица. Эжени очень богата,— сказал дю Тийе кисло-сладким тоном.

— Только для вас богата, братец,— ответила с горькой усмешкой графиня.

— Сколько вам нужно? — сказал дю Тийе, который был не прочь оплести свояченицу.

— Какой непонятливый! Сказала же я вам, что мы не желаем вести дела с мужьями,— ответила благоразумно графиня де Ванденес, поняв, что нельзя отдаваться во власть человеку, чей портрет, по счастью, нарисовала ей только что сестра.— Я завтра приеду за Эжени.

— Завтра? — ответил холодно банкир.— Нет, она завтра обедает у барона Нусингена, будущего пэра

Франции, который уступает мне свое кресло в палате депутатов.

— Не позволите ли вы ей поехать со мною в Оперу, в мою ложу? — сказала графиня, даже не обменявшись взглядом с сестрою, так боялась она, что Эжени выдаст их тайну.

— У нее есть своя ложа, сестрица,— сказал задетый дю Тийе.

— Ну что ж, тогда я приду к ней в ложу,— ответила графиня.

— Эту честь вы окажете нам в первый раз,— сказал дю Тийе.

Графиня поняла упрек и рассмеялась.

— Будьте спокойны, на этот раз вам не придется раскошелиться,— сказала она.— До свиданья, моя дорогая.

— Нахалка! — крикнул дю Тийе, поднимая цветы, которые обронила графиня.— Вам бы следовало поучиться у госпожи Ванденес,— обратился он к жене,— я хотел бы, чтобы вы держались в свете с той дерзостью, с какой она вела себя здесь. Вы производите впечатление такой мещанки и дурочки, что я прихожу в отчаянье.

Эжени ничего не ответила, только подняла глаза к небу.

— Так что же вы тут делали вдвоем, сударыня? — продолжал банкир после паузы, показывая ей цветы.— Видно, произошло нечто чрезвычайное, если завтра сестра пожалует в вашу ложу.

Несчастная раба сослалась на то, что ее клонит ко сну, и, боясь допроса, пошла было раздеваться. Но дю Тийе взял за руку жену, подвел ее к золоченым стенным канделябрам, где между двумя дивными гирляндами горели свечи, и погрузил свой зоркий взгляд в ее глаза.

— Ваша сестра приезжала взять у вас взаймы сорок тысяч франков для человека, в котором она принимает участие и которого через три дня, как драгоценность, упрячут под замок на улице Клиши,— произнес он бесстрастно.

Бедную женщину пробрала нервная дрожь, но она ее подавила.

— Вы меня испугали,— ответила она.— Но моя се-

стра слишком хорошо воспитана, слишком любит своего мужа и не может в такой мере увлечься мужчиной.

— Напротив,— сухо возразил он.— Женщины, воспитанные, как вы, в строгости и благочестии, жаждут свободы, стремятся к счастью, а то счастье, которое досталось им в удел, никогда не представляется им столь полным и прекрасным, каким было в мечтах. Из таких девиц выходят плохие жены.

— Вы вольны думать обо мне что угодно,— сказала бедная Эжени тоном горькой насмешки,— но не отказывайте в уважении моей сестре. Графиня де Ванденес так счастлива, муж предоставляет ей такую свободу, что она не может охладеть к нему. Да и будь даже ваше предположение правильно, она бы мне этого не сказала.

— Оно правильно,—ответил дю Тийе.—Я запрещаю вам принимать какое бы то ни было участие в этом деле. Мне выгодно, чтобы этого человека посадили в тюрьму. Так и знайте.

Госпожа дю Тийе вышла.

«Она меня, конечно, не послушается. Надо последить за ними, и я узнаю, как они поступят,— подумал дю Тийе, когда остался один в будуаре.— Эти дурочки хотят бороться с нами!»

Он пожал плечами и последовал за женою, вернее говоря, за своею невольницей.

То, в чем графиня де Ванденес призналась сестре, находится в столь тесной связи с историей жизни этой женщины за последние шесть лет, что в виде пояснения необходимо вкратце рассказать главнейшие ее события.

Среди выдающихся людей, которые были обязаны своим возвышением Реставрации и которых она, в том числе и Мартиньяка, на свою беду, отстранила от правительственных тайн, был и Феликс де Ванденес, «сосланный» вместе со многими другими в палату пэров в последние дни царствования Карла X. В связи с этой опалою, хотя и кратковременной, по мнению графа Ванденеса, он стал подумывать о женитьбе, ибо, как и многие мужчины, получил отвращение к любовным связям, этим буйным цветам молодости. Для каждого наступает критическое время, когда общественная жизнь предстает перед человеком во всем своем значении. Фе-

ликс де Ванденес бывал попеременно счастлив и несчастлив, чаще несчастлив, подобно всем тем, кому при появлении их в обществе любовь улыбнулась в самом своем прекрасном облике. Такие баловни судьбы становятся привередливы. Затем, изучив жизнь и понаблюдав людей, они начинают довольствоваться приблизительным счастьем и находят покой душевный в полнейшей снисходительности. Их нельзя обмануть, потому что они уже ни в чем не обманываются, но они придают изящество своему смирению и, будучи готовы ко всему, меньше страдают. Однако Феликса еще можно было причислить к самым красивым и приятным в Париже мужчинам. У женщин его известность была создана главным образом одним из благороднейших созданий этого века, умершим, по слухам, от горя и любви к нему; но свой опыт он приобрел в гостиной красавицы леди Дэдлей. По мнению многих парижанок, Феликс Ванденес, своего рода герой романа, многими победами был обязан своей дурной славе. Список его похождений закончился недолгой связью с г-жой Манервиль. Не будучи донжуаном, он все же разуверился в мире любви не меньше, чем в мире политическом. Он отчаялся в возможности вновь обрести когда-либо тот идеал женщины и страсти, который, на его беду, озарил и покорил его молодость.

К тридцати годам граф Феликс решил женитьбою положить конец наскучившим ему любовным утехам. И тут уж он не колебался: он искал девушку, воспитанную в самых строгих правилах католицизма. Узнав, как направляла графиня де Гранвиль своих дочерей, он, не колеблясь, попросил руки старшей. Он тоже изведал в детстве материнский деспотизм; печальная молодость была еще настолько жива в его памяти, что, как ни скрытна из стыдливости юная девушка, ему легко было распознать, в какое состояние было приведено этим игом ее сердце: исполнилось ли оно горечи, уныния, возмущения или осталось спокойным, доброжелательным, готовым открыться для прекрасных чувств. Тирания приводит к двум противоположным следствиям, символами которых служат два великих образа древнего рабства: Эпиктет и Спартак, ненависть и возмущение, смирение и христианская кротость. Граф де Ванденес узнал

себя самого в Мари-Анжелике де Гранвиль. Вступая в брак с наивной девушкой, непорочною и чистой, этот молодой старик заранее решил соединить с чувствами супруга отцовские чувства. Он сознавал, что свет, политика иссушили его душу, и знал, что в обмен на юную жизнь дает остатки жизни изношенной. Цветы весны — и зимний лед; убеленный сединами опыт — и блещущая молодостью, беспечная неосмотрительность. Здраво обсудив свое положение, он заперся в супружеской крепости с большим запасом провианта. Снисходительность и доверие были якорями, на которых он встал у причала. Каждой матери семейства надлежало бы искать такого мужа для своей дочери: ум — это ангел-хранитель, разочарованность проницательна, как врач, опыт предусмотрителен, как мать. Эти качества — три главные супружеские добродетели. Вкус к наслаждениям, изысканность, которыми наделили Феликса де Ванденеса привычки покорителя сердец и светского льва, школа высокой политики, наблюдения, обогатившие его жизнь, которая протекала то в труде, то в размышлениях, то в литературных занятиях,— все его силы и ум обращены были на то, чтобы сделать молодую жену счастливой. Из горьких испытаний чистилища в доме матери Мари-Анжелика внезапно вознеслась в супружеский рай, который для нее создал Феликс в особняке на улице Роше, где все вплоть до мелочей носило печать аристократизма, но где требования хорошего тона не стесняли гармоничной простоты отношений, желанной для любящих и юных душ. Мари-Анжелика изведала все услады материальной жизни, муж был для нее в течение двух лет как бы управляющим делами. Феликс неторопливо и с большим искусством учил жизни свою жену, постепенно посвящал ее в тайны большого света, знакомил с генеалогией всех знатных домов, показывал общество, наставлял в искусстве одеваться и вести беседу, водил по театрам, прошел с нею курс истории и литературы. Он завершил ее воспитание с заботливостью любовника, отца, учителя и мужа; но в доставляемых ей удовольствиях и преподаваемых уроках он соблюдал разумную умеренность, не разрушая ее религиозных убеждений. Словом, он мастерски справился со своей задачей. Спустя четыре года он счастлив был убедиться,

что сделал графиню де Ванденес одною из самых приятных и замечательных женщин нашего времени.

Мари-Анжелика питала к Феликсу как раз те чувства, которые он желал ей внушить: искреннюю приязнь, глубокую благодарность, любовь сестры с надлежащей примесью благородной и достойной нежности, какою и должна быть любовь между супругами. Графиня Ванденес стала матерью, и матерью хорошей. Таким образом, Феликс привязал к себе жену всеми возможными узами, оставив ей видимость свободы и полагаясь на силу привычки, как на залог безоблачного счастья. Владеть этой наукой и так себя вести способны только искушенные житейским опытом мужчины, прошедшие круг политических и любовных разочарований. Феликсу, впрочем, его произведение доставляло такое же удовольствие, какое находят в своих творениях живописцы, писатели, зодчие: он вдвойне наслаждался, любуясь своим произведением и видя его успех, восхищаясь своею образованной и наивной, остроумной и естественной, любезной и безгрешной женою, девушкой и матерью, совершенно свободной и покоренной. История удачных супружеств, как и счастливых народов, требует не больше двух строк и дает очень мало материала изящной словесности. И так как счастье не нуждается в комментариях, то эти четыре года не могут нас подарить ничем, что не было бы нежно, как голубовато-серый цвет вечной любви, безвкусно, как манна небесная, и занимательно, как роман «Астрея».

В 1833 году прочному счастью Феликса стало угрожать крушение. Без его ведома оно подточено было в самых своих основах. У двадцатипятилетней женщины сердце уже не то, что у восемнадцатилетней девушки; у женщины в сорок лет оно не то, что в тридцать. Существуют четыре возраста в жизни женщины. Каждый возраст создает новую женщину. Ванденес, несомненно, знал законы этих превращений, обусловленных современными нравами; но в своем собственном супружестве он забыл о них, как самый лучший знаток грамматики может забыть ее правила, когда пишет книгу, как самый великий полководец, обманутый случайными особенностями местности на поле битвы, среди огня, может забыть непреложные правила военного искусства. Че-

ловек, способный всегда наложить печать своей мысли на события,— это гений; но самый гениальный человек не бывает гениален каждый миг, иначе он был бы слишком богоподобен. После четырех лет супружеской жизни, протекавшей без единого душевного потрясения, без единого слова, которое бы внесло малейший разлад в эту сладостную гармонию чувств, сознавая свой полный расцвет, подобный расцвету прекрасного растения в тучной почве, развившегося под ласками ясного солнца, сияющего посреди немеркнущей лазури,— графиня вдруг словно спохватилась. Перелом в ее жизни, составляющий содержание описанной нами сцены, был бы непонятен без объяснений, которые, пожалуй, смягчат в глазах женщин вину этой молодой графини, счастливой супруги и счастливой матери — вину, непростительную на первый взгляд.

Жизнь—это результат действия двух противоположных начал: когда недостает одного из них, живое существо страдает. Ванденес, давая всему удовлетворение, подавил желание — этот двигатель мироздания, расходующий огромную сумму духовных сил. Безмерный пыл, предельное несчастье, полное счастье — все абсолютные начала царят над бесплодными пространствами: они желают быть одни, они душат все иное. Ванденес не был женщиной; а только женщины владеют искусством разнообразить блаженство — отсюда их кокетство, строптивость, их страхи, их ссоры и те изобретательные, остроумные глупости, которыми они умеют сегодня сделать спорным то, что было совершенно ясным вчера. Мужчины способны утомить своим постоянством, женщины — никогда. Ванденес был по характеру таким добрым, что не мог умышленно мучить любимую женщину, он вознес ее в самое синее, самое безоблачное небо любви. Проблема вечного блаженства принадлежит к числу тех, решение которых известно только богу, в мире ином. А на нашей грешной земле возвышенные поэты всегда наводили на читателей скуку, живописуя рай. Для Ванденеса послужило камнем преткновения то же, что и для Данте. Честь и слава безуспешной отваге! Его жена в конце концов стала находить несколько однообразным столь благоустроенный Эдем; полное счастье, изведанное первою женщиной в земном раю, так же при-

елось ей, как приедаются сладости, и, подобно Ривароlю при чтении Флориана, графиня почувствовала желание встретить какого-нибудь волка в овчарне. Такой смысл влагали все века в символического змия, к которому Ева обратилась, вероятно, от скуки. Эта мораль, пожалуй, покажется рискованной протестантам, которые смотрят на книгу Бытия еще серьезнее, чем сами евреи. Но положение графини де Ванденес можно объяснить и без помощи библейских образов: она ощущала в своей душе огромную силу, которой не было применения, счастье далось ей без страданий, оно не требовало забот, не внушало тревог, она не боялась его утратить, оно каждое утро вставало перед нею все в той же лазури, с теми же улыбками, с теми же ласковыми словами. Спокойное, чистое озеро не морщил ни один порыв ветра, даже зефира, а ей хотелось увидеть волны на этой зеркальной глади. В ее желании было нечто детское, что должно бы ее извинить; но общество так же не знает снисхождения, как ветхозаветный бог. Графиня стала умна, она отлично понимала, как оскорбительно для мужа такое чувство, и с ужасом отвергла мысль о том, чтобы сознаться в нем своему «милому дружку». В простоте своей она не избрала для мужа иного ласкательного прозвища, ибо пленительный язык преувеличений, которому любовь среди пламени учит своих рабов, не выковывается холодным способом. Ванденеса восхищала эта очаровательная сдержанность, и, прибегая к тонко рассчитанным приемам, он не выпускал жену из умеренной зоны супружеской любви. К тому же этот образцовый муж находил недостойными благородной души шарлатанские средства, которые могли бы его возвеличить в глазах Анжелики и заслужить ему награду; он хотел ей нравиться без прикрас и ничем не быть обязанным ухищрениям богатства. Графиня Ванденес усмехалась, когда видела в Булонском лесу экипаж с изъянами или с дурной упряжью; она тогда с удовольствием переводила взгляд на свою коляску, которую мчали рысаки в свободной английской упряжи. Феликс не снисходил до того, чтобы домогаться премии за свои старания; его роскошь и вкус казались естественными его жене; она нисколько не была ему благодарна за то, что ее тщеславие ничем не уязвлялось. И так было во всем.

Доброта — достоинство, которое считают прирожденным, в ней редко соглашаются видеть скрытые усилия прекрасной души, между тем как злых людей восхваляют за воздержание от зла, которое они могли бы сделать. В эту пору графиня де Ванденес настолько овладела наукою светскости, что перестала играть довольно незначительную роль робкой, наблюдающей, слушающей статистки — роль, которую, как рассказывают, играла некоторое время Джулия Гризи в хоре театра Ска́ла. Молодая графиня почувствовала себя в силах перейти на амплуа примадонны и несколько раз решалась в нем испробовать себя. К большому удовлетворению Феликса, она стала принимать участие в беседах. Остроумные реплики и тонкие замечания, семена которых заронило в ее ум общение с мужем, обратили на нее внимание света, и успех окрылил ее. Ванденес, за женою которого признавали красоту, был восхищен, когда она вдобавок оказалась умницей. По возвращении с бала, концерта, раута, где она блистала, Мари, снимая с себя уборы, спрашивала у Феликса шаловливо и непринужденно: «Вы были довольны мною сегодня?» У многих дам графиня вызывала зависть, к их числу принадлежала и сестра ее мужа, маркиза де Листомэр, которая до этого времени ей покровительствовала, считая, что сама она только выигрывает рядом с этим бесцветным созданием. Графиня Мари, женщина красивая, остроумная и добродетельная, музыкальная и почти не кокетливая — какая находка для света! В этом кругу было несколько дам, которые порвали с Феликсом — одни по его, другие — по собственному почину, но они не остались равнодушны к его женитьбе. Когда стало известно, что г-жа де Ванденес—молоденькая особа с красными руками, довольно застенчивая, молчаливая и как будто не слишком умная, обиженные дамы решили, что они достаточно отомщены. Но произошел июльский переворот, светское общество разбрелось на два года, богатые люди во время бури жили в своих поместьях или разъезжали по Европе, и салоны вновь открылись только в 1833 году. Сен-Жерменское предместье фрондировало, но смотрело на некоторые дома, в том числе и на дом австрийского посла, как на нейтральную почву: общество легитимистское и новое встретились там в лице

своих наиболее блестящих представителей. Ванденес, множеством сердечных уз и долгом признательности связанный с павшей династией, но твердый в своих убеждениях, не считал себя обязанным следовать глупым преувеличениям своей партии. В минуту опасности он исполнил свой долг, когда, рискуя жизнью, пробивался сквозь народные толпы в качестве посредника; вот почему он ввел жену в тот круг, где его легитимизм не мог быть скомпрометирован. Прежние приятельницы Ванденеса с трудом узнали в изящной, остроумной, обаятельной графине, усвоившей утонченнейшие манеры аристократок, молодую его супругу. Г-жи д'Эспар, де Манервиль, леди Дэдлей и некоторые другие, менее известные дамы почувствовали, как в глубине их сердец зашевелились змеи, они услышали тонкое шипение разъяренной гордости; они возревновали к счастью Феликса и охотно отдали бы свои самые красивые бальные туфельки за то, чтобы с ним случилась беда. Однако эти добрые души не отнеслись враждебно к графине, наоборот, они окружили ее, заласкали, расхвалили мужчинам. Отлично понимая их намерения, Феликс наблюдал за их дружбой с Мари и советовал ей быть с ними настороже. Они догадались о беспокойстве, которое внушили графу своим поведением, не простили ему такой недоверчивости и удвоили свое усердие, свою предупредительность по отношению к сопернице, создав ей шумный успех, к большому неудовольствию маркизы де Листомэр, ничего в их тактике не понимавшей. Графиню де Ванденес называли самой очаровательной, самой остроумной женщиной в Париже. Другая золовка Мари, жена маркиза Шарля де Ванденеса, терпела множество разочарований в связи с путаницей, которую порождало иногда тождество их имен, и вследствие сравнений, для которых оно служило поводом. Хотя маркиза тоже была очень красива и умна, но соперницы с успехом противопоставляли ей графиню, тем более, что Мари была на двенадцать лет моложе. Эти дамы знали, сколько горечи должен был внести триумф графини де Ванденес в ее отношения с золовками, которые и вправду повели себя холодно и нелюбезно с торжествующей Мари-Анжеликою. Это были опасные родственницы, интимные враги. Всем известно, что литерату-

ра старалась в ту пору сломить равнодушие читателей, порожденное политической драмой, создавая произведения в байроническом духе, в которых только и говорилось, что о неверности супругов. Нарушения брачных уз наводнили журналы, книги и театр. Бессмертный этот сюжет был в моде как никогда. Любовник, кошмар мужей, встречался повсюду, за исключением, пожалуй, семейных очагов, где в эту буржуазную эпоху он преуспевал меньше, чем во всякую другую. Станет ли вор разгуливать по ночам, когда люди подбегают к окнам, крича «Караул!» и освещают улицы? Если даже в эти годы, принесшие городам множество политических и нравственных волнений, случались супружеские катастрофы, то они являлись исключениями, не привлекавшими такого внимания, как в годы Реставрации. Тем не менее в дамском обществе много говорилось о том, что завладело тогда обеими формами поэзии: книгой и театром. Часто речь заходила о любовнике — столь редком и столь желанном существе. Получившие огласку приключения служили темою споров, и споры эти, как всегда, велись женщинами безупречными. Любопытно, что от такого рода бесед обычно уклоняются женщины, наслаждающиеся запретным счастьем; в обществе они ведут себя сдержанно, чинно и почти робко; вид у них такой, словно они каждого умоляют молчать или у всех просят прощения за свои преступные радости. Если же, наоборот, женщина охотно слушает разговоры о супружеских катастрофах, расспрашивает о силе страсти, оправдывающей согрешивших, то она стоит в нерешительности на перекрестке и не знает, какой путь избрать. В эту зиму в ушах графини де Ванденес загудел громкий голос большого света, грозовой ветер засвистал вокруг нее. Мнимые ее приятельницы, охранявшие свою репутацию громкими именами и высоким положением, неоднократно рисовали ей искусительный образ любовника и заронили в ее душу жгучие слова о любви,— ключе к загадке, которую предлагает женщинам жизнь,— о тайнах «великой страсти», согласно выражению г-жи де Сталь, поучавшей других на собственном примере. Когда графиня в тесном кругу наивно спрашивала, в чем же разница между любовником и мужем, ни одна из дам, желавших зла де Ванденесу, не упускала слу-

чая ответить ей так, чтобы раздразнить ее любопытство, возбудить воображение, постучаться в сердце, увлечь душу.

— С мужем, дорогая моя, влачишь существование, и только с любовником поистине живешь,— говорила ей маркиза де Ванденес, ее золовка.

— Брак, дитя мое,— это наше чистилище; любовь— это рай,— говорила леди Дэдлей.

— Не верьте,— восклицала мадемуазель де Туш,— это ад!

— Но такой ад, где любят,— замечала маркиза де Рошфид.— В страданиях часто находишь больше радостей, чем в счастье: вспомните мучеников!

— С мужем, глупенькая, мы живем, так сказать, своею жизнью; любить же — значит жить жизнью другого,— объясняла ей маркиза д'Эспар.

— Любовник — это запретный плод, вот что для меня решает дело,— говорила, смеясь, красавица Моина де Сент-Эран.

Когда графиня бывала свободна от дипломатических раутов или балов у богатых иностранцев, как, например, у леди Дэдлей или у княгини Галатион, она почти каждый вечер, после Итальянцев или Оперы, бывала в свете, у маркизы д'Эспар или г-жи де Листомэр, у мадемуазель де Туш, у графини де Монкорне или у виконтессы де Гранлье — в единственных открытых аристократических домах; и всякий раз она уходила оттуда с новыми дурными семенами в сердце. Ей советовали «восполнить свою жизнь» — это было модное в ту пору выражение; «искать понимания» — еще одно выражение, в которое женщины вкладывают особый смысл. Она возвращалась домой встревоженная, взволнованная, заинтригованная, задумчивая. Она замечала какую-то убыль в своей жизни, но еще не доходила до сознания ее пустоты.

Среди домов, которые посещала графиня Ванденес, самым интересным, но и самым смешанным обществом отличался салон графини де Монкорне, прелестной маленькой женщины, которая принимала у себя знаменитых артистов, денежных тузов, выдающихся писателей, подвергая их, впрочем, столь строгому предварительному контролю, что люди самые осторожные в выборе знакомств не рисковали встретиться там с кем бы то ни

было из второсортного общества. Самые притязательные чувствовали себя у нее в безопасности. В эту зиму, вновь собравшую великосветское общество, некоторые салоны, и в их числе г-жи д'Эспар, г-жи де Листомэр, мадемуазель де Туш и герцогини де Гранлье, залучили к себе кое-кого из новых светил искусства, науки, литературы и политики. Общество никогда не теряет своих прав: оно всегда требует развлечений. И вот на концерте, устроенном графиней де Монкорне в конце зимы, появился один из виднейших литераторов и политических деятелей современности, Рауль Натан, которого ввел в ее дом Эмиль Блонде, принадлежавший к числу самых одаренных, но и самых ленивых писателей той эпохи, человек не менее знаменитый, чем Натан, но в замкнутом кругу, славившийся среди журналистов, но безвестный по ту сторону барьера. Блонде это знал; впрочем, он не строил себе никаких иллюзий, и в числе многих презрительных его афоризмов был и такой: слава — это яд, полезный только в небольших дозах.

Рауль Натан, с тех пор как он после долгой борьбы «выбился в люди», обращал себе на пользу то увлечение формой, которым стали щеголять ярые почитатели средневековья, столь забавно прозванные «Молодой Францией». Он усвоил себе манеры гениального человека, записавшись в ряды этих поклонников искусства, намерения которых, впрочем, были превосходны: ибо нет ничего смешнее костюма французов в XIX столетии, и нужна была смелость, чтобы его подновить.

В облике Рауля, надо отдать ему справедливость, есть нечто значительное, причудливое и необычное, он так и просится на картину. Его враги и его друзья — одни стоят других — сходятся на том, что у него ум вполне согласуется с наружностью. Рауль Натан, каков он есть, был бы, пожалуй, еще оригинальнее, чем его наигранное своеобразие. Его изможденное, помятое лицо словно говорит о том, что он сражался с ангелами или демонами; таким изображают немецкие художники лик умершего Христа: в нем все свидетельствует о постоянной борьбе между слабой человеческой природой и небесными силами. Но резкие складки на его щеках, шишковатый неровный череп, глубоко сидящие глаза и впадины на висках отнюдь не являются признаками

худосочной породы. Его твердые суставы, его выступающие кости замечательно крепки; и хотя их так обтягивает побуревшая от излишеств кожа, словно его высушило внутреннее пламя, она прикрывает чудовищно мощный скелет. Он тощий и рослый. Длинные волосы всегда растрепаны, и не без умысла. У этого плохо причесанного, плохо скроенного Байрона журавлиные ноги, выпирающие коленные чашки и очень крутой изгиб спины; мускулистые руки с худыми и нервными пальцами сильны, как клешни у краба. Глаза у Рауля наполеоновские — синие глаза, которые взглядом пронизывают душу; нос, резко неправильной формы, выражает большое лукавство; красивый рот сверкает зубами такой белизны, что любая женщина может им позавидовать. В этом лице есть движение и огонь, этот лоб отмечен гением. Рауль принадлежит к тем немногим мужчинам, наружность которых бросается в глаза, которые мгновенно привлекают все взгляды в гостиной. Он обращает на себя внимание своим «неглиже», если позволительно здесь позаимствовать у Мольера словечко, употребленное Элиантой, чтобы обрисовать неряху. Платье на нем всегда кажется нарочно измятым, истертым, изношенным, чтобы оно гармонировало с физиономией. Обычно он держит одну руку за вырезом открытого жилета, в позе, прославленной портретом Шатобриана кисти Жироде; но принимает он эту позу не столько для того, чтобы походить на Шатобриана (он ни на кого не хочет походить), сколько для того, чтобы нарушить строй складок на манишке. Галстук его в один миг скручивается от судорожных движений головы, необычайно резких и порывистых, как у породистых лошадей, томящихся в упряжи и непрерывно вскидывающих голову, в надежде освободиться от узды или мундштука. Его длинная остроконечная борода не расчесана, не надушена, не разглажена щеткою, как у тех щеголей, которые носят ее веером или эспаньолкой,— он дает ей свободно расти. Волосы, застревающие между воротником фрака и галстуком, пышно ниспадающие на плечи, оставляют жирные пятна на тех местах, которых касаются. Сухие и жилистые руки незнакомы со щеткой для ногтей и лимонным соком; их смуглая кожа, по утверждению некоторых фельетонистов, не слишком часто освежается

очистительными водами. Словом, этот ужасный Рауль — причудливая фигура. Его движения угловаты, словно их производит несовершенный механизм. Его походка оскорбляет всякое представление о порядке своими восторженными зигзагами, неожиданными остановками, при которых он толкает мирных обывателей, гуляющих по парижским бульварам. Речь его, полная едкого юмора и колких острот, напоминает эту походку: внезапно покидая язвительный тон, она становится неуместно нежной, поэтичною, утешительной, сладостной; она прерывается необъяснимыми паузами, вспышками остроумия, порою утомительными. В свете он щеголяет смелою бестактностью, презрением к условностям, критическим отношением ко всему, что свет уважает, и это восстанавливает против него узколобых людей, а также и тех, кто старается блюсти правила старинной учтивости. Но в этом есть своеобразие, как в произведениях китайцев, и женщин оно не отталкивает. С ними, впрочем, он часто бывает изысканно любезен, ему словно нравится вести себя так, чтобы ему прощались странности, одерживать над неприязнью победу, лестную для его тщеславия, самолюбия или гордости. «Почему вы такой?»—спросила его однажды маркиза де Ванденес. «А почему жемчужины таятся в раковинах?» — ответил он пышно. Другому собеседнику, задавшему тот же вопрос, он сказал: «Будь я как все, разве мог бы я казаться самым лучшим особе, избранной мною среди всех?» В духовной жизни Рауля Натана царит беспорядок, который он сделал своею вывеской. Его внешность не обманчива: талант его напоминает бедных девушек, работающих в домах у мещан «одной прислугой». Сперва он был критиком, и критиком замечательным; но это ремесло показалось ему шарлатанством. Его статьи стоили книг, говаривал он. Соблазнили его было театральные доходы, но, будучи неспособен к медленному и кропотливому труду, которого требует построение пьесы, он вынужден был взять в сотрудники одного водевилиста, дю Брюэля, и тот инсценировал его замыслы, всегда сводя их к доходным, весьма остроумным вещицам, всегда написанным для определенных актеров и актрис. Они вдвоем создали Флорину, актрису, делающую сборы. Стыдясь этого соавторства, напоминающего сиам-

ских близнецов, Натан единолично написал и поставил во Французском театре большую драму, провалившуюся со всеми воинскими почестями под залпы уничтожающих рецензий. В молодости он уже искушал однажды великий, благородный Французский театр великолепной романтической пьесой в духе «Пинто», в ту пору, когда неограниченно царил классицизм; в Одеоне три вечера подряд так бушевали страсти, что пьеса была запрещена. Вторая пьеса, как и первая, многими признана была шедевром и доставила ему бóльшую известность, чем доходные пьесы, написанные в сотрудничестве с другими драматургами, но эта известность ограничивалась кругом знатоков и людей подлинного вкуса, к голосу которых мало прислушивались. «Еще один такой провал,— сказал ему Эмиль Блонде,— и твое имя будет бессмертно». Но, покинув этот трудный путь, Натан по необходимости вернулся к пудре и мушкам водевиля восемнадцатого века, к «костюмным пьесам» и инсценировкам ходких романов. Тем не менее он считался крупным талантом, еще не сказавшим своего последнего слова. Впрочем, он уже взялся за высокую прозу и выпустил три романа, не считая тех, которые он, точно рыб в садке, хранил под рубрикой: «готовится к печати». Одна из трех изданных книг, первая,— как это бывает со многими писателями, способными только на первое произведение,— имела необычайный успех. Эту вещь, неосмотрительно напечатанную им раньше других, он по всякому поводу рекламировал как лучшую книгу эпохи, единственный роман века. Он, впрочем, горько сетовал на требования искусства; он был одним из тех, кто особенно старался собрать под единым знаменем Искусства произведения всех его родов — живописи, ваяния, изящной словесности, зодчества. Он начал со сборника стихотворений, который дал ему право войти в плеяду модных поэтов, особенно благодаря одной туманной поэме, имевшей довольно большой успех. Вынуждаемый безденежьем к плодовитости, он переходил от театра к прессе и от прессы к театру, разбрасываясь, размениваясь на мелочи и неизменно веря в свою звезду. Таким образом, слава его не была в пеленках, как у многих выдохшихся знаменитостей, поддерживаемых лишь эффектными заглавиями еще не написанных книг, которые не

столько нуждаются в изданиях, сколько в издательских договорах. Рауль Натан действительно был похож на гениального человека; и если бы он взошел на эшафот, как этого ему даже хотелось иной раз, он мог бы хлопнуть себя по лбу, подобно Андре Шенье. При виде ворвавшейся в правительство дюжины писателей, профессоров, историков и метафизиков, которые угнездились в государственном механизме во время волнений 1830—1833 годов, в Натане зашевелилось политическое честолюбие, и он пожалел о том, что писал критические, а не политические статьи. Он считал себя выше этих выскочек, их удача внушала ему жгучую зависть. Он принадлежал к тем всему завидующим, на все способным людям, которым каждый успех кажется украденным у них и которые, расталкивая всех, устремляются в тысячу освещенных мест, ни на одном не останавливаясь и вечно выводя из терпения соседей. В это время он переходил от сен-симонистских к республиканским взглядам, быть может, для того, чтобы вернуться к сторонникам существующей власти. Он высматривал себе кость во всех углах и разыскивал надежное место, откуда бы можно было лаять, не боясь побоев, и казаться грозным; но, к стыду своему, он видел, что не вызывает к себе серьезного отношения со стороны прославленного де Марсе, стоявшего в ту пору во главе правительства и нимало не уважавшего сочинителей, у которых не находил того, что Ришелье называл духом последовательности, или, точнее, последовательности идей. Впрочем, всякое министерство приняло бы в соображение постоянное расстройство в делах Рауля. Рано или поздно необходимость должна была заставить его подчиниться условиям, вместо того чтобы их диктовать.

Подлинный характер Рауля, тщательно им скрываемый, согласуется с ролью, которую он играет в обществе. Он искренний актер, крайний себялюбец, готовый применить к себе формулу «государство — это я», и весьма искусный декламатор. Никто не умеет лучше изображать чувства, кичиться поддельным величием, наводить на себя нравственную красоту, возвышать себя на словах и прикидываться Альцестом, поступая, как Филинт. Его эгоизм прикрывается броней из размалеванного картона и часто достигает втайне намеченной цели.

В высшей степени ленивый, он работает только подгоняемый нуждой. Усидчивая работа, необходимая для создания монументального произведения, ему незнакома; но в пароксизме ярости, когда уязвлено его тщеславие, или в критический момент, вызванный преследованиями какого-нибудь кредитора, он перескакивает через Эврот, он платит по крупнейшим обязательствам, учтенным под залог таланта. Затем, усталый, восхищенный тем, что у него кое-что вышло из-под пера, он снова становится рабом парижских удовольствий. Когда нужда предстает перед ним в самом страшном своем образе, он слаб, он опускается и компрометирует себя. Движимый ложным представлением о величии и о своем будущем, для которых он взял мерилом большую карьеру одного из бывших своих товарищей, на редкость даровитого человека, выдвинутого Июльской революцией, он позволяет себе по отношению к любящим его людям, когда надо выйти из затруднения, варварские сделки с совестью, погребенные среди тайн частной жизни и не вызывающие ни толков, ни жалоб. Его душевная пошлость, бесстыдство его рукопожатий, которыми он обменивается со всеми пороками, всеми бедствиями, всеми предательствами, всеми убеждениями, сообщили ему неприкосновенность, словно конституционному монарху. Какой-нибудь грешок, соверши его человек, уважаемый за свои высокие достоинства, вызвал бы всеобщее негодование; Натану он сходит с рук; не слишком честный поступок ему почти не ставится в вину: извиняя его, всякий сам себя извиняет. Даже те, кто склонен его презирать, протягивают ему руку, боясь, что он может понадобиться им. У него столько друзей, что ему хотелось бы иметь врагов. Кажущееся добродушие, которое прельщает новичков, но прекрасно уживается с предательством, которое все себе позволяет и все оправдывает, громко кричит, получив оскорбление, и прощает его,— один из отличительных признаков журналиста. Это «панибратство» разъедает самые прекрасные души: оно покрывает ржавчиной их гордость, убивает жизненное начало великих произведений и освещает умственную низость. Требуя от всех такой же дряблой совести, иные люди заранее подготовляют прощение своим изменам и ренегатству. Вот как наиболее

просвещенная часть общества становится наименее почтенной. С литературной точки зрения, Натану недостает стиля и образования. Подобно большинству молодых честолюбцев в литературе, он изливает на бумаге запас сведений, которых нахватался накануне. У него нет ни времени, ни терпения писать; он не наблюдал, но он слушает. Неспособность построить крепкий, обдуманный план он искупает, пожалуй, огнем рисунка. Он мастер «по части страстей», как гласит словечко литературного жаргона, потому что в страсти все правдиво, между тем как назначение гения — находить среди случайностей правды то, что должно казаться вероятным каждому. Вместо того чтобы будить идеи, его герои—это возвеличенные индивидуальности, возбуждающие только беглую симпатию; они не связаны с великими вопросами жизни и, значит, не представляют собою ничего; но он поддерживает интерес живостью мысли, удачными находками; бильярдный игрок сказал бы, что он «берет шары фуксом». Он непревзойденный мастер ловить на лету идеи, проносящиеся над Парижем или Парижем пущенные в ход. Своею плодовитостью он обязан не себе, а эпохе; он живет обстоятельствами и, чтобы подчинить их себе, преувеличивает их значение. Наконец он неискренен, его фраза лжива. В нем что-то есть от фокусника, как говорил граф Феликс. Его чернильница стоит в будуаре актрисы, это чувствуется. Натан являет собою образ современной литературной молодежи, ее поддельного великолепия и ее подлинного убожества; для нее характерны легковесные красоты Натана и его глубокие падения, его кипучая жизнь, полная нежданных превратностей судьбы и негаданных триумфов. Это поистине дитя нашего пожираемого завистью века, в котором тысячи соперников, под прикрытием политических систем, всеми своими обманутыми надеждами выкармливают себе на потребу гидру анархии; домогаются богатства без труда, славы без таланта, успеха без усилий, а по вине своих пороков кончают тем, что после всех попыток бунта, после всех схваток с жизнью существуют на подачки казны по благоусмотрению властей. Когда столько молодых честолюбцев, пустившись в путь пешком, назначают себе общее место встречи, то происходят состязания жаждущих успеха, неска-

занные несчастья, ожесточенные битвы. В этом страшном бою победа достается самому неистовому или самому ловкому эгоизму. Пример внушает зависть, его оправдывают, ему следуют. Когда в качестве врага новой династии Рауль появился в салоне г-жи де Монкорне, его дутое величие было в расцвете. Он принят был как политический критик всех этих де Марсе, Растиньяков, Ларош-Гюгонов, вошедших в правительство. Жертва своих роковых колебаний, своего отвращения к искательству, Эмиль Блонде, который ввел Натана в эклектический салон, продолжал играть роль насмешника, ни на чью сторону не становился и со всеми поддерживал связи. Он был другом Рауля, другом Растиньяка, другом Монкорне.

— Ты политический треугольник,— сказал ему со смехом де Марсе, встретившись с ним в Опере,— эта геометрическая фигура подходит только богу, которому нечего делать; честолюбцы же должны двигаться по кривой линии — это кратчайший путь в политике.

На расстоянии Рауль Натан казался прекрасным метеором. Мода одобрила его манеры и внешность. Взятый напрокат республиканизм наделил его янсенистской резкостью, свойственной борцам за народное дело,— он над ними смеялся в душе,— не лишенною в глазах женщин обаяния. Женщины любят творить чудеса, ломать скалы, плавить бронзовые с виду характеры. И так как моральный туалет у Рауля гармонировал в ту пору с его костюмом, то он должен был стать и стал для Евы, пресыщенной своим раем на улице Роше, тем переливчато-пестрым змием с искусительной речью, с магнетизирующими глазами, с плавными движениями, который погубил первую женщину. Едва графиня Мари увидела Рауля, она почувствовала в душе толчок, способный испугать женщину своею силой. Мнимый великий человек своим взглядом оказал на нее почти физическое воздействие, задел ее сердце и смутил его. Это смущение было ей сладостно. Простодушную женщину ослепила пурпурная мантия славы, временно драпировавшая плечи Натана. Когда подали чай, Мари покинула кружок дам, занятых болтовней, в которой она не принимала участия, поглощенная созерцанием столь необычайного существа. Молчаливость ее была замечена коварными приятель-

ницами. Графиня приблизилась к стоявшему посреди салона квадратному дивану, где разглагольствовал Рауль. Она остановилась, взяв под руку жену Октава де Кан, добрейшую особу, сохранившую в тайне невольный трепет Мари, которым выдает себя глубокое душевное движение. Взоры влюбленной или радостно удивленной женщины излучают невообразимую нежность, но Рауль в это время пускал настоящий фейерверк и так увлекся взлетавшими, словно ракеты, остротами, ослепительными обличениями, вспыхивавшими и отгоравшими, подобно солнцам, портретами, которые рисовал огненными штрихами, что не мог заметить наивного изумления бедной маленькой Евы, скрытой в группе окружавших ее дам. Всеобщее любопытство, сходное с тем, которое погнало бы весь Париж в зоологический сад поглядеть на единорога, если бы нашелся экземпляр этих чудищ в знаменитых Лунных горах, куда еще не проникал ни один европеец, столь же опьяняет заурядные умы, сколь опечаливает подлинно возвышенные души; Рауля оно восхищало, и он настолько принадлежал всем женщинам, что не мог принадлежать одной.

— Будьте осторожнее, дорогая,— шепнула на ухо графине Мари ее милая и очаровательная подруга,— уходите.

Графиня взглядом попросила предложить ей руку. Феликс, всегда понимавший желания жены, увел ее.

— Милый мой,— сказала на ухо Раулю маркиза д'Эспар,— вам везет. Сегодня вечером вы покорили много сердец, и в их числе сердце очаровательной женщины, так внезапно покинувшей нас.

— Не знаешь ли, что хотела этим сказать маркиза д'Эспар? — спросил Рауль Эмилия Блонде, повторив ему фразу этой знатной дамы, когда они остались почти одни, во втором часу ночи.

— Как же, я слышал, что графиня де Ванденес влюбилась в тебя без памяти. Тебе можно позавидовать.

— Я ее не видел,— сказал Рауль.

— О, ты ее увидишь, бездельник! — сказал, расхохотавшись, Эмиль Блонде.— Леди Дэдлей пригласила тебя на свой большой бал именно для того, чтобы ты с нею встретился.

Рауль и Блонде вышли вместе с Растиньяком. Он предложил им свою карету. Все трое смеялись по поводу объединения лояльного государственного секретаря, свирепого республиканца и политического атеиста.

— Не поужинать ли нам на счет существующего порядка вещей? — сказал Блонде, старавшийся снова ввести в моду ужины.

Растиньяк повез их к Вери, отпустил карету, и все трое уселись за стол, подробно разбирая современное общество и высмеивая его в духе Рабле. За ужином Растиньяк и Блонде посоветовали своему мнимому врагу не пренебрегать столь редким счастьем, улыбнувшимся ему. Повесы эти изложили ему в шуточном жанре историю графини Мари де Ванденес, вонзая скальпель эпиграммы и острие ехидной насмешки в ее чистое детство, в ее счастливое супружество. Блонде поздравил Рауля с победою над женщиной, виновною покамест только в плохих рисунках красным карандашом, худосочных пейзажах акварелью, вышитых для мужа туфлях и сонатах, исполняемых с самыми благими намерениями; над женщиной, которая восемнадцать лет была пришита к материнской юбке, замаринована в религиозных обрядах, воспитана Ванденесом и разогрета браком в должной мере для того, чтобы ее можно было подать на стол любви. За третьей бутылкой шампанского Рауль Натан пустился в откровенные излияния, раскрыл свою душу, как еще ни перед кем.

— Друзья мои,— сказал он,— вы знаете мои отношения с Флориной, знаете мою жизнь, вы не удивитесь, если я скажу вам, что не имею понятия о том, какова на вкус любовь графини. Я часто испытывал глубокое унижение при мысли, что не могу обзавестись собственной Беатриче, Лаурой иначе, как в поэзии! Благородная и чистая женщина — это словно незамутненная совесть, в зеркале которой мы видим себя красавцами. В другом обществе мы можем пачкаться, но здесь мы остаемся великими, гордыми, незапятнанными. Там мы ведем сумасшедшую жизнь; но здесь все дышит покоем, свежестью, зеленью оазиса.

— Валяй, валяй, старина! Выводи на четвертой струне молитву Моисея, как Паганини,— сказал ему Растиньяк.

Рауль умолк, устремив на него тупой, неподвижный взгляд.

— Этот дрянной министерский подмастерье не понимает меня,— произнес он помолчав.

И вот, когда бедная Ева с улицы Роше укутывалась в покровы стыда, приходя в ужас от того, что с наслаждением внимала мнимому великому поэту, и колебалась между строгим голосом благодарности к мужу и позлащенными речами змия, три наглых остроумца топтали нежные белые цветы ее зарождающейся любви. Ах, если бы женщины знали, какой цинический тон принимают, расставшись с ними, мужчины, такие смиренные, такие вкрадчивые в их присутствии! Как они издеваются над тем, что обожают! Свежая, прелестная, стыдливая! Как раздевало ее и разбирало грубое шутовство! И все же какой триумф! Чем больше с нее спадало покровов, тем больше открывалось красоты.

Мари в этот миг сравнивала Рауля и Феликса, не подозревая опасности, которой подвергается сердце при таких сопоставлениях. Нельзя было представить себе людей, более противоположных, чем неряшливо одетый мускулистый Рауль и одетый с иголочки, точно молодая щеголиха, затянутый во фрак, очаровательно непринужденный Феликс де Ванденес, приверженец английского изящества, к которому его приучила когда-то леди Дэдлей. Такой контраст нравится воображению женщин, склонных переходить от одной крайности к другой. Мари де Ванденес, женщина благоразумная и богобоязненная, запретила себе думать о Рауле, сочтя себя на другой день, посреди своего рая, неблагодарным, бесчестным созданием.

— Какого вы мнения о Рауле Натане? — спросила она мужа за завтраком.

— Фокусник, один из тех вулканов, что успокаиваются от пригоршни золотого песка,— ответил граф.— Графиня де Монкорне напрасно принимает его у себя.

Такой ответ тем сильнее задел Мари, что Феликс, знавший литературный мир, подкрепил свое мнение доказательствами, сообщив ей то, что знал о жизни Рауля Натана, жизни неустойчивой, о его союзе с Флориной, популярной актрисой.

— Если он даже и даровитый человек,— сказал в

заключение граф,— то нет у него ни терпения, ни постоянства, венчающих гений и возводящих его на степень божества. Он хочет блистать в свете, занять место, на котором ему не удержаться. Так не поступают подлинные таланты, люди труда и чести: они мужественно идут своею дорогой, мирятся со своей нищетою и не прикрывают ее мишурой.

Мышление женщины обладает невероятной упругостью: от сильного удара оно сплющивается, кажется раздавленным, но спустя определенное время принимает прежний вид. «Феликс несомненно прав»,— подумала сначала графиня. Но через три дня она вернулась мыслями к змию, вспомнив то волнение, одновременно сладостное и жестокое, которое в ней вызвал Рауль и которого, к своему несчастью, не дал ей изведать Феликс. Граф и графиня поехали на большой бал к леди Дэдлей, где в последний раз появился в свете де Марсе,— спустя два месяца он умер и оставил по себе репутацию крупнейшего государственного деятеля, что, по словам Блонде, было непостижимо. Ванденес и его супруга опять увидели Рауля Натана на этом балу, замечательном тем, что на нем присутствовали многие действующие лица политической драмы, крайне изумленные такой встречей. Это было одно из первых великосветских празднеств. Залы представляли волшебное зрелище: цветы, алмазы, сверкающие камнями головные уборы,— все содержимое ларцов с драгоценностями, все ухищрения туалета были пущены в ход. Салон можно было уподобить одной из тех нарядных теплиц, в которых богатые садоводы-любители собирают самые великолепные, редкостные цветы. Тот же блеск, та же тонкость тканей. Казалось, мастерство человека решило состязаться с одушевленными творениями. Повсюду белые или пестрые вуали, словно крылья самых красивых стрекоз; креп, кружева, блонды, тюль, разнообразные, как причуды энтомологической природы, ажурные волнистые, зубчатые; золотые и серебряные паутинки; туманы из шелков, цветы, вышитые феями или взлелеянные плененными гениями; расписанные тропическим солнцем перья, ниспадающие с надменных головок, как ветви плакучей ивы; жгутами свитые жемчужные нити; тисненые, рубчатые, узорчатые материи, словно

гений арабесок вдохновлял французскую промышленность. Эта роскошь гармонировала с красотою женщин, собравшихся сюда как бы для того, чтобы воплотить в жизнь великолепный кипсек. Взгляд скользил по белым плечам то янтарного отлива, то блестящим, словно полированным, то атласным, то матовым и полным, точно сам Рубенс приготовил для них краски,— словом, здесь были плечи всех оттенков, какие существуют в белизне. Здесь были глаза, сверкающие, как оникс или бирюза, окаймленные черным бархатом или золотистой бахромой ресниц; лица разнообразного рисунка, напоминавшие самые изящные типы женщин различных стран; лбы высокие и величественные, слегка выпуклые, словно от обилия мыслей, или плоские, как будто в них гнездилось непобежденное сопротивление. Здесь привлекательной приманкой, рассчитанной на взоры зрителей, по-разному блистали красотой груди — высоко приподнятой, во вкусе Георга IV, или ничем не стесненные — по моде восемнадцатого века, или стянутые, как это нравилось Людовику XV, показанные смело, без покровов, или же просвечивающие, как на Рафаэлевых портретах, сквозь складки прозрачных тканей, подарившие славою терпеливых его учеников. Прелестнейшие ножки, мелькавшие в танце, талии, отдававшиеся объятиям, притягивали взоры самых равнодушных людей. Рокот нежных голосов, шелест платьев, лепет, шуршание вальса причудливо аккомпанировали музыке. Казалось, палочка феи управляла этим дурманящим волшебством, этой мелодией ароматов, этими радужными отблесками в хрустале, где, отражаясь, искрились огни свечей, этими картинами, многократно повторенными в зеркалах. Для этой выставки красивейших женщин и туалетов служила фоном черная толпа мужчин, в которой выделялись красивые, тонкие, правильные профили знати, рыжие усы и важные физиономии англичан, изящные лица французской аристократии. На фраках, на шеях сверкали все ордена Европы, орденские ленты пересекали грудь или ниспадали на бедро. Весь этот мир в совокупности не только блистал красками уборов, он обладал душою, он жил, он мыслил, он чувствовал. Затаенные страсти придавали ему выразительность; можно было подметить, как скрещивались иные злобные взгляды, как иная вет-

реная и любопытная девица выдавала свое любовное томление, как ревнивые женщины обменивались едкими замечаниями под прикрытием вееров или говорили друг другу преувеличенные комплименты. Нарядившееся, завитое, раздушенное общество отдавалось безумию бала, ударявшему в голову, как винные пары. Казалось, из всех умов, из всех сердец струились магнетические токи чувств и мыслей, которые, сгущаясь, воздействовали на самых холодных людей, доводя их до экзальтации. В самый оживленный момент этого пьянящего вечера в углу раззолоченной гостиной, где играли в карты один — два банкира, посланники, министры в отставке и случайно завернувший сюда старый безнравственный лорд Дэдлей, г-жу де Ванденес непреодолимо увлекла беседа с Натаном. Быть может, она уступила опьянению бала, нередко вырывающему признания у самых сдержанных людей.

При виде этого праздника и блестящего общества, где Натан еще не бывал, он почувствовал, как мучительно громко в нем заговорило честолюбие. Глядя на Растиньяка, чей младший брат, двадцати семи лет, недавно был посвящен в епископы, чей шурин Марсиаль де ла Рош-Гюгон был министром, который сам был товарищем министра и собирался, по слухам, жениться на единственной дочери барона Нусингена; видя среди дипломатического корпуса безвестного писателя, когда-то переводившего статьи из иностранной прессы для газеты, ставшей в 1830 году правительственным органом; видя фельетонистов, вошедших в государственный совет, профессоров, ставших пэрами Франции,— он с горечью почувствовал, что взял неправильный курс, проповедуя низвержение этой аристократии, где блистали удачливые таланты, увенчанные успехом ловкачи и даже подлинно выдающиеся люди. Блонде, такой несчастный, так эксплуатируемый газетами, но так хорошо здесь принятый и еще имевший при желании возможность ступить на стезю богатства благодаря роману с г-жой де Монкорне, был в глазах Натана разительным примером могущества общественных связей. В глубине души он решил, по примеру де Марсе, Растиньяка, Блонде, Талейрана — главы этой секты, смеяться над убеждениями, считаться только с фактами, оборачивать их себе

на пользу, видеть в каждой доктрине оружие успеха и не восставать против столь хорошо слаженного, столь красивого, столь естественного общества. «Мое будущее,— подумал он,— зависит от женщины, принадлежащей к этому кругу».

С этой мыслью, зародившейся в огне неистового вожделения, он ринулся на графиню де Ванденес, как коршун на свою добычу. Кипучая энергия поэта, обуянного бешеным честолюбием, захватила эту прелестную женщину, такую красивую в уборе из перьев марабу, сообщавшем ей очаровательную нежность лауренсовых портретов, в полном согласии с ее мягким душевным складом. Леди Дэдлей, от которой ничто не ускользало, оказала им покровительство, препоручив графа де Ванденеса г-же де Манервиль. Надеясь на силу былого своего влияния, дама эта затянула Феликса в сети кокетливой ссоры, признаний, приукрашенных румянцем стыда, слов сожаления, искусно бросаемых, словно цветы к его ногам, обвинений, в которых она доказывала свою правоту, для того чтобы ей доказали ее ошибку, упреков, звучавших и как самооправдание и как раскаяние. Впервые после разрыва эти поссорившиеся любовники беседовали друг с другом наедине. В то время как бывшая любовница Феликса ворошила пепел погасших наслаждений, отыскивая тлеющие угли, жена его испытывала тот страшный трепет, который охватывает женщину, когда она сознает свой грех и понимает, что вступила в запретную область. Эти волнения, не лишенные очарования, пробуждают столько дремлющих сил. Ныне, как в сказке о Синей Бороде, все женщины любят пользоваться ключом, запятнанным кровью,— это великолепный мифологический символ, один из тех, которыми себя обессмертил Перро.

Начитанный в Шекспире драматург развернул свиток своих невзгод, рассказал про свою борьбу с людьми и обстоятельствами, дал понять, что его величие лишено твердой основы, что его политический гений безвестен, что жизни его недостает благородных привязанностей. Не говоря прямо ни слова, он внушил этой прелестной женщине мысль взять на себя ту возвышенную роль, которую играет Ревекка в «Айвенго»: любить его, охранять его. Все произошло в эфирных сферах чувства.

Незабудки не так лазурны, лилии не так невинны, чело серафима не так белоснежно, как были лазурны образы, безгрешны побуждения и ясен просветленный, сияющий лоб этого артиста, который мог бы отправить свою беседу прямо в печать. Он справился хорошо со своей змеиною ролью, он заворожил графиню яркими красками рокового яблока. Мари покинула этот бал во власти укоров совести, похожих на надежды, в чаду комплиментов, льстивших ее тщеславию, потрясенная до глубины души, пойманная в силки собственной добродетели, соблазненная собственной жалостью к несчастному.

Быть может, г-жа де Манервиль подвела Ванденеса к дверям гостиной, где жена его беседовала с Натаном; быть может, он сам туда направился, разыскивая Мари, чтобы увезти ее домой; а может быть, и то, что беседа с этой особой растревожила в нем утихшие печали. Как бы то ни было, когда жена, подойдя к нему, взяла его под руку, она нашла его грустным и задумчивым. Графиня испугалась: не видел ли он ее. И, как только она очутилась наедине с Феликсом в карете, улыбнулась самой лукавой улыбкою и сказала ему:

— Не с госпожою ли Манервиль вы там беседовали, друг мой?

Когда карета подкатила к их дому, Феликс еще не выбрался из зарослей обвинений, куда его в очаровательной ссоре завела жена. Это была первая хитрость, продиктованная любовью. Мари была счастлива, что восторжествовала над человеком, который до этой минуты был так велик в ее глазах. Она впервые вкусила радость успеха, которого требует необходимость.

В одном из переулков между улицами Бас-дю-Рампар и Нев-де-Матюрен, в третьем этаже узкого и некрасивого дома, у Рауля была небольшая квартира, пустая, холодная, голая, где он жил для тех, кто был ему безразличен,— для начинающих писателей, для кредиторов, для людей назойливых и скучных, которых нельзя пускать за порог интимной жизни. Подлинным же домом его, где он жил, работал и представительствовал, был дом Флорины, второразрядной актрисы, уже десять лет возводимой в сан великих актрис друзьями Натана, журналистами и драматургами. За десять лет Рауль так

привязался к этой женщине, что почти все время проводил у нее. Там он и обедал, когда не угощал приятеля или не был зван в гости.

Флорина сочетала с глубокою испорченностью тонкий ум, развившийся в общении с артистами и изощрившийся от повседневного его применения. Ум считается редким качеством у актеров. Естественно предположить, что ничего нет внутри у людей, вечно выставляющих все наружу. Но если вспомнить, как мало актеров и актрис давала каждая эпоха и как много из их среды выходило драматических писателей и увлекательных женщин, то позволительно отвергнуть это мнение, основанное на том упреке по адресу лицедеев, будто в пластическом изображении страстей они утрачивают все личные чувства. В действительности на это расходуются только силы ума, памяти и воображения. Великие артисты — это существа, которые, как выразился Наполеон, по желанию прерывают связь, установленную природой между чувствами и мышлением. Мольер и Тальмà на склоне лет умели любить сильнее, чем заурядные люди. Флорина, вынужденная прислушиваться к разговорам журналистов, все угадывающих и рассчитывающих, писателей, все предвидящих и все говорящих, наблюдать политических деятелей, которые приходили поживиться остротами ее гостей, сочетала в себе свойства дьявола и ангела и была, следовательно, достойною подругой этих повес; она их восхищала своим хладнокровием, им бесконечно нравилось уродство ее ума и сердца. Дом ее, обогащенный данниками любви, отличался чрезмерной роскошью; но такие женщины интересуются не стоимостью вещей, а только самими вещами, имеющими для них ценность прихотей; они способны сломать в припадке ярости веер, шкатулку, достойные королевы, а в другой раз раскричаться из-за того, что разбилось десятифранковое фарфоровое блюдце, из которого пьют их собачонки. Увидав ее столовую, переполненную изысканнейшими подношениями, можно было постигнуть эту хаотическую роскошь, царственную и презрительную. Повсюду, даже на потолке, резная обшивка из цельного дуба, оттененная золотыми матовыми поясками; фигурки детей, играющих с химерами, обрамляют панно, на которых мер-

цающий свет озаряет тут набросок Декана, там — изваянного ангела с кропильницей, подарок Антонена Муана, подальше — какой-нибудь кокетливый холст Эжена Девериа, мрачное лицо испанского алхимика кисти Луи Буланже, автограф письма Байрона к Каролине в рамке из черного дерева с резьбою Эльшета, а напротив другое письмо — Наполеона к Жозефине. Все это размещено без всякой симметрии, но с большим искусством, не бросающимся в глаза. Это поражало мысль. В этом были кокетливость и непринужденность — два качества, которые сочетаются только у артистов. На камине дивной деревянной резьбы — ничего, кроме странной флорентинской статуи слоновой кости, приписываемой Микеланджело и изображающей сатира, который находит женщину под овчиной молодого пастуха (подлинник статуи хранится в Венской сокровищнице), а по обеим сторонам от нее — чеканные канделябры эпохи Возрождения. Часы работы Буля на подставке, отделанной черепахой, инкрустированной арабесками из меди, сверкали посреди одного из простенков, между двумя статуэтками, уцелевшими при разгроме какого-то аббатства. В углах горели на пьедесталах лампы царственного великолепия, которыми некий фабрикант оплатил изустную рекламу со сцены, настаивавшую на необходимости иметь богато разукрашенные лампы в виде витых раковин. На изумительном поставце горделиво выстроились художественный фарфор и драгоценная серебряная посуда — дань некоего лорда, побежденного Флориной и признавшего превосходство французской нации. Словом, это была изысканная роскошь актрисы, весь капитал которой заключается в обстановке. Спальня лиловых тонов была воплощением мечтаний начинающих танцовщиц: подбитые белым шелком бархатные портьеры и тюлевые занавеси; обтянутый белым кашемиром и оживленный лиловым атласом потолок; горностаевый ковер у кровати, а над нею, под пологом, похожим на шатер,— фонарь, чтобы при свете его читать газеты до их выпуска в свет. Со всей этой пышностью гармонировала желтая с отделкой цвета флорентинской бронзы гостиная; но подробное описание придало бы этим страницам сходство с объявлением об аукционе по постановлению суда. Чтобы найти

нечто подобное всем этим прекрасным вещам, надо было бы заглянуть в соседний особняк — к Ротшильду.

Софи Гринью, получившая в театральной купели крестное имя Флорины, дебютировала на второстепенных сценах, несмотря на свою красоту. Успехом и богатством она обязана была Раулю Натану. Их союз, вполне согласный с театральными и литературными нравами, нимало не вредил Раулю, соблюдавшему приличия в качестве человека высокого предназначения. Однако благосостояние Флорины было весьма неустойчиво: Ее доходы были делом случая, зависели от ангажементов, от турне, их едва хватало на туалеты и хозяйство. Натан взимал в ее пользу кое-какие подати с новых промышленных предприятий; но хотя он неизменно держался с нею рыцарем и опекуном, опека его отнюдь не была постоянной и надежной. Такая шаткость, неустойчивость жизни ничуть не пугали Флорину. Она верила в свой талант, верила в свою красоту. Эта твердая ее вера потешала тех, кто слышал, как она в ответ на предостережения объявляла ее залогом всего своего будущего.

— Стоит мне захотеть, и у меня будет рента,— говорила она.— Я уже положила в банк пятьдесят франков.

Никто не понимал, как могла ее красота целых семь лет оставаться в тени; Флорина начала службу на сцене в тринадцать лет, на выходных ролях, а спустя два года дебютировала в захудалом театре на бульваре. В пятнадцать лет не существует ни красоты, ни таланта: женщина — только обещание. Теперь же Флорине было двадцать восемь лет, в этом возрасте красота француженки достигает полного расцвета. Художники прежде всего замечали у Флорины плечи — шелковистой белизны, с оливковым отливом близ затылка, но крепкие и блестящие; свет скользил по ним, как по атласу. Когда она поворачивала голову, дивные складочки шеи восхищали скульпторов. На этой гордой шее покоилась головка римской императрицы — изящная и тонкая, круглая и властная голова Поппеи, с одухотворенными правильными чертами лица, с гладким, без единой морщинки, лбом, встречающимся у женщин, которые гонят от себя заботу и раздумье, которые легко уступают,

но подчас и упираются, как мулы, и тогда уж глухи ко всему. Этот лоб, изваянный одним ударом резца, выгодно подчеркивал красоту пепельных волос, почти всегда приподнятых спереди на римский лад двумя одинаковыми волнами, а сзади свернутых в тяжелый узел, оттенявший белизну шеи. Черные тонкие брови, словно выведенные кисточкой китайского живописца, обрамляли нежные веки с сеткой розовых жилок. Зрачки, горевшие живым блеском, испещренные карими лучиками, сообщали ее взгляду жестокую пристальность хищного зверя и выдавали холодное лукавство куртизанки. Дивные газельи глаза красивого серого цвета были опушены длинными черными ресницами, и этот очаровательный контраст усугублял в них выражение сосредоточенного и спокойного сладострастия; их окружали глубокие тени, но она так искусно умела переводить глаза в сторону или вверх, изображая раздумье или наблюдая; так научилась придавать им на сцене ярчайший блеск при полной неподвижности, не шевельнув головой, не меняя выражения лица; столько живости было в ее взгляде, когда она, разыскивая кого-нибудь, окидывала им всю залу, что глаза эти становились тогда самыми страшными, самыми сладостными, самыми необычайными в мире. Румяна стерли пленительные прозрачные тона с ее нежных щек, и ни краснеть, ни бледнеть она уже не могла, зато ее тонкий носик с красиво вырезанными трепещущими ноздрями словно был создан для выражения иронии, насмешливости мольеровских служанок, а чувственный рот — для сарказма и для любви. Продолговатая ямочка соединяла верхнюю губу с носом. Белый, несколько тяжелый подбородок указывал на волю и страстность. Руки от пальчиков до плеч достойны были королевы. Ступни зато были широкие и короткие — неизгладимый признак низкого происхождения. Никому еще подобное наследство не причиняло столько хлопот—Флорина испробовала все, кроме ампутации, чтобы изменить их форму. Но ноги ее были упрямы, как бретонцы, ее родители; они не поддавались никаким врачам, никакому лечению. Чтобы придать ноге крутой подъем, Флорина носила длинноносые ботинки, изнутри выложенные ватой. Роста она была среднего, предрасположена к

полноте, но довольно стройна и хорошо сложена. Что до ее душевного склада, то она в совершенстве владела ужимками кокетства, знала, как поссориться, как приласкаться, усвоила все приемы своего ремесла и придавала им особую, пряную прелесть, разыгрывая девочку и сопровождая язвительные шутки наивным смехом. С виду непрактичная, ветреная, она была очень сильна по части учетных вексельных операций и всей коммерческой юриспруденции. Сколько невзгод изведала она, прежде чем для нее взошла заря сомнительного успеха! Сколько любовных и всяческих приключений пережила она, пока спустилась с чердака в бельэтаж! Она знала жизнь — начиная от той, где довольствуются дешевым сыром, и до той, где небрежно посасывают ломтики ананаса; от той, где стряпают и кипятят белье перед пустым камином мансарды на глиняной печурке, и до той, где задают пиры, мобилизуя полчища толстобрюхих поваров и нахальных поварят. Она пользовалась кредитом, не убивая его. Ей было известно все то, чего не знают «честные женщины», она говорила на всех жаргонах, была богата житейским опытом, как рыночная торговка, и изысканно красива, как знатная дама. Провести ее было трудно — она подозревала всех и во всем, подобно шпиону, судебному следователю или старому дипломату, и это позволяло ей обо всем догадываться. Она умела обращаться с поставщиками и понимала их хитрости; знала цену вещам не хуже аукциониста. Когда она покоилась у себя в глубоком кресле, свежая, вся в белом, как новобрачная, и читала роль, то имела вид шестнадцатилетней девушки, наивной, простодушной, пленяющей своей слабостью и невинностью. А стоило появиться в дверях назойливому кредитору, она вскакивала, как врасплох застигнутая серна, и разражалась бранью:

— Послушайте, любезный, ваша наглость — слишком высокий процент с тех денег, что я вам должна. Вы мне надоели, пришлите ко мне судебных приставов,— лучше уж видеть их, чем вашу глупую физиономию.

Флорина устраивала веселые обеды, концерты и вечера; гостей всегда собиралось много; за карточными

столами шла отчаянная игра. Все ее приятельницы были красивы. Ни одна старая женщина у нее не появлялась: ревность была Флорине незнакома и показалась бы ей самоумалением. Когда-то она знавала Корали, Торпиль, водила дружбу с Туллией, Эфрази, Акилиною, г-жой дю Валь-Нобль, Мариеттой, со всеми женщинами, которые проносятся сквозь Париж, как паутинки бабьим летом на ветру, неизвестно откуда и куда, сегодня королевы, завтра рабыни; с актрисами, своими соперницами, с певицами — словом, со всем этим особым, таким приветливым, таким изящным в своей беспечности женским мирком, цыганская жизнь которого губит тех, кто дает вовлечь себя в неистовый хоровод его страстей, причуд и презрения к будущему. Хотя в доме у Флорины кипела разгульная жизнь богемы, хозяйка головы не теряла и была расчетлива, как никто из ее гостей. Там совершали тайные сатурналии литература и искусства, вперемежку с политикой и финансами; там полновластно царило желание; там сплин и фантазия были священны, как в буржуазном доме — добродетель и честь; там бывали Блонде, Фино, Этьен Лусто — ее седьмой любовник, считавшийся, однако, первым,— фельетонист Фелисьен Верну, Кутюр, Бисиу, в прежнее время — Растиньяк, критик Клод Виньон, банкир Нусинген, банкир дюТийе, композитор Конти — целый бесовский легион самых свирепых спекулянтов всякого рода, а также друзья певиц, танцовщиц и актрис, приятельниц Флорины. Все эти люди ненавидели или любили друг друга, смотря по обстоятельствам. Этот доступный для всех дом, где принимали каждого, лишь бы он был знаменит, представлял собою как бы вертеп талантов, каторгу умов: прежде чем переступить его порог, надо было стать признанным, добиться удачи, иметь за спиной десять лет нищеты, убить две или три страсти, приобрести известность любым образом, книгами или жилетами, пьесой или красивым экипажем; там замышлялись мерзкие проделки, обсуждались способы успеха, осмеивались вспышки общественных волнений, накануне разожженных, взвешивались шансы повышения и понижения биржевых курсов. Уходя оттуда, всякий облачался снова в ливрею своих убеждений, но в доме Флорины он мог, не компрометируя

себя, критиковать собственную партию, признавать за своими противниками достоинства и ловкость в игре, высказывать мысли, в каких никто не сознается,— словом, говорить все, в качестве человека, на все способного. Париж — единственное место в мире, где существуют такие неразборчивые дома, куда в пристойном облачении вхожи любые вкусы, любые пороки, любые взгляды. Неизвестно еще, останется ли Флорина второстепенной актрисой. Жизнь ее, впрочем,— не праздная жизнь, и завидовать ей не приходится. Многие обольщаются великолепным пьедесталом, на который возводит женщину театр, и думают, что она живет в радостях вечного карнавала. Во многих швейцарских, на многих мансардах бедные девушки, вернувшись из театра, мечтают о жемчугах и алмазах, шитых золотом платьях и роскошных ожерельях, видя себя в блистательных головных уборах, воображают, как рукоплещет им толпа, как их задаривают, боготворят, похищают; но никто из них не знает, что в действительности актриса напоминает лошадь на манеже, что она не смеет пропускать репетиции под страхом штрафа, должна читать пьесы, должна постоянно учить новые роли, ибо в наше время в Париже ставится ежегодно от двухсот до трехсот пьес. Во время спектакля Флорина два или три раза меняет костюмы и со сцены зачастую уходит обессиленная, полумертвая. После спектакля ей еще приходится при помощи косметики снимать с лица румяна и белила и «распудриваться», если она играла роль какой-нибудь маркизы XVIII века. Она едва успевает пообедать. Перед спектаклем ей нельзя ни затягиваться, ни есть, ни говорить, да и ужинать нет у нее времени. Вернувшись домой после спектакля, который нынче тянется бесконечно, она должна заняться ночным туалетом и сделать всякие распоряжения. Ложится она часа в два ночи, а вставать должна довольно рано, чтобы повторять роли, заказывать костюмы, объяснять их фасон, примерять, потом завтракать, читать любовные записки, отвечать на них, договариваться с клакерами, чтобы те встречали и провожали ее аплодисментами, оплачивать по их счетам триумфы минувшего месяца, покупать триумфы текущего. Надо думать, что во времена блаженного Генеста, при-

численного к лику святых, актера, который выполнял религиозные обязанности и носил власяницу, театр не требовал такой бешеной деятельности. Нередко Флорина бывала вынуждена сказаться больною, чтобы самым добродетельным образом съездить за город и нарвать цветов. Но эти обычные ее занятия еще ничто по сравнению с интригами, которые ей приходится вести с муками уязвленного тщеславия, с предпочтениями драматургов, отданными другой актрисе, с борьбою из-за ролей, с кознями соперниц, с приставаниями партнеров, директоров, журналистов. На все это надо бы иметь еще двадцать четыре часа в сутки. И мы еще ни слова не сказали о театральном искусстве, об изображении страстей, о деталях мимики, о требованиях сцены, где тысячи зрительных трубок открывают пятна на всяком солнце,— о тех задачах, которым посвятили всю свою жизнь, все мысли Тальма́, Лекен, Барон, Конта, Клерон, Шанмеле. В преисподней кулис самолюбие не знает пола: успех артиста — мужчины или женщины, безразлично — восстанавливает против него всю труппу — и мужчин и женщин. Что до денежной стороны, то как бы ни было высоко жалованье Флорины, оно не покрывает расходов на театральный гардероб, который, не считая костюмов, требует огромного количества длинных перчаток, обуви и включает в себя вечерние и выходные платья. Треть актерской жизни уходит на попрошайничанье, треть на работу, треть на самозащиту; все в ней требует труда. И если в ней жадно вкушается счастье, то потому лишь, что это редкое, долгожданное счастье словно похищено у нее или случайно найдено среди отвратительных, навязанных удовольствий и посылаемых партеру улыбок. Для Флорины влияние Рауля было как бы щитом: он спасал ее от многих неприятностей, от многих забот, как некогда вельможи покровительствовали своим любовницам, как ныне иной старичок, оберегая свою красавицу, спешит умолить рецензента, напугавшего ее газетной заметкой. Флорина дорожила Раулем больше, чем любовником, она дорожила им как опорой, заботилась о нем, как об отце, обманывала, как мужа, но всем бы для него пожертвовала. Рауль мог сделать все для удовлетворения ее актерского тщеславия, для ее самолю-

бия, для ее сценической будущности. Без содействия большого писателя нет большой актрисы: Шанмеле создана Расином, как мадемуазель Марс Монвелем и Андрие. Флорина для Рауля не могла сделать ничего, но очень хотела быть ему полезной и необходимой. Она рассчитывала на силу привычки и всегда готова была ради его замыслов открыть свои гостиные для его друзей, предложить им всю роскошь своего стола. Словом, она стремилась быть для него тем, чем была маркиза Помпадур для Людовика XV. Актрисы завидовали положению Флорины, как иные журналисты — положению Рауля.

Те, кому известна склонность человеческой души к противоположностям, поймут теперь, почему после десяти лет этой безалаберной цыганской жизни, полной подъемов и падений, празднеств и описей имущества, постных дней и оргий, Рауля повлекло к целомудренной, чистой любви, к уютному, спокойному дому великосветской женщины, а графине де Ванденес захотелось внести волнения страсти в свое однообразное, слишком счастливое существование. Этому закону жизни подчинены и все искусства, питающиеся только контрастами. Созданное без этого средства произведение представляет собою высшее достижение гения, как затворничество есть высший подвиг христианина.

Вернувшись домой, Рауль нашел у себя присланную с горничной записку от Флорины, но неодолимый сон не дал ему прочесть ее: он уснул, отдавшись свежим чарам сладостной любви, которой недоставало его жизни. Спустя несколько часов он узнал из этого письма важные новости, о которых Растиньяк и де Марсе не обмолвились ни словом. Кто-то проболтался актрисе, что палата депутатов будет распущена по окончании сессии. Рауль тотчас же отправился к Флорине и послал за Блонде. В будуаре актрисы Эмиль и Рауль, положив ноги на каминную решетку, проанализировали политическое положение, создавшееся во Франции в 1834 году. На чьей стороне больше шансов? Они перебрали чистых республиканцев; сторонников республики с президентской властью; республиканцев без республики; конституционалистов, противников династии; конституционалистов династических; предан-

ных министерству консерваторов; преданных министерству абсолютистов; далее — правую, согласную на уступки, правую аристократическую, правую легитимистскую — сторонников Генриха V и правую карлистскую. Что до партии Сопротивления и партии Движения, то колебаться между ними не приходилось так же, как между жизнью и смертью.

В ту пору множество газет, представлявших все оттенки, являли картину ужасающей путаницы в политических воззрениях. По словам одного военного, это была настоящая «каша». Блонде, самый трезвый ум того времени, но трезвый только для ближнего своего, а не для себя самого, подобно тем адвокатам, что плохо ведут собственные дела, был великолепен в частных беседах. Он посоветовал Натану не отрекаться от своих убеждений сразу.

— Вспомни, что сказал Наполеон: из старых монархий не сделаешь молодых республик. Поэтому, душа моя, стань героем, опорою, создателем левого центра будущей палаты — и ты преуспеешь в политике. А когда будешь признан, когда будешь членом правительства, можешь быть кем хочешь, можешь разделять любые взгляды, которые поочередно берут верх!

Натан решил основать ежедневную политическую газету, стать в ней полновластным хозяином, пристегнуть к ней одну из мелких газеток, какими кишит парижская пресса, и установить связи с большим ежемесячным журналом. Печать послужила орудием для множества преуспевших людей его среды, и поэтому Натан отверг совет Блонде не втягиваться в газетное дело. Блонде доказывал, что это невыгодное предприятие: слишком много газет оспаривало подписчиков друг у друга, слишком, по его мнению, выдохлась пресса. Рауль, веря в своих мнимых друзей и в свое мужество, отважно бросился в эту затею; он гордо встал и произнес:

— Я добьюсь успеха!

— У тебя нет денег!

— Я напишу драму!

— Она провалится.

— Ну и пусть провалится,— ответил Натан.

Он быстро обошел всю квартиру Флорины, а сле-

дом за ним шагал Блонде и думал, что приятель его рехнулся. Но видя, какими жадными глазами Рауль глядел на богатую обстановку, загромождавшую все комнаты, Блонде понял его.

— Тут вещей тысяч на сто, а то и больше,— сказал он.

— Да,— со вздохом подтвердил Рауль, остановившись перед роскошной кроватью Флорины,— но я предпочел бы всю жизнь торговать дверными цепочками на бульваре и есть одну только картошку, жаренную на сале, чем продать хотя бы одну розетку от этого занавеса.

— Не одну розетку, а все надо продать! — сказал Блонде.— Честолюбие — как смерть: оно не должно щадить ничего, оно знает, что его пришпоривает жизнь.

— Нет! Ни за что! От вчерашней графини я принял бы все, но лишить Флорину ее раковины!..

— Разгромить ее монетный двор,— продолжал трагическим тоном Блонде,— сломать пресс, разбить штамп — это дело серьезное!

— Насколько я поняла,— сказала появившаяся вдруг Флорина,— ты собираешься заняться политикой вместо театра?

— Да, дитя мое, да,— добродушным тоном ответил Рауль и, обняв ее за шею, поцеловал в лоб.— Ты надула губки? Разве ты на этом прогадаешь? Разве министру не легче, чем журналисту, устроить лучший ангажемент для королевы подмостков? Будут у тебя и роли и гастроли.

— Где ты достанешь деньги? — спросила она.

— У дяди,— ответил Рауль.

Флорина знала «дядю» Рауля. Это слово означало ростовщика, так же, как «тетка» — на жаргоне бедноты — значит ссудная касса.

— Не беспокойся, котеночек,— сказал Блонде, похлопывая Флорину по плечам,— я заручусь для него поддержкою Массоля, адвоката, мечтающего, как и все адвокаты, стать министром юстиции, притяну дю Тийе, ибо он метит в депутаты, и Фино, все еще стоящего за кулисами одной газетки, Плантена, который добивается поста докладчика дел в государственном совете и пописывает в одном журнале. Да, я спасу Рауля от

«ДЕЛО ОБ ОПЕКЕ».

«ДОЧЬ ЕВЫ».

него самого. Мы созовем сюда соратников: Этьена Лусто — он возьмет на себя фельетоны; Клода Виньона — ему мы отведем серьезную критику; Фелисьен Верну будет в газете экономкой, адвокату тоже найдется работа; дю Тийе займется биржей и промышленностью, и мы посмотрим, куда приведут объединенные усилия стакнувшихся рабов.

— На больничную койку или на министерское кресло, куда попадают люди с искалеченным телом или умом,— сказал Рауль.

— Когда вы им устроите прием?

— Через пять дней, у тебя,— ответил Рауль.

— Ты мне скажешь, сколько понадобится денег,— заметила просто Флорина.

— Чтобы двинуться в поход, адвокату, дю Тийе и Раулю надо иметь по сотне тысяч на брата,— заметил Блонде.— Тогда газета продержится полтора года — срок взлета или падения в Париже.

Флорина выразила одобрение лукавой гримаской. Приятели сели в кабриолет и отправились вербовать гостей, перья, идеи, интересы. А красавица-актриса позвала к себе четырех купцов — торговцев мебелью, редкостями, картинами и драгоценностями. Люди эти проникли в святилище и составили подробную опись обстановки, как будто Флорина умерла. Она пригрозила им устроить аукцион, если они приберегут свою добросовестность для лучшего случая. Она сказала, что недавно понравилась в средневековой роли одному английскому лорду и хочет сбыть все свое движимое имущество, чтобы произвести на поклонника впечатление бедной женщины и получить от него в подарок великолепный особняк, который она обставит почище Ротшильда. Как она ни морочила их, они предложили ей только семьдесят тысяч франков за все ее добро, стоившее полтораста тысяч. Флорина, которая нисколько им не дорожила, обещала все уступить через неделю за восемьдесят тысяч.

— Это мое последнее слово,— сказала она.

Сделка состоялась. После ухода маклаков актриса заплясала от радости, как холмы царя Давида. Она безумствовала, ликовала. Она и не думала, что так богата. Когда Рауль вернулся, Флорина притворилась,

будто сердита на него. Сказала, что он хочет ее бросить, что она все поняла: люди не переходят беспричинно из одной партии в другую или из театра в палату,— у нее есть соперница! (Вот что значит инстинкт!) Она заставила его поклясться в вечной любви. Спустя пять дней она задала пир горой. Новую газету окрестили в потоках шампанского и шуток, обетов верности, доброго товарищества и крепкой дружбы. Название ей дали забытое ныне, кончавшееся как-то на «альная», вроде «Либеральная», «Национальная», «Коммунальная», «Федеральная», и сулившее ей участь печальную. Столько уже описано кутежей, отметивших эту фазу литературной жизни и так редко происходивших в мансардах, где сочинители описывали их, что трудно сказать что-нибудь новое о пиршестве у Флорины. Достаточно будет упомянуть, что в три часа ночи Флорина могла раздеться и лечь в постель, словно была в доме одна, хотя никто из гостей не ушел. Эти светочи эпохи спали, мертвецки пьяные. Когда рано утром упаковщики, носильщики, возчики пришли за роскошной обстановкою прославленной актрисы, она покатилась со смеху, увидев, как они поднимают этих знаменитостей, точно тяжелые тюки, и складывают на паркет.

Так уплыли из дома прекрасные вещи. Флорина сослала все свои воспоминания в магазины, и никому из покупателей при виде их не могло прийти в голову, где и как оплачены были эти цветы роскоши. До вечера Флорине оставили, по условию, кровать, а также стол и посуду, чтобы она могла позавтракать с гостями. Уснув под изящным пологом богатства, газетные остроумцы проснулись посреди холодных и оголенных стен нищеты, усеянных дырами от гвоздей, обезображенных отвратительным беспорядком, который скрывается за нарядным убранством, как веревки за оперными декорациями.

— Что это значит? Флорину описали? Бедная девочка! — воскликнул Бисиу, один из сотрапезников.— Раскошеливайтесь, друзья! Устроим складчину!

Тотчас же друзья-собутыльники вскочили на ноги. Очистка карманов дала тридцать семь франков, которые Рауль шутливо преподнес хохотунье. Счастливая куртизанка приподняла с подушки голову и показала

на лежавшую под изголовьем кипу банковых билетов, толстую, как в те времена, когда подушки куртизанок могли приносить ежегодно такой доход. Рауль позвал Блонде.

— Я понял,— сказал Блонде.— Плутовка втихомолку распродалась. Умница, дитя мое!

За такой подвиг несколько оставшихся завтракать друзей понесли полуодетую актрису триумфальным шествием в столовую. Адвокат и банкиры ушли. Вечером Флорина имела в театре бурный успех. Слух об ее жертвоприношении распространился в зале.

— Я предпочла бы, чтобы мне рукоплескали за талант,— сказала ей в фойе соперница.

— Желание вполне естественное у артистки, которой покамест рукоплещут за уступчивость,— ответила ей Флорина.

Вечером горничная Флорины устроила ее в квартире Рауля, в пассаже Сандрие. Журналисту предстояло перекочевать в тот дом, где должна была обосноваться его газета.

Такова была соперница безгрешной г-жи де Ванденес. Фантазия Рауля словно кольцом соединяла актрису с графиней; такого же рода страшный узел одна герцогиня рассекла во времена Людовика XV тем, что распорядилась отравить Адриенну Лекуврер,— месть вполне понятная, если подумать о степени оскорбления.

Флорина не могла быть помехой зарождавшейся страсти Рауля. Предвидя денежный недочет в трудном предприятии, которое он затеял, она пожелала уйти в отпуск на полгода. Рауль энергично повел переговоры и добился успеха, чем стал еще дороже Флорине. Обладая практическим здравым смыслом, как крестьянин из лафонтеновой басни, который заботится об обеде, пока вельможи рассуждают, актриса отправилась в провинцию и за границу делать сборы, чтобы поддержать знаменитого человека, пока он будет пробиваться к власти.

Мало художников доныне брались описать любовь, какою она является в высоких сферах,— любовь, полную величия и тайной слабости, страшную тем, что самые глупые, самые пошлые обстоятельства подавляют ее желания, что ее часто убивает усталость. Быть

может, здесь удастся обрисовать ее хотя бы беглыми чертами.

На другой же день после бала у леди Дэдлей, следуя программе своих мечтаний, Мари была убеждена, что Рауль ее любит, а Рауль считал себя ее избранником, хотя ни она, ни он не произнесли даже самого робкого слова признания. И несмотря на то, что оба они еще не достигли возраста, когда мужчины и женщины сокращают предварительные переговоры, они быстро шли к развязке. Рауля, пресыщенного наслаждениями, влекло в идеальный мир, а Мари, и не помышлявшая о грехе, не представляла себе, что она может этот идеальный мир покинуть. Поэтому любовь их была на редкость чистой и невинной, но была также на редкость пламенной и упоительной в грезах. Мари находилась во власти идей, достойных рыцарских времен, но перекроенных на вполне современный лад. Войдя в свою роль, она сочла, что отвращение ее мужа к Натану уже не может быть препятствием для ее любви. Чем меньше уважения заслуживал бы Рауль, тем возвышеннее была бы эта любовь. Пылкие речи поэта отозвались у нее не столько в сердце, сколько в душе. От голоса желания проснулось милосердие — царица добродетелей — и чуть ли не освятило в глазах Мари волнения, радости, порывы любви. Ей казалось, что стать для Рауля провидением во плоти — благородный поступок. Как упоительна мысль поддерживать своею белой и слабой рукою колосса, чьих глиняных ног она видеть не желала, заполнить пустоту его жизни, быть тайным творцом его великого будущего, помогать гениальному человеку в борьбе с судьбою и укротить ее, вышивать ему шарф для турнира, добывать ему оружие, дарить ему амулеты против злых чар и бальзам для ран! У женщины, воспитанной, как Мари, религиозной и благородной, как она, любовь могла быть только сладостным милосердием. Этим объяснялась ее смелость. Чистые чувства компрометируют себя с великолепным презрением к обществу, похожим на бесстыдство куртизанки. И едва лишь графиня, обманутая сознанием собственной непогрешимости, уверилась, что не нарушает супружеской верности, она всецело отдалась радости любить своего Рауля. Все мелочи

жизни теперь исполнились для нее очарования. Она превратила в святилище будуар, где думала о нем. Все, вплоть до письменного прибора, говорило ее душе о неисчислимых радостях переписки с Раулем: в этой комнате ей предстояло читать, прятать его письма, отвечать на них. Искусство украшать себя нарядами — эта утонченная поэзия женской жизни, исчерпанная или непонятая графинею Ванденес,— приобрело магическую силу, которой она раньше не замечала, и вдруг сделалось для нее тем же, чем оно является для всех женщин,— постоянным выражением сокровенной мысли языком, символом. Сколько наслаждений дает обдуманный наряд, надетый для того, чтобы понравиться *ему*, чтобы *ему* сделать честь. Она самым наивным образом предалась этим прелестным мелочам, которые поглощают жизнь парижанки и делают многозначительным все, что вы видите у нее, на ней и в ней. Очень немногие женщины бегают ради самих себя по лавкам шелковых товаров, по модисткам, по модным портнихам. Старухи не думают о нарядах. Когда, прогуливаясь, вы увидите женщину, на миг остановившуюся перед витриной магазина, присмотритесь к ней хорошенько. «Лучше ли я покажусь ему в этом уборе?» — вот что написано на просиявшем ее лице, в блещущих надеждою глазах, в играющей на губах улыбке.

Бал у леди Дэдлей состоялся в субботу вечером; в понедельник Мари поехала в Оперу, подстегиваемая уверенностью, что увидит там Рауля. И точно, Рауль стоял на одной из лестниц, ведущих к рядам амфитеатра. Он опустил глаза, когда графиня вошла в ложу. С каким наслаждением Мари заметила, что ее возлюбленный отнесся тщательно к своему туалету! У него, презирающего законы изящества, волосы были приглажены и все контуры завитков поблескивали от помады; жилет на нем был послушен моде, галстук хорошо завязан, складки на манишке безупречны. Руки, насколько они видны были из-под желтых перчаток, строго предписанных этикетом, казались очень белыми. Рауль скрестил руки на груди, как бы позируя для портрета, совершенно безучастный ко всей зале и полный плохо подавляемого нетерпения. Глаза его, хотя

он и опустил их, обращены были, казалось, в сторону обитого красным бархатом барьера, на котором покоилась рука Мари. Феликс сидел в другом углу ложи, спиною к Натану. Догадливая графиня уселась так, чтобы находиться над колонной, к которой прислонился Рауль.

Итак, Мари мгновенно заставила этого даровитого человека изменить своему цинизму в отношении одежды. Всякая женщина, как самая пошлая, так и самая возвышенная, вне себя от восторга, когда видит первое проявление своей власти в одной из таких метаморфоз. Как бы то ни было, измениться — значит объявить себя рабом.

«Они правы, быть понятой — большое счастье»,— подумала она, вспомнив слова своих вероломных наставниц.

Скользнув по зале взглядом, который видит всё, влюбленные переглянулись. Они поняли друг друга, и оба испытали такое чувство, словно небесная роса освежила их испепеленные ожиданием сердца. «Я целый час провел в аду, но теперь небеса разверзлись»,— говорили глаза Натана. «Я знала, что ты здесь, но разве я свободна?» — говорили глаза графини. Воры, шпионы, любовники, дипломаты — словом, все рабы, и только они одни, знают, какие возможности и радости таит взгляд. Одним только им известно, сколько ума, нежности, тонкости, гнева или подлости выражают изменения этого одухотворенного луча света. Рауль почувствовал, что любовь его становится на дыбы под шпорами необходимости, но крепнет при виде препятствий. От ступеньки, на которой он стоял, было каких-нибудь тридцать футов до ложи графини де Ванденес, а уничтожить это расстояние он не мог. Полному бурной энергии человеку, которому до сих пор нетруден бывал переход от желания к удовольствию, эта непреодолимая, хоть и узкая бездна внушала охоту перенестись к графине прыжком тигра. В припадке ярости Рауль попытался прощупать почву: он открыто отвесил графине поклон. Та ответила легким, презрительным кивком, каким женщины лишают своих поклонников всякой предприимчивости. Граф Феликс обернулся, чтобы поглядеть, кто кланяется его жене. Заметив На-

тана, он не поклонился ему, принял такой вид, словно удивляется его смелости, и, медленно повернувшись, сказал несколько слов, очевидно, одобряя напускное пренебрежение графини. Ясно было, что дверь ложи закрыта для Натана, и он метнул в графа Феликса ужасный взгляд. То был взгляд, о котором Флорина однажды отпустила такое словцо: «Послушай, не прожги своей шляпы!» Маркиза д'Эспар, одна из самых дерзких женщин того времени, все видела из своей ложи; она внятно и равнодушно бросила: «Браво!..» Рауль, над которым она находилась, обратил взгляд в ее сторону и поклонился. Ответом ему была любезная улыбка, так ясно говорившая: «Если вас гонят оттуда, идите сюда!» — что Рауль покинул свою колонну и отправился с визитом к маркизе. Ему надо было там появиться, чтобы показать этому наглому господину Ванденесу, что слава стоит знатности и что перед Натаном раскрываются все двери, украшенные гербами. Маркиза усадила его против себя, впереди. Ей хотелось его помучить.

— Как восхитительна сегодня графиня Ванденес,— сказала она, поздравляя его с этим обстоятельством, словно речь шла о его новой книге.

— Да,— холодно ответил Рауль,— перья марабу ей удивительно к лицу. Но она им слишком верна; она и третьего дня была в этом уборе,— прибавил он непринужденно, чтобы критическим отзывом опровергнуть сладостное сообщничество, в котором его уличала маркиза.

— Знаете пословицу: «Хорош праздник сегодня, если продлится и завтра»,— ответила она.

По части реплик литературные знаменитости не всегда так сильны, как маркизы. Рауль решил прикинуться дурачком — таково последнее средство умных людей.

— Эта пословица ко мне применима,— сказал он, влюбленно глядя на маркизу.

— Милый мой, ответ ваш так запоздал, что я не могу его принять,— ответила она, смеясь.— Не притворяйтесь; послушайте, вчера под утро, на балу, вы нашли графиню Ванденес очаровательной в этом уборе; она это знает, и она его снова надела для вас. Она вас любит, вы ее обожаете; все произошло довольно стремительно, но, по-моему, это вполне естественно. Ес-

ли бы я ошибалась, вы не комкали бы свою перчатку, вас бесит необходимость сидеть со мною, а не в ложе своего кумира, куда вас не допустила надменность светской дамы, и слушать, как вам шепотом говорят то, что могло бы быть сказано полным голосом.

Рауль действительно терзал одну из своих перчаток, показывая удивительно чистую руку.

— Мари удостоилась жертв,— продолжала маркиза, пристально и самым дерзким образом глядя на эту руку,— которых вы до сих пор не приносили обществу. Должно быть, она в восхищении от своего успеха и, наверно, возгордится немного; но я бы на ее месте еще больше возгордилась. Мари была всего лишь блестящей женщиной, а теперь прослывет гениальной. Вы нам опишете ее в каком-нибудь прелестном романе,— они вам так удаются. Милый друг, не забудьте в нем и Ванденеса, сделайте это для меня. Право же, он слишком самоуверен. Я бы не простила такого сияющего вида даже Юпитеру Олимпийскому — единственному богу в мифологии, застрахованному, как говорят, от несчастных случаев.

— Маркиза,— воскликнул Рауль,— каким же низким человеком вы меня считаете, если думаете, что я способен торговать своими ощущениями, своею любовью! Такой литературной подлости я предпочел бы английский обычай накинуть веревку на шею женщине и потащить ее на торжище.

— Но я знаю Мари, она сама вас об этом попросит.

— Она на это не способна,— пылко произнес Рауль.

— Вы, стало быть, хорошо ее знаете?

Натан рассмеялся над самим собою,— автор комедий попался на удочку комедийного приема.

— Пьеса уже идет не там,— сказал он, указывая на рампу,— а у вас.

Он взял зрительную трубку и, приличия ради, принялся рассматривать залу.

— Вы на меня сердитесь? — спросила маркиза, искоса глядя на него.— Разве я и без того не узнала бы вашей тайны? Мы легко заключим мир. Приходите ко мне, я принимаю каждую среду; графиня не пропустит ни одного моего вечера, стоит ей вас там увидеть.

Я на этом выиграю. Иногда она меня навещает в пятом часу дня. По доброте своей я зачислю и вас в небольшой список фаворитов, которых принимаю в этот час.

— Но поглядите, каков свет! — сказал Рауль.— Мне говорили, что вы злая.

— Иногда приходится быть злой,— ответила она.— Надо защищаться, не так ли? Но вашу графиню я обожаю; вы будете счастливы, она так мила. Вы будете первым, чье имя она запечатлеет в своем сердце с тою детской радостью, которая побуждает всех влюбленных, даже капралов, вырезать свои инициалы на коре деревьев. Первая любовь женщины упоительна. Позже, видите ли, наши ласки, наши заботы отдают искусством. Старая женщина, как я, может все сказать, она уже ничего не боится, даже журналиста. Знайте же, в зрелом возрасте мы умеем давать вам счастье; но в молодости, когда мы любим впервые, то вкушаем счастье и поэтому доставляем вашей гордости множество удовольствий. Все для вас тогда восхитительная неожиданность, наше сердце полно наивности Вы настолько поэт, что должны предпочитать цветы плодам. Посмотрим, что вы скажете через полгода.

Рауль, как все преступники, избрал тактику отрицания; но это означало дать оружие в руки страшной воительницы. Он быстро запутался в петлях самой остроумной, самой опасной из тех бесед, в которых так сильны парижанки, и побоялся выдать себя невольным признанием, которым бы маркиза немедленно воспользовалась для своих насмешек; увидев леди Дэдлей, входившую в ложу, он благоразумно откланялся.

— Ну как? — спросила маркизу англичанка.— Далеко ли они зашли?

— Они без ума друг от друга. Натан мне это только что сказал.

— Мне бы хотелось, чтобы он был безобразнее,— ответила леди Дэдлей, кинув на графа Феликса взгляд ехидны.— Впрочем, он именно то, чего я хотела: он сын еврея-антиквара, который вскоре после женитьбы обанкротился и умер, но мать его была католичка и, к сожалению, окрестила его.

Леди Дэдлей только что узнала о происхождении Натана, которое он так заботливо скрывал, и злорадно

готовилась намекнуть на это в какой-нибудь убийственной колкости по адресу Ванденеса.

— А я-то хороша! Только что пригласила его бывать у меня! — сказала маркиза.

— Да разве я не принимала его вчера? — ответила леди Дэдлей.— Есть удовольствия, душечка, которые обходятся нам очень дорого.

Весть о романе Рауля и г-жи де Ванденес облетела все общество в этот вечер. Многие отнеслись к ней с возмущением и недоверием; но приятельницы графини — леди Дэдлей, г-жа д'Эспар и Натали де Манервиль — с такой неуклюжей горячностью защищали ее, что этот слух приобрел некоторую долю вероятности. Рауль, побежденный необходимостью, явился в среду вечером к маркизе д'Эспар и застал у нее великосветское общество, там собиравшееся. Так как Мари была без мужа, то Раулю удалось обменяться с нею несколькими фразами, более выразительными по интонации, чем по содержанию. Графиня, предупрежденная г-жою де Кан о том, что на ее счет злословят, поняла требования, предъявляемые к ней ее положением в свете, и дала их понять Раулю.

Вот почему среди этого блестящего собрания единственною отрадою обоих были те столь глубоко переживаемые ощущения, которые вызываются мыслями, голосом, движениями, позой любимого человека. Душа пылко льнет тогда к пустякам. Порою взгляды обоих приковываются к одной и той же вещи, так сказать, врезая в нее настигнутую и постигнутую мысль. Во время беседы любуешься слегка выдвинутой ножкой, дрожащей рукою, пальцами, которые вертят какую-нибудь безделушку, многозначительно ее передвигая, теребя, отбрасывая. Тогда уже говорят не мысли, не слова, а вещи, и говорят так много, что часто влюбленный предоставляет другим передавать любимой женщине чашку чаю, сахарницу и прочее в том же роде, из боязни выдать свое смущение соглядатаям, которые как будто ничего не видят, но замечают все. Мириады подавленных желаний, безумных надежд, дерзких мыслей мелькают во взглядах. Здесь рукопожатия, утаенные от шпионов, приобретают красноречие длинного письма и сладострастие поцелуя. И любовь ши-

рится от всего того, в чем она отказывает себе, она опирается на все препятствия, чтобы возрасти. В заключение, чаще проклиная, чем преодолевая эти барьеры, она их рубит и бросает в огонь, чтобы его поддержать. Здесь женщины могут постигнуть размеры своей власти по самоумалению, до которого доходит великая любовь, отступая, прячась в беспокойном взгляде, в нервной дрожи, за банальною формулой учтивости. Сколько раз одно-единственное слово, сказанное на нижней ступени лестницы, вознаграждало здесь влюбленного за тайные муки, за пустую болтовню, в которой прошел весь вечер! Рауль, относясь пренебрежительно к свету, излил свою ярость в речах и был великолепен. Каждому внятно было рычание, вызванное помехой, которой не терпят художники. Это неистовство в духе Роланда, этот все ломающий, все разбивающий ум, поражающий острым словом, как палицей, очаровал Мари и позабавил общество, словно оно видело перед собою утыканного бандерильями разъяренного быка на арене испанского цирка.

— Как бы ты все ни крушил, ты не создашь вокруг себя пустыни,— сказал ему Блонде.

Эти слова заставили Рауля опомниться, он перестал выставлять напоказ свое раздражение. Маркиза предложила ему чашку чаю и сказала достаточно громко, чтобы услышала графиня де Ванденес:

— Вы, право, очень забавны, навещайте же́ меня почаще в эти часы.

Рауля обидели слова «вы забавны», хотя они послужили основанием для приглашения. Он принялся слушать, как те актеры, что рассматривают публику вместо того, чтобы играть. Эмиль Блонде сжалился над ним.

— Милый мой,— сказал он, уводя его в угол,— ты ведешь себя в свете, как у Флорины. Здесь никогда не горячатся, не произносят длинных тирад, а только вставляют по временам в беседу острое словцо, изображают на лице спокойствие при сильнейшем желании выбросить людей в окно, мягко иронизируют, напускают на себя равнодушную почтительность к женщине, которую боготворят, и отнюдь не лягаются, как ослы на большой дороге. Здесь, душа моя, любовь подчинена

этикету. Ты должен либо похитить госпожу де Ванденес, либо вести себя прилично. Слишком ты похож на одного из описанных тобою любовников.

Натан слушал, понурив голову. Он был похож на льва, попавшего в тенета.

— Ноги моей не будет здесь,— сказал он.— Чай у этой кукольной маркизы слишком дорого мне обходится. Она меня находит забавным! Теперь я понимаю, почему Сен-Жюст гильотинировал этих господ.

— Ты завтра снова придешь сюда.

Блонде оказался прав. Страсть так же малодушна, как и жестока. На другой день, после долгих колебаний между «пойду» и «не пойду», Рауль покинул своих компаньонов в самый разгар важных прений и помчался в предместье Сент-Оноре, к маркизе д'Эспар. Когда он расплачивался у ворот с извозчиком, подкатил великолепный кабриолет Растиньяка, и тщеславие Натана было уязвлено; он решил завести себе элегантный кабриолет и грума. Карета графини стояла у подъезда. При виде ее сердце у Рауля расцвело от радости. Мари подчинялась воздействию своей страсти с правильностью часовой стрелки, которую движет пружина. Она сидела в кресле у камина, в гостиной. Когда доложили о Натане, она не подняла на него глаз, а принялась созерцать его в зеркало, зная, что к нему обернется хозяйка дома. Любовь, такая затравленная в свете, вынуждена прибегать к этим маленьким хитростям: она наделяет жизнью зеркала, муфты, веера, множество вещей, особая полезность которых не сразу обнаруживается, а зависит от женской изобретательности.

— Господин министр только что говорил,— обратилась к Натану г-жа д'Эспар, взглядом представляя ему де Марсе,— что роялисты и республиканцы столковались между собою. Вам, вероятно, кое-что известно об этом?

— Пусть бы и так,— сказал Рауль,— беды я в этом не вижу. Предмет ненависти у нас общий, в этом мы сходимся, расходимся мы только в предмете любви. Вот и все.

— Такой союз по меньшей мере странен,— сказал де Марсе, переводя взгляд с Рауля на Мари де Ванденес.

— Длительным он не будет,— сказал Растиньяк, ин-

тересовавшийся политикой несколько не в меру, как все новички.

— А вы какого мнения, дорогая? — спросила графиню г-жа д'Эспар.

— Я ничего не понимаю в политике.

— Вы в нее втянетесь, графиня,— сказал де Марсе,— и станете тогда нашим врагом вдвойне.

Натан и Мари поняли этот намек только после ухода де Марсе. Растиньяк последовал за ним, а маркиза проводила обоих до дверей гостиной. Влюбленные уже не думали о колкостях министра, в их распоряжении было несколько минут. Мари, сдернув перчатку, протянула руку Раулю, и он поцеловал ее, как восемнадцатилетний юноша. Глаза Мари выражали такую глубокую нежность, что у Рауля выступили на глазах слезы, всегда готовые к услугам людей нервного темперамента.

— Где можно видеть вас, говорить с вами? — сказал он.— Вечная необходимость маскировать свой голос, взгляд, сердце, любовь — это смерть для меня.

Растроганная этими словами, Мари обещала ездить на прогулку в Булонский лес всякий раз, когда этому не будет решительно мешать погода. Это обещание подарило Раулю больше счастья, чем он изведал его за пять лет с Флориною.

— Мне надо вам столько сказать! Я так страдаю от молчания, на которое мы обречены!

Когда маркиза вернулась, Мари смотрела на него в опьянении, не в силах ответить.

— Как? У вас не нашлось реплики для де Марсе? — воскликнула, входя, маркиза.

— Надо почитать мертвых,— ответил Рауль.— Разве вы не видите, что он умирает? Растиньяк состоит при нем сиделкой, он надеется попасть в завещание.

Графиня сослалась на необходимые визиты, решив поскорее уйти, чтобы не поставить себя в неловкое положение. Для этой четверти часа Рауль пожертвовал своим самым драгоценным временем, самыми насущными интересами. Мари еще не знала в подробностях, какова эта жизнь птицы на ветке, в сочетании с самыми сложными делами, с самым изнурительным трудом. Когда два соединенных вечною любовью существа живут

вместе, с каждым днем все больше сближаясь благодаря узам доверия и совместному обсуждению возникающих трудностей; когда две души утром или вечером обмениваются сожалениями, как вздохами — уста, переживают общие опасения, вместе трепещут при виде препятствия,— тогда все имеет значение: женщина понимает, какая любовь таится в отведенном в сторону взгляде, какое напряжение — в быстром шаге; она занята, она хлопочет, надеется, волнуется заодно с занятым, озабоченным спутником жизни; она ропщет только на обстоятельства; она уже не сомневается, она знает и ценит подробности существования. Иное дело при возникновении страсти, когда она исполнена только пыла, недоверчивости, требовательности, когда влюбленные еще не знают друг друга; когда праздные женщины, у чьих дверей любовь всегда должна стоять на часах, преувеличивают свои достоинства и требуют во всем повиновения, даже если они приказывают воздыхателю совершить промах, грозящий ему разорением,— такая любовь в Париже сопряжена в наше время с непосильными тяготами. Светские женщины все еще находятся во власти традиций XVIII века, когда у всякого было надежное и определенное положение. Лишь немногие женщины знают, как трудно жить большинству мужчин, которым надо упрочить свое положение, приобрести известность, составить себе состояние. Нынче люди с обеспеченным состоянием — наперечет; у одних только стариков есть время любить, молодые люди, как каторжники, гребут на галерах честолюбия, подобно Натану. Женщины, еще слишком мало зная об этой перемене в нравах, располагая временем в избытке, считают столь же свободными тех, кому времени не хватает; они не представляют себе, что существуют и другие занятия, другие цели, кроме их собственных. Пусть бы любовник победил Лернейскую гидру, чтобы прийти к ней, никакой заслуги в этом усмотрено не будет; все отступает в тень перед счастьем увидеть его; женщины благодарны только за свои радости, не интересуясь их ценою. Изобретя на досуге одну из тех военных хитростей, по части которых они мастерицы, они кичатся ею, как драгоценностью. Вы гнули железные брусья какой-нибудь житейской нужды, пока они натягивали перчатки, об-

лачались в плащ своей уловки; пальма первенства принадлежит им, не вздумайте ее оспаривать. Впрочем, они правы: как не порвать со всем ради женщины, которая со всем порывает ради вас? Они требуют не больше, чем дают. Возвращаясь домой, Рауль сообразил, как трудно будет ему вести одновременно свой великосветский роман, десятиконную колесницу журналистики, театральные пьесы и запутанные дела.

«Газета сегодня вечером будет из рук вон плоха,— подумал он, уходя,— второй только номер, и уже без моей статьи!»

Графиня Ванденес трижды побывала в Булонском лесу, не встретив там Рауля. Она возвращалась в отчаянии, в тревоге. Натан решил появиться там не иначе, как во всем блеске короля журналистики. Целая неделя прошла, прежде чем он нашел подходящую пару лошадей, кабриолет и грума, убедив своих компаньонов в необходимости беречь его драгоценное время и отнести его выезд на счет общих расходов газеты. Компаньоны эти, Массоль и дю Тийе, так любезно согласились на его просьбу, что показались ему самыми славными в мире людьми. Без этой помощи жизнь была бы непереносима для Рауля, несмотря на примешанные к ней утонченнейшие услады идеальной любви; она стала так трудна, что многим людям даже самого крепкого здоровья оказались бы непосильны такие развлечения. Бурная и торжествующая страсть занимает много места даже в обычном существовании; но, будучи направлена на женщину такого общественного положения, как графиня де Ванденес, она должна была поглотить жизнь столь занятого человека, как Рауль. Вот обязательства, которые она возлагала на него предпочтительно перед всеми другими. Ему надо было чуть ли не каждый день, между двумя и тремя часами пополудни, кататься верхом в Булонском лесу с видом самого праздного джентльмена. Там он узнавал, в каком доме, в каком театре он может встретиться вечером с Мари. Уходил он из светских гостиных только в полночь, перехватив украдкой в дверях или перед каретой несколько долгожданных слов, несколько крох нежности. Введя его в высший свет, Мари чаще всего устраивала так, что его приглашали на обед в некоторые дома, где она быва-

ла. Ведь это было так просто! Из гордости, увлеченный страстью, Рауль не решался говорить о своих делах. Он должен был подчиняться причудливым желаниям своей невинной повелительницы и в то же время наблюдать за парламентской борьбою, за бурным потоком политики, следить за направлением своей газеты и за постановкой в театре двух своих пьес, денежный успех которых был ему необходим. Достаточно было г-же де Ванденес сделать гримаску, когда он пытался отделаться от какого-нибудь бала, концерта, прогулки,— и он жертвовал для ее удовольствия своими интересами. Покидая общество во втором часу ночи, он работал до восьми — десяти часов утра, почти не спал, а днем при обсуждении тысячи и одного вопроса внутренней политики должен был согласовывать мнения газеты с взглядами влиятельных лиц, от которых зависел. Журналистика в эти годы соприкасалась со всем: с промышленностью, с общественными и частными интересами, с новыми предприятиями, со всеми литературными честолюбцами и их изделиями. Когда измученный и усталый Натан, набегавшись из редакции в театр, из театра в палату депутатов, из палаты — к различным кредиторам, должен был появляться со спокойным, счастливым лицом перед Мари, гарцевать на коне у ее коляски с непринужденностью беззаботного человека, утомленного только своим счастьем,— в награду за такую никому неведомую преданность ему доставались всего лишь самые нежные речи, самые милые уверения в вечной привязанности, пылкие рукопожатия в краткие секунды уединения, страстные слова в обмен на его признания. В конце концов он пришел к мысли, что глупо скрывать от нее непомерную цену, которую он платит за эту «мелкую поживу», как выразились бы наши предки. Случай объясниться не заставил себя ждать. Однажды в прекрасный апрельский день, в отдаленной части Булонского леса, графиня разрешила Натану взять ее под руку; она собиралась устроить ему одну из милых сцен по поводу тех пустяков, из которых женщины умеют воздвигать горы. Она его встретила не с улыбкой на устах, не с просиявшим от счастья лицом, не с оживленными тонкой и веселой мыслью глазами, а сдержанно и серьезно.

— Что с вами? — спросил ее Натан.

— Не обращайте внимания на такие пустяки. Вы ведь должны знать, что женщины — дети.

— Вам неприятно меня видеть?

— Была бы я здесь?

— Но вы не улыбаетесь мне, вы словно не рады мне.

— Я на вас дуюсь, не правда ли? — сказала она, глядя на него с покорным видом, какой напускают на себя женщины, притворяясь жертвами.

Натан молча сделал несколько шагов, томимый грустным предчувствием, от которого сжималось у него сердце.

— Вероятно,— сказал он наконец,— речь идет об одном из тех вздорных страхов, тех облачков подозрения, которые для вас важнее самых значительных на свете вещей; вы обладаете искусством нарушать равновесие мира, кинув на весы соломинку!

— Ирония?.. Я этого ждала,— промолвила она, опустив голову.

— Мари, мой ангел, разве ты не понимаешь, что я сказал эти слова, чтобы вырвать у тебя тайну?

— Тайна моя всегда останется тайною, даже когда вы ее узнаете.

— Так скажи же...

— Вы не любите меня,— сказала она, бросив на него искоса хитрый взгляд, каким женщины лукаво допрашивают мужчину, когда хотят его помучить.

— Не люблю?..— воскликнул Натан.

— Да, вы заняты слишком многим. Что значу я посреди всего этого водоворота! Вы меня покидаете по всякому поводу. Вчера я здесь была, ждала вас...

— Но...

— Я надела для вас новое платье, а вы не пришли. Где вы были?

— Но...

— Я этого не знала. Поехала к маркизе д'Эспар, не застала вас и там.

— Но...

— Вечером в Опере не сводила глаз с балкона. Всякий раз, как открывалась дверь, сердце у меня вздрагивало так, что чуть не разорвалось.

— Но...

— Какой это был вечер! Вы и не подозреваете, сколько я выстрадала.

— Но...

— Жизнь гибнет от этих волнений...

— Но...

— Вот и все,— сказала она.

— Да, жизнь гибнет,— заговорил Натан,— и вы в несколько месяцев погубите меня. Я не могу снести ваши несправедливые упреки. Я все вам скажу. Так я, по-вашему, не люблю вас? Я вас слишком люблю!

Он живо описал свое положение, свои бессонные ночи, рассказал, где обязан бывать в определенные часы, как необходим ему успех, как безмерны требования, предъявляемые к газете, сотрудники которой должны раньше всех и безошибочно судить о событиях под угрозой потери своего влияния; наконец с какой стремительностью нужно изучать множество вопросов, проносящихся в нашу всепожирающую эпоху с быстротою облаков.

И что же! Рауль оказался неправ. Маркиза д'Эспар сказала ему правду: нет ничего наивнее первой любви. Тотчас обнаружилось, что «слишком любит» не он, а графиня. В любящей женщине все встречает радостный отклик. Перед картиною этой огромной жизни она пришла в восхищение. Раньше она представляла себе Натана великим человеком, теперь он показался ей величественным. Она упрекнула себя в чрезмерной любви, просила его не пропускать деловых свиданий; взором, устремленным в небо, она умалила значение его честолюбивых усилий. Она будет ждать! Отныне она будет жертвовать своими радостями. Она хотела быть только ступенькой, а была препятствием!.. Она заплакала от отчаяния.

— Женщинам, видно, только дано любить,— сказала она со слезами на глазах.— У мужчин есть множество способов действовать, а мы можем только думать, молиться, боготворить.

Такая любовь требовала награды. Как соловей, собирающийся спрыгнуть с ветки к ручью, она огляделась по сторонам: одни ли они, не скрывает ли тишина какого-нибудь свидетеля; потом подняла голову к Раулю,

а он наклонил свою; она подарила ему поцелуй — первый, единственный в ее жизни данный украдкою поцелуй, и почувствовала себя в этот миг такой счастливой, какой не была уже пять лет. Рауль счел себя вознагражденным за все свои страдания. Оба они пошли, не различая пути, по дороге из Отейля в Булонь,— им нужно было вернуться к своим экипажам; они ступали, ритмично, в ногу, столь знакомою любовникам походкой. Рауль доверял этому поцелую, подаренному с той скромной простотой, которая вытекает из святости чувства. Все зло исходило от мира, а не от этой женщины, столь беззаветно ему принадлежавшей. Рауль уже не досадовал на треволнения своей сумасшедшей жизни, а Мари забыла о них в огне своего первого желания, как всякая женщина, которая не наблюдает ежечасно страшных борений такого незаурядного существования. Во власти благородного восхищения, отличающего женскую страсть, Мари неслась легким, свободным шагом по мелкому песку боковой аллеи, обмениваясь с возлюбленным немногими, но из души идущими словами, полными глубокого значения. Небо было безоблачно, высокие деревья были покрыты почками, и кое-где кончики их неисчислимых бурых кистей уже были тронуты зеленью. На кустарнике, на ясенях, ивах, тополях уже зеленела первая, нежная, еще прозрачная листва. Никакая душа не устоит против такой гармонии. Любовь объясняла графине природу, как объяснила общество.

— Как бы мне хотелось быть единственной в вашей жизни любовью! — сказала она.

— Ваше желание сбылось,—ответил Рауль.—Мы дали друг другу познать истинную любовь.

Он говорил то, что думал. Играя роль безупречного человека перед этим неискушенным сердцем, Рауль поймался на собственные фразы, выражавшие прекрасные чувства. Его увлечение, вначале своекорыстное и тщеславное, стало искренним. Начав со лжи, он кончил правдой. К тому же в каждом писателе сидит нелегко глохнущая жажда преклоняться перед духовной красотою. Наконец, чем больше жертв приносит мужчина, тем больше растет его привязанность к существу, которое их требует. Светские женщины, как и куртизанки, чуют

эту истину; быть может, даже безотчетно пользуются ею. После первого порыва благодарности и удивления графиня де Ванденес была очарована тем, что подвигла Рауля на такие жертвы, на преодоление таких трудностей. Ее любит человек, достойный ее! Рауль не понимал, к чему его обязывает поддельное величие. Женщины не позволяют своему любовнику сходить с пьедестала. Божеству не прощается никакая мелкая черта. Мари не знала ключа к загадке, о которой Рауль говорил своим приятелям за ужином у Вери. Борьба этого писателя, выбившегося из низов, длилась первые десять лет его молодости; он хотел быть любимым одною из цариц большого света. Тщеславие, без которого любовь недолговечна, как сказал Шамфор, поддерживало его страсть и должно было усиливать ее с каждым днем.

— Можете ли вы поклясться мне, что не принадлежите и никогда не будете принадлежать ни одной другой женщине?

— Для другой женщины не нашлось бы у меня ни времени, ни места в сердце,— ответил он и не счел это ложью, так презирал он Флорину.

— Я верю вам,— сказала она.

Когда они вернулись в аллею, где стояли экипажи, Мари оставила руку Натана, принявшего почтительную позу, как будто он только что встретился с нею; со шляпою в руке он проводил ее до экипажа, а затем пошел следом за ним по проспекту Карла X, вдыхая пыль, поднятую лошадьми, глядя на колеблемые ветром перья ее шляпы, напоминавшие ветки плакучей ивы.

Несмотря на благородный отказ Мари от его жертв, Рауль, увлекаемый своею страстью, появлялся повсюду, где она бывала; он обожал недовольный и в то же время счастливый вид графини, когда она хотела и не в силах была его журить за то, что он расточал время, столь ему необходимое. Мари приняла на себя руководство работами Рауля, строго установила для него распорядок дня и оставалась дома, чтобы не давать ему никакого повода рассеиваться. Каждое утро она читала газету и сделалась герольдом славы Этьена Лусто, чьи фельетоны ее восхищали, Фелисьена Верну, Клода Виньона, всех сотрудников. Когда скончался де Марсе, она посоветовала Раулю отдать ему справедливость и с

восторгом прочитала большую и прекрасно написанную статью, в которой журналист воздал хвалу покойному министру, осудив его в то же время за макиавеллизм и ненависть к массам. Она присутствовала, разумеется, в литерной ложе театра Жимназ на премьере пьесы, сборами с которой Натан рассчитывал поддержать свое предприятие и которая прошла с огромным внешним успехом. Графиню обманули купленные аплодисменты.

— Вы не были у Итальянцев на прощальном спектакле? — спросила ее леди Дэдлей, к которой она поехала из театра.

— Нет, я была в Жимназ на премьере.

— Терпеть не могу водевилей. Отношусь к ним, как Людовик XIV к картинам Тенирса,— сказала леди Дэдлей.

— А я нахожу, что водевилисты сделали успехи,— заметила маркиза д'Эспар.— Современные водевили — очаровательные комедии, преостроумные, требующие большого таланта, и они меня очень забавляют.

— Да и актеры превосходны,— сказала Мари.—Вся труппа играла сегодня отлично: пьеса пришлась ей по вкусу, диалог в ней тонок, остроумен.

— Как у Бомарше,— бросила леди Дэдлей.

— Господин Натан еще, конечно, не Мольер, но...— проговорила г-жа д'Эспар, глядя на Мари.

— Он ставит водевили,— продолжала жена Шарля Ванденеса.

— И валит министерства,— присовокупила г-жа де Манервиль.

Графиня молчала; она искала колких реплик; в сердце у нее поднималась ярость; она не нашла ничего лучшего, как сказать:

— Быть может, он их будет составлять.

Все дамы обменялись взглядом таинственного взаимного понимания. Когда графиня де Ванденес ушла, Моина де Сент-Эран воскликнула:

— Да ведь она боготворит Натана!

— И не играет в прятки,— сказала г-жа д'Эспар.

Настал май. Ванденес увез свою жену в имение, где ее утешали только страстные письма Рауля, которому она писала ежедневно.

Разлука с графиней могла бы спасти Рауля от пропасти, на краю которой он оказался, будь Флорина подле него; но он был один посреди друзей, а они стали его врагами, едва лишь он обнаружил намерение господствовать над ними. Теперь журналисты его ненавидели, но были готовы протянуть ему руку и утешить в случае падения, а в случае успеха — обожествить. Таков литературный мир. В нем любят только нижестоящих. Там каждый враждебен ко всем, кто старается пробиться. Эта всеобщая зависть удесятеряет шансы посредственностей, не возбуждающих ни зависти, ни подозрений, прокладывающих себе путь по способу кротов и пристраивающихся, как бы ни были они глупы, в различных отделах «Монитера», между тем как таланты все еще дерутся у дверей, чтобы не дать друг другу войти. Но глухая неприязнь мнимых друзей, которую Флорина раскрыла бы с прирожденным чутьем куртизанки, угадывающей истину среди тысячи гипотез, не представляла собою наибольшей опасности для Рауля. Два его компаньона, адвокат Массоль и банкир дю Тийе, задумали впрячь его талант в колесницу, на которой они удобно расположились, с тем чтобы убрать его с дороги, едва только он окажется не в состоянии питать газету, или лишить его этого огромного средства влияния, когда они пожелают воспользоваться им. Для них Натан был известною суммой, предназначенной для израсходования, литературной силой в десять перьев, предоставленной к их услугам. Массоль — один из тех адвокатов, которые любой ценой хотят сделаться видными фигурами, считают красноречием способность разглагольствовать без конца, умеют надоедать своим многословием и являются настоящей моровой язвой собраний, так как умаляют любую идею,— уже не мечтал стать министром юстиции; за четыре года у него на глазах сменилось на этом посту не то пять, не то шесть человек; его больше не прельщал этот пост. Взамен министерского портфеля он домогался кафедры в ведомстве народного просвещения и места в государственном совете, приправленных орденом Почетного легиона. Дю Тийе и барон Нусинген гарантировали ему орден и должность докладчика в государственном совете, если он будет действовать с ними заодно; Массоль полагал, что они

скорее выполнят свои обещания, чем Натан, и слепо им повиновался. Чтобы получше обольстить Рауля, люди эти предоставили ему бесконтрольную власть. Дю Тийе пользовался газетою только в целях биржевого ажиотажа,— а в этом Рауль не смыслил ничего,— но уже дал знать Растиньяку через барона Нусингена, что газета будет молчаливо благосклонна к правительству, при том единственном условии, чтобы поддержана была кандидатура дю Тийе на депутатское кресло барона Нусингена, будущего пэра Франции, который был избран в палату малочисленным составом избирателей в захудалом городишке, куда газета посылалась бесплатно во множестве экземпляров. Таким образом, банкир и адвокат водили Натана за нос, с бесконечным удовольствием наблюдая за тем, как он царит в газете и пользуется в ней всеми преимуществами, всеми усладами самолюбия и прочими благами. Натан был в восторге от своих компаньонов, считал их по-прежнему, как и в деле с покупкою выезда, самыми славными на свете людьми; он думал, что провел их. Наделенные воображением люди, для которых надежда — основа жизни, не хотят понять, что в делах самый опасный момент — это тот, когда все идет согласно их желаниям. Этим моментом триумфа, которым он, впрочем, воспользовался, было появление Натана в доме Нусингена, куда его ввел дю Тийе, его проникновение в политический и финансовый мир. Г-жа Нусинген оказала ему самый радушный прием, не столько ради него, сколько ради г-жи де Ванденес; но когда она в беседе с ним вскользь коснулась графини, он решил произвести эффект и, прикрывшись Флориною, как ширмой, стал распространяться с великодушным фатовством о своей дружбе с актрисою, о невозможности с нею порвать. Можно ли покинуть верное счастье ради кокеток Сен-Жерменского предместья? Натан, дав себя провести Нусингену и Растиньяку, дю Тийе и Блонде, из тщеславия согласился поддержать доктринеров при формировании одного из их эфемерных кабинетов. Затем, чтобы с чистыми руками прийти к власти, он из показной гордости погнушался снять пенки с некоторых предприятий, созданных при помощи его газеты,— он, не стеснявшийся компрометировать своих друзей и вести себя не

слишком брезгливо с иными промышленниками в известные критические моменты. Эта непоследовательность, объяснявшаяся его тщеславием, его честолюбием, часто наблюдается у такого рода деятелей. Мантия должна быть великолепной в глазах публики, и приходится иной раз призанять материи у друзей, чтобы залатать на ней дыры. Тем не менее через два месяца после отъезда графини Рауль попал в стесненное положение, причинившее ему некоторые огорчения в разгар его триумфа. У дю Тийе было взято вперед сто тысяч франков. Полученные от Флорины деньги — первая треть его взноса — поглощены были казною и огромными расходами на первое обзаведение. Надо было подумать о будущем. Банкир поддержал писателя, выдав ему пятьдесят тысяч франков под четырехмесячные векселя. Таким образом, дю Тийе держал Рауля в руках. Благодаря этой ссуде газета располагала средствами на полгода. По мнению некоторых литераторов, полгода — это вечность. К тому же при помощи объявлений, разъездных агентов, несбыточных посулов удалось завербовать две тысячи подписчиков. Такой полууспех поощрял Рауля бросать банковые билеты в этот костер. Еще бы немного таланта, и, случись политический процесс, судебное преследование, Рауль сделался бы одним из современных кондотьеров, чьи чернила стоят пороха прежних наемников. К несчастью, заем у Тийе состоялся к тому времени, когда Флорина вернулась, привезя с собой около пятидесяти тысяч франков. Вместо того чтобы образовать из них запасной капитал, Рауль, уверенный в успехе, потому что сознавал его необходимость, униженный мыслью о тех деньгах, что он уже взял у актрисы, морально окрепший благодаря своей любви, ослепленный коварными восхвалениями своих придворных льстецов, скрыл от Флорины положение дел и заставил ее потратить эти деньги на новую обстановку. При сложившихся обстоятельствах великолепная декорация становилась необходимостью. Актриса, которую не приходилось к этому поощрять, вошла в долги на тридцать тысяч франков и обзавелась дивным особняком на улице Пигаль, где вновь стало собираться ее прежнее общество. Дом такой особы, как Флорина, является нейтральным местом, весьма удобным для политических

честолюбцев, которые, как Людовик XIV у голландцев, договаривались между собою у Рауля без Рауля. Для первого выступления Флорины после ее турне Натан приберег пьесу, в которой главная роль удивительно ей подходила. Этим пятиактным водевилем Рауль собирался распрощаться с театром. Газеты, которым ничего не стоило оказать Раулю эту услугу, подготовили Флорине такую овацию, что во Французской комедии зашла речь о ее приглашении. В фельетонах доказывалось, что Флорина — наследница мадемуазель Марс. Шумный триумф оглушил актрису и помешал ей исследовать почву, по которой ступал Натан; она жила в мире пиров и празднеств. Повелительница этого двора, окруженная толпою просителей, хлопотавших кто за свою книгу, кто за пьесу, кто за свою танцовщицу, кто за свой театр, кто за свое предприятие, кто за рекламу,— она отдавалась всем утехам власти, какою обладает печать, видела в ней зарю кредита, открываемого министру. По словам тех, кто приходил к ней на поклон, Натан был великим государственным деятелем. Он не ошибся в своей затее, он будет депутатом и, конечно, побывает и на министерском посту, как многие другие. Актрисы редко не верят тому, что им льстит. Фельетоны так воспевали Флорину, что она не могла относиться с недоверием к газете и к тем, кто ее создавал.

Механизм прессы ей был так мало известен, что ее не могли беспокоить средства успеха,— женщины склада Флорины понимают только результаты. Что до Натана, то с этого времени он стал думать, что ближайшая сессия введет его в правительство вместе с двумя бывшими журналистами, из которых один, в ту пору уже министр, старался выжить своих коллег, чтобы самому укрепиться. После шестимесячной разлуки Натан был рад свидеться с Флориною и беспечно вернулся к своим привычкам. На грубой канве этой жизни он втайне вышивал прекраснейшие цветы своей идеальной страсти и тех удовольствий, которые рассыпала по ней Флорина. Его письма к Мари были шедевром любви, изящества, стиля. Он изображал ее солнцем своей жизни, ничего не предпринимал, не спросив совета у своего доброго гения. Досадуя на свое демократическое направление, он подумывал по временам, не стать ли ему на защиту ари-

стократии; но, несмотря на свою акробатическую ловкость, понимал совершенную невозможность перескочить слева направо; сделаться министром было легче. Драгоценные письма Мари он прятал в портфеле с секретным замком работы Гюре или Фише, одного из тех двух механиков, которые афишами и объявлениями оспаривали в Париже первенство друг у друга в искусстве делать самые неприступные и крепко хранящие тайну замки. Этот портфель хранился в новом будуаре Флорины, где работал Рауль. Нет ничего легче, чем обмануть женщину, привыкшую к полной откровенности со стороны любовника. Она ни о чем не догадывается, она думает, что все видит и все знает. К тому же со времени своего возвращения актриса наблюдала жизнь Натана и не видела в ней ничего необычного. Никогда не могло бы ей прийти в голову, что этот портфель, почти не замеченный ею, небрежно положенный в ящик, содержит сокровища любви, письма соперницы, которые посылались по адресу редакции газеты, как о том попросил графиню Рауль. Таким образом, с виду положение Рауля было блестяще: у него было много друзей; две пьесы, написанные в сотрудничестве с другими авторами, прошли с успехом, и это позволило ему роскошествовать, освобождало его от всякой тревоги за будущее. Его нимало не беспокоил долг, который он обязан был вернуть дю Тийе, своему другу.

— Можно ли сомневаться в друге? — говорил он, когда у Блонде, привыкшего все анализировать, возникали порою сомнения.

— Зато во врагах сомневаться нам не приходится,— замечала Флорина.

Натан защищал дю Тийе. Дю Тийе — прекраснейший, самый покладистый, самый честный человек на свете. Существование Натана, канатного плясуна без шеста, могло бы испугать всякого, кто проник бы в его тайну, даже равнодушного человека; но дю Тийе наблюдал за ним со спокойствием и безучастием выскочки. В дружеском добродушии его обращения с Натаном проскальзывала жестокая ирония. Однажды, уходя от Флорины, он пожал ему руку и смотрел, как Рауль садился в кабриолет.

— Вот как лихо этот малый мчится в Булонский

лес,— сказал он Этьену Лусто, великому завистнику,— а через полгода он, пожалуй, окажется в долговой тюрьме.

— Он-то? Никогда! — воскликнул Лусто.— На то и Флорина.

— Кто тебе поручится, дружок, что он ее сохранит? А вот ты через полгода наверняка будешь у нас главным редактором. Он ведь тебе и в подметки не годится.

В октябре векселям Рауля вышел срок, дю Тийе любезно обменял их на новые, но уже сроком на два месяца и на бóльшую сумму, с включением добавочной ссуды и учетного процента. Рауль, уверенный в победе, спокойно влезал в долги. Графиня де Ванденес должна была вернуться через несколько дней, на месяц раньше, чем обычно, влекомая безумным желанием видеть Натана, и он хотел освободиться от денежных забот, готовясь возобновить свою беспокойную жизнь. Переписка, в которой перо всегда смелее языка, в которой мысль, украшенная цветами красноречия, берется за все и может все выразить, довела графиню до крайней степени экзальтации; она видела в Рауле одного из прекраснейших гениев эпохи, дивную, непонятную, незапятнанную душу, достойную поклонения; она рисовала его себе отважно протягивающим руку к власти. Вскоре речь его, столь упоительная в любви, загремит на трибуне. Теперь Мари жила лишь этой жизнью, состоявшей, подобно шару, из взаимно пересекающихся кругов, в центре которых находился большой свет. Не находя вкуса в спокойных семейных радостях, она прониклась волнениями этой ключом кипящей жизни, которые доносило к ней искусное и влюбленное перо; она целовала эти письма, написанные посреди газетных битв, отнимавшие драгоценное для газетчика время, понимала всю их ценность и была уверена, что он любит только ее, что, кроме славы и честолюбия, у нее нет соперниц; живя в уединении, она находила применение всем своим силам и была счастлива своим удачным выбором: Натан был ангелом в ее глазах.

К счастью, ее отъезд в имение и преграды, лежавшие между нею и Раулем, положили конец светским сплетням.

В последние дни осени Мари и Рауль возобновили

наконец свои прогулки по Булонскому лесу,— только там они могли встречаться, пока не открылись двери гостиных. Рауль мог несколько свободнее вкушать чистые, изысканные наслаждения своей идеальной жизни и скрывать ее от Флорины: он работал немного меньше, в газете дела шли заведенным ходом, каждый сотрудник знал свои обязанности. Невольно он делал сравнения между актрисой и графиней, результат был всегда в пользу первой, хотя вторая от этого не теряла. Снова, изнемогая от ухищрений и уловок, на которые его обрекало сердечное и головное увлечение великосветскою женщиной, Рауль находил в себе нечеловеческие силы, необходимые для того, чтобы подвизаться одновременно на трех аренах: света, газеты и театра. И между тем как Флорина, благодарная за все, чуть ли не разделяющая с ним его труды и разделяющая его тревоги, вовремя появляясь и исчезая, щедро дарила ему подлинное счастье, без громких фраз, без всякой примеси упреков,— графиня, с ненасытными глазами, с целомудренными чувствами, забывала про его каторжный труд и огромные усилия, которых ему часто стоила минута свидания с нею. Вместо того чтобы командовать, Флорина позволяла ему быть с нею, покидать ее, снова возвращаться к ней, со спокойствием кошки, которая падает всегда на лапки и только потряхивает ушками. Эта легкость нравов отлично согласуется с повадками людей умственного труда, и всякий художник воспользовался бы ею, как это делал Натан, в то же время преследовавший идеал прекрасной любви, великолепной страсти, которая чаровала его поэтические инстинкты, его затаенное честолюбие, его социальное тщеславие. Уверенный в том, что разоблачение его тайны повлекло бы за собою катастрофу, он решил: «Ни Флорина, ни графиня ничего не узнают. Они так далеки друг от друга!» С наступлением зимы Рауль вновь появился в свете в апогее своей славы: он был почти значительной особой. Растиньяк, упав заодно с министерством, расшатанным смертью де Марсе, опирался на Рауля и подпирал его своими похвалами. Теперь графине захотелось узнать, переменил ли ее муж свое мнение о Натане. Спустя год она повторила свой вопрос, думая на этот раз блестяще отыграться, а реванш доставляет радость всем жен-

щинам, даже самым благородным, наименее земным; можно без риска биться об заклад, что ангелы, и те не лишены самолюбия, когда выстраиваются вокруг святая святых.

— Ему только и оставалось, что стать игрушкою в руках интриганов,— ответил граф.

Феликс, у которого благодаря его светскому и политическому опыту были зоркие глаза, понял положение Рауля. Он спокойно объяснил жене, что покушение Фиески имело следствием объединение многих умеренных людей на почве интересов, воплощенных в лице Луи-Филиппа и находившихся под угрозой. Газетам неопределенного оттенка предстояло растерять своих подписчиков, ибо вместе с политикой должна была упроститься и журналистика. Если Натан вложил все свои средства в газету, он скоро будет разорен.

Это суждение, такое правильное, такое ясное, несмотря на краткость, и равнодушно высказанное человеком, умевшим взвешивать шансы всех партий, испугало г-жу де Ванденес.

— Вы им очень интересуетесь? — спросил Феликс жену.

— Он очень остроумный человек, с ним забавно бывает побеседовать.

Она сказала это таким естественным тоном, что граф ничего не заподозрил.

На другой день, в четыре часа, Мари и Рауль встретились в гостиной маркизы д'Эспар и долго разговаривали вполголоса. Графиня высказала опасения, а Рауль рассеял их, очень довольный тем, что градом колкостей ниспроверг супружеский авторитет Феликса. Натану надо было отыграться. Он изобразил графа человеком отсталым, с узким кругозором, прикладывающим к Июльской революции мерку Реставрации, закрывающим глаза на победу средних классов, новой общественной силы, пусть даже недолговечной, но реальной. С властью знати покончено, настало господство подлинно выдающихся людей. Вместо того чтобы обдумать непредубежденное мнение стороннего наблюдателя, политического мыслителя, высказанное беспристрастно, Рауль заважничал, взобрался на ходули и облачился в пурпур своего успеха. А существует ли женщина, доверяющая

мужу больше, чем любовнику? Госпожа де Ванденес успокоилась. и снова началась для нее жизнь, полная подавленного раздражения, украдкою перехваченных радостей, тайных рукопожатий — всего, чем она питалась и прошлой зимой, но что в конце концов увлекает женщину за черту дозволенного, если мужчина, ею любимый, сколько-нибудь решителен и нетерпелив. По счастью для нее, страсти Рауля, умеряемые Флориною, не были опасны. К тому же он был поглощен интересами, не дававшими ему воспользоваться своей удачей. Тем не менее внезапно случившееся с Натаном несчастье, возникновение новых препятствий, порыв нетерпения могли бы увлечь графиню в пропасть, и Рауль уже начинал об этом догадываться. В такой стадии был их роман в конце декабря, когда дю Тийе попросил вернуть ему деньги. Богатый банкир, ссылаясь на свое стесненное положение, посоветовал Натану занять эту сумму на две недели у ростовщика Жигонне, у этого провидения, которое за двадцать пять процентов выручало всех молодых людей, попадавших в беду. Газета накануне большой новогодней подписки, касса ее должна наполниться. Тогда дю Тийе посмотрит, как быть. Да и почему бы Натану не написать пьесы? Натан из гордости пожелал заплатить, чего бы это ни стоило. Дю Тийе дал ему письмо к ростовщику, и тот отсчитал Раулю деньги под трехнедельные векселя. Вместо того чтобы доискаться причины такой услужливости, Рауль пожалел, что не попросил больше. Так поступают самые замечательные в умственном отношении люди: в серьезном событии они усматривают повод для шутки, они словно приберегают ум для своих произведений и, боясь его умалить, не расходуют на житейские дела. Рауль в этот день рассказал Флорине и Блонде, как он был утром у ростовщика, описал им всего Жигонне, пестренькие обои в его комнате, его лестницу, астматический хрип и козью ножку его колокольчика, истертый половичок, холодный камин и такой же холодный взгляд; он насмешил их портретом своего нового «дяди»; им не внушили никакого беспокойства ни дю Тийе, плакавшийся на безденежье, ни столь сговорчивый ростовщик. Все это причуды!

— Он взял с тебя только пятнадцать процентов,—

сказал Блонде,— ты должен его поблагодарить. При двадцати пяти процентах с такими людьми перестают здороваться; ростовщичество начинается с пятидесяти процентов, за такую плату им можно уже выражать презрение.

— Презрение? — сказала Флорина.— Кто же из ваших друзей дал бы вам деньги под такие проценты, не выставляя себя при этом вашим благодетелем?

— Она права, я счастлив, что ничего больше не должен дю Тийе.

Как объяснить такую слепоту в личных делах у людей, привыкших все угадывать? Быть может, ум не способен на совершенство во всех отношениях; быть может, художники настолько живут настоящим, что не могут думать о будущем; быть может, внимание их слишком приковано к смешным чертам и не дает им заметить ловушку, или они не допускают мысли, что их посмеют обмануть... Будущее не заставило себя ждать. Через три недели векселя были опротестованы; но Флорина добилась в коммерческом суде отсрочки платежа на двадцать пять дней. Рауль разобрался в своем положении, потребовал счета: оказалось, что доход газеты покрывает две трети расходов и что подписка падает. Великий человек забеспокоился, стал мрачен, но только перед Флориной, которой он доверял. Флорина посоветовала ему занять деньги под залог будущих пьес, запродав их оптом и переуступив все свои театральные доходы. Натан раздобыл таким путем двадцать тысяч франков и сократил долг до сорока тысяч. Десятого февраля отсрочка платежа по векселям кончилась. Дю Тийе, не желая встретить в лице Натана конкурента в округе, где он собирался баллотироваться, и уступив Массолю другой округ, благоговеющий перед министерством, стал через Жигонне преследовать всеми средствами Натана. Человек, посаженный в тюрьму за долги, не может быть кандидатом в парламент. Долговая тюрьма на улице Клиши — это гроб для будущего министра. Флорина и сама не могла отделаться от судебных приставов из-за своих личных долгов; в этот опасный момент у нее не оставалось никаких ресурсов, кроме «Я» Медеи, ибо ее обстановка была описана. Честолюбец слышал со всех сторон зловещее потрескивание в своем новом.

без фундамента воздвигнутом здании. Уже не имея сил поддерживать столь обширное предприятие, он чувствовал себя неспособным взяться за него сызнова... Он должен был погибнуть под развалинами своей фантазии. Любовь к графине еще питала немного его жизнь, оживляла его лицо, но в душе надежда умерла. Он ни в чем не подозревал дю Тийе, он видел перед собою только ростовщика. Растиньяк, Блонде, Верну, Лусто, Фино, Массоль меньше всего были склонны просветить этого человека, деятельный характер которого был для них опасен. Растиньяк, желавший вернуться к власти, действовал теперь в сговоре с Нусингеном и дю Тийе. Остальные испытывали глубочайшее наслаждение, наблюдая агонию одного из равных им, виновного в попытке подняться над ними. Никто из них и не подумал шепнуть словечко Флорине; наоборот, они ей расхваливали Рауля: «У Натана плечи такие крепкие, что выдержат весь мир; он вывернется, все пойдет превосходно!»

— Вчера прибавилось два подписчика,— говорил Блонде серьезным тоном.— Рауль будет депутатом. Когда будет принят бюджет, появится указ о роспуске палаты.

Натан, преследуемый за долги, уже не мог обратиться к ростовщикам. Флорина могла рассчитывать лишь на то, что вдруг ею увлечется какой-нибудь простак, хотя простаки никогда вовремя не подворачиваются. Все друзья Натана были люди без денег и без кредита. Предстоящий арест убивал его надежды на политическую карьеру. В довершение беды он чувствовал, что увяз в огромной, вперед оплаченной работе; он не видел дна в пропасти нищеты, куда скатывался. Перед лицом всех этих грозных обстоятельств мужество его покинуло. Согласна ли будет разделить с ним судьбу графиня де Ванденес, бежать в далекие края? Только беззаветная любовь увлекает женщин в такую бездну, а страсть не связала Мари и Рауля таинственными узами счастья. Но пусть бы даже графиня последовала за ним за границу, она уехала бы без средств, нищая и разоренная, она была бы для него только обузой. Ум невысокого полета, гордец, каким был Натан, должен был увидеть и увидел в самоубийстве меч, способный раз-

«ДОЧЬ ЕВЫ»

«ОНОРИНА».

рубить этот гордиев узел. Мысль о том, что он упадет в глазах этого общества, куда он проник, которое он собирался покорить, что он оставит в нем торжествующую графиню и снова станет жалким рядовым, была невыносима. Безумие плясало и звенело своими бубенцами у дверей фантастического дворца, воздвигнутого поэтом. Оказавшись в таком крайнем положении, Натан, однако, все еще ждал счастливого случая и решил покончить с собою только в последний миг.

В течение последних дней, пока судебное постановление вступало в законную силу и подготовлялся приказ о личном задержании, Рауль появлялся всюду с тем холодно-мрачным, вопреки его воле, видом, который наблюдательные люди замечают у всех тех, кто обречен на самоубийство или замышляет его. Преследующая их мысль о смерти отбрасывает серые, сумрачные тени на лоб; в их усмешке есть нечто роковое, их движения торжественны. Эти несчастные словно стараются до последней капли осушить золотой кубок жизни; то и дело они опускают взор, словно целясь в собственное сердце, им слышится похоронный звон; они рассеянны. Однажды вечером, у леди Дэдлей, Мари заметила эти зловещие признаки; Рауль остался один на диване в будуаре, между тем как все общество беседовало в гостиной; графиня появилась в дверях, он не поднял головы, не услышал ни дыхания Мари, ни шелеста ее шелкового платья: неподвижный, отупелый от страдания взгляд был прикован к узору на ковре; он предпочитал смерть отречению от власти. Не всем достается такой пьедестал, как остров святой Елены. К тому же самоубийство в ту пору царило в Париже: оно и должно быть последним словом потерявшего веру общества! Рауль принял решение умереть. Отчаяние пропорционально надеждам, и единственным исходом для отчаяния Рауля была могила.

— Что с тобою? — спросила Мари, подбежав к нему.

— Ничего,— ответил он.

Между любящими друг друга есть такой способ сказать «ничего», который означает все. Мари пожала плечами.

— Вы настоящий ребенок,— сказала она.— С вами случилось какое-то несчастье?

— Нет, не со мною,— сказал он.— К тому же, Мари, вы о нем всегда узнали бы первая,— прибавил он нежно.

— О чем ты думал, когда я вошла? — спросила она настойчиво.

— Ты хочешь знать правду?

Она наклонила голову.

— Я думал о тебе, я говорил себе, что на моем месте многие мужчины пожелали бы полной, беззаветной любви. Ведь такова твоя любовь, не правда ли?

— Да,— сказала она.

— И я оставляю тебя чистою, без угрызений совести,— продолжал он, обнимая ее за талию, и, уже не беспокоясь о том, что их могут увидеть, прижал к себе, чтобы поцеловать в лоб.— Я мог увлечь тебя в пропасть — и не сделал этого. Ты во всей своей славе, незапятнанная, останешься на ее краю. Но мне несносна одна мысль...

— Какая?

— Ты будешь меня презирать.

Она ему ответила чудесной улыбкой.

— Да, ты никогда не поверишь, что я любил тебя свято; меня станут поносить потом, я знаю. Женщины не представляют себе, что, увязая в трясине, мы поднимаем глаза к небесам, безраздельно поклоняясь своей Марии. Они примешивают к этой святой любви мелкие вопросы, они не понимают, что люди высокого ума и глубоко поэтического склада умеют подняться душой над чувственными утехами, сберечь ее для некоего возвышенного служения. Между тем у нас, Мари, культ идеала всегда более пылок, чем у вас: мы находим этот идеал в женщине, которая даже и не ищет его в нас.

— К чему эта импровизация? — спросила она насмешливым тоном уверенной в себе женщины.

— Я покидаю Францию, почему и как — завтра узнаешь из письма, которое тебе принесет мой слуга. Прощай, Мари.

Рауль в неистовом порыве прижал к сердцу графиню и вышел, оставив ее в мучительной растерянности.

— Что с вами, дорогая? — спросила маркиза д'Эспар, придя за нею.— Что сказал вам господин Натан? Он покинул нас с таким мелодраматическим видом. Вы, быть

может, не в меру благоразумны или слишком неразумны?

Графиня, взяв под руку маркизу д'Эспар, вернулась в гостиную, но через несколько минут уехала.

— Может быть, она отправилась на свое первое свидание,— сказала маркизе леди Дэдлей.

— Это я узнаю,— ответила уходя, маркиза д'Эспар.

Она села в ожидавший ее экипаж и велела кучеру ехать следом за графиней. Но карета графини де Ванденес направилась в сторону предместья Сент-Оноре. Г-жа д'Эспар прекратила свою прогулку только тогда, когда увидела, что карета графини де Ванденес свернула на улицу Роше. Возвратившись домой, Мари легла, но не могла заснуть и целую ночь читала какое-то путешествие на северный полюс, не понимая в нем ни слова. В половине девятого она получила письмо от Рауля и торопливо распечатала его. Письмо начиналось классическими словами:

«Моя дорогая возлюбленная, когда ты возьмешь в руки этот листок, меня уже не будет...»

Она не читала дальше, нервным, непроизвольным движением скомкала бумагу, позвонила горничной, поспешно накинула на себя платье, обулась в первые попавшиеся башмаки, закуталась в шаль, надела шляпку и вышла, поручив горничной сказать графу, что она поехала к своей сестре, г-же дю Тийе.

— Где вы оставили господина Натана? — спросила она слугу Рауля.

— В редакции газеты.

— Едемте туда.

К великому изумлению своих слуг, она ушла пешком, в девятом часу утра, несомненно в припадке безумия. По счастью для нее, горничная сказала ее мужу, что графиня получила от г-жи дю Тийе письмо, которое привело ее в необыкновенное волнение, и что она поспешила к сестре в сопровождении слуги, доставившего письмо. Ванденес стал ждать возвращения жены, чтобы узнать, что случилось. Графиня села в фиакр, быстро доставивший ее в редакцию газеты. В этот час просторные комнаты, занимаемые газетой в старом особняке на улице Фейдо, были безлюдны; там находился только рассыльный. Он удивился при виде заблудившейся

здесь молодой дамы, которая, бегом пробегая по редакционным комнатам, спросила его, где господин Натан.

— Да, вероятно, у мадемуазель Флорины,— ответил рассыльный, приняв графиню за соперницу, собирающуюся устроить журналисту сцену ревности.

— А в какой комнате он здесь работает? — спросила она.

— У себя в кабинете, но ключ от него всегда уносит с собой.

— Пойдемте туда.

Посыльный повел ее в небольшую темную комнату, выходившую окнами на задний двор и когда-то служившую туалетной, она примыкала к большой спальне, в которой еще сохранился альков. Туалетная расположена была под прямым углом к спальне, и графиня, открыв окно, смогла увидеть через окно спальни все, что там происходило: Натан хрипел, полулежа в своем редакторском кресле.

— Взломайте эту дверь и ни слова никому! Я заплачу вам за молчание,— сказала она.— Вы ведь видите, господин Натан умирает.

Посыльный побежал в типографию, притащил оттуда железную раму и высадил ею дверь. Рауль покончил с собой, как простая швея,— он задыхался от угара, устроенного при помощи жаровни с углями. Он только что написал Блонде письмо, в котором просил объяснить его внезапную смерть параличом сердца. Графиня приехала вовремя; она распорядилась перенести Рауля в фиакр и, не зная, где оказать ему помощь, привезла его в ближайшую гостиницу, сняла там номер и послала рассыльного за врачом. Спустя несколько часов Рауль был вне опасности; но графиня не отошла от его постели, пока он ей не исповедался во всем. После того как поверженный во прах честолюбец излил перед нею в элегической форме свою ужасающую скорбь, она вернулась домой во власти всех тех терзаний, всех мыслей, которые накануне осаждали Натана.

— Я все устрою,—сказала она ему уходя, чтобы вдохнуть в него волю к жизни.

— Ну как? Что с твоей сестрой? — спросил Феликс, встречая жену.— Ты очень изменилась в лице.

— Это страшная история, но я должна хранить ее в

глубокой тайне,— ответила она, собравшись с силами, чтобы притвориться спокойною.

Чтобы остаться наедине с собой и свободно отдаться мыслям, Мари вечером поехала в Итальянский театр, потом отправилась к сестре и открыла свое сердце, рассказав ей о страшном утреннем происшествии. Она просила у нее совета и помощи. Ни та, ни другая не могли в это время знать, что в той вульгарной жаровне, вид которой привел в ужас графиню де Ванденес, раскалил угли дю Тийе.

— Одна только я у него на свете,— сказала Мари сестре,— и я его не покину.

В этих словах разгадка тайны женского характера: женщина героична, когда уверена, что в ней — вся жизнь большого и безупречного человека.

Дю Тийе слышал о более или менее достоверном увлечении его свояченицы Натаном, но принадлежал к тем, кто отрицал это увлечение или считал его несовместимым с любовной связью между Раулем и Флориной. Актриса и графиня исключали друг друга. Но в этот вечер, когда банкир вернулся домой и застал у себя свояченицу, уже в Итальянском театре поразившую его своим взволнованным видом, он догадался, что Рауль рассказал графине о своих затруднениях. Стало быть, графиня любит его; она приехала просить у сестры денег для расплаты со стариком Жигонне. Г-жа дю Тийе, не знавшая источников этой с виду сверхъестественной прозорливости, обнаружила такое изумление, что догадка дю Тийе превратилась в уверенность. Банкир решил, что сможет удержать в своих руках нить интриг Натана. Никто не знал, что этот несчастный лежит в постели в меблированных комнатах на улице Майль под именем рассыльного из редакции, которому графиня обещала пятьсот франков за молчание о событиях той ночи и утра. Поэтому-то Франсуа Кийе и позаботился сказать привратнице, что Натану стало дурно от чрезмерной работы. Дю Тийе не удивлялся тому, что не видит Натана. Естественно было, что журналист прячется от людей, имевших приказ его арестовать. Сыщики, явившиеся для наведения справок, узнали, что утром какая-то дама увезла главного редактора. Только через два дня они установили номер фиакра, рас-

спросили извочика, нашли и обследовали гостиницу, где возвращался к жизни должник. Таким образом, принятые графинею меры предосторожности дали Натану трехдневную отсрочку.

Обе сестры провели мучительную ночь. Подобная катастрофа бросает отблеск своего пожара на всю жизнь; но она освещает не столько вершины, которые привлекали взгляд и до нее, сколько мели и подводные камни. Представляя себе страшное зрелище — молодой человек умирает, сидя в своем кресле, перед своей газетой, и по примеру римлян доверяет бумаге свои последние мысли,— бедная г-жа дю Тийе могла думать только о том, как бы помочь ему, как бы вернуть жизнь этой душе, которою жила ее сестра. Останавливаться на следствиях до изучения причин — свойство нашего ума. Эжени снова одобрила возникшую у нее с самого начала мысль обратиться к баронессе Дельфине Нусинген, у которой ей предстояло обедать, и не сомневалась в успехе. Великодушная, как все люди, еще не втянутые в полированный стальной механизм современного общества, г-жа дю Тийе решила все взять на себя.

Графиня, счастливая тем, что уже спасла жизнь Натану, тоже всю ночь придумывала самые хитрые способы раздобыть сорок тысяч франков. В эти решительные минуты женщины непостижимы. На поводу у чувств они приходят к таким планам, которые бы изумили воров, дельцов и ростовщиков, если бы представители этих трех более или менее узаконенных промыслов чему-либо изумлялись. То графиня собиралась продать свои бриллианты и носить поддельные; то решалась попросить деньги у мужа, якобы для своей сестры, которую она и без того уже вывела на сцену. Но благородство внушало ей отвращение к бесчестным приемам; она их замышляла и отвергала. Деньги Ванденеса передать Натану! Она подскакивала на постели в ужасе от своей низости. Выдавать поддельные бриллианты за настоящие! Муж в конце концов заметил бы это. У нее мелькала мысль обратиться к Ротшильдам, у которых столько денег, к Парижскому архиепископу, который обязан помогать бедным; она металась от одной религии к другой, взывая ко всем с мольбою. Сокрушалась о том, что не близка к правительственным кругам,— в прежнее время она бы по-

лучила ссуду из сумм двора. Думала прибегнуть к помощи отца. Но отставной судья питал отвращение к незаконным действиям; дети его поняли в конце концов, как мало сочувствия находили в нем испытания любви; он и слышать о них не хотел, сделался мизантропом, терпеть не мог никаких интриг. Что до графини Гранвиль, то она жила в нормандской глуши, в одном из своих поместий, копя деньги и молясь, доживая свои дни среди священников и мешков с деньгами, равнодушная ко всему до последнего своего вздоха. Пусть бы даже Мари успела съездить в Байе, разве даст ей мать столько денег, не зная их назначения? Сослаться на долги? Пожалуй, она дала бы себя растрогать своей любимице. Да, да, в случае неуспеха надо поехать в Нормандию. Граф Гранвиль не откажется снабдить ее предлогом для поездки, хотя бы ложным сообщением о тяжелой болезни жены. Душераздирающее зрелище, перепугавшее ее утром, уход за Натаном, часы, проведенные у его изголовья, его прерывающийся рассказ, эта агония больного ума, этот полет гения, приостановленный пошлым, гнусным препятствием,— все вспоминалось ей, разжигая ее любовь. Она перебрала в памяти свои волнения и почувствовала себя увлеченною несчастьями Рауля еще больше, чем величием. Поцеловала ли бы она этот лоб, будь он увенчан успехом? Нет! Она находила бесконечно благородными последние слова, сказанные ей Натаном в будуаре у леди Дэдлей. Какое святое благородство в этом прощании! В этом отказе от счастья, которое бы стало для нее пыткой! Графиня хотела изведать волнения в жизни; теперь она была богата ими — страшными, жестокими, но дорогими ей волнениями. Она больше жила страданиями, чем удовольствиями. С каким наслаждением она говорила себе: «Я уже спасла его, я его еще раз спасу!» В ушах ее звучал его возглас: «Только несчастные знают, на что способна любовь!»,— когда губы Мари коснулись его лба.

— Ты нездорова? — спросил ее муж, придя к ней в комнату, чтобы позвать ее завтракать.

— Меня так угнетает драма, происходящая в доме моей сестры! — сказала она, и в этом была некоторая доля правды.

— Эжени попала в очень плохие руки. Позор для

семьи — допустить в свою среду такого человека, как этот дю Тийе, человека без чувства чести. Если вашу сестру постигнет какое-нибудь большое горе, она не встретит жалости с его стороны.

— Какая женщина довольствуется жалостью? — сказала графиня, содрогнувшись.— Когда вы безжалостны, в суровости вашей — наше утешение.

— Я давно знаю ваше душевное благородство,— сказал Феликс, целуя руку жене, глубоко умиленный ее гордостью.— Женщина с таким образом мыслей не нуждается в присмотре.

— В присмотре? — переспросила она.— Это тоже позор, и не только для женщины, но и для мужа.

Феликс усмехнулся, но Мари покраснела. Женщины, знающие за собой тайную вину, драпируются в тогу женской гордости. Это душевное притворство надо ценить. Обман тогда полон достоинства, если не величия. Мари написала несколько строк Натану, на имя г-на Кийе, о том, что все идет хорошо, и послала эту записку через посыльного в гостиницу на улице Майль. Вечером в Опере графиня пожала плоды своей лжи,— муж нашел вполне естественным ее желание выйти из ложи, чтобы повидаться с сестрой, и проводил ее к ней, когда дю Тийе оставил жену одну. Как волновалась Мари, когда шла по коридору, когда появилась в ложе сестры и села там со спокойным и ясным лицом на глазах у великосветского общества, удивленного тем, что видит сестер вместе!

— Ну, что? — спросила она.

Лицо Мари-Эжени было ответом: оно сияло наивной радостью, которую многие приписали удовлетворенному тщеславию.

— Он будет спасен, дорогая, но только на три месяца, а мы тем временем подумаем о более надежном способе поддержать его. Баронесса Нусинген хочет получить четыре векселя, каждый на десять тысяч франков, подписанные кем угодно, чтобы ты не была скомпрометирована. Она объяснила мне, как они должны быть написаны; я в этом ничего не поняла; тебе их приготовит господин Натан. Я только подумала, что в этом деле нам может быть полезен наш старый учитель Шмуке: он их подпишет. Если ты к этим четырем векселям присоединишь письмо, в котором поручишься госпоже Нусинген в

уплате, то она завтра вручит тебе деньги. Сделай все сама, никому не доверяйся. Я решила, что со стороны Шмуке не будет никаких возражений. Чтобы отвратить подозрение, я сказала, что ты хочешь удружить нашему бывшему учителю музыки, которого постиг несчастный случай. Таким образом, я могла просить о сохранении полной тайны.

— Ты умна, как ангел! Только бы баронесса Нусинген не проболталась до того, как даст мне деньги,— сказала графиня, подняв глаза, словно взывая к богу, хотя и сидела в театральной ложе.

— Шмуке живет в Неверском переулке, близ набережной Конти, не забудь этого. Поезжай туда сама.

— Спасибо,— сказала графиня, пожимая руку сестре.— Ах, я отдала бы десять лет жизни...

— Из тех, что придут в старости...

— Чтобы навсегда покончить с этими тревогами,— сказала графиня, улыбнувшись поправке.

Все те, кто лорнировал в эту минуту обеих сестер, восхищаясь их простодушным смехом, могли думать, что они заняты пустяками; но кое-кто среди праздных людей, приходящих в Оперу не столько ради удовольствия, сколько для наблюдения за туалетами и физиономиями, мог бы угадать тайну графини, заметив сильное волнение, вдруг погасившее радость на этих двух прелестных лицах. Рауль, не боявшийся ночью сыщиков, бледный и вялый, с тревогой во взгляде, с печалью на челе, появился на ступеньке лестницы, где он обычно стоял. Он устремил взгляд на ложу графини, увидел, что она пуста, и обхватил обеими руками лоб, облокотившись на перила.

«Может ли она быть в Опере!» — думал он.

— Погляди же на нас, бедный великий человек,— прошептала г-жа дю Тийе.

А Мари, рискуя привлечь к себе внимание зала, устремила на него тот острый и пристальный взгляд, в котором воля излучается из глаз, как световые волны из солнца, и который, как утверждают магнетизеры, пронизывает того, на кого он направлен. К Раулю словно прикоснулась волшебная палочка: он поднял голову, и глаза его вдруг встретились с глазами обеих сестер. С милой находчивостью, никогда не покидающей женщин,

графиня взяла бриллиантовый крест, сверкавший у нее на груди, и показала его Раулю, едва заметно и выразительно улыбнувшись. Бриллианты метнули лучи в глаза Рауля, он ответил радостным выражением лица: он понял.

— Разве этого мало?—сказала сестре графиня.—Вот так возвращать жизнь мертвецам!..

— Ты можешь записаться в общество спасения на водах,— ответила, улыбаясь, Эжени.

— Каким он пришел грустным, подавленным, и каким уйдет довольным!

— Ну, как ты себя чувствуешь, душа моя? — спросил дю Тийе, подойдя к Раулю с самым дружелюбным видом и пожимая ему руку.

— Как человек, только что получивший превосходные известия о выборах,— ответил, сияя, Рауль.— Я буду депутатом.

— Очень рад,— ответил Тийе.— Нам понадобятся деньги для газеты.

— Мы их разыщем,— сказал Рауль.

— На стороне женщин — сам дьявол! — сказал дю Тийе, хотя и не совсем доверял словам Натана, которого он прозвал Шарнатаном.

— Это ты к чему?

— В ложе у жены сидит моя свояченица,— продолжал банкир.— Здесь что-то кроется. Графиня, как мне кажется, обожает тебя, она тебе кланяется через всю залу.

— Погляди,— сказала сестре г-жа дю Тийе,— женщин называют фальшивыми созданиями. Мой муж любезничает с господином Натаном, а между тем он-то и хочет засадить его в тюрьму!

— И мужчины еще смеют нас упрекать! — воскликнула графиня.— Я открою ему глаза.

Она встала, снова оперлась на руку Ванденеса, ждавшего ее в коридоре, и, сияя, вернулась в свою ложу; затем уехала из Оперы, велела подать наутро карету к восьми часам и уже в половине девятого, заглянув на улицу Майль, прибыла на набережную Конти.

Карета не могла въехать в узкий Неверский переулок, но Шмуке жил на углу набережной, и графине не пришлось шагать по грязи,— спрыгнув с подножки, она сра-

зу очутилась у замызганного и полуразрушенного подъезда этого старого темного дома, скрепленного железными скобками, как фаянсовая посуда у швейцаров, и покривившегося так, что прохожие поглядывали на него с опаскою. Старый капельмейстер жил в четвертом этаже и любовался прекрасным видом на Сену от Нового моста до холма Шайо. Добряк был так поражен и растерян, когда лакей графини возвестил ему появление его бывшей ученицы, что впустил ее к себе. Графиня никогда не могла бы ни предугадать, ни вообразить внезапно открывшуюся перед ней картину жизни Шмуке, хотя ей давно известно было его полное пренебрежение к костюму и безучастие ко всему земному. Кто мог бы представить себе такую неряшливость существования, такую совершенную беспечность? Шмуке был музыкальным Диогеном, он не стыдился своего беспорядка и даже не замечал его, настолько к нему привык. Непрерывное употребление славной большущей немецкой трубки покрыло потолок и жалкие, кое-где изодранные кошкой обои золотистым налетом, который придавал предметам обстановки вид позлащенной жатвы Цереры. Кошка находилась тут же, как хозяйка дома, бородатая, важная и спокойная; на ее роскошную шелковистую шкурку, мохнатую и взъерошенную, позарилась бы не одна привратница. Торжественно восседая на крышке превосходного венского фортепьяно, она устремила на вошедшую графиню вкрадчивый и холодный взгляд, каким бы ее приветствовала каждая женщина, удивленная ее красотою. Она не выказала никакого беспокойства, только шевельнула двумя серебряными нитями прямых своих усов и перевела на Шмуке золотистые глаза. Дряхлое фортепьяно дорогого дерева, покрытое черным лаком с позолотой, но грязное, выцветшее, облупленное, скалило свои клавиши, истертые, как зубы у старой лошади, и пожелтевшие от табачного дыма. Кучки пепла на пюпитре говорили о том, что накануне Шмуке на своем старом инструменте мчался на какой-нибудь музыкальный шабаш. Пол был усеян пятнами высохшей грязи, клочками бумаги, пеплом из трубки и всяким мусором, как это бывает в меблированных комнатах, где пол не подметали целую неделю и слуге приходится выгребать целую груду невообразимого хлама, пред-

ставляющего собою нечто среднее между навозом и тряпьем. Более опытный, чем у графини, глаз нашел бы сведения о жизни Шмуке в кожуре каштанов и яблок, в скорлупе крашеных пасхальных яиц, в разбитых по неловкости тарелках со следами тушеной капусты. Эти отложения германской культуры образовали ковер пыльных отбросов, хрустевших под ногами. Он сливался с грудой золы, которая величественно низвергалась из покрашенного облупившегося камина, где за двумя словно испускающими дух головешками высилась раскаленная горка углей. Над камином висело зеркало, в котором отражения плясали сарабанду; по одну его сторону висела знаменитая трубка, по другую стояла китайская ваза, где Шмуке хранил свой табак. Два по случаю купленных кресла, тощая плоская кушетка, комод без мраморной доски и весь в червоточинах хромоногий стол, на котором виднелись остатки скудного завтрака,— вот и вся меблировка, немногим более сложная, чем в индейском вигваме. Зеркальце для бритья, висевшее на шпингалете окна без занавесок, и изрезанный ремень для правки бритвы свидетельствовали о жертвах, которые Шмуке приносил грациям и свету. Кошке, существу слабому и нуждающемуся в покровительстве, предоставлена была лучшая доля: она пользовалась старой диванной подушкой, подле которой стояли фарфоровая чашка и блюдце. Но никаким пером не описать состояния, в которое привели всю мебель старик Шмуке, кошка и трубка—вся эта дружная троица. Трубка там и сям прожгла стол. Кошка и голова Шмуке так засалили плюшевую обивку обоих кресел, что лишили ее всего ворса. Если бы не роскошный хвост кошки, составлявший часть хозяйственного инвентаря, свободные места на комоде и камине так и оставались бы необметенными. В углу валялись во множестве башмаки, заслуживающие эпически подробного описания. Комод и фортепьяно завалены были нотными тетрадями, с обтрепанными, вспоротыми корешками, с побелевшими, затупившимися уголками, в которых картон расслоился на тысячу листков. Вдоль стен приклеены были облатками адреса учениц. Следы облаток без бумажек указывали число прекративших занятия. На обоях можно было прочесть записанные мелом счета. Комод уставлен был кружками накануне

выпитого пива, и они казались новыми и яркими посреди всего этого старья и бумажного хлама. Гигиена представлена была кувшином с водою, накрывавшим его полотенцем и куском простого мыла, белого в синих крапинках, увлажнившего во многих местах розовое дерево комода. Две одинаково ветхие шляпы и тот самый долгополый сюртук с тремя воротниками, который графиня всегда видела на Шмуке, висели на вешалке. На подоконнике стояли три горшка с цветами, без сомнения немецкими, а подле него дубовая трость. Зрение и обоняние графини были неприятно поражены, но улыбка и взгляд Шмуке скрасили нищету обстановки небесными лучами, от которых заблестел золотистый налет на всех вещах и оживился этот хаос. Дивная душа человека, знавшая и постигавшая столько дивных вещей, сияла, как солнце. Смех, которым он разразился при виде одной из своих «святых Цецилий», такой искренний, такой простодушный, звучал молодостью, радостью, невинностью. Эти рассыпанные перед гостьей сокровища, самые бесценные для человека, обратились в лучезарную пелену, скрывшую под собой его бедность. Даже самый надменный выскочка, быть может, счел бы низостью обращать внимание на обстановку, среди которой взволнованно жил этот великолепный апостол музыкальной религии.

— Какими судбами ви сдесь, торогая графинья? — воскликнул он.— Уш не пропеть ли мне в моем фозрасте «Nunc dimittis» [1]? — Эта мысль усилила приступ его безудержного веселья.— Какое сшастье мне прифалило? — продолжал он с лукавым видом и снова закатился детским смехом.— Вы приекали ради музики, а не ради бетного старика, я снаю,— сказал он вдруг меланхолично,— но ради чего би ви ни пришли, снайте, что сдесь все принадлешит вам, душа, тело и весь мой имусшество!

Он взял руку графини, поцеловал и уронил на нее слезу, ибо добряк никогда не забывал добра, которое делали ему. От радости он на миг лишился памяти, потом мысли его прояснились. Он схватил мел, вскочил на кресло у фортепьяно и со стремительностью юноши написал на обоях крупными буквами: *17 февраля 1835 года.*

---

[1] Ныне отпущаеши *(лат.)*.

Этот порыв, такой милый, такой наивный, исполненный такой горячей благодарности, глубоко тронул графиню.

— Сестра моя тоже приедет к вам.

— И сестра тоше! Когта? Когта? Только бы я не умер до тех пор!

— Она приедет вас поблагодарить за большую услугу, о которой я приехала вас попросить от ее имени.

— Скорей, скорей, скорей! — закричал Шмуке.—Что нушно сделать? Мошет быть, отправиться с поручением к тьяволу? Я готоф.

— Нужно только написать на каждой из этих вот бумажек: «Повинен заплатить десять тысяч франков»,— сказала она, вынимая из муфты четыре векселя, которые по всей форме заготовил Натан.

— О, это стелать недолго,— с кротостью ягненка ответил Шмуке.— Я только не снаю, где мой перья и чернильница... Ступай отсюда, mein Herr Murr,—прикрикнул он на кошку, холодно смотревшую на него.— Это моя кошка,— сказал он, показывая на нее графине.— Это бетное животное всегта живет с бетным Шмуке! Красавица! Не правда ли?

— Да,— согласилась графиня.

— Хотите? Возьмите его себе,— сказал он.

— Что вы! — возразила графиня.— Ведь она ваш друг!

Кошка, заслонявшая чернильницу, догадалась, чего хочет Шмуке, и прыгнула на кушетку.

— Она хитрый, как обезьяна,— заметил Шмуке, кивая в сторону кошки.— Я насиваю ее Мурр в шесть нашего берлинца Гофмана, я его корошо снал.

Добряк подписывал векселя с невинностью ребенка, который делает то, что мать ему велит, и, хотя ничего не понимает, уверен, что поступает хорошо. Его гораздо больше занимало впечатление, произведенное кошкой на графиню, чем эти бумаги, грозившие ему, согласно законам для иностранцев, пожизненным лишением свободы.

— Вы уферены, что эти листки гербофой бумага...

— Будьте совершенно спокойны,— сказала графиня.

— Я нишуть не беспокоюс,— прервал он ее.— Я спрашиваю, доставят ли удофольствие госпоше дю Тийе эти листки гербофой бумаги.

— О да,— ответила она,— вы окажете ей услугу, какую мог бы оказать родной отец.

— Ну, я сшастлив, если на что-нибудь ей приготился. Послушайте-ка мой музыка! — сказал он и, оставив бумаги на столе, подбежал к фортепьяно.

Уже пальцы этого ангела забегали по старым клавишам, уже взгляд его сквозь кровлю устремился в небо, уже расцветало в воздухе и проникало в душу самое сладостное из всех песнопений; но графиня недолго дала этому наивному глашатаю небесных радостей наделять глаголом дєрево и струны, как это делает Рафаэлева святая Цецилия для внемлющих ей ангелов,— лишь только высохли чернила, она поднялась, положила векселя в муфту и возвратила на землю сияющего своего учителя из эфирных пространств, где он парил.

— Добрый мой Шмуке,— сказала она, похлопывая его по плечу.

— Так скоро! — воскликнул он с грустной покорностью.— Сачем же вы тогда приехаль?

Он не возроптал, он насторожился, как верная собака, чтобы выслушать графиню.

— Добрый мой Шмуке,— продолжала она,—на карту поставлена человеческая жизнь, минуты сберегают кровь и слезы.

— Ви все та ше,— сказал он.— Ступайте, ангел! Осушайте слёсы лютские! Снайте, что бедний Шмуке ценит ваше посесшение выше вашей пенсии.

— Мы еще увидимся,—сказала она,—вы будете приходить каждое воскресенье музицировать и обедать со мною, иначе я с вами рассорюсь. Я жду вас в ближайшее воскресенье.

— Это прафта?

— Пожалуйста, приходите, и моя сестра, наверное, тоже назначит вам день.

— Тогда мне нишего не останется шелать,— сказал он,— потому што я веть видель вас только на Елисейски полях, когда ви проезшали в коляске, и ошень ретко!

От этой мысли высохли слезы, выступившие у него на глазах, и он предложил руку своей прекрасной ученице; она почувствовала, как сильно бьется у старика сердце.

— Вы, стало быть, нас вспоминали? — спросила она.

— Всяки раз, когда ел свой клеб! — ответил он.— Снашала как свой благотетельниц, а потом, как первих двух девушек, достойних любви, которих я вител!

Графиня больше ничего не посмела сказать: в этой фразе прозвучала необычайная, почтительная и благоговейная торжественность. Прокопченная дымом и заваленная сором комната была светлым храмом, воздвигнутым двум богиням. Чувство тут с каждым часом усиливалось, без ведома тех, кто внушал его.

«Здесь мы, значит, любимы; крепко любимы»,— подумала она.

Волнение, с которым старый Шмуке смотрел, как графиня садилась в карету, передалось и ей. Кончиками пальцев она послала ему нежный поцелуй, каким женщины издали приветствуют друг друга. Увидев это, Шмуке словно прирос к земле и долго еще стоял после того, как скрылась карета. Спустя несколько минут графиня въехала во двор особняка Нусингенов. Баронесса еще не вставала; чтобы не заставить ждать столь высокопоставленную гостью, она накинула на себя пеньюар и шаль.

— Речь идет об одном добром деле, баронесса,— заговорила графиня, — быстрота в таких случаях — спасение; иначе я бы вас не потревожила в такой ранний час.

— Помилуйте, я очень рада,— сказала жена банкира.

Взяв четыре векселя и поручительство графини, она позвонила горничной.

— Тереза, скажите кассиру, чтобы он сейчас же сам принес мне сорок тысяч франков.

Затем, запечатав письмо графини де Ванденес, она спрятала его в потайной ящик стола.

— У вас прелестная комната,— сказала графиня.

— Господин Нусинген собирается меня лишить ее,— он строит новый дом.

— А этот вы, вероятно, подарите вашей дочери? Говорят, она выходит замуж за господина де Растиньяка.

В эту минуту появился кассир, и баронесса ничего не ответила на вопрос. Она взяла у кассира деньги и отдала ему векселя.

— Это в покрытие выданной суммы,— сказала она.

— Если не считать учетного процента,— ответил кассир.— Этот Шмуке — музыкант из Ансбаха,— прибавил

он, взглянув на подпись, и слова его бросили в дрожь графиню.

— Разве я гонюсь за выгодой? — произнесла г-жа Нусинген, бросив на кассира укоряющий, высокомерный взгляд.— Я беру это на себя.

Как ни присматривался кассир то к баронессе, то к графине, лица у них были непроницаемы.

— Можете идти,— сказала ему баронесса.

— Будьте добры, посидите со мною еще несколько минут, чтобы он не подумал, что вы имеете какое-нибудь отношение к этой сделке,— сказала она г-же де Ванденес.

— Я попрошу вас еще об одной любезности — не выдавайте моей тайны,— сказала графиня.

— Ради доброго дела — это само собою разумеется,— улыбаясь, ответила баронесса.— Я отошлю вашу карету и распоряжусь, чтобы она ждала вас в конце сада. Потом мы вместе пройдем через сад, и никто не увидит, как вы отсюда вышли: это будет совершенно необъяснимо.

— Вы участливы, как все люди, которым пришлось страдать,— сказала графиня.

— Не знаю, участлива ли я, но страдала я много,— сказала баронесса.— Надеюсь, что ваша участливость досталась вам дешевле.

Отдав распоряжение, баронесса надела меховые туфли и шубку и проводила графиню до садовой калитки.

Кто составил план действий, подобный тому, какой был намечен банкиром дю Тийе против Натана, тот не доверит его никому. Нусинген кое-что знал о нем, но его жене были совершенно неизвестны эти макиавелевские расчеты. Однако, зная стесненное положение Натана, баронесса отнюдь не далась в обман двум сестрам; она догадалась, в чьи руки попадут эти деньги, и была очень рада услужить графине; кроме того, она глубоко сочувствовала несчастьям такого рода. Растиньяк, поставивший себе задачей разгадать махинации обоих банкиров, приехал завтракать к баронессе Нусинген. Дельфина и Растиньяк не имели секретов друг от друга, она ему рассказала сцену с графиней. Растиньяку и в голову не могло прийти, что баронесса окажется за-

мешанной в это дело, которое в его глазах, впрочем, не имело особенного значения, представляя собою один из обычных способов борьбы. Он просветил Дельфину: она, быть может, разрушила надежды дю Тийе попасть в палату, сделала бесполезными происки и жертвы целого года. Объяснив баронессе положение вещей, Растиньяк посоветовал ей молчать о своей вине.

— Только бы кассир не проговорился Нусингену,— сказала она.

За несколько минут до полудня, когда дю Тийе завтракал, ему доложили о приходе Жигонне.

— Просите сюда,— сказал банкир, хотя за столом была его жена.— Ну что, старый Шейлок, упрятали нашего молодца за решетку?

— Нет.

— Как? Сказал же я вам: на улице Майль, гостиница...

— Он заплатил,— сказал Жигонне, вытаскивая из бумажника сорок банковых билетов. На лице дю Тийе выразилось отчаяние.

— Никогда не следует оказывать деньгам дурной прием,— сказал бесстрастный сообщник дю Тийе,— это приносит несчастье.

— Где вы взяли эти деньги, сударыня? — спросил банкир у жены и так взглянул на нее, что она покраснела до корней волос.

— Я не понимаю вашего вопроса,— ответила она.

— Я разгадаю эту тайну,— ответил он, вставая в ярости.— Вы опрокинули мои самые важные планы.

— Вы опрокинете свой завтрак,— сказал Жигонне, удержав скатерть, которую дю Тийе зацепил полою халата.

Госпожа дю Тийе спокойно встала из-за стола. Слова мужа привели ее в смятение. Она позвонила.

— Карету! — сказала она лакею.— Позовите Виржини, я хочу одеться.

— Куда вы едете? — спросил дю Тийе.

— Хорошо воспитанные люди не допрашивают своих жен,— ответила она,— а вы еще притязаете на светские манеры.

— Я не узнаю вас эти два дня, с тех пор как вы виделись дважды с вашей дерзкой сестрою.

— Вы сами приказали мне быть дерзкой,— сказала она.— Вот я и пробую на вас.

— Честь имею кланяться, сударыня,— сказал, уходя, Жигонне, мало интересовавшийся семейными сценами.

Дю Тийе пристально взглянул на жену, она не опустила глаз.

— Что это значит? — крикнул он.

— Это значит, что я уже не маленькая девочка и вы меня не запугаете. Я всегда была и буду добродетельной и хорошей женой; вы можете быть моим господином, если желаете, но не тираном.

Дю Тийе вышел. После такого напряжения сил Мари-Эжени вернулась в свою комнату совершенно разбитая. «Не будь моя сестра в опасности,— подумала она,— я никогда бы не решилась на такой отпор, но, как говорит пословица, нет худа без добра».

За ночь г-жа дю Тийе перебрала в памяти то, что ей доверила сестра. Убедившись, что Рауль спасен, она уже думала только о страшной опасности, грозившей сестре. Вспомнила, с какою энергией графиня говорила, что убежит с Натаном, чтобы утешить его, если не удастся отвратить катастрофу. Поняла, что этот человек способен в порыве благодарности и любви заставить ее сестру сделать то, что благоразумная Эжени считала безумием. В большом свете были недавние примеры таких побегов, когда сомнительные радости были куплены ценою раскаяния, позора, связанного с ложным положением, и Эжени припоминала их ужасные последствия. Слова дю Тийе довели ее страх до предела; она боялась, что все раскроется, пред ее глазами стояла подпись графини де Ванденес среди бумаг фирмы Нусингена; она решила умолить свою сестру признаться во всем Феликсу.

Госпожа дю Тийе не застала сестры, но Феликс был дома. Внутренний голос говорил ей: «Спаси сестру! Быть может, завтра будет поздно». Она много взяла на себя, но решилась все рассказать графу. Неужели он не будет снисходителен, узнав, что честь его еще не пострадала? Графиня не столько согрешила, сколько сбилась с пути. Эжени было страшно пойти на низость и предательство, разоблачив тайны, которые хранит все общество, единодушное в таких вопросах; но, представив себе будущее сестры, она затрепетала от мысли, что

Мари останется когда-нибудь одна, разоренная Натаном, бедная, больная, несчастная, подавленная отчаянием, и, отбросив колебания, она велела передать графу, что хочет его видеть. Феликс, удивленный этим визитом, имел со свояченицей длинный разговор, в котором обнаружил такое спокойствие и самообладание, что она задрожала от страха: ей показалось, что он принял какое-то ужасное решение.

— Не тревожьтесь,— сказал ей Ванденес,— я поведу себя так, что моя жена когда-нибудь будет благословлять вас Конечно, для вас мучительно таиться от любимой сестры после того, как вы все открыли мне, но окажите мне услугу, ничего не говорите ей несколько дней. Мне надо всего несколько дней, чтобы проникнуть в тайны, о которых вы не подозреваете, а особенно для того, чтобы все обдумать и действовать осмотрительно. Быть может, я все узнаю сразу. Виновен в этом только я, сестра. Все любовники ведут игру одинаково; но не все женщины имеют счастье видеть жизнь в ее истинном свете.

Госпожа дю Тийе уехала успокоенная. Феликс немедленно взял из банка сорок тысяч франков и помчался к баронессе Нусинген; он застал ее дома, поблагодарил за оказанное его жене доверие и возвратил ей деньги, объяснив этот таинственный заем безрассудной благотворительностью, которую он хочет ввести в должные границы.

— Граф, объяснения излишни, если ваша супруга вам во всем призналась,— сказала баронесса Нусинген.

«Она знает все»,— подумал Ванденес.

Баронесса отдала ему поручительство графини и послала за четырьмя векселями. Ванденес тем временем смотрел на баронессу проницательным взглядом политического деятеля, почти смутившим ее. Он решил, что это благоприятный момент для переговоров.

— Мы живем в такую эпоху, баронесса, когда все неустойчиво,— сказал он.— Троны воздвигаются и рушатся во Франции с ужасающей быстротой. Пятнадцать лет сокрушили великую империю, монархию, революцию. Никто не решился бы поручиться за будущее. Вам известна моя преданность легитимизму. Пусть не удивляют вас эти слова в моих устах. Представьте себе государст-

венный переворот: разве не было бы вам удобно иметь друга в победившей партии?

— Конечно,— сказала она улыбаясь.

— Так не желаете ли вы иметь в моем лице обязанного вам втайне человека, который мог бы в случае нужды поддержать барона Нусингена, мечтающего о титуле пэра?

— Чего вы хотите от меня? — воскликнула она.

— Безделицы,— ответил он.— Расскажите все, что вы знаете про Натана.

Баронесса пересказала ему свою утреннюю беседу с Растиньяком и, вручая бывшему пэру Франции четыре векселя, которые принес кассир, сказала:

— Не забудьте своего обещания.

Но Ванденес так хорошо помнил это чудодейственное обещание, что воспользовался им как приманкою и для барона Растиньяка, чтобы получить от него некоторые другие сведения.

Уйдя от Растиньяка, он продиктовал наемному писцу следующее анонимное письмо на имя Флорины:

«Если мадемуазель Флорина хочет узнать, какая первая роль ей предназначена, то ее просят быть на ближайшем маскараде в Опере в сопровождении г-на Натана».

Отправив по почте это письмо, он поехал к своему поверенному, очень ловкому и сметливому, хотя и честному человеку, и предложил ему сыграть роль приятеля Шмуке, которому немец якобы рассказал про визит графини де Ванденес, несколько поздно призадумавшись над значением четырежды повторенной фразы «повинен заплатить десять тысяч франков», и который от имени Шмуке должен попросить у господина Натана вексель на сорок тысяч франков, в виде контррасписки. Это значило идти на большой риск. Натану могло уже быть известно, как уладилось дело, но надо было рискнуть немногим, чтобы выиграть многое. Могла же Мари в своем смятении забыть взять у Рауля расписку для Шмуке. Поверенный сейчас же поехал в редакцию и вернулся в пять часов к графу победителем, с контрраспиской на сорок тысяч франков; во время разговора с Натаном он с первых же слов понял, что спокойно может выдать себя за человека, посланного графиней.

Теперь для успеха своего плана Феликсу нужно было помешать встрече жены с Раулем до бала в Опере, куда он собирался ее повести, чтобы она своими глазами убедилась в характере отношений Натана с Флориной. Он знал ревнивую гордость графини; он хотел помочь ей отречься от своей любви добровольно, не давать ей повода краснеть перед ним и вовремя показать Мари ее письма к Натану, которые он рассчитывал выкупить у Флорины. Этому столь остроумному, столь быстро составленному плану, отчасти уже удавшемуся, суждено было сорваться по прихоти случая, все изменяющего в этом бренном мире. После обеда Феликс перевел разговор на бал в Опере и, заметив, что Мари еще никогда на маскарадах не бывала, предложил доставить ей это развлечение на следующий день.

— Я вам найду жертву для мистификации,— сказал он.

— Ах, вы мне доставите большое удовольствие!

— Чтобы как следует позабавиться, женщина должна выбрать себе достойную добычу, какую-нибудь знаменитость, талантливого человека, заинтриговать его, а потом натянуть ему нос. Хочешь, изберем жертвой Натана? От человека, знакомого с Флориной, я могу разузнать такие секреты, что он будет ошеломлен.

— С Флориной? — спросила графиня.— С актрисой?

Мари уже слышала это имя от Кийе, рассыльного из редакции газеты. Точно молния сверкнула в ее мозгу.

— Ну да, она ведь его любовница,— ответил граф.— Что тебя удивляет?

— Я думала, господин Натан так занят, что ему не до любовниц. Разве у писателей есть время любить?

— Я не говорю, что они любят, друг мой; но надо же им где-нибудь «квартировать», как всем другим мужчинам; и когда у них нет своего угла, когда их преследуют сыщики коммерческого суда, они «квартируют» у своих любовниц. Это может вам показаться предосудительным, но это несравненно приятнее, чем «квартировать» в тюрьме.

Щеки у графини пылали ярче, чем огонь в камине.

— Хотите избрать его жертвой на маскараде? Вы его приведете в ужас,— продолжал граф, не обращая

внимания на то, как Мари изменилась в лице.— Я вам предоставлю возможность доказать ему, что ваш зять дю Тийе провел его, как мальчишку. Этот негодяй хочет засадить его в тюрьму, чтобы не допустить к баллотировке в округе, где избран был Нусинген. Я знаю от одного приятеля Флорины, какую сумму она выручила от продажи своей обстановки и дала Натану на газету; я знаю, сколько денег она посылала ему из сборов, которые делала в этом году в провинции и в Бельгии,— а деньги эти пошли в конечном счете на пользу Нусингену, дю Тийе и Массолю. Они втроем заранее продали газету министерству, так уверены они, что устранят этого «великого человека».

— Господин Натан не способен брать деньги у актрисы.

— Вы совсем не знаете таких людей, моя дорогая,— сказал граф.— Вот увидите, он не станет отрицать факты.

— Я непременно поеду на маскарад.

— Вам будет весело,— продолжал Ванденес.— С таким оружием в руках вы жестоко израните самолюбие Натана и, право, окажете ему услугу. Он будет приходить в ярость, успокаиваться, вставать на дыбы от ваших колких насмешек, но, подшучивая над ним, вы откроете глаза даровитому человеку на грозящую ему опасность, и вам будет забавно, когда под вашим бичом эти дурацкие скакуны «золотой середины» замечутся в собственной конюшне.. Ты меня не слушаешь, дитя мое?

— Напротив, очень внимательно слушаю,— ответила она.— Я вам позже скажу, почему для меня важно во всем этом увериться.

— Увериться? — повторил Ванденес.— Останься в маске, я тебя посажу ужинать вместе с Натаном и Флориной: женщине твоего общественного положения будет преинтересно разжечь любопытство актрисы и принудить все мысли великого человека загарцевать вокруг столь важных тайн; ты впряжешь его и эту особу в общую мистификацию. Я узнаю, с кем изменяет Флорине Натан. Если мне удастся разведать подробности какого-нибудь недавнего его похождения, ты насладишься великолепным зрелищем гнева куртизанки. Гнев Флори-

ны заклокочет, как альпийский водопад: она обожает Натана, он для нее все; она льнет к нему, как плоть к кости, как львица к своему детенышу. Помню, в молодости я видел одну знаменитую актрису, писавшую нисколько не грамотнее кухарки. Она явилась к одному из моих приятелей с требованием возвратить ей письма; нельзя представить себе ничего поразительнее этой спокойной ярости, этой наглой величавости, этих повадок дикарки... Ты нездорова, Мари?

— Нет, здесь чересчур натоплено.

Графиня бросилась на козетку. Вдруг, в порыве, вызванном нестерпимыми пытками ревности, в одном из тех порывов, которые предвидеть невозможно, она вскочила. Ноги подкашивались у нее. Скрестив руки на груди, она медленно подошла к мужу.

— Что ты знаешь? — спросила она его.— Ты не способен терзать меня. Будь я виновна, ты бы раздавил меня, но не мучил.

— Что же мне знать, Мари?

— Говори! Натан...

— Ты думаешь, что ты любишь его, но ты любишь призрак, созданный фразами.

— Ты, стало быть, знаешь...

— Все.

Это слово ошеломило Мари.

— Если хочешь, я никогда не буду знать ничего,— продолжал он.— Ты скатилась в пропасть, дитя мое, тебя надо из нее спасти. Я об этом уже позаботился. Смотри.

Он достал из бокового кармана ее поручительство и четыре векселя Шмуке,— графиня узнала их,— и бросил в огонь.— Что бы с тобою было через три месяца, бедная Мари? Тебя бы судебные приставы таскали по судам. Не опускай головы, не унижай себя: ты была обманута самыми лучшими чувствами, ты кокетничала с поэзией, а не с этим Натаном. Все женщины, все — слышишь ли, Мари? — поддались бы на твоем месте искушению. Так разве не бессмысленно было бы с нашей стороны, со стороны мужчин, делавших столько глупостей в двадцать лет, требовать, чтобы вы не совершали за всю свою жизнь ни одного легкомысленного поступка? Упаси меня боже торжествовать над тобой или подав-

лять тебя жалостью, которую ты на днях так гордо отвергла. Быть может, этот несчастный был искренен, когда писал тебе, искренен, когда наложил на себя руки, искренен, когда в тот же вечер возвратился к Флорине. Мы хуже вас. Я не о себе говорю теперь, а о тебе. Я снисходителен, но общество не знает снисходительности, оно изгоняет женщину, пошедшую на скандал; оно не желает, чтобы любовники были счастливы да еще пользовались его уважением. Справедливо ли это, не могу сказать. Свет жесток, вот и все. Возможно, что члены его в своей совокупности завистливее, чем каждый из них в отдельности. Сидя в партере, вор рукоплещет торжеству невинности, а при выходе из театра стащит у нее драгоценности. Общество отказывается утолить страдания, которые причиняет; оно награждает ловкий обман, но не тайную преданность. Я все это знаю и вижу; но если я не могу изменить свет, то в моей власти по крайней мере защитить тебя от себя самой. Здесь речь идет об увлечении, несущем тебе одни только несчастья, а не о той любви, святой и священной, которая в самой себе содержит оправдание. Быть может, моя вина была в том, что я не разнообразил твоего счастья, что не чередовал спокойных радостей с радостями кипучими, с путешествиями, развлечениями. Помимо всего, я могу объяснить себе желание, толкнувшее тебя к выдающемуся человеку, и той завистью, которую ты вызвала в некоторых женщинах. Леди Дэдлей, маркиза д'Эспар, госпожа Манервиль и моя невестка Эмилия, несомненно, замешаны во всей этой истории. Дамы эти, против которых я тебя предостерегал, поощряли твое любопытство, скорее мне назло, чем с целью обрушить на тебя грозу, но она, надеюсь, пронеслась над твоей головой, не затронув тебя.

Мари внимала этим словам, проникнутым добротою, и множество противоположных чувств обуревало ее; однако над всем этим ураганом одержало верх пылкое восхищение Феликсом. Благородные и гордые души трогает бережное с ними обращение. Деликатность для уязвленного чувства — это то же, что помощь милосердия для больного тела. Мари оценила великодушие человека, готового опуститься к ногам согрешившей женщины, чтобы не видеть, как она краснеет от стыда. Она

убежала, словно обезумев, и тут же возвратилась, подумав, что ее возбуждение могло встревожить мужа.

— Подождите,— сказала она ему и исчезла.

Феликс искусно подготовил ей отступление; он сразу же был вознагражден за свою дипломатию: Мари вернулась, держа в руках все письма Натана, которые тут же ему отдала.

— Судите меня,— сказала она, опустившись на колени.

— Может ли судить тот, кто любит? — ответил он.

Взяв письма, он бросил их в огонь, понимая, что впоследствии она бы, пожалуй, не простила ему, если б он их прочел. Мари рыдала, уронив голову на колени графа.

— Дитя мое, а где же твои письма? — спросил он, приподымая ее голову.

При этом вопросе графиню покинуло ощущение нестерпимого жара, от которого пылали ее щеки: ей стало холодно.

— Чтобы ты не подозревала своего мужа в клевете на человека, который показался тебе достойным твоей любви, сама Флорина вернет тебе твои письма. Я заставлю ее это сделать.

— Но почему бы ему самому не отдать их по моей просьбе?

— А если он откажется?

Графиня поникла головой.

— Свет мне противен, я больше не хочу в нем бывать,— сказала она,— я буду жить наедине с тобою, если ты простишь меня.

— Ты бы, пожалуй, снова затосковала. Да и что скажет свет, если ты вдруг станешь затворницей? Весною мы отправимся в путешествие, посетим Италию, прокатимся по Европе, в ожидании того времени, когда тебе придется воспитывать не только нашего первенца. А завтра мы непременно должны быть на балу в Опере, иначе нам твоих писем не вернуть без шума и огласки. И, отдав их тебе, разве не докажет Флорина свою власть?

— И я это увижу? — спросила в ужасе графиня.

— Завтра ночью.

На другой день, в двенадцатом часу ночи, на балу в Опере, Натан прогуливался по фойе с маскою, держа ее

под руку с видом заботливого супруга. К ним подошли две замаскированные женщины.

— Дуралей! Ты себя губишь! Мари здесь и видит тебя,— сказал Натану Ванденес, переодетый женщиной.

— Если ты захочешь выслушать меня, ты узнаешь тайны, которые скрыл от тебя Натан, и поймешь, какая опасность угрожает твоей любви к нему,— сказала Флорине трепещущая Мари.

Натан тотчас же оставил руку Флорины и устремился вслед за графом, который скрылся от него в толпе. Флорина села рядом с графиней на скамью, а по другую сторону от нее сел Ванденес, вернувшийся, чтобы охранять свою жену.

— Выкладывай, милочка,— сказала Флорина,— и не рассчитывай долго морочить меня. Никто на свете не отнимет у меня Рауля, поняла? Я держу его на привязи привычки, а это стоит любви.

— Прежде всего — Флорина ли ты? — спросил Феликс.

— Вот так вопрос! Если ты этого не знаешь, как же ты хочешь, чтобы я тебе верила, мошенник?

— Спроси-ка у Натана, который сейчас разыскивает свою возлюбленную, где он провел ночь три дня тому назад! Он пытался покончить с собой, душечка, из-за безденежья, а ты этого и не знала. Вот как ты посвящена в дела человека, которого любишь, если верить твоим словам. Любишь, а оставляешь без гроша, и он убивает себя, или, вернее, промахивается. Неудачное самоубийство так же смешно, как дуэль без единой царапины.

— Ты врешь,— сказала Флорина,— он у меня обедал в этот день. А вечером... Беднягу преследовали. Он спрятался. Вот и все.

— Так спроси в гостинице «Майлл», не привезла ли его туда умирающим одна красавица, с которой он целый год поддерживал нежные отношения; письма твоей соперницы хранятся у тебя под самым носом, в твоей комнате. Если желаешь проучить Натана, поедем все трое к тебе домой; там я докажу тебе с документами в руках, что в скором времени он отправится на улицу Клиши. Разве только ты по доброте своей убережешь его от этого.

— Втирай другим очки, милый мой, а Флорину не надуешь. Я уверена, что Натан ни в кого не может быть влюблен.

— Ты хочешь сказать, что он удвоил к тебе внимание с некоторых пор? Но это-то и доказывает, что он сильно влюблен...

— В светскую женщину? Он?..—сказала Флорина.— Такие пустяки меня не беспокоят.

— Послушай! Хочешь, он подойдет к тебе и скажет, что сегодня не может проводить тебя домой?

— Если ты мне покажешь такой фокус, я отвезу тебя к себе, и мы поищем эти письма. Я в них поверю, когда увижу их. Не пишет же он их, пока я сплю!

— Сиди здесь,— сказал Феликс,— и смотри.

Он взял под руку жену и отошел на два шага от Флорины. Вскоре Натан, бегая взад и вперед по фойе, повсюду высматривая свою маску, как собака ищет хозяина, вернулся на то место, где его предупредили об опасности. Прочитав на лице Натана беспокойство, которое легко было заметить, Флорина выросла перед писателем как срок платежа, и властно сказала ему:

— Я не хочу, чтобы ты уходил, у меня на это есть причины.

— Я — Мари! — шепнула тогда графиня на ухо Раулю, по совету мужа.— Кто эта женщина? Оставьте ее немедленно, выйдите отсюда и ждите меня внизу, у лестницы.

Оказавшись в таком отчаянном положении, Рауль с силой оттолкнул руку Флорины, не ожидавшей этого маневра; как ни крепко она его держала, ей пришлось выпустить его. Натан сразу затерялся в толпе.

— Ну что, прав я был? — шепнул Феликс оторопевшей Флорине, предлагая ей руку.

— Так и быть, едем, кто бы ты ни был! Твоя карета здесь?

Ванденес, не отвечая, увел ее из фойе и побежал за женой, в то место под перистилем, где они условились встретиться. Через несколько мгновений карета примчала их к дому актрисы. Она сняла маску. Графиня Ванденес вздрогнула от изумления при виде Флорины, задыхающейся от бешенства, великолепной в своем гневе и ревности.

— Тут где-то есть портфель, ключ от которого Натан никогда тебе не доверял,— сказал ей Ванденес.— В нем должны лежать письма.

— На этот раз я заинтригована: тебе, наверное, известно то, что беспокоит меня последнее время,— сказала Флорина и бросилась в кабинет за портфелем.

Ванденес видел, как побледнела его жена под маской. О близости Натана к актрисе комната Флорины говорила больше, чем хотела знать его идеальная возлюбленная. Глаз женщины умеет в один миг прозревать истину в такого рода вещах, и графиня увидела в признаках общности домашней жизни подтверждение того, что ей сказал Ванденес.

Флорина вернулась с портфелем.

— Как его открыть? — спросила она.

Актриса послала за кухонным ножом; и когда горничная принесла его, Флорина, потрясая им, воскликнула насмешливым тоном:

— Вот чем режут цыплят!

Словцо это, бросившее в дрожь графиню, объяснило ей еще лучше, чем объяснил накануне муж, в какую бездну она чуть было не соскользнула.

— Ну и дура же я! — сказала Флорина.— Лучше взять его бритву.

И, взяв бритву, которую Натан так недавно держал в руках, она разрезала сафьян по сгибу, и сквозь щель выпали письма Мари. Флорина выхватила одно из них наудачу.

— Да, это и вправду от важной дамы! Тут, верно, ни одной грамматической ошибки не найдешь!

Ванденес взял письма и передал их жене; подойдя к столику, она проверила, все ли они здесь.

— Не уступишь ли ты их нам в обмен на это? — спросил Ванденес, показывая Флорине контррасписку на сорок тысяч франков.

— Вот дурак! Подписывает такие бумаги! — сказала Флорина, читая расписку.— «Получено наличными!..» Ну, подожди, покажу я тебе графинь!.. А я-то изводилась в провинции, собирая деньги! А я-то готова была для его спасения навязать себе на шею одного биржевика! Вот они, мужчины! Бьешься для них, как рыба об лед, а они тебя топчут ногами! Он мне за это заплатит!

Графиня де Ванденес убежала с письмами.

— Эй ты, прекрасная маска! Оставь мне хоть одно, как улику!

— Это уже невозможно,— сказал Ванденес.

— Почему же?

— Эта маска — твоя бывшая соперница.

— Вот как? Она могла бы мне по крайней мере сказать спасибо!

— А за что же ты берешь эти сорок тысяч франков? — ответил Ванденес, откланиваясь.

Молодые люди, изведав все муки неудавшегося самоубийства, очень редко повторяют эту попытку. Когда она не спасает человека от жизни, она его спасает от добровольной смерти. Поэтому у Рауля уже не было намерения покончить с собою, когда он очутился в еще худшем положении, чем прежде, увидев в руках Флорины расписку, выданную им на имя Шмуке и, очевидно, полученную ею от графа Ванденеса. Он надеялся встретиться с графиней, объяснить ей характер своей любви, горевшей в его сердце ярко, как никогда. Но, столкнувшись с ним на каком-то рауте, она бросила на него пристальный и презрительный взгляд, который вырывает непроходимую пропасть между мужчиной и женщиной. Несмотря на свою самоуверенность, Натан до конца зимы ни разу не решался ни заговорить с графиней, ни даже подойти к ней.

Однако он открылся Блонде; он красноречиво сравнивал графиню Ванденес с Лаурой и Беатриче. Он перефразировал следующие прекрасные слова одного из замечательнейших поэтов нашего времени: «Идеал, голубой цветок с золотой сердцевиной! Волокнистыми своими корнями, что тоньше шелковых волос у фей, ты погрузился в недра нашей души, чтобы пить ее чистейшее вещество! Сладостный и горький цветок! Нельзя тебя вырвать так, чтобы сердце не кровоточило, чтобы сломанный стебель не сочился алыми каплями! О проклятый цветок, как распустился ты в душе моей!»

— Ты мелешь вздор, любезный друг,— сказал ему Блонде,— я согласен с тобой, что цветок был красив, но он совсем не был идеален, и, чем петь славословия мадонне перед пустою нишей, подобно слепцу, лучше бы ты умыл руки, чтобы пойти на поклон к власти и привести

свои дела в порядок. Ты слишком большой художник для того, чтобы стать политическим деятелем, тебя оставили в дураках люди, тебя не стоившие. Подумай о том, как бы снова, только по-иному, не остаться в дураках.

— Мари не может помешать мне любить ее,— сказал Натан.— Я сделаю ее своей Беатриче.

— Беатриче, милый мой, была двенадцатилетнею девочкой, и Данте с нею позже не встречался; иначе была ли бы она Беатриче? Нельзя сотворить себе божество из женщины, если видишь ее сегодня в мантилье, завтра в бальном декольтированном платье, послезавтра на бульваре в магазине, где она покупает игрушки для своего младшего сыночка. Когда есть у человека Флорина, которую он видит поочередно водевильной герцогиней, драматической мещанкой, негритянкой, маркизой, полковником, швейцарской крестьянкой, Девою солнца в Перу — а это ее единственная возможность быть девой,— то я не понимаю, как может он заводить романы со светскими женщинами.

Дю Тийе, по выражению биржевиков, «прикончил» Натана, которого безденежье вынудило покинуть газету. Знаменитый человек собрал каких-нибудь пять голосов на выборах, где прошел банкир.

Следующей зимой, когда графиня де Ванденес вернулась в Париж после долгого и счастливого путешествия по Италии, Натан уже оправдал все предсказания Феликса: по совету Блонде он вел переговоры с правительством. Личные же дела этого писателя пришли в такое расстройство, что однажды, на Елисейских полях, графиня увидела своего бывшего поклонника, шедшего пешком под руку с Флориной и в самом жалком виде. Если мужчина безразличен женщине, то он кажется ей некрасивым, но мужчина, которого она разлюбила, кажется ей ужасным, особенно если он похож на Натана. Графиня де Ванденес содрогнулась от стыда, вспомнив, что она питала склонность к Раулю. Если бы она и без того не была излечена от всякого романтического увлечения, то одного контраста между Феликсом и этим человеком, уже потерявшим благосклонность общества, было бы достаточно, чтобы мужа она предпочла даже ангелу.

Ныне Рауль, этот честолюбец, столь богатый фраза-

ми и столь бедный волею, кончил тем, что капитулировал и пристроился к одной синекуре, как самый заурядный человек. Он, поддерживавший когда-то «покушения на общественный порядок», мирно живет в тени официозного органа печати. Орден Почетного легиона, дававший столько пищи его насмешкам, украшает петлицу его сюртука.

«Мир во что бы то ни стало», борьбою против которого он заполнял свои статьи, теперь составляет предмет его восхищения. Что касается наследственных прав, которым нанесли столько ударов его сен-симонистские фразы, то он теперь защищает их доводами рассудка. Объяснением и поддержкой столь непоследовательного поведения служат изменившиеся взгляды некоторых лиц, действовавших во время наших последних политических событий подобно Раулю.

Париж, декабрь 1838 г.

ОНОРИНА

Господину Ашилю Девериа
на добрую память от а в т о р а.

Замечено, что у французов отвращение к путешествиям настолько же велико, насколько велико пристрастие к путешествиям у англичан, и в этом, быть может, по-своему правы и французы и англичане. Ведь повсюду можно найти страны лучше Англии, между тем как чрезвычайно трудно обрести вдали от Франции ее очарование. Иные края славятся прекрасными пейзажами, часто жизнь там гораздо «комфортабельнее», чем во Франции, весьма медленно преуспевающей в этом отношении. Порою чужие страны поражают великолепием, пышностью, ослепительной роскошью; нет там недостатка ни в любезности, ни в светском обхождении; но вы нигде не встретите той игры ума, живости мысли, искусства вести беседу и изысканности речи, столь обычных в Париже, того понимания с полуслова всего, что думают и не высказывают, того дара полунамеков, которые составляют добрую половину французского языка. А потому французы, остроумие которых вообще не всем понятно, быстро чахнут на чужбине, словно пересаженное деревцо. Эмиграция для французского народа — прямая бессмыслица. Многие французы, вроде тех, о которых идет речь, возвращаясь на родину, радовались даже при виде чиновников таможни, хоть это и может показаться нелепым преувеличением.

Цель этого маленького предисловия — напомнить

французам, которым случалось путешествовать, о том редкостном удовольствии. какое они испытывали, когда порою в салоне какого-нибудь дипломата неожиданно обретали родину — будто оазис в пустыне. Это удовольствие трудно понять тем, кто никогда не покидал тротуаров Итальянского бульвара и для кого все, что находится за чертой набережных, на левом берегу Сены, уже не является Парижем. Вновь обрести Париж! Знаете ли вы, парижане, что это значит? Это значит — найти если не подлинную кухню «Роше де Канкаль», которую держит Борель для гастрономов, способных ее оценить, ибо такая осталась только на улице Монторгей, зато вкусный стол, ее напоминающий! Это значит пить французские вина, а найти их за пределами Франции неимоверно трудно,— они столь же редки, как женщина, о которой будет здесь рассказано. Это не значит услышать модную болтовню, ибо она выдыхается по дороге от Парижа до границы, зато вновь попасть в ту атмосферу остроумия, понимания с полуслова, меткой критики, в какой живут все французы, от поэта до рабочего, от герцогини до уличного мальчишки

В 1836 году, во время пребывания Сардинского двора в Генуе, двое парижан, довольно известных, словно перенеслись в Париж, сидя в гостях на вилле, которую снимал французский генеральный консул на холме, последнем отроге Апеннин, между воротами св. Фомы и той знаменитой башенкой, что украшает в английских кипсеках решительно все виды Генуи. Вилла была одним из тех великолепных дворцов, на которые тратили миллионы знатные генуэзцы во времена процветания этой аристократической республики. Где вечера особенно хороши — так это в Генуе, когда полдня перед этим лил проливной дождь; когда прозрачность моря соперничает с прозрачностью небес; когда тишиной объяты и набережная, и парк виллы, и фонтаны с мраморными статуями, из полуоткрытых ртов которых таинственно струится вода; когда сияют звезды, а волны Средиземного моря набегают одна за другой, точно любовные признания, которые шепчет женщина, слово за словом. Такие минуты, когда воздух, напоенный ароматами, наполняет

благоуханием и ваши легкие и ваши грезы, когда сладостная нега, рея в воздухе, словно дымка, невольно охватывает вас; когда, сидя в кресле, вы потягиваете, помешивая ложечкой, замороженные напитки или шербет, любуясь пленительным видом на город и красивыми женщинами,— поистине, такие часы в духе Боккаччо возможны только в Италии, на берегах Средиземного моря.

Представьте себе за столом маркиза ди Негро, гостеприимного покровителя всех странствующих талантов, маркиза Дамазо Парето, двух французов, одетых на генуэзский манер, генерального консула с прекрасной, как мадонна, женой и двумя детьми, притихшими потому, что их клонит ко сну, французского посланника с женой, первого секретаря посольства, мнящего себя остроумным и язвительным, и наконец двух парижан, приглашенных женой консула на великолепный прощальный обед, данный в их честь,— и перед вами будет картина, которую являла собой терраса виллы в майский вечер,— картина, где главным лицом была знаменитая женщина, то и дело привлекавшая к себе все взоры, героиня этого импровизированного праздника. Один из французов был известный пейзажист Леон де Лора, другой — известный критик Клод Виньон. Оба они сопровождали эту женщину, одну из замечательнейших представительниц прекрасного пола в наши дни,— мадемуазель де Туш, известную в литературном мире под именем Камилла Мопена. Мадемуазель де Туш ездила во Флоренцию по делам. Со свойственной ей очаровательной любезностью, которую она так щедро расточает, она взяла с собой Леона де Лора, чтобы показать ему Италию, и доехала до самого Рима, чтобы показать ему Римскую Кампанью. Вступив в Италию через Симплонский перевал, она возвращалась береговой дорогой, направляясь в Марсель. Ради пейзажиста она задержалась и в Генуе. Разумеется, генеральный консул пожелал, еще до приезда двора, оказать гостеприимство особе, славной столько же своим богатством, именем и положением, как и талантом. Мадемуазель де Туш (Камилл Мопен), знавшая Геную и все ее часовни вдоль и поперек, поручила пейзажиста заботам дипломата и двух генуэзских маркизов, чтобы насладиться досугом. Посланник и сам

был недурным писателем, но знаменитая женщина неизменно отказывалась от его любезных приглашений, не желая, как говорят англичане, «выставлять себя напоказ»; однако когда речь зашла о прощальном вечере на вилле у французского консула, она принуждена была согласиться. Леон де Лора убедил мадемуазель де Туш, что ее присутствие на вечере — единственный для него способ отблагодарить за гостеприимство посланника и посланницу, обоих генуэзских маркизов, консула и его жену. Тогда мадемуазель де Туш принесла в жертву один из тех дней полной свободы, какие далеко не часто выпадают в Париже на долю людей, пользующихся вниманием света.

Теперь, после того, как мы обрисовали собравшееся общество, легко будет понять, что там был изгнан всякий этикет и туда не были допущены многие дамы, притом высокопоставленные, жаждавшие узнать, не вредит ли мужественный талант Камилла Мопена обаянию и женственности мадемуазель де Туш, другими словами, нет ли у нее мужских замашек. С самого обеда до девяти часов вечера, когда подали десерт, разговор не умолкал, переходя то на легкие темы, то на серьезные, и беспрестанно оживлялся шутками Леона де Лора, слывшего самым остроумным человеком в Париже, и замечаниями, полными тонкого вкуса, неудивительными при таком составе приглашенных; о литературе почти не было речи. Но в конце концов порхание с темы на тему неизбежно должно было привести французский словесный турнир к литературе — нельзя же не затронуть хотя бы слегка эту глубоко национальную тему. Однако прежде чем перейти к рассказу о том, куда повернулся разговор и почему взял слово генеральный консул, следует вкратце сказать о его семье и о нем самом.

Этот дипломат, человек лет тридцати четырех, уже шесть лет женатый, был живым портретом лорда Байрона. Всем знакомы черты поэта, и это избавляет нас от необходимости описывать наружность консула. Однако следует отметить, что в мечтательном выражении его лица не было ничего напускного. Лорд Байрон был поэтом, а у дипломата была поэтическая натура; женщины умеют улавливать это различие, чем и объясняются, отнюдь их не оправдывая, некоторые из их увлечений. Красота кон-

сула в сочетании с благородным характером и уединенным образом жизни, полной трудов, пленила одну богатую генуэзскую наследницу. Генуэзская наследница! — подобное выражение может вызвать улыбку в Генуе, ибо там дочери лишены права наследования, и поэтому богатые невесты там — редкость; но Онорина Педротти, единственная дочь банкира, не имевшего наследников мужского пола, являлась исключением. Как ни лестно внушить к себе такую страсть, генеральный консул, по-видимому, вовсе не собирался жениться. Тем не менее через два года, после настойчивых уговоров посланника во время пребывания двора в Генуе, брак был заключен. Молодой человек дал согласие не только ради трогательной любви Онорины Педротти, а скорее под влиянием какого-то неизвестного события, одного из тех переворотов во внутренней жизни, которые так быстро тонут в потоке житейской суеты, что несколько времени спустя нам кажутся необъяснимыми самые простые поступки. Подобными скрытыми причинами вызываются подчас и важнейшие исторические события. По крайней мере к такому мнению пришло генуэзское общество, и дамы объясняли себе необыкновенную сдержанность и меланхолию французского консула тайными муками «несчастной любви». Заметим мимоходом, что женщины никогда не жалуются, если им предпочитают другую: они охотно приносят себя в жертву общеженским интересам. Онорина Педротти, которая, вероятно, возненавидела бы консула, если бы он пренебрег ею без причины, не разлюбила suo sposo [1], а может быть, полюбила еще сильнее, узнав, что его сердце разбито. Женщины признают право первенства в сердечных делах. Все спасено, если только не затронута честь женского пола. Человек не может быть дипломатом безнаказанно: sposo был нем как могила и до такой степени сдержан, что генуэзские негоцианты заподозрили тонкий расчет в поведении молодого консула, который, может быть, упустил бы богатую наследницу, не играй он роли Мнимого больного в любви. Если это и было правдой, то женщины сочли ее слишком унизительной и не поверили. Дочь Педротти находила утешение в любви, баюкая свои

[1] Своего нареченного *(итал.)*.

тайные страдания в колыбели итальянской нежности и ласки. Впрочем, синьор Педротти не мог пожаловаться на зятя, которого заставила его выбрать обожаемая дочка. О карьере молодого дипломата пеклись в Париже какие-то могущественные покровители. Согласно обещанию, данному тестю французским посланником, генеральный консул был сделан бароном и пожалован орденом Почетного легиона. Кроме того, сам синьор Педротти был возведен в графы королем Сардинии. Приданое достигало миллиона. А состояние casa [1] Педротти, нажитое хлебной торговлей и исчисляемое в два миллиона, досталось молодым через полгода после свадьбы, ибо первый и последний из графов Педротти скончался в январе 1831 года. Онорина Педротти была красавица генуэзка, а генуэзки, когда они красивы,— самые ослепительные создания в Италии. Для изваяний на гробнице Джулиано Медичи Микеланджело брал натурщиц в Генуе. Вот откуда мощность форм и удивительная линия груди на статуях Дня и Ночи, принимаемые многими критиками за преувеличение, но характерные для женщин Лигурии. В наше время красота сохранилась в Генуе только под mezzaro [2], так же как в Венеции она встречается лишь под fazzioli [3]. Это явление наблюдается во всех вырождающихся нациях. Благородный тип там можно найти только среди простонародья, подобно тому как после больших городских пожаров монеты откапывают в золе. Но Онорина, в виде исключения ставшая богачкой, представляла собою исключение и как образец патрицианской красоты. Вспомните-ка статую *Ночи*, которую Микеланджело поместил у ног *Мыслителя*, нарядите ее по-современному, уложите короной ее тяжелые длинные косы над прекрасным челом, чуть смуглым по тону, оживите искрой огня задумчивые глаза, окутайте шарфом пышную грудь, вообразите длинное белое платье, расшитое цветами, представьте, будто статуя выпрямилась, села и скрестила на груди руки, подобные рукам мадемуазель Жорж,— и перед вашим взором предстанет жена консула с шестилетним мальчи-

---

[1] Дом *(итал.)*.
[2] Шаль *(итал.)*.
[3] Косынка *(итал.)*.

ком, прелестным, как ангел, и четырехлетней девочкой на коленях, трогательной, как идеальный образ младенца, которого старательно искал скульптор Давид для украшения гробницы. Это очаровательное семейство возбудило тайное любопытство мадемуазель де Туш — она находила, что у консула чересчур задумчивый вид для человека вполне счастливого. Весь день муж и жена являли собой умилительную картину семейного счастья, но парижанка задавалась вопросом, почему один из самых обаятельных людей, которых ей случалось встречать в парижских салонах, до сих пор оставался генеральным консулом в Генуе, хотя владел состоянием, дававшим ему более ста тысяч франков ренты. Вместе с тем по множеству мелочей, подмечаемых женщинами с искусством мудрого араба в «Задиге», она была убеждена в самой верной привязанности консула к жене. Без сомнения, оба эти прекрасных существа будут жить душа в душу до конца дней своих. Итак, мадемуазель де Туш говорила себе поочередно: «Тут что-то кроется!» и «Нет, ничего!»,— наблюдая за изящными манерами генерального консула, который, кстати сказать, отличался невозмутимым спокойствием, свойственным англичанам, дикарям, жителям Востока и истинным дипломатам.

Заговорив о литературе, затронули, как водится, извечную тему, ходовой товар литераторов —грехопадение женщины, и вскоре разгорелись споры — кто тут более виновен: женщина или мужчина? Все три присутствующие дамы, которые пользовались, разумеется, безупречной репутацией — посланница, жена консула и мадемуазель де Туш,— беспощадно нападали на женщин. Мужчины пытались доказать прелестным представительницам слабого пола, что женщина может остаться добродетельной и после падения.

— Долго ли мы будем играть в прятки? — заметил Леон де Лора.

— Cara vita (жизнь моя),— сказал консул жене,— уложите детей спать и пришлите мне с Джиной маленький черный портфель, он лежит на столике Буля.

Жена консула встала, не проронив ни слова, что доказывало ее любовь к мужу, потому что она уже доста-

точно хорошо знала французский язык и не могла не понять, что ее отсылают.

— Я расскажу вам историю, в которой сам принимал участие, а затем мы можем и поспорить, ибо, по-моему, анатомировать воображаемого покойника — пустое ребячество. Чтобы сделать вскрытие, прежде всего нужен труп.

Все общество с удовольствием приготовилось слушать, тем более, что каждый уже наговорился вдоволь: разговор начинал замирать, а такой минутой и должны пользоваться рассказчики. Вот что рассказал генеральный консул:

— Когда мне минуло двадцать два года и я получил степень доктора прав, мой дядюшка, аббат Лоро, в ту пору семидесятидвухлетний старик, счел необходимым найти мне покровителя и какую-нибудь должность. Этот превосходный человек (если не сказать, святой) считал каждый прожитый год за дар божий. Нет надобности говорить вам, что духовнику его королевского высочества нетрудно было пристроить своего юного воспитанника, единственного сына покойной сестры. Итак, однажды, в конце 1824 года, почтенный старец, уже пять лет состоявший настоятелем церкви Белых ряс в Париже, поднялся в комнату, которую я занимал в его доме, и сказал:

— Приоденься, сын мой, я хочу представить тебя одному сановнику, который берет тебя на должность секретаря. Если мои надежды оправдаются, он заменит меня, когда господь бог призовет меня к себе. Я отслужу обедню к девяти часам, значит, в твоем распоряжении три четверти часа, будь готов.

— Ах, дядюшка, неужели мне придется покинуть эту комнату, где я так счастливо прожил целых четыре года?..

— У меня нет состояния, мне нечего завещать тебе,— ответил он.

— А ваше доброе имя, которое будет мне защитой, а ваши благодеяния, ваши труды?..

— О таком наследстве и говорить не стоит,— возразил старик с улыбкой.— Ты еще слишком плохо знаком со светом и не понимаешь, как мало там ценят завещания такого рода, между тем, отведя тебя нынче ут-

ром к графу...— (Разрешите мне,— заметил консул,— называть своего покровителя только по имени, просто графом Октавом...) — между тем, отведя тебя к графу Октаву,—если ты понравишься этому достойному сановнику, в чем я не сомневаюсь,— я надеюсь добиться для тебя его высокого покровительства; это гораздо важнее того состояния, которое я мог бы тебе оставить, если бы разорение зятя и смерть сестры не поразили меня как гром с ясного неба.

— Вы духовник графа?

— Что ты! Да разве я бы мог тогда тебя к нему устроить? Какой же священник осмелится извлекать выгоду из тайн, доверенных ему в исповедальне? Нет, ты обязан этим его превосходительству хранителю печати. Дорогой Морис, тебе будет там хорошо, как в отчем доме. Граф предлагает тебе две тысячи четыреста франков постоянного жалованья, помещение в своем особняке и дополнительно тысячу двести франков на содержание: он не приглашает тебя к столу и не хочет, чтобы тебе подавали отдельно, боясь поставить тебя в зависимость от подчиненных. Я бы не согласился на сделанное мне предложение, если бы не приобрел твердой уверенности, что секретарь графа Октава никогда не будет на положении слуги. Работы у тебя будет по горло, ибо граф Октав—неутомимый труженик. Зато впоследствии ты справишься с самыми сложными делами на любом посту. Мне нет надобности напоминать тебе о скромности, главном достоинстве тех, кто посвящает себя общественной деятельности.

Судите сами, как разыгралось мое любопытство! Граф Октав занимал в то время одну из высших судебных должностей, он был доверенным лицом супруги дофина, которая недавно добилась назначения его государственным министром; по положению он отчасти напоминал графа де Серизи, которого все вы, вероятно, знаете, но жил он более замкнуто, в Марэ, на улице Пайен, и почти никого не принимал. Его частная жизнь ускользала от внимания общества благодаря его монашеской скромности и непрерывной работе.

Разрешите в нескольких словах описать вам мое тогдашнее положение. Моим опекуном, которому дядя временно передал свои права, был директор коллежа свя-

того Людовика, и я окончил учение восемнадцати лет от роду. Вышел я из коллежа таким же целомудренным, каким выходит из училища святого Сульпиция набожный семинарист. Моя матушка на смертном одре взяла с дяди слово, что я не стану священником; но я был так благочестив, словно собирался принять сан. Когда я — воспользуюсь красочным старинным выражением — *слетел с насеста* коллежа, аббат Лоро взял меня к себе и засадил за изучение права. За четыре года самостоятельных занятий, необходимых для получения ученой степени, я много работал, и более всего в областях, чуждых бесплодным полям юриспруденции. В коллеже — там я жил у директора — мне не приходилось читать, и теперь, набросившись на книги, я жадно утолял свою жажду. Я прочел многих классиков современности, за ними последовали классики всех предшествовавших веков. Театр сводил меня с ума, и долгое время я ежедневно ходил туда, хотя дядя давал мне только сто франков в месяц. Эта бережливость, к которой принуждали доброго старика заботы о бедных, неизбежно сдерживала мои юношеские аппетиты в должных границах. Разумеется, я уже не был девственником, когда поступал к графу Октаву, но свои редкие любовные похождения считал преступными. В дяде моем было столько ангельской чистоты, я так боялся огорчить его, что ни разу за все четыре года не провел ночи вне дома. Добряк не ложился спать, не дождавшись моего возвращения. Такая поистине материнская заботливость сдерживала меня крепче, чем все нравоучения и упреки, какими допекают молодых людей в пуританских семьях. Одинаково чужой во всех слоях парижского общества, я видел светских дам и женщин из буржуазного круга только на прогулках или в театральных ложах, да и то издали, из партера. Если бы в те времена мне сказали: «Вы увидите Каналиса или Камилла Мопена»,— меня бросило бы в жар. Знаменитости представлялись мне какими-то божествами, они говорили, ходили, ели не так, как обыкновенные люди. Сколько сказок «Тысячи и одной ночи» бродит в юношеской голове!.. Сколько «Волшебных ламп» суждено нам испробовать, прежде чем мы убеждаемся, что подлинная «волшебная лампа» — это счастливый случай, упорный труд или талант! Для иных лю-

дей пора мечтаний и фантастических грез длится недолго; мои же грезы длятся до сих пор! В те времена я всегда засыпал или великим герцогом Тосканским, или миллионером, или возлюбленным принцессы, или знаменитостью. Итак, поступить к графу Октаву, иметь в своем распоряжении сто луидоров в год значило для меня начать независимую жизнь. Я мечтал, что мне посчастливится проникнуть в светское общество, найти там то, чего больше всего жаждало мое сердце,— прекрасную покровительницу, которая увела бы меня с опасного пути, на который неизбежно попадают в Париже все юноши двадцати двух лет, как бы благоразумны и скромны они ни были. Я начинал бояться самого себя. Упорное изучение международного права, в которое я углубился, не всегда помогало мне обуздывать бурную фантазию. Порою я мысленно посвящал себя театру, воображая, что стану великим артистом; я мечтал о триумфах, о бесчисленных романах, не ведая о тех разочарованиях, что скрыты за театральным занавесом, как скрыты они повсюду, ибо на каждой жизненной сцене есть свои кулисы. Иногда я выходил из дому с пламенем в груди, горя страстным желанием встретить где-нибудь в Париже прекрасную незнакомку, пойти за ней, преследовать ее до самой двери, выслеживать, писать ей письма, довериться ей всей душой и победить ее силою любви. Бедный дядя—это добрая душа, семидесятидвухлетний младенец, мудрый, как бог, наивный, как гений,— без сомнения, угадывал мое сердечное смятение и, чувствуя, что привязь, на которой он держит меня, слишком натянулась и вот-вот порвется, всегда вовремя говорил мне:

— Морис, ты тоже бедняк, вот тебе двадцать франков,— ступай повеселись, ты ведь не монах!

Если бы вы могли видеть лукавый огонек, сверкавший при этом в его серых глазах, ласковую улыбку в уголках губ и наконец чудесное выражение его серьезного лица, от природы некрасивого, но облагороженного праведной жизнью, вы поняли бы, какое чувство заставляло меня вместо ответа расцеловать настоятеля Белых ряс, словно родную мать.

— В лице графа Октава ты приобретешь не начальника, а друга,— говорил мне дядя, когда мы шли по ули-

це Пайен,— но он недоверчив, или, вернее сказать, осторожен. Ты не так-то скоро добьешься дружбы этого сановника; дело в том, что, несмотря на свою глубокую проницательность и опыт в суждении о людях, он был обманут прежним секретарем и едва не стал жертвой своей доверчивости. Этим все сказано, и ты должен понять, как надо вести себя у него в доме.

Мы постучались в огромные парадные ворота особняка, расположенного между двором и садом, и обширного, как особняк Карнавале́; стук прозвучал так гулко, словно в пустом пространстве. Покуда дядя осведомлялся о графе у старого привратника в ливрее, я окинул пытливым взглядом мощеный двор, заросший травой, кровли, остроконечные, точно во дворце Тюильри, потемневшие стены, где поверх прихотливых архитектурных украшений вырос кустарник. Перила на верхних галереях обветшали. Сквозь великолепную арку я разглядел еще один двор, где помещались служебные постройки с покосившимися дверями. Старый кучер чистил там ветхую карету. По его ленивому виду легко было догадаться, что в великолепных конюшнях, где некогда слышалось громкое лошадиное ржание, стояло теперь самое большее две лошади. Роскошный фасад особняка показался мне хмурым, словно это было государственное или дворцовое здание, сданное под общественное учреждение. Колокольчик непрерывно звенел, пока мы с дядей шли от будки привратника (над дверью еще сохранилась надпись: *Обратитесь к привратнику*) до самого подъезда, откуда вышел лакей в ливрее, напоминавшей ливреи Лабраншей в старинном репертуаре французской комедии. Гости, видимо, были такой редкостью, что служитель едва успел напялить свой казакин, отворяя застекленную мелкими квадратами дверь, по обеим сторонам которой чернели пятна копоти от двух фонарей. За вестибюлем, по великолепию достойным Версаля, виднелась лестница, не уступающая по размерам современному дому,— таких уже больше не строят во Франции! Мы поднимались по каменным, холодным, как могильные плиты, ступеням, где могли бы выстроиться восемь человек в ряд, и наши шаги отдавались в гулких сводах. Казалось, будто находишься в соборе. Узоры кованых перил восхищали взор чудесной чеканкой,— в них воплоти-

лась творческая изобретательность какого-нибудь мастера времен Генриха III. Холод пронизывал нас, пробегая по спине, а мы все шли прихожими, анфиладами гостиных с паркетными полами без ковров, уставленными той прекрасной старинной мебелью, какая обычно потом переходит к торговцам редкостями. Наконец мы вошли в большой кабинет, расположенный в квадратном павильоне, все окна которого выходили в обширный сад.

— Господин настоятель Белых ряс с племянником, господином Осталем! — провозгласил второй Лабранш, на попечение которого сдал нас театральный лакей в первой прихожей.

Граф Октав, одетый в сюртук из серого мольтона и в панталоны со штрипками, поднялся из-за громадного письменного стола, подошел к камину и, знаком предложив мне сесть, взял моего дядю за обе руки и крепко пожал их.

— Хотя я и принадлежу к приходу святого Павла,— сказал он,— но я много слыхал о настоятеле Белых ряс и счастлив с ним познакомиться.

— Вы слишком добры, граф,— отвечал дядя,— я привел к вам своего единственного родственника, оставшегося в живых. Льщу себя надеждой, что он будет вам хорошим помощником, а также рассчитываю найти в вас, граф, второго отца моему племяннику.

— Я вам отвечу, господин аббат, только после того, как ваш племянник и я испытаем друг друга,— сказал граф.— Как вас зовут? — спросил он меня.

— Морис.

— Он доктор прав,— добавил дядя.

— Хорошо, хорошо,—сказал граф, окинув меня внимательным взглядом с головы до ног.— Господин аббат, я надеюсь, что, как ради вашего племянника, так и ради меня, вы окажете мне честь обедать с нами по понедельникам. Это будет наш общий обед, наш семейный вечер.

Дядя и граф принялись беседовать о религии с точки зрения политики, о благотворительности, о борьбе с преступностью, и я мог вволю насмотреться на человека, от которого отныне зависела моя судьба. Граф был среднего роста; о сложении его я не мог судить из-за его костюма, но он показался мне худым и сухощавым. Лицо

было суровое, щеки впалые. Черты отличались тонкостью. Довольно большой рот выражал и насмешливость и доброту. Непомерно широкий лоб казался странным и напоминал лоб безумца, в особенности из-за контраста с нижней частью лица и маленьким, словно срезанным подбородком, почти сходившимся с нижней губой. Глаза, цвета бирюзы, живые и умные, как глаза князя Талейрана, которым я восхищался впоследствии, казались столь же непроницаемыми, как у знаменитого дипломата, и подчеркивали странность этого изжелта-бледного лица. Такая бледность как будто указывала на вспыльчивый нрав и бурные страсти. Волосы с проседью, тщательно причесанные, лежали ровными белыми и черными прядями. Щегольская прическа нарушала подмеченное мною сходство графа с тем необыкновенным монахом, образ которого создал Льюис в подражание Скедони, герою романа «Исповедальня чернецов», произведения, стоящего, по-моему, значительно выше «Монаха». Как человек, привыкший спозаранку являться в судебное присутствие, граф был уже чисто выбрит. Два канделябра в четыре рожка под абажурами с еще горевшими свечами, поставленные по углам стола, свидетельствовали, что сановник вставал задолго до рассвета. Руки его — я их разглядел, когда он потянулся за шнурком звонка, чтобы позвать лакея,— были очень красивы и белы, точно у женщины.

— Рассказывая вам эту историю,— заметил генеральный консул, прервав себя,— я изменяю общественную должность и звание этого человека, но вместе с тем показываю его в обстановке, соответствующей действительности. Положение в обществе, важный чин, богатство, образ жизни — все эти подробности правдивы; но я не хочу нарушать ни уважения к моему благодетелю, ни своей привычки дипломата хранить тайны.

Вместо того чтобы почувствовать свое ничтожество,— продолжал он, немного помолчав,— почувствовать себя по общественному положению букашкой в сравнении с орлом, я испытывал при виде этого вельможи какое-то странное, неизъяснимое чувство, в котором и сейчас не могу разобраться. Гениальные художники... (тут консул любезно склонился перед посланником, перед знаменитой писательницей и обоими парижанами), настоя-

щие государственные деятели, поэты, полководцы — словом, все поистине великие люди всегда просты; и эта простота ставит их на один уровень с нами. Быть может, вы, люди, превосходящие нас умом,— сказал он, обращаясь к своим гостям,— замечали, как чувство сглаживает психологические расстояния, созданные обществом. Если мы уступаем вам силою разума, то можем сравняться с вами верностью в дружбе. Я почувствовал, что по температуре наших сердец (простите мне это выражение) я так же близок своему покровителю, насколько далек от него по положению. Ведь душа обладает прозорливостью, она угадывает горе, тоску, радость, ненависть, злобу в другом человеке. Смутно распознал я симптомы какой-то тайны, уловив в лице графа те же изменения, которые я наблюдал у моего дяди. Стойкость в добродетели, чистота совести, ясность мысли преобразили моего дядю: его некрасивое лицо к старости стало прекрасным. В чертах графа я заметил обратное превращение: на первый взгляд я бы дал ему лет пятьдесят пять; но после внимательного наблюдения я угадал, что молодость его увяла в глубоком горе, похоронена в упорных, утомительных занятиях, сожжена жгучим огнем несчастной страсти. В ответ на какую-то шутку моего дяди глаза графа на миг засинели, как барвинок, и по его радостной улыбке я угадал, как мне показалось, его настоящий возраст — сорок лет. Все эти выводы я сделал не в то утро, а позднее, припоминая обстоятельства первого посещения.

Вошел лакей, держа поднос с завтраком.

— Я не просил подавать мне завтрак,— сказал граф,— впрочем, оставьте его здесь и покажите господину секретарю его комнаты.

Я пошел за лакеем, и он привел меня в красиво обставленные комнаты, в настоящую квартиру, расположенную под верхней террасой, между парадным двором и служебными постройками, над галереей, которая соединяла кухню с главной лестницей особняка. Возвратившись в кабинет графа, я услыхал из-за двери, что дядя выносит мне такой приговор:

— Совершить ошибку он может, потому что сердце у него пылкое, да и все мы подвержены простительным заблуждениям, но это глубоко порядочный юноша.

— Ну как? — спросил граф, бросив мне приветливый взгляд.— Скажите, понравилось ли вам там? В этой казарме столько пустых помещений, что, если комнаты вам не по вкусу, я отведу для вас другие.

— В доме дяди у меня была только одна комната,— ответил я.

— Если хотите, можете перебраться хоть сегодня вечером,— сказал граф.— Имущество у вас, вероятно, студенческое, достаточно одной кареты, чтобы все перевезти. А сегодня мы пообедаем все втроем,— прибавил он, обратившись к дяде.

К кабинету графа примыкала великолепная библиотека, он повел нас туда и показал мне глубокую нишу, увешанную картинами, которая, по-видимому, некогда служила молельней.

— Вот ваша келья,— сказал он мне,— здесь вы будете сидеть, когда нам придется вместе работать, ведь я не стану целый день держать вас на цепи.

И он подробно объяснил мне характер и условия моих будущих занятий; слушая его, я понял, какой он ценный наставник в своем деле.

Мне понадобилось около месяца, чтобы освоиться с людьми и порядками в доме, изучить новые обязанности и приноровиться к особенностям графа. Секретарь волей-неволей наблюдает за человеком, у которого служит; вкусы, пристрастия, нрав, причуды патрона по необходимости становятся предметом его изучения. В тесном содружестве двух умов есть нечто большее и вместе с тем нечто меньшее, чем в браке. Целых три месяца мы с графом Октавом присматривались друг к другу. Я с изумлением узнал, что графу всего лишь тридцать семь лет. Внешне спокойный уклад его жизни, мудрость и благородство поступков проистекали не только из глубокого чувства долга и стоического миросозерцания; общаясь с этим человеком — а чем ближе я его узнавал, тем он казался необычнее,— я угадывал, что за его трудами, за его любезностью, за доброжелательной улыбкой, за внешней сдержанностью, настолько напоминающей спокойствие, что легко было обмануться, таится бездонная пропасть. Подобно тому, как, идя лесом, в иных местах по гулкому звуку шагов

определяешь залежи ископаемых или пусто́ты, так и при постоянном общении в совместной жизни слышишь, как глухо звучат глыбы эгоизма под покровом цветов вежливости и глубокие подземелья, прорытые страданием. Душу этого мужественного человека терзало горе, а не уныние. Граф понимал, что высший закон общественной жизни в деятельности, в работе. И он твердо шел своим путем, невзирая на тайные раны и глядя в будущее ясным взором, подобно мученику, полному веры. Ни скрытая тоска, ни горькое разочарование, снедавшие его, не завели его в философские пустыни неверия; этот государственный муж был религиозен, но без всякого ханжества; он ходил в церковь святого Павла к ранней обедне, молился вместе с мастеровыми и набожными слугами. Никто — ни друзья, ни придворная знать — не подозревал, что он так ревностно исполняет церковные обряды. Он предавался религии в глубокой тайне, как иные «порядочные люди» втайне предаются пороку. Впоследствии мне суждено было увидеть, как граф поднялся на вершину человеческого горя, значительно выше тех, кто считает, что испытал больше других, кто высмеивает страсти и верования ближнего только потому, что сам преодолел их без труда, кто играет на все лады чувством иронии и презрения. Он никогда не смеялся над теми, кого надежда заводит в непроходимые топи, ни над теми, кто взбирается на высокие утесы, ища уединения, ни над теми, кто упорствует в борьбе, обагряя арену своей кровью и устилая ее разбитыми мечтами; он видел мир в его целом, он боролся с предубеждениями, он выслушивал горестные жалобы, подвергал сомнению привязанность и особенно верность. Этот грозный и суровый судья относился к людям сочувственно, не в мимолетном увлечении, а молчаливо, обдуманно, сосредоточенно, с участием и глубоким пониманием. Он был кем-то вроде Манфреда — только Манфреда, принявшего католичество и неповинного в преступлении,— который сомневается в своей вере, растопляет снега́ жаром скрытого вулкана, беседует со звездой, светящей ему одному. В жизни графа я обнаружил много странного. Он скрывался от моих взоров не как путник, который идет своей дорогой и исчезает в оврагах и рытвинах, шагая по неровной местности, но как браконьер, который хочет

спрятаться и ищет пристанища. Я не мог объяснить себе его частых отлучек в разгар работы, да он и не скрывал их, ибо говорил: «Продолжайте за меня»,— поручая мне свое дело. Человек этот, глубоко погруженный в тройные обязанности — государственного деятеля, судьи и оратора,— умилял меня своей любовью к цветам — склонность эта говорит о прекрасной душе и присуща почти всем утонченным людям. Его сад и кабинет были уставлены самыми редкостными растениями, но он всегда покупал их уже увядающими. Быть может, он видел в них отображение своей судьбы... Он сам увял, как эти цветы, роняющие лепестки, и их аромат, уже отдающий тлением, доставлял ему странное наслаждение. Граф любил свою родину, он посвящал себя общественным интересам с горячностью человека, стремящегося заглушить какую-то другую страсть; но ни научные занятия, ни работа, в которую он погружался, не могли дать ему забвения, в нем происходила жестокая внутренняя борьба, и ее отголоски достигали меня. Я смутно угадывал, что он мучительно стремится к счастью, и мне казалось, что он еще добьется его; но в чем же было препятствие? Может быть, безответная любовь к женщине? Этот вопрос я часто себе задавал. Судите сами, как велик был перечень страданий, которые я мысленно перебрал, пока не подошел к такому простому и такому опасному объяснению. Моему покровителю никакими усилиями не удавалось усмирить волнения сердца. Под суровой внешностью, под холодной сдержанностью судьи бушевала страсть, подавляемая с такой силой, что никто, кроме меня, его приближенного, не угадывал тайны. Казалось, его девизом было: «Страдаю и молчу».

Почтительное восхищение, окружавшее его, дружба с председателем суда Гранвилем и графом Серизи, такими же неутомимыми тружениками, как он сам, ничего не изменяли: либо он не желал довериться друзьям, либо они уже знали все. Бесстрастный, невозмутимый на людях, он давал волю своим чувствам только в редкие минуты, когда оставался один в саду или кабинете и думал, что его никто не видит; и тут он превращался в ребенка, он не сдерживал слез, утаенных под мантией судьи, и странных порывов восторга, которые, будь они

превратно поняты, повредили бы, пожалуй, его репутации мудрого государственного мужа.

Когда я удостоверился в этих странностях, граф Октав приобрел в моих глазах всю притягательность неразрешимой загадки, и я привязался к нему, как к родному отцу. Понятно ли вам любопытство, скованное почтением?.. Какое горе постигло этого ученого, с восемнадцати лет, подобно Питту, посвятившего себя наукам и политической деятельности, но лишенного честолюбия; этого судью, изучившего международное право, государственное право, гражданское и уголовное право и имевшего возможность найти в них защиту против всех тревог и всех заблуждений; этого мудрого законодателя, вдумчивого писателя, целомудренного одинокого человека, образ жизни которого достаточно ясно доказывал его безупречность? Ни одного преступника господь не покарал так жестоко, как моего покровителя: горе лишило его сна, он спал не более четырех часов в сутки! Какая тайная борьба происходила в нем в часы работы, протекавшие с виду так мирно, без бурь и ропота, когда, вдруг выронив перо, он низко опускал голову и на его сверкающие, устремленные вдаль глаза набегали слезы! Как мог живой источник струиться среди раскаленной лавы, не иссякнув от подземного огня? Или между ним и пожаром, бушующим внутри, как на дне морском, залег пласт гранита? Извергнется ли наконец этот огнедышащий вулкан? По временам граф бросал на меня украдкой пытливые, внимательные взгляды — так человек изучает другого, когда ищет сообщника; но потом он отводил взгляд, заметив, что мои глаза раскрылись, подобно устам, которые ждут ответа и будто шепчут: «Доверьтесь мне!» Иногда Октавом овладевала дикая и угрюмая тоска. Если, находясь в таком состоянии духа, он бывал со мной резок, то, придя в себя, и не думал просить извинения; но тогда в нем появлялось что-то ласковое, кроткое, почти доходящее до христианского смирения. Я по-сыновнему привязался к этому человеку, загадочному для меня и понятному для света, где считается, что назвать «оригиналом» достаточно для объяснения всех тайн души; я навел порядок в его доме, ибо беспечность к своим интересам доходила у графа просто до смешного. Владея рентой почти в сто шестьдесят ты-

сяч франков, не считая окладов по всем его должностям, из которых три не подпадали под закон о налогах, он расходовал шестьдесят тысяч франков, причем тридцать, по меньшей мере, расхищала прислуга. В первый же год я уволил всех этих мошенников и, воспользовавшись связями графа, подыскал для него честных людей. К концу второго года графа лучше кормили, ему лучше прислуживали и в доме его появились все современные удобства; он стал держать прекрасный выезд и кучера, которому я платил ежемесячно за каждую лошадь; его обеды в дни приемов, заказанные у Шеве по сходной цене, славились своей роскошью; в будни стряпала превосходная повариха, которую мне помог найти дядя, да две судомойки; весь расход, не считая закупок, не превышал тридцати тысяч франков; мы наняли еще двух слуг, и они постарались вернуть дому его былой блеск, ибо этот старинный особняк, величественный и прекрасный, за последние годы пришел в запустение.

— Теперь я не удивляюсь,— сказал граф, ознакомившись со счетами,— что мои слуги наживали себе состояние. За последние семь лет у меня служило два повара, и каждый из них открыл по ресторану.

— За семь лет вы потеряли триста тысяч франков,— ответил я.— И вы, прокурор, подписывающий в суде обвинительные акты против растратчиков, вы сами потакали воровству у себя дома!

В начале 1826 года граф уже перестал присматриваться ко мне, и мы сошлись так близко, насколько могут сойтись патрон и его подчиненный. Он ничего не говорил мне о будущем, но усердно занимался моим образованием, как наставник и отец. Он часто заставлял меня подбирать материал для наиболее сложных работ, поручал составление некоторых докладов и исправлял их, указывая мне на наши расхождения в толковании законов и в выводах. Когда наконец я подал ему работу, которую он смело мог бы представить как свою собственную, его радость послужила мне лучшей наградой, и он заметил это и оценил. Пустяк этот произвел на него, такого сурового с виду человека, необычайное впечатление. Он вынес мне, говоря судейским языком, окончательный и не подлежащий обжалованию приговор: обнял меня и поцеловал в лоб.

— Морис,— воскликнул он,— вы для меня уже не просто секретарь; еще не знаю, кем вы станете для меня, но, если в моей жизни не наступит перемены, вы, может быть, замените мне сына!

Граф Октав ввел меня в лучшие дома Парижа, и я ездил туда вместо него, в его экипаже и с его слугами, в тех случаях — а они повторялись часто,— когда он перед самым выездом вдруг менял решение, посылал за наемной каретой и отправлялся куда-то... Куда?.. В том-то и заключалась загадка. Мне оказывали радушный прием, по которому я мог судить, как граф привязан ко мне и как высоко ценилась его рекомендация. Он был щедр и заботлив, как отец, и не жалел денег на мои издержки, тем более что я был скромен и ему самому приходилось думать обо мне. Как-то в конце января 1827 года, на вечере у графини Серизи, мне так упорно не везло в игре, что я проиграл две тысячи франков, и мне не хотелось брать их из доверенных мне сумм. Наутро я долго раздумывал, следует ли попросить денег у дяди или лучше довериться графу.

Выбрал я последнее.

— Вчера,— сказал я, когда граф завтракал,— мне упорно не везло в картах, но я вошел в азарт и проигрался; я должен две тысячи франков. Не разрешите ли вы мне взять две тысячи в счет годового жалованья?

— Нет,— отвечал он с обворожительной улыбкой.— Когда выезжаешь в свет, надо иметь деньги на игру. Возьмите шесть тысяч, расплатитесь с долгами; отныне мы будем делить расходы пополам: ведь вы по большей части являетесь моим представителем в свете, и от этого не должно страдать ваше самолюбие.

Я не стал благодарить графа. Изъявление благодарности показалось бы ему излишним. Этот случай даст вам представление о характере наших отношений. Тем не менее мы еще не чувствовали полного доверия друг к другу, он не раскрывал передо мною бездонных тайников, которые я смутно угадывал в его душевной жизни, а я не решался спросить его: «Что с вами? Какие муки вас терзают?» Что он делал, где пропадал долгими вечерами? Часто он возвращался пешком или в наемной карете, когда я, его секретарь, подъезжал к дому в его собственном экипаже! Неужели такой благо-

честивый человек предавался тайным порокам и лицемерно скрывал их? Может быть, он устремлял все силы ума на утоление мук ревности, более изощренной, чем ревность самого Отелло? Или он был в связи с женщиной, его недостойной? Однажды утром, уплатив по счету одному из поставщиков и возвращаясь домой, я наткнулся по пути от собора святого Павла к городской ратуше на графа Октава, который так оживленно разговаривал с какой-то старухой, что не заметил меня. Физиономия старухи навела меня на странные подозрения, тем более обоснованные, что я не понимал, куда граф девает деньги. Страшно подумать! Я становился судьей моего покровителя! В то время, по моим сведениям, у него на руках было более шестисот тысяч франков, и если бы он обратил их в ренту, я бы непременно это знал, до такой степени безгранично было его доверие ко мне во всем, что касалось его доходов. Иногда по утрам граф бродил по саду и кружился по аллеям, как будто прогулка служила крылатым конем для его мечтательной задумчивости. Он шагал, шагал без устали, потирая руки, чуть не сдирая с них кожу. И когда я встречался с ним на повороте аллей, то видел, что его лицо светится радостью. Не холодными, как бирюза, были глаза его, а бархатистыми, как барвинок, что поразило меня еще при первом нашем знакомстве, ибо подчеркивало удивительное различие: различие между взором человека счастливого и человека несчастного. Не раз в такие минуты случалось, что он, схватив меня под руку, увлекал за собой, а потом вдруг спрашивал: «Вы меня искали?» — вместо того, чтобы поделиться со мной своею радостью. Но чаще, особенно с тех пор как я стал заменять его в работе и составлять за него доклады, несчастный проводил целые часы в саду, глядя на золотых рыбок, плававших в прекрасном мраморном бассейне, вокруг которого амфитеатром росли великолепные цветы. Казалось, этот государственный муж до самозабвения увлекался пустой забавой — бросал рыбам хлебные крошки.

Вот каким образом открылась мне трагедия его внутренней жизни, столь бурной, столь опустошенной, где, как в круге ада, забытом Данте, бушевали чудовищные страсти...

Генеральный консул сделал паузу.

— Как-то в понедельник,— продолжал он — по воле случая, к графу Октаву приехали на совещание господин председатель де Гранвиль и граф де Серизи — в то время товарищ председателя Государственного совета. Втроем они составляли комиссию, секретарем которой был я. К тому времени граф уже назначил меня аудитором Государственного совета. Все материалы, необходимые для рассмотрения одного политического вопроса, негласно подведомственного этим господам, были разложены на длинном столе нашей библиотеки. Де Гранвиль и де Серизи собрались к графу Октаву для предварительного изучения документов, относящихся к их работе. Было решено сначала собраться на улице Пайен, чтобы не переносить бумаг на квартиру председателя комиссии господина де Серизи. Тюильрийский кабинет придавал огромное значение этой работе; она ложилась главным образом на меня, и благодаря ей я в том же году был назначен докладчиком дел. Хотя граф де Гранвиль и граф де Серизи, напоминавшие по образу жизни моего патрона, никогда не обедали вне дома, однако наше обсуждение затянулось до такого позднего часа, что лакей вызвал меня и сказал:

— Их преподобия, настоятель Белых ряс и настоятель церкви святого Павла, уже два часа ожидают в гостиной.

Было девять часов!

— Ну вот, господа, вам придется пообедать в обществе двух священников! — воскликнул со смехом граф Октав, обращаясь к своим коллегам.— Не знаю, способен ли Гранвиль побороть свое отвращение к сутане.

— Смотря по тому, какие попы.

— Один из них — мой дядя, а другой — аббат Годрон,— ответил я.— Будьте покойны, аббат Фонтанон уже ушел из прихода святого Павла...

— Ну что ж, пообедаем со святыми отцами,— сказал председатель де Гранвиль.— Ханжи приводят меня в ужас, но истинно набожные люди бывают иной раз весельчаками.

И мы отправились в столовую. Обед удался на славу. Высокообразованные люди, политические деятели, обогащенные громадным жизненным опытом и привычкой го-

ворить речи,— превосходные рассказчики, если обладают даром слова. У них не бывает середины — они или скучные, или обаятельные собеседники. В этой тонкой игре ума князь Меттерних не уступает Шарлю Нодье. Остроты государственных мужей отшлифованы, как граненый алмаз, и отличаются четкостью, блеском и глубоким смыслом. Мой дядя, уверенный, что в обществе трех высокопоставленных особ приличия будут соблюдены, дал волю своему остроумию, изящному, трогательно незлобивому и полному лукавства, как у всех тех, кто привык скрывать свои мысли под сутаной. Поверьте, что в этой беседе, которую я охотно сравнил бы по очарованию с музыкой Россини, не было ни пошлости, ни пустословия. Аббат Годрон, скорее напоминавший, как выразился господин де Гранвиль, святого Петра, нежели святого Павла, крестьянин, крепкий в вере, высокий и широкоплечий, бык в образе священника, ничего не смыслил в вопросах света и литературы и вносил оживление в разговор наивными восклицаниями и неожиданными вопросами. Наконец заговорили об одной из неизбежных язв, присущих общественной жизни, о прелюбодеянии — извечная тема, которая и теперь занимает нас с вами. Мой дядя отметил противоречие между законом гражданским и законом религии, которое допустили в этом вопросе составители Кодекса законов еще в эпоху революционных бурь, откуда, по его мнению, и проистекало все зло.

— В глазах церкви,— сказал он,— прелюбодеяние есть тяжкий грех; для вашего же суда это всего лишь проступок. Прелюбодея увозят в карете полиции нравов, вместо того чтобы сажать на скамью подсудимых. Наполеоновский Кодекс, проникшись состраданием к виновной женщине, не справился с задачей. Разве не следовало согласовать в этом вопросе гражданское право с правом церковным и, как в былые времена, до конца дней заточать в монастырь виновную супругу?

— В монастырь?! — воскликнул господин де Серизи.— Да пришлось бы сначала понастроить сотни монастырей, а в те годы монашеские обители обращали в казармы. К тому же, подумайте только, господин аббат!.. Как можно предлагать богу тех, кого отвергло общество!

— Да вы не знаете Франции,— возразил граф де Гранвиль.— Ведь мужьям предоставлено право жало-

ваться, и что же — за год не поступает и десятка жалоб на прелюбодеяние.

— Господин аббат старается неспроста: понятие прелюбодеяния изобрел Иисус Христос,— заметил граф Октав.— На Востоке, в колыбели человечества, женщина была просто игрушкой, вещью; от нее не требовали иных добродетелей, кроме покорности и красоты. А нынешняя европейская семья, дщерь Иисуса, возвеличив душу над плотью, выдумала нерасторжимый брак, да еще обратила его в таинство.

— Э, церковь отлично сознавала все эти трудности! — воскликнул де Гранвиль.

— Такое установление создано новым обществом,— продолжал граф, усмехаясь,— но наши нравы никогда не привьются в странах, где семилетняя девочка считается созревшей женщиной, а женщина двадцати пяти лет — старухой. Католическая церковь упустила из виду интересы половины земного шара. Следовательно, будем говорить о Европе. Что такое женщина — низшее или высшее существо? Вот основной вопрос в наших условиях. Если женщина существо низшее, то, возведя ее на такую высоту, как это сделала церковь, пришлось изобрести страшные кары для прелюбодеек. Потому-то в старое время их и наказывали так строго. Монастырь или смертная казнь — вот и все прежнее законодательство. Но с тех пор законы, как это бывает всегда, изменились под влиянием обычаев. Трон стал ложем прелюбодеяния, и широкое распространение этого пресловутого греха указывает, что догматы католической церкви ослабли. В наши дни церковь требует от грешницы лишь искреннего покаяния, общество же довольствуется моральным осуждением, не применяя наказаний. Правда, закон все еще выносит приговоры виновным, но он уже никого не страшит. Словом, существует две морали: мораль света и мораль закона. Там, где слаб закон — я согласен в этом с нашим почтенным аббатом,— свет дерзок и своеволен. Кто из судей не хотел бы сам совершить проступок, против которого на судебном процессе он обрушивает довольно безобидные громы своих «обвинительных речей». И все же свет, подрывающий мораль своими празднествами, развлечениями и обычаями, более суров, чем Свод законов и церковь,— свет наказует вся-

кий ложный шаг, тем самым поощряя лицемерие. Систему законов о браке следует, по-моему, пересмотреть сверху донизу. Быть может, французское законодательство станет совершеннее, если лишить дочерей права наследования

— Мы-то, все трое, изучили вопрос досконально,— сказал со смехом граф де Гранвиль.— У меня жена, с которой я не могу ужиться, у Серизи жена, которая не хочет жить с ним, а тебя, Октав, жена бросила. Таким образом, мы втроем олицетворяем все виды «супружеского согласия»; нет сомнения, что именно из нас и составят комиссию, если когда-нибудь вернутся к вопросу о разводе.

Граф уронил вилку на стакан,— стакан разбился, разбилась и тарелка. Граф побледнел, как мертвец, и метнул на председателя гневный взгляд, указав глазами на меня.

— Прости, друг мой, я и забыл, что здесь Морис,— сказал де Гранвиль.— Но ведь Серизи и я были твоими соучастниками, а до этого свидетелями, я не думал, что совершаю нескромность, коснувшись этого вопроса в присутствии двух почтенных священнослужителей.

Де Серизи переменил разговор, рассказав про все безуспешные ухищрения, на какие он пускался, чтобы понравиться своей жене. Старик доказывал, что человеческими симпатиями и антипатиями управлять невозможно, утверждая, что общественные законы тем совершеннее, чем ближе они к законам природы. Природа же не принимает в расчет союз душ, ее цель — продолжение рода. Следовательно, современное законодательство поступает весьма мудро, предоставляя широкие возможности случаю. Лишение же дочерей права наследования, при наличии наследников мужского пола, было бы превосходной поправкой к закону; это помешало бы вырождению рода и способствовало бы семейному счастью, положив конец постыдным бракам по расчету и заставив домогаться одних лишь нравственных достоинств и красоты.

— Однако,— добавил он, пренебрежительно махнув рукой,— попробуйте-ка усовершенствовать законодательство в стране, где собираются от семи до восьми сотен законодателей!.. Впрочем,— продолжал он,— хотя я и

несчастлив в браке, зато у меня есть ребенок, который мне наследует...

— Оставляю в стороне вопрос религиозный,— заметил мой дядя,— но позволю себе обратить ваше внимание на то, что природе мы обязаны только жизнью, а обществу — нашим благополучием. Вы отец? — спросил дядя у г-на де Гранвиля.

— А я? Разве есть у меня дети? — глухо сказал граф Октав, и тон его произвел такое впечатление, что никто уже больше не заговаривал ни о женщинах, ни о браке.

После кофе оба графа и оба аббата, видя, что бедный Октав впал в глубокую задумчивость, потихоньку удалились, а он даже не заметил, как они ушли один за другим. Мой покровитель сидел в кресле у камина, и самая поза его показывала, как он подавлен горем.

— Теперь вы знаете тайну моей жизни,— сказал он, увидев, что мы одни.— Однажды вечером, после трех лет супружества, мне подали письмо, в котором графиня извещала, что покидает меня. Ее письму нельзя было отказать в благородстве, женщины способны в какой-то мере сохранять добродетель, даже совершив такой ужасный проступок... В свете считают, что жена моя погибла при кораблекрушении, она слывет умершей. Вот уже семь лет я живу один!.. На сегодня довольно, Морис. Мы побеседуем о моем положении, когда я привыкну к мысли, что могу говорить об этом с вами. Когда страдаешь хронической болезнью, приходится приучать себя даже к временным улучшениям: часто облегчение кажется нам только иной стадией болезни.

Я отправился спать в большом волнении: тайна не только не раскрылась, но, казалось, стала еще загадочней. Мне чудилась какая-то необычайная трагедия, я понимал, что между избранницей графа и им — человеком высокой души не могло произойти ничего пошлого. Во всяком случае, только исключительные обстоятельства могли побудить графиню покинуть такого благородного, обаятельного, такого безупречного человека, глубоко любящего и достойного любви. Слова господина де Гранвиля были подобны факелу, брошенному в подземелье, над которым я бродил так долго; и хотя вспышка пламени лишь едва осветила его, глаза мои успели различить его бездонную глубину. Я попытался объяснить се-

бе страдания графа, не зная ни силы их, ни горечи. Пожелтевшее лицо, впалые виски, ввалившиеся глаза, неустанные занятия, мрачное уныние, мельчайшие подробности жизни этого женатого холостяка — ярко и рельефно предстали передо мной в этот час глубокого раздумья, в которое я погрузился, как в тяжелый сон, и которому на моем месте предался бы всякий, у кого есть сердце. Как же я полюбил бедного своего покровителя! Он стал казаться мне каким-то высшим существом. Я прочел целую поэму скорби, я обнаружил непрестанную деятельность в этой душе, которую еще недавно обвинял в вялости. Не приводят ли страдания чаще всего к бездействию? Отомстил ли за свою обиду этот суровый судья, располагавший такой огромной властью? Или смирился, молчаливо терзаясь глубокой тоской? Ведь ярость, непрерывно клокочущая столько лет, многое значит в Париже. Что предпринял Октав со времени своего страшного несчастья, ибо разрыв между супругами — большое несчастье в наше время, когда личная жизнь, не в пример прошлому, стала общественной проблемой?

Несколько дней мы провели выжидая, ибо глубокое горе целомудренно; наконец однажды вечером граф сказал мне глухим голосом:

— Останьтесь!

Приведу его рассказ более или менее точно:

«У моего отца была воспитанница, богатая и красивая девушка; ей минуло шестнадцать лет, когда я вернулся в наш старый дом из коллежа. Онорина — ее вырастила моя мать — только пробуждалась к жизни. Она была прелестна и по-детски мечтала о счастье, как мечтала бы о драгоценном ожерелье. Может быть, и счастье казалось ей не чем иным, как драгоценностью души. Ее благочестие тесно переплеталось с ребяческими забавами, и все, даже религия, было поэзией для этого наивного создания. Будущее представлялось ей сплошным праздником. Она была чиста и невинна, и дурные видения не смущали ее сна. Стыд и горе еще никогда не омрачали черт ее лица и не увлажняли слезами ее глаз. Она даже не задумывалась о причине невольного волнения, охватывавшего ее порою в ясные весенние дни. Она чувствовала, что удел слабой девушки — покорность, и ждала замужества, не стремясь к нему. Ее живое во-

ображение не ведало той, может быть, необходимой испорченности, которую прививает литература, изображая страсти; она ничего не знала о свете и не имела представления об опасностях, подстерегающих нас в жизни. Милая девочка, она не испытала страданий и не могла развить в себе мужества. Словом, она была так непорочна, что без страха прошла бы среди змей, подобно идеальному образу невинности, созданному каким-то художником. Никогда еще не бывало на свете такого ясного и светлого личика. Никогда ничьи уста не искажали с такой наивностью смысл самых простых слов. Мы росли вместе, как брат с сестрой. Год спустя я сказал ей как-то здесь, в саду, когда мы стояли у бассейна с рыбками и бросали им хлебные крошки:

— Давай поженимся! Со мной ты будешь делать все, что захочешь, а со всяким другим будешь несчастна.

— Маменька,— обратилась она к моей матери, которая подошла к нам,— мы с Октавом решили пожениться.

— В семнадцать-то лет? — возразила моя мать.— Нет, подождите года полтора. Если через полтора года ваши чувства не изменятся,— ну что же, вы равны родом и состоянием, ваш брак будет подходящим и по расчету и по склонности.

Когда мне минуло двадцать семь лет, а Онорине девятнадцать, мы поженились. Почтение к родителям, приверженцам старого порядка, помешало нам отделать этот особняк согласно современной моде и переменить меблировку, а жили мы там по-прежнему на положении детей. Тем не менее я выезжал, вывозил жену в свет и считал своей обязанностью ее просвещать. Позже я узнал, что в браке, подобном нашему, таятся подводные рифы, о которые разбивается немало привязанностей, немало благих намерений, немало человеческих жизней. Муж становится наставником, учителем, если хотите, и любовь гибнет под ударами линейки, которые рано или поздно ранят ее: юная супруга, красивая, умная и веселая, богато одаренная от природы, не терпит превосходства над собой. Быть может, я и сам был виноват. Возможно, что в то трудное время, когда супруги начинают совместную жизнь, я принимал слишком наставительный тон. Или же, напротив, допустил ошибку, что доверился всецело этой чистой натуре и не следил за

графиней, считая, что она не способна на своеволие. Увы! Ни в политике, ни в семейной жизни мы до сих пор еще не знаем, в чем причина гибели государств и счастливых супружеств — в излишнем ли доверии, или в излишней строгости. Возможно также, что Онорина не нашла во мне воплощения идеала своих девичьих грез. Разве в дни блаженства отдаешь себе отчет, какие правила ты преступаешь?..»

Я припоминаю лишь в общих чертах упреки, которыми осыпал себя граф, пытаясь выяснить с добросовестностью анатома причины болезни, ускользнувшие от его коллег; кроткое милосердие этого покинутого мужа, право же, казалось мне тогда равным милосердию Христа, спасшего грешницу.

«Через полтора года после кончины моего отца, за которым несколько месяцев спустя последовала в могилу и матушка,— продолжал он, помолчав,— наступила та ужасная ночь, когда меня как громом поразило прощальное письмо Онорины. Какие чары обольстили мою жену? Была ли то пылкая страсть? Был ли то ореол страдания или гениальности? Какая из этих сил захватила и увлекла ее? Я не захотел ничего знать. Удар был настолько жесток, что я целый месяц чувствовал себя как бы оглушенным. Позже разум подсказал мне, что лучше оставаться в неведении, а несчастья Онорины на многое раскрыли мне глаза. До сих пор, Морис, моя история самая заурядная, но то, что я скажу сейчас, меняет все: я люблю Онорину, я никогда не переставал ее обожать! С того дня, как она покинула меня, я живу воспоминаниями о ней, я вновь переживаю те наслаждения, которые самой Онорине, вероятно, были не по сердцу.

О, не воображайте меня героем,— сказал он, заметив мой удивленный взгляд,— не думайте, что я так глуп, как выразился бы какой-нибудь полковник Империи, и не пытался «рассеяться». Увы, милый мой, я был или слишком молод, или слишком влюблен: в целом свете для меня не существовало другой женщины. После ужасной борьбы с собой я, взяв деньги, отправлялся искать развлечений, я заходил в притоны разврата; но на пороге вставал передо мной, словно белая статуя, образ Онорины. Вновь ощущал я дивную нежность ее пленительной

кожи, сквозь которую просвечивали тонкие жилки; вновь видел ее открытое лицо, столь же наивное накануне постигшего меня горя, как и в тот день, когда я сказал ей: «Давай поженимся!»; вспоминал ее божественное благоухание, словно источаемое добродетелью; представлял себе ее лучистый взгляд, изящество ее движений и убегал прочь, как человек, который собирался осквернить могилу и вдруг увидел призрак умершего. На заседаниях Совета, и в Палате, и по ночам я непрестанно мечтал об Онорине. Она и до сих пор неразлучна со мной, и мне нужно напрягать всю свою волю, чтобы сосредоточиться на том, что я делаю и что говорю. Я ищу забвения в работе. И что же! Гнев мой против неверной жены не сильнее гнева любящего отца, который видит родное дитя в опасности, куда его завлекла неосторожность. Я понял, что создавал из Онорины поэтический образ, которым наслаждался с таким упоением, что верил в ее ответное чувство. Да, Морис, безрассудная влюбленность мужа — тяжкий проступок, и он может довести жену до преступления. Вероятно, я не давал исхода душевным силам этой женщины-ребенка, я только баловал ее, как ребенка; возможно, что я утомил ее своей страстью, прежде чем настал для нее час любви! Она была такой юной и не могла провидеть в верности жены самоотверженность матери, она приняла первые испытания супружества за самую жизнь и, как своенравное дитя, прокляла жизнь, не решаясь пожаловаться даже мне, может быть, из стыдливости! В тяжком душевном смятении она оказалась беззащитной, столкнувшись с каким-то другим человеком, который бурно взволновал ее сердце. А я, слывущий проницательным судьей, человек добрый, но вечно занятый другими мыслями, слишком поздно угадал неведомые мне законы в кодексе женской души и прочел их лишь при свете пожара, охватившего мой дом. Тогда, в силу закона, поставившего мужа судьей жены, я обратил свое сердце в трибунал; я оправдал свою жену и осудил самого себя. Но любовь моя разрослась в страсть, в ту постыдную, всепоглощающую страсть, какая овладевает порою стариками. И вот теперь я люблю далекую Онорину, как любят в шестьдесят лет женщину, которой хотят обладать во что бы то ни стало, и ощущаю при этом юношеские силы. Я дер-

зок, как старик, и робок, как отрок. Друг мой, самые страшные семейные трагедии не вызывают в людях ничего, кроме насмешек. Обычно общество сочувствует любовнику, оно приписывает мужу лишь жалкое бессилие, издевается над тем, кто не сумел удержать жену, с которой сочетал его священник в парчовой ризе и мэр, опоясанный трехцветным шарфом. И мне пришлось молчать! Я завидую Серизи. Он снисходителен, и в этом его счастье: он видит свою жену, охраняет, защищает ее; обожая ее, он познал высокие радости благодетеля, его ничто не тревожит, даже его смешное положение, это приносит ему радости отцовства.

— Я сохраняю семью только ради спокойствия жены! — сказал мне как-то Серизи, выходя из Совета.

Ну а я?.. У меня ничего нет, нет даже повода пренебрегать насмешками, моя любовь не находит себе пищи! Мне не о чем говорить со светскими дамами, мне омерзительны проститутки, я верен жене, как будто она меня приворожила! Не будь я религиозен, я давно покончил бы с собой. Я ринулся в бездну работы, я погрузился в нее и вышел невредимым, воспламененным, с пылающей головой, потеряв сон!..»

Я не могу припомнить слово в слово рассказ этого человека, наделенного выдающимся даром красноречия; под влиянием же несчастной страсти он стал еще красноречивее, чем на трибуне Палаты, и говорил так, что, слушая его, я плакал вместе с ним. Судите сами, как я был поражен, когда после паузы, когда мы оба осушили слезы, он закончил свой рассказ следующим признанием:

«Это драма моей души, а что она такое по сравнению с теми событиями, которые разыгрываются сейчас в Париже? Драма внутренняя никому не интересна. Я это знаю; когда-нибудь и вы убедитесь в этом, хотя сейчас вы плачете вместе со мной: чужой боли никто по-настоящему не может ни представить себе, ни ощутить. Мера человеческого страдания заключена в нас самих. Даже вам понятны мои мучения лишь по очень смутной догадке. Разве вы можете видеть, как я смиряю самые жестокие приступы отчаяния, любуясь миниатюрой, на которой мой взгляд узнает овал ее лица, мысленно целую ее лоб, ее улыбающиеся уста, впиваю аромат ее

белой кожи; я смотрю, вглядываюсь, и мне кажется, я ощущаю и могу погладить шелковистые локоны ее черных волос? Разве вы знаете, как я трепещу от надежды, как ломаю руки от отчаяния, как брожу по грязным парижским улицам, чтобы хоть усталостью укротить свое нетерпение? У меня бывает упадок сил, как у чахоточных, беспричинная веселость помешанного, страх убийцы, который повстречал жандарма. Одним словом, мое существование — это непрерывная череда ужаса, радости, отчаяния. А драма моей жизни заключается вот в чем: вы думаете, я занят Государственным советом, Палатой, судом, политикой?.. Боже мой, да семи часов бессонной ночи мне хватает на все, до такой степени эти годы обострили мои способности. Дело моей жизни — Онорина. Вновь завоевать жену — вот моя единственная задача; охранять ее в том потаенном уголке, где она живет, не вызывая у нее подозрений, что она в моей власти; присылать ей все необходимое, доставлять ей те скромные удовольствия, какие она себе позволяет, быть постоянно возле нее невидимым и неразгаданным, подобно бесплотному духу, иначе все мое будущее погибнет,— вот моя жизнь, моя подлинная жизнь! Ни разу за семь лет я не ложился спать, не взглянув на огонек ночника, мерцающий в ее окне, или на ее тень за белой занавеской. Покидая мой дом, она не пожелала взять с собой ничего, кроме платья, в котором была в тот день. Моя дорогая девочка довела до нелепости благородство чувств! И вот через полтора года после ее бегства любовник бросил ее; подлец испугался сурового и холодного, зловещего и отвратительного лика нищеты! Он, вероятно, рассчитывал на безмятежную и роскошную жизнь в Швейцарии или в Италии, какую ведут обычно великосветские дамы, бросившие мужей. У Онорины был личный капитал—шестьдесят тысяч франков ренты. Негодяй покинул бедняжку беременной и без единого гроша! В ноябре 1820 года я уговорил лучшего парижского акушера разыграть роль простого лекаря из предместья; я убедил священника того прихода, где жила графиня, оказывать ей поддержку под видом благотворительности. Утаить имя жены, обеспечить ей инкогнито, разыскать служанку, которая была бы мне преданной и понятливой помощницей... да, то была задача, достойная Фигаро. Вы сами понимаете,

что стоило мне лишь захотеть, и убежище моей жены было открыто. После трех месяцев отчаяния, или, вернее, безнадежности, мною завладела мысль посвятить себя счастью Онорины, призвав бога в свидетели чистоты моих намерений,— фантазия, которая может зародиться только в беззаветно любящем сердце. Безграничная любовь требует пищи. Да кто же, как не я, должен был оградить от новых бед женщину, согрешившую по моей вине; одним словом, выполнить роль ангела-хранителя? Она сама кормила сына, но ребенок умер на восьмом месяце, к счастью для нее и для меня. Девять месяцев моя жена находилась между жизнью и смертью, покинутая в те дни, когда больше всего нуждалась в поддержке мужской руки; но над ее головой была простерта вот эта рука,— сказал он, протягивая свою руку трогательным и выразительным жестом.— За Ориной был такой уход, словно она находилась в своем прежнем роскошном особняке. Когда, поправившись, она спросила, кто и как оказал ей помощь, ей отвечали: «Сестры милосердия нашего квартала, общество материнства, приходский священник, принявший в вас участие». Женщина, у которой гордость переходит в порок, проявила в несчастье изумительную стойкость,— иной раз я называю это ослиным упрямством. Онорина пожелала зарабатывать на жизнь. Моя жена работает!.. Уже пять лет я содержу ее в прелестном особнячке на улице Сен-Мор, где она делает искусственные цветы и модные украшения. Она убеждена, что продает свои изящные изделия торговцу, который оплачивает их довольно дорого, так что в день она получает по двадцати франков, и ни разу за шесть лет у нее не возникло подозрения. За все предметы своего обихода она платит приблизительно треть их стоимости и поэтому на шесть тысяч франков в год может жить так, будто доходу у нее пятнадцать тысяч франков. Она до страсти любит цветы и платит сто экю садовнику, который и от меня получает жалованье в тысячу двести франков, да сверх того раз в три месяца представляет мне двухтысячные счета. Я обещал ему огород и домик, смежный с будкой привратника на улице Сен-Мор. Участок приобретен мною на имя судебного письмоводителя. Допусти садовник малейшую нескромность, он потеряет все. У Онорины собственный

флигель, сад и великолепная оранжерея, и это ей обходится всего в пятьсот франков в год. Она живет под фамилией своей домоправительницы, тетушки Гобен, старухи надежной и преданной, которую я сам подыскал и которая к ней уже привязалась. Впрочем, ее усердие, как и усердие садовника, питается надеждами на вознаграждение, обещанное в случае успеха. Привратник и его жена стоят мне баснословно дорого по тем же причинам. Как бы то ни было, вот уже три года Онорина почти счастлива: она уверена, что роскошью своих цветников, нарядов и всем своим благополучием обязана только самой себе.

— О, я знаю, что вы хотите сказать! — воскликнул граф, угадав по глазам вопрос, готовый сорваться с моих губ.— Да, да, однажды я сделал попытку. Тогда жена моя жила в предместье Сент-Антуан. Однажды, заключив из слов тетушки Гобен, что есть надежда на примирение, я отправил по почте письмо, в котором пытался сломить упорство жены; письмо это я переписывал и переправлял раз двадцать. Я не берусь описать вам свое состояние. Я медленно брел с улицы Пайен на улицу Рельи, как осужденный из судебной палаты в ратушу; только тот едет в повозке, а я шел пешком!.. Темным туманным вечером я шел навстречу тетушке Гобен, которая должна была рассказать, как поступила моя жена. Оказалось, что, узнав мой почерк, Онорина сожгла письмо, не читая.

— Тетушка Гобен,— сказала она,— я не останусь здесь ни одного дня!..

Разве такие слова не удар кинжалом для человека, который испытывает безмерную радость, когда ему удается обманным путем доставить на улицу Сен-Мор лучший лионский бархат по двенадцати франков за локоть, фазана, рыбу, фрукты в десять раз дешевле их действительной стоимости. Онорина наивна до того, что считает жалованье в двести пятьдесят франков вполне достаточным для тетушки Гобен, кухарки епископа!.. Вам случалось видеть, как я потираю руки, словно вне себя от радости. Значит, только что удалась проделка, достойная театральных подмостков. Недавно мне удалось обмануть жену — послать ей с торговкой-перекупщицей шаль из индийского кашемира, якобы прина-

длежавшую актрисе и совсем мало ношенную, а на самом деле совершенно новую,— я провел ночь, закутавшись в эту шаль, я, суровый судья, которого вы так почитаете! Итак, теперь вся моя жизнь сводится к двум словам, которыми можно выразить самую жестокую из пыток: я люблю и жду! В лице тетушки Гобен у меня верный соглядатай в доме обожаемой женщины. Каждую ночь я отправляюсь побеседовать со старухой, расспросить ее, что делала за день Онорина, разузнать о самых незначительных словах, сказанных ею, ибо одно восклицание может выдать мне тайну этой души, давно уже глухой и немой для меня. Онорина набожна, она молится, соблюдает обряды; но ни разу она не ходила на исповедь и не причащалась: она предвидит, что сказал бы ей священник. Она не желает, чтобы ей советовали или приказывали возвратиться ко мне. Ее отвращение ко мне пугает и смущает меня,— ведь я же не причинил Онорине ни малейшего зла, я всегда был добр к ней. Допустим, что я бывал немного резок, обучая ее, или моя мужская насмешливость оскорбляла ее законную девичью гордость. Неужели же этого достаточно, чтобы упорствовать в решении, которое могла подсказать только самая непримиримая ненависть? Онорина ни разу не проговорилась тетушке Гобен о том, кто она такая, она хранит молчание о своем замужестве, так что эта славная и достойная старушка не может и словечка замолвить в мою пользу, а она — единственный человек в доме, посвященный в тайну. Остальные ничего не знают; они подавлены страхом, который внушает имя префекта полиции, и почтением перед всемогуществом министра. Таким образом, я не могу проникнуть в сердце Онорины: крепость я взял, но войти в нее невозможно. У меня нет никаких средств воздействия. Если бы я применил силу, это погубило бы все!

Как можно побороть предубеждения, причины которых вам неизвестны? Написать письмо, дать наемному писцу переписать его и доставить Онорине?.. Я уже думал об этом. Но не грозит ли это третьим переездом? Последний стоил мне сто пятьдесят тысяч франков. Сначала я приобрел это владение на имя моего секретаря — того, которого вы заместили. Я застиг

этого подлеца, не знавшего, как чуток мой сон, в ту минуту, когда он отпирал подобранным ключом шкатулку, где были спрятаны контрдокументы; я кашлянул, он окаменел от ужаса; на другой день я заставил его продать дом новому подставному лицу и выгнал вон. О, если бы я не чувствовал, что мои побуждения благородны и человечны, не видел, как они осуществляются, как расцветают, если бы моя роль не напоминала порою забот провидения, если бы все существо мое не радовалось этому, я бы мог подумать в иные минуты, что одержим какой-то манией! Иногда по ночам я боюсь сойти с ума, меня ужасают внезапные переходы от вспышек слабой надежды, рвущейся ввысь, к полному отчаянию, низвергающему меня в такие бездны, глубже которых не найти. Несколько дней назад я серьезно раздумывал над ужасной развязкой истории Ловласа и Клариссы, говоря себе:

«Будь у нас ребенок, Онорине пришлось бы вернуться под супружеский кров!»

И я так уверен в счастливом будущем, что около года назад приобрел один из красивейших особняков в предместье Сент-Оноре. Если мне удастся вновь завоевать Онорину, я не хочу, чтобы бедняжка видела вот этот старый дом, эту комнату, откуда она бежала; я хочу перевести свое божество в новый храм, где она начнет совершенно новую жизнь... Сейчас там идут работы, особняк скоро превратится в настоящее чудо изящества и вкуса. Мне рассказывали, что какой-то поэт, охваченный безумной страстью к одной певице, едва успев влюбиться в нее, купил самую красивую кровать в Париже, еще не зная, как ответит актриса на его чувства. И вот рассудительного сурового судью, человека, слывущего мудрым советником престола, этот анекдот взволновал до глубины души. Оратору Палаты близок и понятен поэт, идеальные мечты которого питались реальностью. За три дня до прибытия Марии-Луизы Наполеон в Компьене предавался отдыху на брачной постели... Все великие страсти на один лад. В любви я — поэт и император!..»

Услыхав последние слова, я понял, что граф Октав справедливо опасается за свой рассудок; он встал с места, шагал по комнате, размахивая руками, потом вдруг

остановился, как бы испуганный горячностью своих речей.

— Должно быть, я очень смешон, ища сочувствия в ваших глазах,— заметил он после довольно долгого молчания.

— Нет, сударь, вы очень несчастны...

— О да! — вздохнул он, возвращаясь к своей исповеди.— Больше, чем вы думаете! По пылкости моих слов вы, должно быть, угадываете, как сильна моя страсть. Вот уже девять лет она истощает все мои силы; но это ничто в сравнении с обожанием, которое внушает мне душа, ум, характер, сердце, все то, что в женщине не составляет чисто женских свойств; словом, все те пленительные божества из свиты Любви, которые сопутствуют ей и окружают поэзией мимолетные наслаждения Теперь, оглядываясь в прошлое, я вижу сокровища ума и сердца Онорины и корю себя, что в дни блаженства так мало обращал на них внимания, как и все счастливые люди! Изо дня в день я все отчетливее сознавал, как велика моя утрата, все яснее постигал дивные совершенства этого своенравного и балованного создания, которое стало таким сильным и гордым под гнетом нужды, под ударами подлой измены. И этот небесный цветок гибнет в глуши и одиночестве! Вот мы тут толковали о законе,— продолжал он с горькой насмешкой,— но закон — это пикет жандармов; мою жену схватят и приведут сюда насильно! Не значит ли это завоевать труп? Религия не имеет власти над Ониной, в религии она признает только ее поэзию, она молится, не слушая предписаний церкви. Я же исчерпал все возможности: милосердие, доброту, любовь... У меня нет больше сил. Остается последнее средство для достижения победы—хитрость и терпение, благодаря которым птицелову удается в конце концов изловить самых недоверчивых, самых проворных, причудливых и редкостных птиц. Морис, когда де Гранвиль допустил вполне простительную нескромность и вам открылась тайна моей жизни, я увидел в этой случайности веление судьбы, одно из тех указаний свыше, которым повинуются и которых вымаливают игроки в разгар азартной игры... Достаточно ли вы ко мне привязаны, чтобы романтически пожертвовать собой ради меня?..

— Я догадываюсь, что вы хотите сказать, граф,— ответил я, перебивая его,— я вижу ваши намерения. Ваш первый секретарь хотел взломать вашу шкатулку; у второго слишком пылкое сердце,— он может влюбиться в вашу жену. Неужели вы хотите обречь его на гибель, послав прямо в огонь? Сунуть руку в костер и не обжечься, да разве это возможно?

— Вы ребенок,— возразил граф,— я отправлю вас туда в перчатках! На улице Сен-Мор, в домике огородника, который я освобожу для вас, поселится не секретарь мой, а мой двоюродный племянник, барон д'Осталь, докладчик дел Государственного совета...

Не успел я прийти в себя от изумления, как услышал звон колокольчика, и какая-то коляска подкатила к самому подъезду. Вскоре лакей доложил о госпоже де Куртвиль с дочерью. У графа Октава была многочисленная родня со стороны матери. Госпожа де Куртвиль, его кузина, была вдовой судьи округа Сены, который оставил ее и единственную дочь свою без всякого состояния. Разве увядающая женщина двадцати девяти лет могла сравниться с двадцатилетней девушкой, одаренной красотой, какой может наделить идеальную возлюбленную лишь самое пылкое воображение?

— Титул барона, должность докладчика дел и чиновника особых поручений при министре юстиции, в ожидании лучшего, да этот старый особняк в приданое,— разве не достаточно причин, чтобы не влюбиться в графиню? — шепнул он мне и, взяв меня под руку, представил госпоже де Куртвиль и ее дочери.

Я был ослеплен не столько блестящими надеждами на будущее, о которых прежде не посмел бы и мечтать, сколько Амелией де Куртвиль, прелесть которой была умело оттенена искусным туалетом,— матери всячески украшают дочерей, когда пора выдавать их замуж...

— Но не стоит говорить обо мне,—заметил консул, прерывая свой рассказ.

Недели через три,— продолжал он,— я переехал в дом огородника, приведенный в порядок, убранный и обставленный с той быстротой, которая объясняется тремя словами: Париж! Французский мастеровой! Деньги! Я так влюбился в Амелию, что граф для своего спокойствия не мог большего и желать. Но достаточ-

но ли я был благоразумен в свои двадцать пять лет для хитрых замыслов, которые мне предстояло осуществить и от которых зависело счастье моего друга? Признаюсь, что в разрешении этой задачи я сильно рассчитывал на помощь дяди,— граф Октав дал мне право посвятить его в тайну, если его вмешательство представится мне необходимым. Я нанял садовника и сделался страстным садоводом, чуть ли не маньяком; с неистовым увлечением, якобы всецело захватившим меня, я занимался распашкой пустыря, обработкой почвы и разведением цветов. Подобно маньякам Голландии и Англии, я выдавал себя за любителя лишь одного сорта цветов,— я выращивал только георгины и собирал все их разновидности. Вы догадываетесь, что мое поведение, вплоть до мельчайших подробностей, было намечено самим графом; все силы его ума и души были направлены на тщательную подготовку трагикомедии, которая должна была разыграться на улице Сен-Мор. Почти каждый вечер, между одиннадцатью и двенадцатью, как только графиня ложилась спать, Октав, тетушка Гобен и я держали совет. Старуха при мне давала Октаву пространный отчет о том, как провела день его жена; он осведомлялся о кушаньях, которые ей подавали к столу, о ее занятиях, расположении духа, о блюдах, заказанных к обеду на завтрашний день, о цветах, которые она собиралась делать. Я понял, что́ такое любовь, доведенная до отчаяния, тройная любовь, идущая от рассудка, от сердца и от страстного влечения. Октав жил только одним этим часом. За два месяца, пока длились садовые работы, я и взгляда не кинул на флигель, где жила моя соседка Я даже не спрашивал, есть ли у меня соседка, хотя сад графини был отделен от моего лишь низкой изгородью, вдоль которой по ее распоряжению были посажены кипарисы, уже достигшие четырех футов высоты. В одно прекрасное утро тетушка Гобен сообщила своей хозяйке о нежданной беде: какой-то чудак, поселившийся по соседству, собирается разгородить к концу года оба сада стеною. Нечего и говорить, какое любопытство снедало меня. Увидеть графиню!.. От этого желания тускнела даже моя зарождавшаяся любовь к Амелии де Куртвиль. Постройка стены была страшной угрозой для соседнего владения. Это лишало его притока

воздуха, так как садик Онорины стал бы чем-то вроде узкой полосы, стиснутой между стеной и ее флигелем. Флигель этот, некогда приют утех и развлечений какого-то вельможи, напоминал карточный домик; в ширину было в нем футов тридцать, а в длину — около ста. Фасад, расписанный в немецкой манере и увитый цветами до второго этажа, представлял собою прелестный образчик стиля помпадур, так удачно названного «рококо». К нему вела длинная липовая аллея. Сад около флигеля и мой пустырь были расположены в виде топора, рукояткой которого и являлась эта аллея. Стена урезала бы топор на три четверти. Графиня пришла в отчаяние и спросила в полном расстройстве:

— Гобен, милая, а кто он такой, этот цветовод?

— Уж, право, не знаю, удастся ли его приручить,— сказала старуха,— кажется, он терпеть не может женщин. Он приходится племянником одному парижскому священнику. Дядюшку-то я разок видела, такой славный старик лет семидесяти пяти, лицом неказистый, зато обходительный. Люди-то говорят, будто он нарочно потакает своему племяннику, пусть, мол, забавляется цветами, чтобы не стряслась с ним беда...

— Какая же беда?

— Да, знаете, свихнулся ваш сосед...— объявила старуха Гобен, выразительно постучав пальцем по лбу.

Тихие сумасшедшие — единственные из мужчин, которых женщины нисколько не остерегаются. Вы увидите впоследствии, насколько граф верно угадал, избрав для меня эту роль.

— Да что с ним такое? — спросила графиня.

— Заучился, говорят,— отвечала тетушка Гобен,— вот и одичал. Да еще какое-то горе у него было,— недаром он женщин возненавидел... Вот вам, коли уж вы хотите знать, о чем у нас тут болтают.

— Ну что же,— сказала Онорина,— помешанные страшат меня меньше, чем люди в здравом уме; я сама с ним поговорю. Скажи ему, что я прошу его прийти. Если я ничего не добьюсь, то поговорю с его дядей.

На следующий день после этого разговора, прогуливаясь по дорожкам, разбитым на моем участке, я заметил, что из окна соседнего флигеля сквозь раздвинутые занавески с любопытством выглядывает женское

лицо. Ко мне подошла тетка Гобен. В ответ на ее слова я быстро оглянулся на флигель и резко махнул рукой, как бы говоря: «А наплевать мне на вашу хозяйку!»

— Сударыня,— сказала тетка Гобен, давая отчет графине,— помешанный просит оставить его в покое. Всяк, говорит, у себя в доме хозяин, особенно если человек не женат.

— Он вдвойне прав,— отвечала графиня.

— Но под конец он сказал: «Ладно, приду!» — услышав, что его отказ обидит бедную даму, которая удалилась от мира и находит превеликое утешение в разведении цветов.

Наутро тетка Гобен дала мне знать, что моего визита ждут. После завтрака, когда графиня прогуливалась перед флигелем, я разломал изгородь и направился прямо к ней. Одет я был по-деревенски: в старых панталонах из серого мольтона, в деревянных башмаках, в старой охотничьей куртке, в старом картузе; вокруг шеи был обмотан дешевый платок, а в руках, выпачканных в земле, я держал колышек.

— Сударыня, это тот самый господин, что живет по соседству! — крикнула старуха Гобен.

Графиня нисколько не испугалась. Наконец-то я увидел эту женщину, которая после исповеди графа вызывала у меня такое жгучее любопытство. Стояли первые дни мая. Чистый воздух, голубое небо, свежесть первой зелени, благоухание весны служили прекрасной рамкой для этого несчастного создания. Увидев Онорину, я понял страсть Октава и верность выражения: «цветок небесный». Прежде всего меня поразил какой-то необычайный оттенок белизны ее лица,— ведь у белого цвета столько же различных оттенков, сколько у красного или синего. Когда я смотрел на графиню, мне чудилось, будто взор мой касался ее нежной кожи, сквозь которую виднелись голубые жилки. При малейшем волнении кровь разливалась под кожной тканью, просвечивая, словно розовая заря сквозь дымку тумана. Когда мы встретились, солнечные лучи, пронизывая легкую листву акаций, окружали Онорину тем золотистым и зыбким сиянием, какое только Рафаэль и Тициан, единственные художники в мире, умели изображать вокруг мадонны. Карие глаза выражали кроткую

веселость; они блестели из-под длинных опущенных ресниц и освещали все лицо. Одним движением своих шелковистых ресниц Онорина приводила вас в трепет, столько было чувства, величия, скорби, презрения в самой ее манере подымать и опускать эту завесу души. Она могла уничтожить или оживить вас одним взглядом. Пепельные волосы, небрежно заколотые на затылке, обрамляли широкий, прекрасный, мечтательный лоб поэта. Что-то страстное и нежное было в очертании ее рта. Наконец, редкий во Франции и распространенный в Италии дар природы — все линии ее стана, черты лица, посадка головы носили печать благородства, которое не увядает с годами. Она была стройна, но не производила впечатления худощавой, и ее пленительная красота, казалось, могла всегда возродить угасший пламень. К ней подходило название «крошка», ибо она принадлежала к тому типу маленьких, хрупких женщин, которых хочется взять на руки, приласкать, бросить и снова схватить в объятия, точно кошечку. Ее маленькие ножки еле слышно ступали по песку, и легкий звук ее шагов, сливаясь с шелестом платья, казался нежной музыкой, запечатлевался в сердце,— ее можно было узнать по походке среди тысячи женщин. В ее осанке сказывалось знатное происхождение, и столько в ней было горделивой грации, что в толпе самые дерзкие уступали ей дорогу. Веселая и нежная, гордая и величественная, она сочетала в себе самые противоречивые качества и, несмотря ни на что, оставалась ребенком. Но ребенок мог стать могущественным, как ангел, и неумолимым, подобно ангелу, если наносили оскорбление ее чувствам. Суровость на ее лице, вероятно, была губительна для тех, кому ее глаза когда-то улыбались, для кого раскрывались в улыбке ее уста, кто слышал мелодию этого певучего голоса, произносившего слова как-то особенно поэтично. Вдыхая запах фиалки, исходивший от нее, я понял, почему, вспоминая эту женщину, граф не мог войти в притон разврата, и почему нельзя было забыть ее,— она действительно казалась цветком, созданным для прикосновений, цветком, созданным для взоров, цветком, созданным для обоняния, небесным цветком для души... Онорина внушала чувство преданности, преданности рыцарской и бескорыстной; каждому, кто

видел ее, хотелось сказать: «Пожелайте — я угадаю; прикажите— я исполню. Если я погибну мучительной смертью и это доставит вам хоть один счастливый день, возьмите мою жизнь: я буду улыбаться, как улыбались мученики на костре, ибо принесу этот день в дар богу, как залог, священный для отца, который благодарен за радость, доставленную его ребенку!» Многие женщины умело носят маску и путем искусственных ухищрений достигают очарования, подобно очарованию графини; но у нее все порождалось пленительной естественностью, и эта неподражаемая простота доходила до сердца. Я говорю так подробно потому, что дальше речь пойдет исключительно о ее душе, мыслях, сокровищах ее сердца; и тогда вы уже не упрекнете меня в том, что я не набросал вам ее портрета. Глядя на нее, я чуть было не забыл своей роли помешанного, грубого и нелюбезного человека.

— Мне сказали, сударыня, что вы любите цветы.

— Я цветочница по ремеслу, сударь,— отвечала она.— Я выращиваю цветы, и я же их воспроизвожу, подобно матери-художнице, которая с удовольствием пишет портреты своих детей. Нет надобности говорить, что я бедна и не в состоянии уплатить за услугу, о которой хочу просить вас.

— Погодите,— прервал я ее с важным видом судьи.— Каким же образом такая изысканная на вид особа, как вы, дошла до такого положения? Или у вас, как и у меня, есть причины занимать работой руки, чтобы не давать думать голове?

— Не будем уклоняться от стены,— ответила она, улыбаясь.

— Но мы как раз у самого ее подножия,— возразил я.— Разве я не должен знать, с чьими страданиями надо больше считаться или, если хотите, какая из наших с вами маний должна уступить другой?.. Боже, какой чудесный куст нарциссов! Они свежи, как это утро!..

Могу вас уверить, что она вырастила богатейшее собрание цветов и декоративных кустарников, настоящий музей, куда проникало одно лишь солнце; ее сад, созданный с художественным чутьем, привел бы в восхищение самого бесчувственного человека. Море цветов, рассаженных с искусством садовника или разбитых на

клумбы, производило пленительное впечатление. Этот тихий, уединенный цветник источал благостные ароматы и внушал успокоительные мысли, грезы, полные очарования и томной неги. На всем чувствовался неизъяснимый отпечаток, который оставляет на вещах подлинный характер человека, когда ничто не заставляет его лицемерить, подчиняясь требованиям света. Я смотрел поочередно то на куст нарциссов, то на графиню и, не выходя из роли, прикидывался более очарованным цветами, чем ею.

— Я вижу, вы очень любите цветы! — сказала она.

— Это единственные создания, которые нас не обманывают,— ответил я,— только они достойны нашей привязанности и забот.

И тут я произнес такую страстную речь, проводя параллель между растениями и людьми, что мы очутились за тысячу верст от темы стены, разделяющей наши участки, а графиня, вероятно, сочла меня человеком больным, страдающим, достойным жалости. Тем не менее через полчаса соседка моя незаметно заставила меня вернуться к вопросу о стене, ведь женщины, когда они не влюблены, обладают хладнокровием старого стряпчего.

— Если оставить низкую изгородь,— заявил я,— вы откроете все секреты садоводства, которые я хочу утаить. Я стараюсь вырастить голубой георгин, голубую розу; я помешан на голубых оттенках. Ведь голубое — любимый цвет избранных душ. Сейчас мы оба не дома; если хотите, можно устроить в стене маленькую решетчатую калитку, которая соединит наши сады... Вы любите цветы, вы приходили бы смотреть на мой цветник, а я смотрел бы на ваш. Вы никого не принимаете, да и меня навещает только мой дядя, священник.

— Нет,— возразила она,— я никому не хочу давать права входить ко мне в сад или в дом в любое время. Вы всегда будете желанным гостем, потому что вы сосед, с которым я хочу жить в добрых отношениях; но я слишком дорожу одиночеством, чтобы связывать себя какой-либо зависимостью.

— Как вам угодно! — сказал я.

И одним прыжком перескочил через изгородь.

— Зачем нужны калитки? — крикнул я графине со

своего участка, кривляясь и гримасничая, как помешанный.

Две недели я притворялся, будто и думать забыл о своей соседке. Однажды вечером, в конце мая, случилось, так, что, медленно прогуливаясь вдоль изгороди, мы оказались рядом. Когда мы дошли до поворота, нам поневоле пришлось из вежливости обменяться несколькими фразами; увидев, как я печален, задумчив, удручен, Онорина ласково заговорила со мной, и голос ее, произносивший слова утешения и надежды, напоминал звуки песен, которыми кормилицы убаюкивают детей. Тогда я перескочил через изгородь и во второй раз очутился рядом с нею. Графиня повела меня в дом, надеясь рассеять мою тоску. Итак, я проник наконец в святилище, где все гармонировало с этой женщиной, которую я попытался вам описать.

Там господствовала изысканная простота. Внутри флигель был настоящей бонбоньеркой, созданной искусством XVIII века для изящных кутежей знатного вельможи. Столовая, находившаяся в нижнем этаже, была украшена фресками в виде цветочных гирлянд, исполненных с тонким мастерством. Вдоль лестницы тянулась очаровательная роспись. Стены маленькой гостиной, расположенной напротив столовой, выцвели, но графиня завесила их причудливыми вышивками со старинных ширм. К гостиной примыкала ванная. Наверху помещалась только спальня с туалетной комнатой и библиотека, превращенная в мастерскую. Кухня была скрыта в подвале; во флигель вело крыльцо с лесенкой в несколько ступенек. Балюстрада и лепные гирлянды цветов в стиле помпадур совершенно скрывали кровлю, виднелись только свисающие желоба. В этом домике вы чувствовали себя за сто миль от Парижа. Если бы не горькая усмешка, игравшая порою на прекрасных алых губах этой бледной женщины, можно было бы поверить, что Онорина вполне счастлива в своем уединенном уголке, среди разросшихся цветов. За несколько дней я добился ее дружеского доверия благодаря близкому соседству; графиня была убеждена в моем полнейшем равнодушии к женщинам. Один взгляд мог бы выдать все, и ни разу в глазах моих не отразилась ни одна мысль о ней! Онорина относилась ко мне, как к старо-

му другу. В ее обращении со мной сквозило сострадание. В ее взглядах, голосе, задушевной беседе не было ни тени кокетства, которое женщина самых строгих правил, вероятно, разрешила бы себе на ее месте. Вскоре я получил право входить в уютную мастерскую, где она изготовляла цветы, убежище, заполненное книгами и безделушками, убранное, точно будуар, в котором изящество скрашивало грубую простоту рабочих инструментов цветочницы. За эти годы графиня сумела придать поэтичность тому, что является антиподом поэзии,— ремеслу. Пожалуй, из всех работ, доступных женщинам, выделка искусственных цветов есть именно та работа, которая дает им возможность проявить свое очарование. Женщина, работающая над разрисовкой вееров, принуждена сидеть, согнувшись над столом, и с напряженным вниманием отдаваться своему делу. Вышивание по канве, если заниматься им всерьез, ради куска хлеба, как это делают мастерицы-вышивальщицы, вызывает легочные заболевания или искривление позвоночника Самым же мучительным ремеслом является гравирование нот, ибо оно кропотливо и к нему надо прилагать много старания и умения. Шитьем, рукодели-
ем можно заработать не больше тридцати су в день. Но изготовление искусственных цветов и модных украшений требует легких, проворных движений, вкуса, изобретательности, и тут хорошенькая женщина как бы не покидает своей сферы; она остается самой собою, она может болтать, смеяться, петь или мечтать. В том, как графиня располагала на длинном еловом столе несметное множество цветных лепестков, составляя из них задуманные ею цветы, было настоящее искусство. Белые фарфоровые чашечки с красками были всегда чисты и расставлены таким образом, чтобы глаз сразу мог отыскать нужный тон в гамме цветов. Так художница экономила время. В хорошенькой венецианской шифоньерке черного дерева, инкрустированной слоновой костью, со множеством ящичков, хранились стальные трафареты, которыми она набивала узоры на листьях и лепестках. Великолепная японская ваза всегда была наполнена свежим клеем; Онорина приладила к ней крышку на шарнире, таком легком и подвижном, что без труда откидывала ее кончиком пальца. Проволока и медные

струны лежали под рукой, в ящике рабочего стола. Перед ее глазами в бокале венецианского стекла распускалась на стебле чашечка благоуханного цветка — живая модель, с которой она пыталась соперничать. Она страстно желала достигнуть совершенства и бралась за самые трудные задачи: создавала грозди, веточки, тончайшие венчики и лепестки самых прихотливых оттенков. Руки ее, легкие и быстрые, летали от стола к цветку, точно руки виртуоза по клавишам фортепьяно. Ее пальцы казались феями, по выражению Перро,— столько силы и ловкости открывалось в их грациозных и проворных движениях при скручивании, аппликации, надавливании, с таким исключительным чутьем каждое движение соразмерялось с целью, которую надо было достигнуть. Я без устали любовался тем, как искусно она лепила цветок, разложив его составные части перед собою, как расправляла его, сгибала стебельки и прикрепляла листья. В своих смелых дерзаниях она проявляла настоящий талант художника, она в совершенстве воспроизводила поблекшие лепестки, пожелтевшие листья и даже полевые цветы, такие бесхитростные и такие сложные в своей простоте.

— Это искусство у нас еще не развито,— говорила она мне.— Если бы парижанки, украшая голову цветами, обладали хоть долей того таланта, какой развивает у восточных женщин заточение в гареме, они бы создали богатый язык цветов. Смотрите, вчера для самой себя я смастерила поблекшие цветы с листьями окраски флорентийской бронзы,— они встречаются поздней осенью и ранней весной... Разве не поэтичен был бы такой венок на голове женщины, разочарованной в жизни или терзаемой тайной печалью? Сколько смысла могла бы придать женщина своим головным уборам! Разве нельзя подобрать яркого венка для опьяненной вакханки, бледных цветов для угрюмой святоши, печальных цветов для тоскующих женщин? Язык растений может выразить, как мне кажется, все оттенки чувства, все, даже самые тонкие душевные переживания!

Она поручала мне расправлять лепестки, вырезывать бумагу, приготовлять железную проволоку для стебельков. Моя мнимая жажда рассеяться помогла мне сделать быстрые успехи. За работой мы беседовали. Ко-

гда мне нечего было делать, я читал ей вслух новые книжки, не упуская из виду своей роли, и разыгрывал человека усталого от жизни, истомленного страданиями, угрюмого, недоверчивого, язвительного. Она ласково подшучивала надо мной, над моим внешним сходством с Байроном, говоря, что мне не хватает только хромоты. Мы согласились на том, что ее горести, о которых ей угодно было хранить молчание, затмевали мои, хотя причины моей мизантропии были бы уже вполне достаточны для Юнга и Иова. Не стану говорить, как я мучился от стыда, стараясь разжалобить эту обворожительную женщину фальшивыми сердечными ранами, точно нищий на улице — поддельными язвами. Скоро я понял всю глубину своей преданности графу, испытав всю низость ремесла шпиона. Знаки сочувствия, полученные мной в то время, могли бы утешить самого несчастного страдальца. Прелестная женщина, лишенная общества, жившая столько лет в одиночестве, никого не любившая, наделенная неистраченными сокровищами дружбы и привязанности, принесла их мне с детской горячностью, с таким состраданием, что повеса, который вздумал бы влюбиться в нее, был бы совершенно обескуражен, ибо — увы! — в ней говорило только милосердие, только участие. Ее отречение от любви, ее отвращение к тому, что называют семейным счастьем, проявлялось столь же бурно, как и наивно. Те счастливые дни доказали мне, что женщины в дружбе неизмеримо выше, чем в любви. Прежде чем позволить ей вырвать у меня признания в моих несчастьях, я долго ломался, как ломаются девицы, когда их упрашивают сесть за фортепьяно,— они сознают, какая за этим воспоследует скука. Как вы сами угадываете, графине пришлось пойти на более тесные дружеские отношения, чтобы побороть мое упорное молчание; но ей казалось, что она нашла единомышленника, питающего ненависть к любви, и она была рада случаю, пославшему к ней на необитаемый остров нечто вроде Пятницы. Должно быть, одиночество начинало уже тяготить ее. Но в ней не замечалось ни тени женского кокетства, никакого желания покорять и пленять; Онорина, по ее словам, вспоминала, что у нее есть сердце, лишь в том идеальном мире, куда она укрылась. Невольно я сравнивал две эти жиз-

ни: жизнь графа — полную деятельности, движения, душевных волнений, и жизнь графини — образец пассивности, бездеятельности, неподвижности. И женщина и мужчина были послушны своей природе. Моя мнимая мизантропия давала мне право на циничные выпады против мужчин и женщин, и я позволял себе грубые сарказмы, надеясь вызвать Онорину на путь признаний; но она не попадалась ни в одну ловушку, и я начинал постигать, в чем заключается ее «ослиное упрямство», гораздо более свойственное женщинам, чем обычно полагают.

— Жители Востока совершенно правы, что держат женщин взаперти и смотрят на них просто как на орудие наслаждения,— сказал я ей однажды вечером.— Европа жестоко наказана за то, что допустила женщину в общество и приняла ее туда на равных началах. По-моему, женщина — самое коварное, подлое, хитрое существо на свете. Отсюда, кстати сказать, и проистекает все их очарование: разве интересно охотиться за ручным животным? Если женщина внушила страсть мужчине, она священна для него навеки; в его глазах она наделена неотъемлемыми совершенствами. Благодарность мужчины за прошлое счастье длится до самой смерти. Если он встречает свою прежнюю любовницу, пусть состарившуюся или недостойную его, она всегда сохраняет права на его сердце; а для вашей женской породы человек, которого вы разлюбили, не существует; более того, вы не можете простить ему такого страшного греха, что он еще продолжает жить! Вы не смеете признаться в этом, но всех вас тревожит затаенная мысль, которую людская клевета или легенда приписывает даме из Нельской башни: «Как жаль, что нельзя питаться любовью, как питаются фруктами! Хорошо бы, чтобы от ужина оставалось только одно: чувство наслаждения!..»

— Господь, вероятно, приберег это идеальное счастье для рая! — заметила она.— Однако хоть ваши доводы и кажутся вам остроумными, вся беда в том, что они ошибочны. Где вы встречали женщин, которые любили много раз? — спросила она, глядя на меня, как пресвятая дева на картине Энгра смотрит на Людовика XIII, вручая ему корону.

— Вы просто комедиантка,— ответил я.— Вы сейчас бросили на меня взгляд, который сделал бы честь любой актрисе. Ну, а вы, например, такая красивая женщина, вы ведь, конечно, любили; значит, вы забывчивы.

— Что говорить обо мне,— отвечала она со смехом, уклоняясь от вопроса,— я не женщина, я старуха-монахиня, мне семьдесят два года.

— Тогда как же вы смеете своевольно утверждать, что ваши страдания глубже моих? Все несчастья женщин сводятся к одному: они считают горем лишь разочарование в любви.

Она кротко взглянула на меня и поступила, как все женщины, когда в споре их припирают к стене или когда они видят, что неправы, но все-таки упорствуют в своем мнении; она сказала:

— Я монахиня, а вы говорите мне о свете, где больше ноги моей не будет.

— Даже в мечтах? — спросил я.

— Разве свет достоин сожалений? — возразила она.— О, когда я даю волю мечтам, то они уносятся выше... Ангел совершенства, прекрасный Гавриил, поет порою в моей душе. Будь я богата, я работала бы не меньше, чтобы не улетать так часто на радужных крылах ангела и не блуждать в царстве фантазии. Бывают минуты созерцания, которые губят нас, женщин. Миром и спокойствием я обязана только цветам, хотя мне не всегда удается сосредоточить на них внимание. Иной раз душа моя переполняется непонятным ожиданием: я не могу отогнать одной странной мысли, она преследует меня, и пальцы мои цепенеют. Мне чудится, что должно произойти какое-то важное событие, что жизнь моя изменится; я прислушиваюсь к смутным голосам, вглядываюсь в темноту, я теряю вкус к работе и лишь с бесконечными усилиями возвращаюсь к действительности... к обыденной жизни. Не предчувствие ли это, посланное небом? Вот о чем я спрашиваю себя...

После трех месяцев борьбы между двумя дипломатами, скрытыми под личиной меланхоличного юноши и разочарованной женщины, неуязвимой в своем отвращении к жизни, я объявил графу, что заставить черепаху выйти из ее панциря невозможно, что придется

разбить броню. Накануне во время дружеского спора графиня воскликнула:

— Лукреция кинжалом и кровью начертала первое слово женской хартии: *Свобода!*

С этой минуты граф предоставил мне полную свободу действий.

— Я продала на сто франков цветов и шляпок, сработанных за эту неделю! — радостно объявила Онорина в субботу вечером, когда я пришел навестить ее. Она приняла меня в маленькой гостиной нижнего этажа, где мнимый домовладелец подновил всю позолоту.

Было десять часов вечера, июльского вечера; лунные лучи, пронизывая сумрак, заливали комнату неясным сиянием. Волны сладостных ароматов ласкали душу; в руке графини позвякивали пять золотых монет, полученных ею от подставного торговца модными украшениями, другого соучастника Октава, которого подыскал ему один судейский, господин Попино.

— Зарабатывать на жизнь шутя,— говорила она,— быть свободной, когда мужчины, вооружась законами, стремятся обратить нас в рабынь! Каждую субботу я чувствую прилив гордости. Право, я люблю золотые монеты Годиссара не меньше, чем лорд Байрон, ваш двойник, любил золото Мэррея.

— Это вовсе не женское дело,— возразил я.

— Да разве я женщина? Я — молодой человек, одаренный чувствительной душой, вот и все; молодой человек, которого не может взволновать ни одна женщина...

— Ваша жизнь — это отрицание всего вашего существа,— отвечал я.— Как! Вы, на кого бог потратил лучшие сокровища любви и красоты, неужели вы никогда не мечтаете?..

— О чем? — проговорила она, несколько встревоженная этой фразой, впервые изобличавшей мою роль.

— О прелестном кудрявом ребенке, который играл бы среди этих цветов как истинный цветок жизни и любви и звал бы вас: «Мама!..»

Я ожидал ответа. Слишком долгое молчание в сгустившихся сумерках заставило меня понять, какое ужасное действие произвели мои слова. Графиня склонилась на диван, почти без сознания, вся похолодев от

нервного удушья, первый легкий приступ которого вызвал у нее, как она говорила позднее, такое ощущение, словно ее отравили. Я позвал тетушку Гобен, та прибежала и увела свою хозяйку, уложила на постель, расшнуровала, раздела и вернула ее если не к жизни, то к ужасным страданиям. Я ходил взад и вперед по аллее, огибавшей флигель, и рыдал, сомневаясь в благополучном исходе. Я чуть было не решил отказаться от роли птицелова, так необдуманно взятой на себя. Тетушка Гобен, спустившись в сад и увидев, что я весь в слезах, поспешила к графине.

— Сударыня, что случилось? Господин Морис плачет горючими слезами, точно малый ребенок.

Обеспокоенная тем неблаговидным впечатлением, какое могла произвести эта сцена, Онорина собрала все силы, накинула пеньюар, спустилась в гостиную и подошла ко мне.

— Вы вовсе не виноваты в этом припадке,— сказала она,— у меня бывает иногда что-то вроде сердечных спазм...

— Вы хотите утаить от меня свое горе? — воскликнул я, отирая слезы, с непритворным волнением в голосе.— Разве вы не ясно сказали мне сейчас, что были матерью, что вас постигло несчастье — утрата ребенка?

— Мари! — неожиданно крикнула она и позвонила.

Тетка Гобен явилась на зов.

— Огня и чаю,— приказала она с хладнокровием английской леди, вымуштрованной воспитанием и закованной в броню высокомерия.

Когда тетушка Гобен зажгла свечи и затворила ставни, графиня обратила ко мне непроницаемое лицо; неукротимая гордость и суровость нелюдимки уже вновь обрели над ней власть; она сказала:

— Знаете, за что я так люблю лорда Байрона?.. Он страдал молча, как страдают звери. К чему жалобы, если только это не элегия Манфреда, не горькая насмешка Дон-Жуана, не задумчивость Чайльд-Гарольда? Обо мне никто ничего не узнает!.. Мое сердце — поэма, я посвящу ее одному богу!

— Если бы я только захотел...—сказал я.

— Если бы? — повторила она.

— Меня ничто не интересует,— ответил я,— я не любопытен, но стоит мне захотеть, и я завтра же узнаю все ваши тайны.

— Попытайтесь, я разрешаю! — воскликнула она с плохо скрытой тревогой.

— Вы говорите серьезно?

— Разумеется,— сказала она, кивнув головой.— Я должна знать, возможно ли такое преступление.

— Прежде всего, сударыня,— отвечал я, указывая на ее руки,— разве эти изящные пальцы, непохожие на пальцы модистки, созданы для работы? Затем, вы называете себя госпожой Гобен, а между тем на днях, получив при мне письмо, вы сказали: «Мари, это тебе!» Мари и есть настоящая госпожа Гобен. Значит, вы скрываетесь под именем вашей домоправительницы. Сударыня! Меня вам нечего опасаться, я самый преданный друг, какого вы когда-либо встретите... Именно друг, понимаете? Я придаю этому слову его священный и трогательный смысл, столь опошленный во Франции, где словом «друг» мы часто называем врагов; этот искренний друг готов защитить вас и желает вам всяческого счастья, какого только достойна женщина, подобная вам. Как знать, не поступил ли я сознательно, невольно причинив вам боль.

— Хорошо,— сказала она, и в голосе ее звучал вызов.— Дайте волю своему любопытству и сообщите мне все, что вам удастся разузнать про меня. Я требую этого. Но...— добавила она, погрозив пальцем,— вы скажете мне также, откуда вы получите эти сведения. То скромное счастье, которым я наслаждаюсь здесь, зависит от успеха ваших попыток.

— Вы хотите сказать, что тотчас убежите отсюда...

— Немедленно! — воскликнула она.— И на край света!..

— Но вы везде окажетесь беззащитной против грубых страстей,— возразил я, перебивая ее.— Разве красоте и таланту не свойственно блистать, привлекать взоры, возбуждать вожделения и ярость? Париж — это пустыня, только без бедуинов; Париж — единственное место в мире, где можно скрыться, когда приходится жить своим трудом. Чего вы опасаетесь? Кто я такой? Просто ваш новый слуга, я дядя Гобен, вот и все. Если

вам предстоит поединок, вам может пригодиться секундант.

— Все равно, узнайте, кто я такая. Я уже сказала: я требую, а теперь я прошу вас об этом,— продолжала она с тем неотразимым очарованием, каким вы, женщины, так хорошо умеете пользоваться,— добавил консул, кинув взгляд в сторону дам.

— Ну, так завтра в этот же час я скажу вам все, что мне удастся открыть,— отвечал я.— А вы меня не возненавидите? Неужели вы поступите, как другие женщины?

— А как поступают другие женщины?

— Они требуют от нас непосильных жертв, а когда мы все исполним, они начинают упрекать нас, как будто мы нанесли им оскорбление.

— Женщины правы, если их просьба показалась вам непосильной жертвой...— возразила она лукаво.

— Замените слово «жертва» словом «усилие», и тогда...

— Тогда это будет дерзость,— докончила она.

— Извините меня,— сказал я,— я и забыл, что женщина и папа непогрешимы.

— Боже мой! — молвила она после долгого молчания.— Неужели одно лишь слово может нарушить покой, купленный такой дорогой ценою, покой, которым я наслаждаюсь украдкой, как вор?

Она поднялась, заломив руки, и продолжала, не обращая на меня внимания:

— Куда идти? Что делать?.. Неужели придется покинуть это мирное убежище, где я надеялась провести остаток дней своих?

— Провести здесь остаток дней! — воскликнул я с нескрываемым ужасом.— Разве вы никогда не думали, что со временем у вас не будет сил работать, или что цены на цветы понизятся из-за конкуренции?..

— Я уже скопила тысячу экю,— сказала она.

— Боже мой! О каких лишениях говорит эта сумма! — воскликнул я.

— До завтра,— сказала она.— Оставьте меня! Нынче вечером я сама не своя, я хочу побыть в одиночестве. Мне надо собраться с силами на случай несчастья. Ведь если вы что-то знаете да еще услышите от других, тогда...

Прощайте,— прибавила она резко, с повелительным жестом.

— Назавтра бой,— ответил я, улыбаясь с беззаботным видом, который старался сохранять во время этой сцены.

И, шагая по длинной аллее, я повторял:

— Назавтра бой!

Граф, с которым я, как обычно, встретился поздним вечером на бульваре, тоже воскликнул:

— Назавтра бой!

Тревога Октава не уступала тревоге Онорины. Мы с графом до двух часов ночи прогуливались вдоль рвов Бастилии, словно два генерала накануне сражения, которые взвешивают все возможности, изучают условия местности и приходят к выводу, что во время битвы победа зависит от случайной удачи. Обоим этим существам, разлученным судьбою, предстояла бессонная ночь; один жаждал, другой страшился встречи. Жизненные трагедии зависят не от обстоятельств, а от чувств, они разыгрываются в сердцах или, если хотите, в том необъятном мире, который мы можем назвать миром духовным. Октав и Онорина жили и действовали исключительно в этой сфере, доступной лишь возвышенным натурам.

Я был точен. Ровно в десять часов вечера меня впервые допустили в очаровательную спальню, белую с голубым, гнездышко раненой голубки. Онорина взглянула на меня, хотела заговорить и замерла, пораженная моим почтительным видом.

— Графиня! — произнес я, сдержанно улыбаясь.

Несчастная женщина, приподнявшись было, вновь упала в кресло и поникла в страдальческой позе, достойной кисти великого художника.

— Вы замужем,— продолжал я,— за самым благородным, самым достойным из людей. Все считают его человеком великодушным, но никто не знает, до какой степени он самоотвержен по отношению к вам. Вы оба — сильные характеры. Где вы находитесь, по-вашему?

— У себя дома,— отвечала она, пристально глядя на меня широко раскрытыми глазами.

— У графа Октава! — возразил я.— Нас с вами разыграли. Судейский писец Ленорман вовсе не владе-

лец этого дома, а подставное лицо, посредник вашего мужа. Безмятежный покой, которым вы наслаждаетесь здесь, создан графом, заработанные вами деньги исходят от графа, он заботится о всех мелочах вашей жизни. Муж уберег вас от злословия света, придумав правдоподобное объяснение вашему отсутствию: по его словам, вы отплыли в Гавану на корабле *«Цецилия»*, чтобы получить наследство от старой тетки, и граф повсюду высказывает надежду, что вам удалось спастись при кораблекрушении; вы якобы отправились туда в сопровождении двух его родственниц и старого управляющего. Ваш супруг рассказывает, что разослал людей искать вас и получил от них благоприятные сообщения... Он принимает столько же предосторожностей, чтобы скрыть вас от людских взоров, как и вы сами... Наконец он повинуется вашей воле...

— Довольно,— перебила она.— Я ничего больше не хочу знать, кроме одного: кто сообщил вам эти сведения?

— Ах, боже мой, сударыня, мой дядя устроил одного бедного юношу секретарем к полицейскому комиссару вашего квартала. Этот молодой человек мне все рассказал. Если вы тайно покинете этот флигель сегодня ночью, ваш муж узнает, куда вы направитесь, и вам нигде не укрыться от его покровительства. Как вы, такая умная женщина, могли поверить, что торговцы платят мастерицам за цветы и чепчики такую же дорогую цену, как в магазинах? Назначьте тысячу экю за букет, и вы их получите! Ни одна нежная мать не была так изобретательна в заботах о ребенке, как ваш муж в заботах о вас. Я узнал от привратника, что бедный граф часто приходит сюда по ночам, когда все спят, чтобы постоять под окнами и взглянуть издали на огонек вашей лампады! Ваша кашемировая шаль стоит шесть тысяч франков... Перекупщица продает вам не старье, а новенькие изделия лучших фабрик... Одним словом, вы здесь точно Венера, опутанная сетью Вулкана, только вы пойманы в сеть одна, вы в плену у великодушного человека, который самоотверженно заботится о вас целых семь лет.

Графиня трепетала, как пойманная ласточка, зажатая в кулаке, которая вытягивает шейку и с ужасом ози-

рается вокруг, ее трясла нервная дрожь, и она недоверчиво смотрела на меня. Ее сухие глаза блестели жгучим огнем. Но она была женщиной... пришла минута, и потекли слезы, она расплакалась, не потому что была растрогана,— нет, она рыдала от бессильного гнева, от отчаяния. До сих пор она считала себя независимой и свободной, брачные узы тяготили ее, как стены тюрьмы.

— Я уйду...— лепетала она сквозь слезы.— Он сам меня заставляет... Я уйду туда, куда уж никто не последует за мной.

— Вот как! — воскликнул я.— Вы хотите покончить с собой?.. Сударыня, у вас, наверное, есть веские причины не возвращаться к графу Октаву?

— О, еще бы!

— Так откройте их мне, откройте их моему дяде; в нас вы найдете двух преданных советчиков. Если в исповедальне мой дядя — священник, то в миру он просто добрый старик. Мы вас выслушаем, мы попытаемся разрешить ваши сомнения, и если вы жертва обмана или рокового недоразумения, нам, быть может, удастся его распутать. Вы кажетесь мне чистой и безупречной, но если вы и совершили какой-нибудь проступок, вы давно искупили его... Вспомните наконец, что во мне вы приобрели самого искреннего друга. Если вы пожелаете избавиться от тирании графа, я найду способ вам помочь, он никогда вас не разыщет.

— О, ведь есть еще монастыри,— сказала она.

— Верно. Но граф стал министром, и если он воспрепятствует этому, ни один монастырь на свете не примет вас. Однако, как бы могуществен он ни был, я спасу вас от него... если только... вы докажете мне, что не можете, не должны возвращаться к нему. О, не бойтесь, что, скрывшись от графа, вы попадете под мою власть! — продолжал я, увидев ее недоверчивый взгляд, полный гнева и высокомерия.— Вы будете наслаждаться покоем, одиночеством и независимостью; словом, вы будете так же свободны и так же уважаемы, как будто вы злая и безобразная старая дева. Я сам никогда не увижу вас без вашего согласия.

— Но как вы спасете меня? Каким способом?

— Это моя тайна, сударыня. Я не обманываю вас,

будьте уверены. Докажите мне, что уединение — единственный выход для вас, что одиночество вы предпочитаете жизни супруги Октава, богатой, всеми почитаемой графини, владелицы одного из красивейших особняков Парижа, обожаемой жены, счастливой матери... и я обещаю вам выиграть дело.

— Неужели же нет на свете человека, который бы понял меня? — прошептала она.

— Нет,— ответил я.— Поэтому я призвал религию, чтобы рассудить нас. Мой дядя — семидесятипятилетний старик, святой человек. Он не великий инквизитор, а скорее святой Иоанн; но для вас он станет Фенелоном, тем, кто говорил герцогу Бургундскому: «Ешьте говядину по пятницам, ешьте на здоровье, но будьте христианином, ваша светлость!»

— Полноте, сударь, монастырь — мое последнее прибежище и последняя обитель. Только бог в состоянии понять меня. Ни одного человека, будь то хоть святой Августин, самый милостивый из отцов церкви, я не пущу в тайники своей совести, столь же неприступные, как круги Дантова ада. Я отдала свою любовь не мужу, а другому, хоть и не достоин он был этого дара! Он не оценил, не принял моей любви; я подарила ему сердце, как мать дарит ребенку прекрасную игрушку, и он шутя разбил его. Я не способна любить дважды. В иных душах любовь не может потускнеть: либо она существует, либо нет. Зарождается ли она, или разрастается, она заполняет всю душу. Так знайте, те восемнадцать месяцев, что я прожила с ним, значили для меня больше, чем восемнадцать лет жизни, я вложила в эту любовь все силы души; они не истрачены, они вконец истощены той обманчивой близостью, при которой я одна была искренна. Кубок счастья для меня не исчерпан и не пуст, его уже нельзя наполнить, ибо он разбит. Я не в состоянии бороться, я обезоружена. После того, как я отдалась всем существом, что я такое? Объедки пира. Мне дано только одно имя — Онорина и только одно сердце. Мой муж обладал девушкой, недостойный любовник обладал женщиной, что же осталось от меня? Позволить любить себя? — вот что вы хотите мне сказать. Нет, я еще сохранила гордость, я не могу вынести мысли, что стану проституткой! Да, я прозрела при свете пожара;

и знаете что... Может быть, я еще согласилась бы уступить любви другого; но любви Октава... О, никогда!

— Значит, вы любите его,— сказал я.

— Я его уважаю, ценю, почитаю, он не причинил мне ни малейшего зла; он добр, великодушен, но я больше не могу его любить... Впрочем,— прервала она себя,— не будем говорить об этом. В споре все умаляется. Я напишу вам о своих мыслях, а сейчас не могу их выразить, они душат меня, меня лихорадит, я стою на пожарище, на развалинах своей обители. Все, что я вижу вокруг, все вот эти вещи, добытые, как мне казалось, моим трудом, напоминают мне то, о чем я хотела забыть. Ах! Надо бежать отсюда, как я бежала из дома Октава.

— Куда же? — спросил я.— Разве женщина может существовать без покровителя? Неужели в тридцать лет, во всем блеске красоты, в расцвете сил, о которых вы и не подозреваете, переполненная любовью, готовой излиться,— вы удалитесь в пустыню, куда я мог бы вас укрыть?.. Живите с миром. Граф за пять лет ни разу не явился сюда, он никогда не проникнет к вам без вашего согласия. Самоотверженность его за эти девять лет должна служить порукой вашего спокойствия. Вы можете в полной безопасности обсудить ваше будущее со мною и моим дядей. Дядя не менее влиятелен, чем любой министр. Успокойтесь же, не усугубляйте своих страданий. Священник, голова которого поседела в служении богу, не ребенок; он вас поймет, вот уже скоро полвека люди поверяют ему свои горести, он взвешивает в руке столь тяжкое бремя, как сердца королей и принцев. Если он суров в церковном облачении, под сводами храма, то среди ваших цветов он будет таким же кротким, как они, и милостивым, как его божественный учитель.

Я расстался с графиней в полночь и оставил ее с виду спокойной, но мрачной и задумчивой, полной тайных замыслов, которые никакая проницательность не могла бы разгадать. Пройдя несколько шагов по улице Сен-Мор, я встретил графа — он покинул обычное, условленное место на бульваре, его влекла навстречу мне неудержимая сила.

— Какую ужасную ночь проведет бедняжка! — вос-

кликнул он, когда я закончил рассказ о происшедшей сцене.— А что, если бы я пошел сейчас к ней, если бы она вдруг увидела меня?

— Она может броситься из окошка,— ответил я.— Графиня подобна Лукреции, она не переживет насилия, даже от человека, которому отдалась бы по своей воле.

— Вы еще молоды,— возразил он.— Вы не знаете, что, когда душа потрясена жестокой внутренней борьбой, воля непостоянна, как воды озера во время бури, ветер меняется ежеминутно, и волны устремляются то к одному берегу, то к другому. Возможно, что этой ночью Онорина, увидев меня, упадет в мои объятия, возможно, что она выбросится из окна.

— И вы согласились бы на такой риск? — спросил я.

— Пойдемте,— отвечал он.— Дома, в ожидании завтрашнего вечера, я приму дозу опиума, которую прописал мне Деплен, чтобы спасти от бессонницы!

На другой день в полдень тетушка Гобен принесла мне письмо, сообщив, что графиня, изнуренная усталостью, легла в шесть часов утра и благодаря лекарству, приготовленному аптекарем, крепко спит.

Вот это письмо, я сохранил с него копию. Вам известны, сударыня,— сказал консул, обращаясь к мадемуазель де Туш,— вам хорошо известны средства, доступные писательскому искусству ухищрения стиля и измышления многих сочинителей, не лишенных таланта, но вам придется признать, что из недр литературы не мог бы возникнуть такой документ! Нет ничего страшнее правды. Вот что писала эта женщина, или, вернее, воплощенное страдание:

«Господин Морис,
я заранее предвижу все, что мне сказал бы ваш дядя; он знает не больше, чем моя совесть. Совесть в человеке — это голос бога. Я знаю, что буду осуждена, если не примирюсь с Октавом: таков приговор религии. Гражданский закон призывает меня повиноваться, повиноваться во что бы то ни стало. Раз мой муж не отверг меня — свет признает меня чистой и добродетельной, что̀ бы я ни совершила. Да, брак велик тем, что общество утверждает прощение, дарованное мужем; но об-

щество забывает, что не всегда грешница хочет принять прощение. По закону, по религии, по мнению света — я обязана вернуться к Октаву. Согласно общечеловеческой морали, жестоко с моей стороны отказывать ему в счастье, лишать его детей, вычеркивать его род из золотой книги пэров. Мои страдания, сомнения, чувства, весь мой эгоизм (ибо я эгоистична) должны быть принесены в жертву семье. Я стану матерью, ласки детей осушат мои слезы! Меня ждет полное благополучие, всеобщее уважение; гордая, блистательная, я буду разъезжать в великолепном экипаже! У меня вновь появятся слуги, особняк, богатство, я буду царицей праздненств столько раз, сколько недель в году. Свет примет меня прекрасно. Наконец мне не нужно взбираться на высоты патрицианского сословия,— я как будто и не спускалась с них. Итак, бог, закон, общество действуют в полном согласии. Против чего вы восстаете? —вопрошают меня с высоты неба, кафедры, трибунала, даже трона, чье властное вмешательство в случае надобности было бы испрошено графом. Ваш дядя даже возвестит мне о некоей небесной благодати, которая снизойдет на меня, о сладостном сознании исполненного долга. Бог, закон, свет, Октав — все требуют, чтобы я жила, не правда ли? Ну, так вот, даже если нет других препятствий, мой ответ разом разрешает все: я уйду из жизни! Я снова стану чистой и непорочной, когда буду покоиться в саване, украшенная безупречной бледностью смерти. Здесь нет и тени «ослиного упрямства», в котором вы шутя упрекали меня,— упрямство в женщине вызывается уверенностью, предвидением будущего. Если мой муж, из любви ко мне, готов все забыть, то я никогда не забуду прошлого. Разве забвение зависит от нас? Когда вдова выходит замуж, любовь превращает ее в юную девушку, она соединяется с любимым человеком; я же не могу любить графа. В этом все дело, поймите! Всякий раз, когда наши глаза встретятся, я вспомню о своей вине, даже если взор моего мужа будет полон любви. Безмерность его великодушия только подтвердит безмерность моей вины. Мой тревожный взгляд всегда будет читать в его взоре безмолвный приговор. Смутные воспоминания вечно будут бороться в моем сердце. Никогда мне не испытать в замужестве

мучительной отрады, гибельной горячки страсти; я истерзаю мужа своей холодностью, невольными сравнениями, утаенными в глубине совести, которые он все же угадает. И в тот день, когда в горькой складке на его лбу, в опечаленном взгляде, неуловимом жесте я прочту невольный, пусть даже подавленный, упрек,— ничто меня не удержит: я разобью себе голову о мостовую, и камни покажутся мне милосерднее моего мужа. Быть может, причиной этой ужасной и желанной смерти будет излишняя чувствительность. Я могу ошибиться, не поняв, что гнев или досада Октава вызваны какой-нибудь неудачей в делах, или обмануться несправедливым подозрениям. Увы! Может случиться, что доказательство любви я приму за доказательство презрения? Какая пытка для обоих! Октав всегда будет сомневаться во мне, я всегда буду сомневаться в нем. Я буду сравнивать его — совершенно невольно — с недостойным соперником, с человеком, которого я презираю, но который дал мне изведать наслаждения страсти; они словно выжжены огнем, я стыжусь их, но не могу забыть. Не довольно ли с вас этих признаний? Ничто, сударь, не убедит меня в том, что любовь может возродиться, ибо я не могу и не хочу принять ничьей любви. Обольщенная девушка подобна сорванному цветку; согрешившая женщина — это цветок затоптанный. Вы, любитель цветов, должны знать, что нельзя выпрямить стебель, оживить поблекшие краски, вернуть жизненные соки в эти хрупкие сосуды, когда растение сломано... Если какой-нибудь ботаник, пусть даже гений, взялся бы за такую задачу, разве сумел бы он расправить складки этой измятой ткани? Он создал бы новый цветок, он уподобился бы богу! Только бог мог бы меня воссоздать! Я пью горькую чашу искупления; но, осушая ее, я с ужасом повторяю: «Искупить не значит стереть». В своем одиночестве я ем хлеб, смоченный слезами; но никто не видит этого, никто не видит моих слез. Вернуться к Октаву — значит отказаться от слез, мои слезы оскорбили бы его. О сударь, сколько добродетелей надо попрать, чтобы — я не говорю отдаться,— нет, покориться обманутому мужу! Кто может их счесть? Только бог, он один — поверенный и судья мучительных сокровенных тайн, от которых побледнеют и ангелы. Послушайте, я

скажу больше. Женщина смело смотрит в глаза супругу, когда тот ничего не знает; она проявляет упорство и силу в лицемерии, она обманывает, чтобы дать счастье и мужу и любовнику. Но разве не унизительно, когда оба знают все? На страстные восторги я отвечу лишь покорностью. Октав примет мою уступчивость за развращенность. Брак основан на взаимном уважении, на обоюдных жертвах; но ни Октав, ни я, мы не сможем уважать друг друга на следующий день после сближения: я была бы обесчещена, увидев в его страсти старческую похоть, влечение к куртизанке, я постоянно мучилась бы стыдом от сознания, что я вещь, а не госпожа В его доме я буду олицетворением не добродетели, а сладострастия. Вот горькие плоды греха. Я сама создала себе брачное ложе, на котором мне суждено метаться, как на раскаленных угольях, ложе без сна. Здесь у меня бывают минуты покоя, минуты, когда я забываю обо всем, но в старом особняке все будет напоминать мне, что я запятнала свой подвенечный наряд. Когда я страдаю здесь, я благословляю свои страдания, я говорю богу: «Благодарю тебя!» А в доме Октава я буду мучиться страхом и раскаянием, вкушая радости, которых недостойна. Все это, сударь, не доводы рассудка,— это глубокая тревога души, опустошенной семилетними страданиями. И наконец смею ли я сделать вам последнее ужасное признание? Я все время ощущаю у своей груди ребенка, зачатого в опьянении восторга, в минуту беспредельного счастья, младенца, которого я семь месяцев выкармливала и которым буду беременна всю жизнь. Если мне придется кормить новых детей, они будут пить мои слезы, и молоко мое станет горьким. Я легкомысленна на вид, я кажусь вам ребенком... О да! У меня память ребенка, та память, которую человек обретает вновь на краю могилы. Вы видите сами,— в той прекрасной жизни, куда общество и любовь мужа хотят меня вернуть, всякое положение было бы ложным, всякий миг таил бы в себе западню, раскрывал бы передо мной бездны, куда я паду, израненная насмерть. Вот уже пять лет гляжу я в безрадостное будущее, не находя себе обители для покаяния, а душа моя действительно охвачена искренним раскаянием. На все это у религии найдутся ответы,

и я знаю их наизусть. Все муки мои, все страдания—это возмездие за грех, и господь даст мне силу перенести их. Такими доводами удовлетворятся иные благочестивые души, но мне недостает их твердости. Мой выбор сделан: ад, в котором бог дозволит мне благословлять его, я предпочитаю тому аду, какой ждет меня в доме Октава.

Еще одно последнее слово Если бы я была девушкой и обладала теперешним жизненным опытом, я вновь избрала бы Октава супругом, но в том-то и заключается причина моего отказа: я не хочу краснеть перед этим человеком. Как?! Я буду преклонять перед ним колени, а он будет стоять, высоко подняв голову! Если же мы обменяемся ролями, я сочту его достойным презрения. Я не потерплю снисхождения к моей вине. Ангела, который иногда бы проявлял резкость, вполне допустимую с обеих сторон, когда оба безупречны,— такого ангела не может быть на земле, он на небесах! Октав полон доброты, я знаю; но в его душе (как ни велико его благородство, он все же человек) я не нахожу залога нашей новой совместной жизни. Скажите же мне, где я могу обрести то уединение, тот мир, ту тишину,— друзей в непоправимом несчастье,— которые вы мне обещали?»

Я снял копию с ее письма, чтобы сохранить у себя— вот она,— и отправился на улицу Пайен. Тревога победила действие опиума. Октав, как безумный, метался по саду.

— Напишите ответ,— сказал я, подавая ему письмо его жены.— Попытайтесь успокоить целомудрие страдающей женщины. Это труднее, чем захватить врасплох невинность, которая отдается по неведению, из любопытства.

— Она моя!—воскликнул граф, и лицо его озарилось счастьем, когда он углубился в чтение.

Он знаком попросил меня оставить его одного, боясь моего испытующего взгляда. Я понял, что чрезмерная радость и чрезмерное горе подчиняются одним и тем же законам; и я пошел навстречу госпоже де Куртвиль и Амелии, которые обедали в этот день у графа.

Как ни очаровательна была мадемуазель де Курт-

виль, я почувствовал, увидев ее, что любовь многолика и что женщины, способные внушить нам истинную любовь, встречаются крайне редко. Невольно сравнивая Амелию с Ониной, я находил больше прелести в женщине, которая согрешила, чем в этой невинной девушке. Для Онорины верность была не просто обязанностью, но выстраданным сознанием долга; Амелия готова была с безмятежным видом произнести торжественные обеты, не понимая ни их значения, ни налагаемых ими обязательств Измученная, полумертвая женщина, грешница, жаждущая утешения, казалась мне неизъяснимо прекрасной; она возбуждала великодушие, свойственное человеку, она требовала от любящего всех сокровищ сердца, величайшего напряжения душевных сил, она наполняла жизнь, вносила в нее борьбу за счастье, между тем как Амелия, чистая и доверчивая, замкнулась бы в кругу семьи и материнства, где обыденное должно было заменить поэзию, где мне не пришлось бы ни бороться, ни добиваться победы

Разве юноша, делая выбор между тихими долинами Шампани и снежными Альпами, грозными, но величественными, мог бы избрать мирную и однообразную равнину? Нет, подобные сравнения на пороге мэрии вредны и гибельны. Увы, надо многое испытать в жизни, пока поймешь, что брак несовместим со страстью, что любовные бури не могут служить основой семьи. После трепетных мечтаний о несбыточной любви, фантастических видений, мучительных наслаждений любви идеальной я видел перед собой убогую действительность. Что вы хотите? Пожалейте меня! В двадцать пять лет я сомневался в самом себе. Но я принял мужественное решение. Я отправился к графу, чтобы сообщить ему о прибытии родственниц, и увидел, как он помолодел от возродившейся надежды.

— Что с вами, Морис? — спросил он, пораженный моим расстроенным видом.

— Граф...

— Как, вы больше не называете меня Октавом? Вы, кому я буду обязан жизнью и счастьем?

— Дорогой Октав, если вам удастся вернуть графиню к исполнению ее долга,— я хорошо изучил ее (он взглянул на меня так, как Отелло, вероятно, смотрел

на Яго, когда тому удалось заронить первое подозрение в душу мавра)... Она не должна больше встречаться со мной, не должна знать, что Морис был вашим секретарем. Никогда не произносите моего имени, пусть никто не напоминает ей обо мне, иначе все погибнет, вы назначили меня докладчиком дел в Государственном совете, так дайте мне лучше какой-нибудь дипломатический пост за границей, какое-нибудь консульство и проститесь с мыслью женить меня на Амелии. О, не тревожьтесь,— сказал я, заметив, что он вздрогнул,— я доведу свою роль до конца.

— Бедный друг мой,— вздохнул он, крепко пожав мне руку и сдерживая слезы, увлажнившие его глаза.

— Вы дали мне перчатки,— сказал я, смеясь,— но я не надел их, вот и все.

Тогда мы условились о том, как я должен держать себя с графиней; вечером мне предстояло встретиться с ней. Дело было в августе, день стоял знойный, надвигалась гроза; небо казалось багровым, цветы изливали удушливый аромат, парило, как в бане, и я невольно подумал, как было бы хорошо, если бы графиня уехала куда-нибудь в Индию. Но я увидел ее. Она сидела под деревом на деревянной садовой скамье со спинкой, ноги ее покоились на деревянной подставочке, и носки туфель чуть виднелись из-под оборки платья белого муслина с голубыми бантами; лицо ее обрамляли локоны. Не вставая, она указала мне рукой место возле себя, говоря:

— Не правда ли, мое положение безвыходно?

— В той жизни, какую вы сами себе создали,— возразил я,— но не в той, которую я хочу создать для вас; стоит вам лишь захотеть, и вы будете очень счастливы...

— Но как? — спросила она.

Она ждала ответа, затаив дыхание.

— Ваше письмо в руках графа.

Онорина вскочила, как испуганная лань, отбежала на несколько шагов, прошлась по саду, долго стояла неподвижно, потом, поднявшись в гостиную, села там в одиночестве; дав ей время оправиться после этого неожиданного удара, я пошел к ней.

— И вы называете себя другом?.. Нет, вы — предатель, может быть, шпион моего мужа.

Инстинкт женщин равносилен проницательности великих умов.

— Ваше письмо требовало ответа, не правда ли? Только один человек в целом мире может ответить вам... Прочтите же ответ, дорогая графиня, и, если, прочитав его, вы не увидите никакого выхода, «предатель» докажет вам, что он верный друг,— я отыщу для вас такой монастырь, откуда даже могущество супруга не сможет вас извлечь; но, прежде чем уйти от мира, выслушайте противную сторону. Существует закон божественный и человеческий, которому даже ненависть должна подчиняться,— он повелевает не выносить приговора, не выслушав защиты. До сих пор вы только обвиняли, как балованное дитя, никого не слушая и затыкая уши. Но самоотверженная любовь, длящаяся семь лет, имеет свои права. Итак, прочтите ответ вашего мужа. Через дядю я передал ему копию вашего письма, и дядя спросил графа, что́ бы он ответил, если бы его жена написала ему такое письмо. Поэтому вы не скомпрометированы. Старик сам принесет вам письмо графа. Из уважения к самой себе вы должны при этом святом человеке и при мне прочесть письмо, иначе вы будете просто строптивым и злым ребенком. Принесите эту жертву обществу, закону, богу..

Она не видела в этой уступке никакого посягательства на ее женскую волю и поэтому согласилась. Все мои действия за последние четыре—пять месяцев строились в расчете на эту минуту. Но ведь и пирамиды заканчиваются острием, на котором может поместиться лишь маленькая птичка. Граф возлагал все свои надежды на этот последний час, и он дождался его. Самым ярким воспоминанием моей жизни всегда будет появление моего дяди в десять часов вечера на пороге этой гостиной в стиле помпадур. Его серебристые седины, выделявшиеся на фоне черной одежды, его величаво-спокойное лицо произвели на графиню магическое впечатление: ей показалось, будто освежающий бальзам коснулся ее ран, ее как бы озарил отблеск той добродетели, которая, сама того не ведая, излучает свет.

— Господин аббат Лоро,— доложила тетушка Гобен.

— Вы пришли к нам с вестью о мире и счастье, дорогой дядя? — спросил я его.

— Мы всегда обретаем мир и счастье, когда соблюдаем указания церкви,— отвечал дядя, передавая Онорине следующее письмо:

«Моя дорогая Онорина!

Если бы вы оказали мне милость и доверились мне, если бы прочли письмо, которое я написал вам пять лет назад, вы избавили бы себя от пяти лет напрасного труда и лишений, приводивших меня в отчаяние. В том письме я предлагал вам договор, условия которого рассеяли бы все ваши опасения и сделали бы возможной нашу совместную жизнь. Я горько упрекал самого себя, за семь лет страданий я постиг всю тяжесть своей вины. Я плохо понял сущность брака. Я не сумел вовремя угадать угрожавшую вам опасность; в доме моем обитал ангел, и господь сказал мне: «Оберегай и храни его!» Создатель наказал меня за безрассудную самоуверенность. И теперь вы не можете нанести себе ни одного удара, не поразив и меня в самое сердце. Смилуйтесь надо мной, дорогая Онорина! Я понимаю горечь воспоминаний и не хочу, чтобы вы возвращались в старый особняк на улице Пайен, где я могу еще жить без вас, но не в силах был бы поселиться вместе с вами. Я с радостью отделываю и украшаю для вас другой дом в предместье Сент-Оноре, куда надеюсь ввести не жену, возвращенную мне законом, а сестру, которая позволит мне запечатлеть на своем челе чистый поцелуй, каким отец каждый день благословляет любимую дочь. Неужели вы лишите меня права, которое я завоевал вопреки вам,— права заботиться о ваших нуждах, о ваших развлечениях, о самой жизни вашей? Лишь материнское сердце полно беззаветной любви и всегда готово прощать; вы не знали другой матери, кроме моей, и она, без сомнения, сумела бы помирить вас со мной. Но как вы не угадали, что в моей груди бьются два сердца,— сердце вашей родной матери и матери приемной! Да, дорогая, моя любовь к вам не навязчива, не придирчива, это та любовь, что не дает заботам омрачить лицо обожаемого ребенка. За кого принимаете вы меня, друга вашего детства, Онорина, считая меня способным тре-

бовать неискренних поцелуев, разрываясь между радостью и тревогой? Не бойтесь, вам не придется переносить униженных молений страсти; я тогда лишь осмелился позвать вас к себе, когда убедился, что могу предоставить вам полную свободу. Ваша гордость, развившаяся в уединении, преувеличивает трудности: живите у меня, как у брата или отца, это не принесет вам страданий, может быть, не даст и радостей, но вы не встретите ни насмешки, ни равнодушия, ни сомнений в вашей искренности. Вас всегда будет окружать атмосфера ровная, мягкая, без бурь и непогоды. Если позднее вы почувствуете, что вы у себя дома, как в своем флигеле, и пожелаете внести в нашу жизнь какие-нибудь утехи, удовольствия, развлечения,— вы расширите по своему усмотрению рамки этого круга. Материнскому чувству неведомо ни осуждение, ни жалость,—это любовь бескорыстная, любовь без желаний. Я боготворю вас и сумею подавить те чувства, которые могли бы вас оскорбить. Таким образом, мы оба будем честны по отношению друг к другу. Нежность сестры, дружеское участие — вот чего просит тот, кто хочет быть вашим спутником: его же страсть вы можете измерить по тому, как он будет стараться утаить ее от вас. Ни вы, ни я не станем ревновать к прошлому, у нас обоих достаточно здравого смысла, чтобы смотреть только вперед. Итак, в новом особняке вы будете жить, как на улице Сен-Мор; оставайтесь по-прежнему чистой, независимой, одинокой, занимайтесь тем, чем захотите, руководясь собственной волей; но к этому прибавится законное покровительство супруга, которого сейчас вы принуждаете к потаенным рыцарским подвигам, всеобщее уважение, придающее женщине так много блеска, и богатство, которое позволит вам делать столько добрых дел. Онорина, если вы пожелаете вернуть себе бесполезную свободу, стоит вам только попросить, и вам не воспрепятствует ни церковь, ни закон: все будет зависеть от вашей гордости, от вашего собственного побуждения. Того, что вас пугает, могла бы опасаться моя жена, но не друг и не сестра, по отношению к которой я буду неизменно почтителен и деликатен. Для моего счастья достаточно одного — видеть вас счастливой, и я доказал это за семь лет. Порукой моих слов, Онорина, служат те цветы, ко-

торые вы делали: свято хранимые, орошенные моими слезами, они, подобно письменам перуанцев, заключают историю наших горестей. Возможно, этот тайный договор не понравится вам, дитя мое, но я просил святого человека, который передаст письмо, не говорить ни слова в мою пользу. Я не хочу, чтобы вы вернулись ко мне из страха, внушенного церковью, или по велению закона. Только от вас самой хочу я получить то простое и скромное счастье, о котором прошу. Если вы будете упорствовать, обрекая меня на мрачную, одинокую жизнь, лишенную даже улыбки милой сестры, на ту жизнь, которую я веду уже девять лет, если вы останетесь в вашей пустыне, одинокая, бесстрастная,— моя воля склонится перед вашей. Не тревожьтесь, я не нарушу вашего спокойствия, как не нарушал его до сих пор. Я прикажу уволить того безумца, который вмешался в ваши дела и, быть может, огорчил вас...»

— Благодарю вас, сударь,— сказала Онорина и, спрятав письмо за корсаж, устремила взгляд на моего дядю.— Я воспользуюсь разрешением остаться здесь, которое дает мне граф...

— Как! — воскликнул я.

Дядя, услышав мой возглас, тревожно взглянул на меня, а графиня лукаво усмехнулась и этой усмешкой выдала себя. Онорина хотела разгадать, не был ли я комедиантом, ловким посредником, птицеловом; и я, к своей печали и радости, обманул ее своим восклицанием, невольным криком души, а женщины хорошо разбираются в ее порывах.

— А, Морис,— сказала она,— вы умеете любить, как я вижу!

Огонь, вспыхнувший в моих глазах, окончательно рассеял беспокойство графини, если оно у нее и возникло. Таким образом, я служил графу до последней минуты. Онорина снова взяла письмо, чтобы дочитать его. Дядя сделал мне знак, и я поднялся.

— Оставим графиню одну,— шепнул он мне.

— Вы уже уходите, Морис? — промолвила она, не глядя на меня.

Она встала, пошла за нами, продолжая читать, а

на пороге флигеля взяла меня за руку, ласково пожала ее и сказала:

— Мы еще увидимся...

— Нет,— отвечал я, до боли сжимая ее руку.— Вы любите своего мужа! Завтра я уезжаю.

И я быстро ушел, покинув дядю, которого она спросила:

— Что такое с вашим племянником?

Бедный аббат довершил мою задачу, указав на голову и сердце, как бы говоря: «Он безумец, извините его, сударыня!» — и в этом было больше правды, чем он сам подозревал.

Через неделю я уехал, получив назначение на место вице-консула в Испанию, в большой торговый город, где я в короткий срок стал консулом, чем вполне удовлетворялось мое честолюбие.

Вскоре после своего приезда туда я получил от графа следующее письмо:

«Дорогой Морис,

если бы я был счастлив, то не писал бы вам; но я вступил в новую полосу жизни, полную страданий. Я снова молод, охвачен желанием, но моя страстность человека, достигшего сорока лет, сочетается с благоразумием дипломата, который умеет сдерживать свои чувства. Когда вы уезжали, я еще не был допущен во флигель на улице Сен-Мор; но в письме мне было разрешено явиться туда, в печальном и нежном письме женщины, которая боится волнующей встречи. Я прождал больше месяца, прежде чем осмелился туда пойти. Послав тетушку Гобен спросить, примет ли меня ее госпожа, я сел на скамью в аллее, неподалеку от будки привратника, сжал голову руками и пробыл там около часа

— Графиня переодевается,— сказала мне тетушка Гобен, чтобы скрыть под видом лестного для меня кокетства нерешительность Онорины.

Наконец мы встретились и с четверть часа не могли преодолеть нервной дрожи, вроде той, что овладевает ораторами на трибуне; мы обменивались неловкими фразами, растерянные и смущенные, тщетно пытаясь поддержать разговор.

— Послушайте, Онорина,— сказал я со слезами на глазах,— лед сломан, я трепещу от счастья, и вы дол-

жны простить мне бессвязность моей речи. Так будет еще долго продолжаться.

— Нет преступления в том, чтобы влюбиться в собственную жену,— отвечала она, принужденно улыбаясь.

— Окажите мне милость, не работайте больше, как работали до сих пор. Я знаю от тетушки Гобен, что вы уже три недели живете на свои сбережения. Вспомните, у вас лично есть шестьдесят тысяч франков ренты, и, если вы не хотите подарить мне сердце, по крайней мере не дарите мне своего состояния!

— Я уже давно знаю, как вы добры...— промолвила она.

— Если вам так хочется остаться здесь и сохранить независимость,— отвечал я ей,— если самая пламенная любовь не может снискать вашего расположения, то по крайней мере не работайте больше...

Я протянул ей три чека на двенадцать тысяч ренты каждый; она взяла их, равнодушно развернула и, прочтя, вместо ответа только взглянула на меня. Да, Морис, она отлично понимала, что я давал ей не деньги, а возвращал свободу.

— Я побеждена,— сказала она, протягивая мне руку для поцелуя,— приходите ко мне, когда вам вздумается.

Итак, она приняла меня, но ей пришлось сделать над собой усилие. На следующий день она встретила меня принужденно, с неестественной веселостью, и нам понадобилось два месяца, чтобы постепенно привыкнуть друг к другу. За это время мне удалось узнать ее подлинный характер. И вот снова наступил чарующий май, весна любви, и она принесла мне невыразимые радости. Онорина уже не боялась меня, она меня изучала. Но когда я предложил ей поехать в Англию, чтобы открыто соединиться со мной, снова занять подобающее место в моем доме и в обществе, поселиться в новом особняке, она пришла в ужас.

— Почему бы мне не остаться здесь навсегда? — сказала она.

Я молча покорился.

«Не испытание ли это?» — спрашивал я себя, уходя. Отправляясь из дому на улицу Сен-Мор, я трепетал

от волнения, любовные грезы переполняли мое сердце, и я мечтал, как юноша:

«Она уступит сегодня вечером...»

Но вся уверенность, все надежды рассеивались от одной улыбки, от одного повелительного взгляда ее глаз, гордых и спокойных, не знающих страсти. Я весь холодел от страха, мне вспоминались те ужасные слова, которые вы мне как-то передавали: «Лукреция кинжалом и кровью начертала первое слово женской хартии: «Свобода!» Я дошел до полного отчаяния, чувствуя, что должен добиться согласия Онорины и что сломить ее волю невозможно. Догадывалась ли она, какие бури бушевали во мне, когда я шел к ней и когда возвращался домой? Наконец, не найдя в себе решимости говорить, я описал ей свое состояние в письме. Онорина не ответила на письмо, но стала такой печальной, что я сделал вид, будто и не писал его. Мне было больно, что я огорчил ее, она прочла это в моем сердце и простила меня: сейчас вы увидите, как. Три дня назад она впервые приняла меня в своей спальне. Комната эта, вся в белых и голубых тонах, была полна цветов, красиво убрана, залита светом. Онорина выбрала наряд, в котором она особенно очаровательна. Волосы изящными локонами обрамляли ее лицо, прелесть которого вы знаете, цветы вереска украшали ее головку; на ней было белое кисейное платье, широкая белая лента с длинными развевающимися концами опоясывала ее тонкий стан. Вы помните, как идет ей простота, но в этот день она походила на новобрачную, то была Онорина прежних дней. Моя радость тотчас же замерла, ибо лицо ее выражало необычайную серьезность. Пламя таилось подо льдом.

— Октав,— сказала она мне,— я буду вашей женой, когда вы захотите; но знайте, такая покорность опасна, я могу подчиниться...

Я невольно содрогнулся.

— Да, я понимаю,— сказала она,— покорность вас оскорбляет, вы хотите того, чего я не могу вам дать: любви! Религия и сострадание заставили меня отречься от обета одиночества, и вот вы здесь!

Помолчав, она продолжала:

— Прежде вы не просили большего; теперь вы хо-

тите вернуть себе жену. Ну, что же, Онорина возвратится к вам — такая, как она есть. Я не обманываю вас обещаниями. Кем я буду? Матерью? Я хочу этого. О, поверьте мне, я горячо этого желаю! Попытайтесь возродить меня к жизни, я согласна. Но если я умру, друг мой, не кляните моей памяти; не считайте меня упрямой: меня погубит стремление к идеалу... а может быть, правильнее будет назвать то неизъяснимое чувство, которое убьет меня,— поклонением божеству! Будущее уже не зависит от меня, оно теперь на вашей совести, решайте сами!..

После этого она села со спокойной грацией, так восхищавшей вас когда-то, и, взглянув на меня, увидела, что я бледнею от горя, которое она мне причинила, поняла, что кровь стынет в моих жилах. Она угадала, какое ужасное впечатление произвели ее слова, взяла меня за руки и, сжимая их, сказала:

— Октав, я люблю тебя, но не той любовью, какой ты хочешь: я люблю твою душу... Но знай, я люблю тебя так, что готова умереть за тебя, как восточная рабыня, и умру без ропота. Это будет моим искуплением.

Потом она опустилась на колени на подушку у моих ног и сказала в порыве величайшего милосердия:

— Как знать, быть может, я и не умру...

Вот уже два месяца, как я борюсь с собой. Что мне делать?.. Сердце мое переполнено, и я взываю к сердцу друга, громко взываю о помощи: что мне делать?»

Я ничего не ответил. Два месяца спустя газеты сообщили о прибытии на английском пароходе графини Октав, вернувшейся в лоно семьи после долгого путешествия; все обстоятельства были придуманы так хорошо, что никто не мог в них усомниться. Переехав в Геную, я получил письмо, где меня уведомляли, что графиня счастливо разрешилась от бремени, подарив своему мужу сына. Я два часа сидел с этим письмом в руках вот здесь, на террасе, на этой скамье. Два месяца спустя, удрученный смертью дяди, уступив настойчивым уговорам Октава, де Гранвиля и де Серизи, моих покровителей, я дал согласие жениться.

Через полгода после Июльской революции я получил письмо, которым заканчивается история этой супружеской четы. Вот оно:

«Господин Морис,
я умираю, хотя я стала матерью, а может быть, именно поэтому. Я хорошо сыграла роль любящей жены, я обманула мужа, я испытала такие же подлинные радости, как те слезы, что проливает актриса на сцене. Я умираю во славу общества, семьи и брака, как первые христиане умирали во славу бога. Отчего я умираю, не знаю, хотя добросовестно пытаюсь выяснить это, потому что я совсем не упряма. Но вам мне хочется объяснить, что у меня за недуг, вам, кто привел ко мне доброго исцелителя, вашего дядю, увещаниям которого я уступила; он был моим духовником, я ухаживала за ним во время последней болезни, и он, указывая на небо, завещал мне исполнить свой долг. И я выполнила свой долг. Я не осуждаю женщин, которые умеют забывать, я восхищаюсь ими как сильными, стойкими натурами, моя же слабость в воспоминаниях. Я не могла дважды испытать ту беззаветную любовь, которая сливает нас воедино с любимым человеком. До последней минуты,— вы это знаете,— я взывала к вашему сердцу, к исповеднику, к мужу: сжальтесь надо мною!.. Все были безжалостны ко мне. И вот я умираю, умираю мужественно. Наверное, ни одна куртизанка не казалась веселее меня. Мой бедный Октав счастлив, я старательно поддерживаю в нем обольщения сердца. В этой страшной игре я не щажу своих сил,— актрисе аплодируют, ее чествуют, осыпают цветами; но невидимый соперник каждый день является за добычей, за жалким остатком моей жизни. Сердце мое истерзано, но я улыбаюсь! Я улыбаюсь двум своим детям, но старший, мой покойный сын, побеждает. Я говорила вам, что так и будет: мертвый ребенок зовет меня, и я иду к нему. Близость без любви — мучительное унижение, и душа моя непрестанно это чувствует. Я плачу, я отдаюсь своим мечтам только в одиночестве. Требования света, дом, заботы о ребенке, заботы о счастье Октава не оставляют мне ни минуты, и я не могу углубиться в себя, чтобы почерпнуть новые силы, как это удавалось мне

прежде, в уединении. Постоянная настороженность так угнетает меня, так бьется от нее сердце... Я не сумела развить в себе выдержки и хладнокровия с острым слухом, лживой речью, зорким взглядом. Не губы любимого целуют мои глаза и пьют мои слезы, я сама украдкой отираю их платком; вода освежает мои воспаленные веки, а не любимые уста. Я разыгрываю комедию перед самой собою, оттого, быть может, я и умираю Я так искусно скрываю свое горе, что никто его не обнаружит; надо же, чтобы оно питалось чем-нибудь, вот оно и подтачивает мою жизнь. Врачи догадались о моей тайне, но я сказала им:

— Придумайте какую-нибудь правдоподобную смертельную болезнь, иначе мой муж не переживет меня.

И вот мы условились, Деплен, Бьяншон и я, что я умираю от размягчения не знаю уж какой кости — от болезни, описанной наукой в совершенстве. Октав уверен, что я обожаю его! Однако, поймите меня, я все же боюсь, что вскоре он последует за мной. Я пишу вам, чтобы в случае его смерти попросить вас стать опекуном молодого графа. Вы найдете приложенную к письму приписку к духовному завещанию, где я выражаю свою последнюю волю; вы дадите ему ход, если только явится необходимость. Ведь, может быть, я ошибаюсь: мысль о моей самоотверженности принесет Октаву неутешное горе, но все же он останется в живых. Бедный Октав! Я желаю ему лучшей жены, чем я, он вполне заслуживает любви. Говорят, вы женились, мой мудрый соглядатай, так помните наставления цветочницы с улицы Сен-Мор: пусть ваша жена как можно скорее станет матерью! Заставьте ее заняться самыми обыденными домашними заботами, не давайте ей взрастить в своем сердце таинственный цветок идеала, образ небесного совершенства, взлелеянный мною, тот зачарованный, ярко пылающий цветок, аромат которого внушает отвращение к будничной действительности. Я подобна святой Терезе, только мне недоступны восторги в стенах монастыря, видения божественного Иисуса и безгрешных ангелов, наделенных крылами, чтобы они могли вовремя прилетать и отлетать. Вы знали, как я была счастлива среди моих любимых цветов. Я еще не все сказала вам: я угадывала любовь, расцветавшую под покровом

вашего притворного безумия, я таила от вас свои думы и мечты, я не впустила вас в свое чудесное царство. Ну что же, любите моего ребенка из любви ко мне, если он лишится своего несчастного отца. Скройте мою тайну, как могила скроет меня. Не плачьте обо мне: я давно уже мертва, если только прав святой Бернар, говоря, что там, где умерла любовь, нет жизни».

— Ну вот и все,— сказал консул, складывая письмо, и, положив его в портфель, запер замочек ключом.— Графиня умерла.

— Жив ли еще граф? — спросил посланник.— После Июльской революции он исчез с политической арены.

— Помните, господин Лора,— ответил генеральный консул,— недавно я провожал на пароход...

— Седовласого старика? — спросил художник.

— Старика сорока трех лет, который ехал искать исцеления на юге Италии. Этот старик был моим бедным другом, моим покровителем; он поехал через Геную, чтобы проститься со мной и доверить мне свое завещание... Он тоже назначает меня опекуном сына. Поэтому не было необходимости сообщать ему о желании Онорины.

— Знает ли он о том, что он — убийца? — спросила мадемуазель де Туш.

— Он подозревает истину,— отвечал консул,—это-то и убивает его. Я до самого рейда провожал его на пароходе, плывшем в Неаполь, обратно меня доставила шлюпка. Долго обменивались мы прощальными словами,— боюсь, что они были прощанием навеки. Поверенные в любви вызывают особенное чувство, когда той, что внушала любовь, уже нет в живых. «Такой человек,— говорил мне Октав,— обладает для нас особым обаянием, он окружен некиим ореолом». Мы стояли у борта корабля, граф смотрел вдаль; море было удивительно красиво, и, вероятно, взволнованный величественным зрелищем, он сказал мне на прощание:

— В интересах человеческой природы следовало бы узнать, что за непреодолимая сила заставляет нас, вопреки разуму, приносить дивное создание в жертву одному из самых мимолетных наслаждений!.. Совесть моя стонала, и я слышал это. Онорина страдала не од-

на. И все-таки я решился... Как мучают меня угрызения совести! На улице Пайен я умирал от жажды наслаждений, которых был лишен; в Италии я умру, терзаясь раскаянием, что изведал эти наслаждения. Откуда такой разлад между двумя людьми, смею сказать, одинаково благородными?!

Несколько минут на террасе царило глубокое молчание.

— Была ли она добродетельна, как по-вашему? — спросил консул у своих слушательниц.

Мадемуазель де Туш встала, взяла консула под руку и, отведя его в сторону, сказала:

— А разве мужчины не виноваты перед нами, когда, взяв в жены юную девушку, все еще хранят в глубине сердца ангелоподобные образы, сравнивают нас с неизвестными соперницами, наделяя их небывалыми совершенствами, и всегда предпочитают их нам?

— Вы были бы правы, если бы брак был основан на страсти; в том-то и заключалось заблуждение двух злополучных существ, погубившее их обоих. Супружество в соединении со взаимной любовью,— да, это был бы рай!

Мадемуазель де Туш отошла от консула, и Клод Виньон, подойдя к ней, шепнул ей на ухо:

— Не правда ли, д'Осталь немного фатоват?

— Нет,— отвечала она шепотом.— Он до сих пор не догадался, что Онорина могла бы полюбить его. О несчастный! — прибавила она, увидев, что вошла жена консула.— Его жена все слышала!..

На башенных часах пробило одиннадцать, и гости отправились домой пешком, по берегу моря.

— Все это нежизненно,— сказала мадемуазель де Туш.— Такая женщина — одно из редчайших исключений, высокий ум, истинная жемчужина. Жизнь слагается из разнообразных случайностей, из чередования печалей и радостей. Рай Данте, величественный идеал, небесная лазурь — все это живет только в душе, искать их в действительной жизни — значит искать какое-то сверхнаслаждение, недоступное человеческой природе. Для подобных душ достаточно тесной кельи и скамеечки для молитвы.

— Вы правы,— сказал Леон де Лора.— Но хоть я и

отпетый шалопай, я не могу не восхищаться женщиной, которая способна, подобно Онорине, жить рядом с мастерской художника, под его кровлей, и никогда не выходить, никого не видеть, не замараться уличной грязью.

— Так продолжалось всего лишь несколько месяцев,— вставил Клод Виньон с глубокой иронией.

— Графиня Онорина не единственная в своем роде,— возразил посланник, обращаясь к мадемуазель де Туш.— Был на свете человек, политический деятель, писатель с язвительным слогом, который стал предметом подобной любви, и пистолетный выстрел, лишивший его жизни, сразил не только его: та, кого он любил, после его смерти удалилась от света.

— Значит, и в наш век встречаются возвышенные души! — сказала мадемуазель де Туш и остановилась в задумчивости, опершись на парапет набережной.

Париж, январь 1843 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены частной жизни

ПОКИНУТАЯ ЖЕНЩИНА

Рассказ впервые был опубликован в журнале «Ревю де Пари» в сентябре 1832 года, в 1834 году он был напечатан во втором томе «Сцен провинциальной жизни», в 1842 году вошел во второй том «Сцен частной жизни» (первое издание «Человеческой комедии»)

Стр. 5. *Герцогиня д'Абрантес*, Лаура (1784—1838) — жена французского генерала Жюно, автор многотомных мемуаров: «Мемуары или исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и Реставрации». Бальзак познакомился с ней в 1828 году.

Стр. 6. *...сопутствовал маршалу Ришелье в Ганновер...*—Немецкое курфюршество Ганновер было взято французским маршалом Ришелье в 1757 году.

Стр. 7. *Майорат* — право нераздельного наследования недвижимого имущества старшим в семье или роде. Уничтоженные революцией 1789 года, майораты были восстановлены во время Реставрации с целью сохранения состояний старой знати.

«Газетт де Франс», «Журналь де Деба» и «Котидьен» — в период Реставрации печатные органы роялистов различных оттенков.

«Осел, нагруженный священными реликвиями» — басня Лафон-

тена, которая заканчивается словами: «При встрече с невежественным судьей люди выражают почтение не ему, а его судейской мантии».

Стр. 8. *Сен-Жерменское предместье* — в XIX веке аристократический район Парижа.

Стр. 10. *...подобно спутникам Улисса...* — В X песне «Одиссеи» Гомера рассказывается о том, как спутники Одиссея (Улисса) были превращены волшебницей Цирцеей (Киркой) в свиней и лишь благодаря заступничеству Одиссея им был возвращен человеческий облик.

Стр. 31. *«Пэт, не больно»* — слова, приписываемые Аррии, жене Пэта, участника заговора против римского императора Клавдия (I век н. э.); когда заговор был раскрыт и заговорщики были приговорены к смерти, Аррия, побуждая Пэта к самоубийству, первая пронзила себе грудь мечом, а затем протянула его мужу со словами: «Пэт, не больно!» В романе эти слова употреблены иронически.

ПОРУЧЕНИЕ

Рассказ «Поручение» впервые был опубликован в журнале «Ревю де Де Монд» 15 февраля 1832 года. В том же году под новым названием, «Совет», он появился в третьем томе «Сцен частной жизни». В 1833 и 1839 годах рассказ под первоначальным названием «Поручение» входил в состав «Сцен провинциальной жизни». В 1842 году он был вновь включен Бальзаком в «Сцены частной жизни» (первое издание «Человеческой комедии»).

Стр. 48. *Маркиз Дамазо Парето* (1801—1862) — поэт-переводчик, друг итальянского революционера Джузеппе Мадзини.

Стр. 52. *Прозопопея* (греч.) — ораторский и стилистический прием: наделение неодушевленных предметов и отвлеченных понятий свойствами одушевленных существ.

...сцена из комедии, в которой Созий рассказывает о битве своему фонарю. — Имеется в виду сцена из комедии Мольера «Амфитрион» (сцена 1-я, действие 1-е):

«Я роль свою немедля повторю.
Вот это — комната, а мой фонарь — Алкмена;
Я, как посол, вхожу и так ей говорю...

Стр. 55. *Роман Луве.* — Речь идет о романе Луве де Кувре «Любовные приключения кавалера де Фобласа» (1787); *графиня де Линьолль* — наивная, но своенравная молодая женщина, *маркиза де Б.* — кокетка и интриганка.

БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ

Повесть была впервые опубликована в 1835 году под заглавием «La Fleur des pois» (это идиоматическое французское выражение объяснено в тексте повести и означает «щеголь», а буквально—«цветок гороха») во втором томе «Сцен частной жизни»; в 1842 году в первом издании «Человеческой комедии» она была перепечатана под названием «Брачный контракт». Первоначально повесть была разбита на три главы: 1. За и против. 2. Брачный контракт. 3. Разлука. Остановившись на заглавии «Брачный контракт», Бальзак самим этим названием подчеркнул основную тему, раскрытую им в повествовании о браке Поля де Манервиля,—тему отвратительного торгашества и преступных махинаций, связанных с браком. Жертвой одной из таких буржуазных семейных трагедий изображен в «Брачном контракте» Поль де Манервиль.

Стр. 63. *Россини*, Джоакино (1792—1868) — выдающийся итальянский композитор, в 20—30-х годах жил и работал в Париже, где пользовался большой популярностью; был другом Бальзака.

Стр. 69. *Майорат* — см. примечание к стр. 7.

Стр. 74. *...мы будем с тобой вежливы, как Мезон Руж с англичанами при Фонтенуа.*— Фонтенуа — бельгийская деревня, где в 1745 году, во время войны за австрийское наследство, произошло сражение, в котором французская армия одержала победу над англо-голландской. Французы якобы из вежливости, а в действительности по тактическим соображениям предложили англичанам стрелять первыми. В сражении участвовала королевская гвардия, носившая красную форму, отсюда ее название Мезон Руж (красный дом).

Стр. 75. *Бреммель*, Джордж — фаворит английского короля Георга IV, считавшийся среди западноевропейской аристократии законодателем мод.

Стр. 83. *Видам* — старинный дворянский титул во Франции.

Стр. 86. *...владеть наукой Лафатера и Галля.* — Швейцарский богослов Лафатер (1741—1801), основатель псевдонауки физиогномики, утверждал, что будто бы существует соответствие между чертами лица и свойствами характера человека. Австрийский врач Галль (1758—1828) выдвинул антинаучную теорию — френологию, о якобы существующей связи между наружным строением черепа и умственными способностями человека.

Стр. 98. *Кюжас*, Жак (1522—1590) — французский ученый, теоретик и историк права; *Бартоле* — итальянский законовед

XIV века. Эти имена упомянуты здесь для обозначения высшей степени учености в области юридических наук.

Стр. 105. *Кассандр* — один из персонажей старинных итальянских и французских комедий — отец, обманываемый своими детьми и осмеиваемый всеми окружающими

Стр 106. *Ахилл и Нестор.*— Бальзак иронически сравнивает двух нотариусов, Салонэ и Матиаса, различных по характеру, с двумя героями «Илиады» Гомера. Среди греков, осаждавших Трою, молодой Ахилл (Ахиллес) отличался храбростью и горячностью, а старейший из греческих царей Нестор — мудростью и осмотрительностью

Стр. 117. *Альцест* — герой комедии Мольера «Мизантроп», правдолюбивый, искренний и резкий в своих суждениях человек.

Стр. 135. *...отомстила ей, как Селимена—Арсиное.*—В комедии Мольера «Мизантроп» Селимена, внешне сохраняя дружеский тон, ядовито злословит по поводу своей подруги Арсинои.

Стр. 140. *Парки.*— В античной мифологии парки — три богини судьбы. Одна из них перерезала нить человеческой жизни.

Стр 143. *...занесено арабами на почву обеих Испаний.*— Во времена римского владычества над Пиренейским полуостровом он распадался на две провинции: Ближнюю Испанию и Дальнюю Испанию.

Стр. 149. *...вряд ли она откроет ему доступ к Кельнскому капитулу* — то есть к важным, высоким постам. В Средние века Кельнский капитул (коллегия духовных лиц при Кельнском архиепископстве) пользовался большим влиянием в церковной и в политической жизни города.

Стр. 157. *Гинекей* (греч.) — женская половина в древнегреческом доме

Стр. 191. *Маскариль* — популярный во французской комедии XVII и XVIII веков персонаж, плутоватый лакей, интриган и пройдоха.

Стр. 193. *Сент-Пелажи* — долговая тюрьма в Париже в начале XIX века.

Стр. 194. *Служить Лавану.*— Согласно библейской легенде, Иаков служил четырнадцать лет патриарху Лавану, чтобы жениться на его дочери Рахили.

Вюрмсер — австрийский генерал, разбитый Наполеоном в 1796 году.

Аркольский мост.— В 1796 году в битве с австрийцами Наполеон первый бросился на Аркольский мост со знаменем в руках.

Роланд.— Имеется в виду герой поэмы итальянского поэта

XVI века Ариосто «Неистовый Роланд». Роланд впадает в неистовство, узнав об измене любимсй им Анжелики.

Стр. 197. *Эдуелин* — персонаж поэмы Байрона «Лара». *Медора* — персонаж поэмы Байрона «Корсар».

Шайка, известная под названием «Десять тысяч».— Шайка крупных воров, совершающих кражи, приносящие им не менее десяти тысяч франков. Один из главарей этой шайки — Жак Коллен, он же Вотрен («Отец Горио», «Блеск и нищета куртизанок»). Об этой шайке Бальзак рассказывает в романе «Отец Горио».

...похитить «Великого Могола».— В данном случае «Великий Могол» — название крупного бриллианта, находившегося в сокровищнице одного из индийских раджей.

Стр. 198. *Венецианская бронзовая пасть.*— В старой Венеции имелись особые урны в виде бронзовых пастей для собирания анонимных доносов.

...я принадлежу к числу сторонников одного князя...— Речь идет о Талейране Талейран-Перигор, Шарль-Морис (1754—1838)— известный французский дипломат, отличавшийся беспринципностью и циничной неразборчивостью в средствах.

«Партия попов» — ироническое название партии ультрароялистов.

Партия простаков — ироническое название партии либеральной буржуазии.

Стр 205. *Медор* — один из героев поэмы «Неистовый Роланд», юноша, в которого влюбилась красавица Анжелика, отвергшая любовь рыцаря Роланда.

ОБЕДНЯ БЕЗБОЖНИКА

Впервые рассказ был опубликован Бальзаком в газете «Кроник де Пари» 3 января 1836 года, затем в 1837 году он вошел в двенадцатый том «Философских этюдов», в 1844 году — во второй том «Сцен парижской жизни» (первое издание «Человеческой комедии»), и наконец, согласно намерениям Бальзака, во втором издании «Человеческой комедии» рассказ был включен в «Сцены частной жизни».

Герой «Обедни безбожника» Буржá, неграмотный водонос, уверовавший в научное призвание бедного студента-медика и обрекший себя на полуголодную жизнь, лишь бы дать ему возможность учиться,— это поэтический, необычайно привлекательный образ человека из народа. Своим душевным благородством, честностью, скромным героизмом он близок к старому солдату Верньо («Полковник

Шабер»). Бескорыстие и чистота этих простых людей резко выделяют их из числа других персонажей «Человеческой комедии». Образ Буржà, так любовно и правдиво написанный Бальзаком, позволяет еще раз оценить справедливость отношения М. Горького к автору «Человеческой комедии». «Книги Бальзака,— писал М. Горький,— наиболее дороги мне той любовью к людям, тем чудесным знанием жизни, которые с великой силою и радостью я всегда ощущал в его творчестве».

Стр. 206. *Огюст Борже* (1809—1877) — французский художник, друг Бальзака, в начале 30-х годов был одно время секретарем писателя.

Стр. 207. *Кювье́, Жорж* (1769—1832) — французский ученый-палеонтолог. На основании выведенного им закона соотношения частей организма животного Кювье по отдельным костям восстанавливал строение скелета ископаемых животных.

Стр. 209. *«Дом Воке»* описан Бальзаком в романе «Отец Горио» (1835).

Стр. 210. *...был Пиладом многих Орестов.*— В трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде» Пилад, верный друг Ореста, самоотверженно помогает ему спастись от преследовавших его богинь возмездия — эринний (лат.— фурий).

Стр 211 *Сеид* — раб Магомета, ставший восторженным последователем его вероучения; имя Сеида во французском языке получило нарицательное значение и означает ярого, слепого приверженца.

Стр. 212. *Канталь* — департамент в Центральной Франции, образованный из южной части старинной французской провинции Оверни.

Кабанист — то есть последователь Кабаниса Кабанис, Пьер-Жан-Жорж (1757—1808) — французский врач, философ и общественный деятель, ученик материалистов XVIII века (во время Французской революции близкий к жирондистам).

Стр. 213. *«Цитатор»* (1803) — книга французского писателя Пиго-Лебрена (1753—1835), представляющая собой подбор разнообразных цитат, разоблачающих католическую церковь и составляющих в целом острый антиклерикальный памфлет. В годы Реставрации это издание было конфисковано и уничтожено.

Стр. 217. *...Лукуллам Латинского квартала.* — В Латинском квартале Парижа во времена Бальзака жили преимущественно студенты. Лукулл, Луций Лициний (ок. 106—56 до н. э.) — римский полководец, известный своим богатством, роскошью и пирами.

Стр. 222. *Филопемен* — полководец Древней Греции (253—

183 до н. э.), пользовался репутацией честного и трудолюбивого человека.

Стр. 224. *...врата того земного храма.* — Имеется в виду Пантеон в Париже — усыпальница великих людей

ДЕЛО ОБ ОПЕКЕ

Первоначально повесть «Дело об опеке» (или, как можно было бы иначе перевести ее французское заглавие «Interdiction» — «Лишение прав») печаталась в газете «Кроник де Пари» с 31 января по 18 февраля 1836 года и в том же 1836 году была напечатана в 25-м томе «Философских этюдов» Бальзака. В 1839 году она была переиздана уже в составе другой серии произведений писателя — во втором томе «Сцен парижской жизни», осталась в составе «Сцен парижской жизни» и в издании 1842 года, но для следующих изданий «Человеческой комедии» была, согласно желанию Бальзака, включена в «Сцены частной жизни».

Для перенесения повести «Дело об опеке» из «Сцен парижской жизни» в «Сцены частной жизни» у Бальзака были те же основания, что и для перенесения повести «Полковник Шабер». Проникновение бесчеловечного хищничества, свойственного буржуазному обществу, в недра семьи, в отношения между супругами, с одинаковой убедительностью показано и в той и в другой повести. Сходны эти произведения и по своей сюжетной схеме. Жена полковника Шабера, не желая возвращать ему его состояния и видя в муже лишь помеху для своих планов, добивается того, что он становится бесправным бродягой, а маркиза д'Эспар, задумав завладеть состоянием мужа, возбуждает судебное дело, чтобы подвергнуть его лишению прав. В «Деле об опеке», однако, гораздо большее развитие получает тема буржуазного суда. Показав в повести честного юриста Попино и обнаружив его бессилие бороться во Дворце правосудия со светскими интригами и судейским крючкотворством, Бальзак придал особенную реалистическую силу своему изображению продажности буржуазного «правосудия».

Стр. 231. *Абеляр*, Пьер (1079—1142) — известный французский богослов, философ и поэт.

Жерсон (1363—1428) — псевдоним французского богослова Жана Шарлье.

Стр. 235. *Камбасерес*, Жан-Жак (1753—1824) — французский политический деятель периода Консульства и Империи, крупный юрист, участвовал в разработке Гражданского кодекса.

Стр. 237. *Аноплотерий* — вымершее млекопитающее, сходное с гиппопотамом, существовало в начале третичного периода.

Стр. 238. *Криспин* — образ ловкого слуги-пройдохи из итальянской комедии, разработанный также в комедии Лесажа «Криспин — соперник своего господина» (1707).

Стр. 239. *«Добрый человек в коротком плаще»* — Эдм Шампион (1764—1852), богатый ювелир, занимавшийся благотворительностью с целью приобретения популярности.

Стр. 249. *Месмер*, Франц-Антон (1733—1815) — австрийский врач, получивший сенсационную известность своей антинаучной теорией так называемого «животного магнетизма».

Стр. 256. *Диана де Пуатье* (1499—1566) — фаворитка французского короля Генриха II

Стр. 257. *Живые сокровища Корнелии.*— По преданию, римлянка Корнелия, мать народных трибунов Гая и Тиберия Гракхов (II век до н. э.), отвечая на вопрос богатой патрицианки, есть ли у нее драгоценности, указала на своих сыновей со словами: «Вот мои сокровища и драгоценности!»

Стр. 258. *...русский дипломат, известный своей хитростью...*— Речь идет о Карле-Андрее Поццо ди Борго (1764—1842), корсиканце по национальности, который много лет находился на службе у русского правительства; после Реставрации был русским посланником в Париже

Стр. 261. *Фюальдес* — крупный судейский чиновник времен Наполеоновской империи и Реставрации; был убит в 1817 году в притоне, который содержала вдова Банкаль; убийство совершено было друзьями Фюальдеса, преступниками, боявшимися доноса с его стороны.

Стр. 270. *Закон о возмещении* — то есть закон о выплате бывшим эмигрантам-дворянам денежного возмещения за земли, конфискованные во время революции. Закон был издан в 1825 году.

Стр. 274. *Маршальша д'Анкр* — Леонора Галигаи, жена итальянского авантюриста Кончини, известного под именем маршала д'Анкр, министра Людовика XIII. После падения Кончини была в 1617 году сожжена на костре по обвинению в колдовстве, которым объясняли ее влияние на мать короля Марию Медичи.

Стр. 275. *День одураченных.*— Такое название получил во Франции день 11 ноября 1630 года, когда сорвалась попытка придворных аристократов поссорить короля Людовика XIII с кардиналом Ришелье, фактическим правителем Франции.

Стр. 278. *Латинский квартал* — см. примечание к стр. 217.

Стр. 287. *Де Монлюк*, Блэз (1502—1577)— французский полководец, отличавшийся во время религиозных войн жестокостью по отношению к гугенотам.

Стр. 288. *Нантский эдикт* — эдикт, изданный в 1598 году французским королем Генрихом IV и предоставлявший протестантам (гугенотам) свободу вероисповедания; был отменен в 1685 году Людовиком XIV.

Стр. 294. *Двадцать дворянских семейств разбогатели, получив состояние Жака Кера...*— Жак Кер (ок. 1395—1456)— французский торговец, наживший огромное состояние, был обвинен придворными кругами, заинтересованными в конфискации его имущества, в государственной измене.

Стр. 297. *...следуя скорее примеру Лобардемона, чем Моле.*— Де Лобардемон, Жак-Мартен (1590—1653) — парижский судья, покорный исполнитель воли кардинала Ришелье.— Моле, Матье (1584—1656) — президент парижского парламента (высшего суда), пользовался славой неподкупного судьи

ДОЧЬ ЕВЫ

Повесть «Дочь Евы» печаталась сначала в виде отдельных фельетонов в газете «Сьекль» в период с 31 декабря 1838 года по 14 января 1839 года

В 1839 году это произведение вышло отдельной книгой; в этом издании повесть была разделена на девять глав: 1. «Две Марии», 2 «Взаимные признания двух сестер», 3. «История счастливой женщины», 4. «Знаменитый человек», 5. «Флорина», 6. «Любовь в борьбе со светским обществом», 7. «Самоубийство». 8. «Спасенный и потерянный любовник», 9 «Триумф мужа».

В 1842 году повесть вошла в состав «Сцен частной жизни» (первое издание «Человеческой комедии»).

В предисловии к книге Бальзак писал: «Дочь Евы» предназначена для изображения ситуации, в которой оказываются некоторые женщины, вовлеченные в запретную страсть множеством обстоятельств, более или менее смягчающих их вину. Эти женщины, не будучи слишком серьезно скомпрометированы, достаточно разумны, чтобы вновь вернуться к супружеской жизни. Невзгоды страсти помогают им лучше оценить мирные радости счастливого супружества».

Значение повести выходит, однако, далеко за пределы этой моралистической задачи.

В «Дочери Евы» Бальзак реалистически изображает и резко

осуждает алчность и бессердечие французской финансовой буржуазии периода Июльской монархии (действие повести происходит в 1834 году).

Стр. 301. *Янсенизм* — одно из течений в католицизме, названное по имени голландского богослова Янсения (1585—1638). Янсенисты по своим религиозным взглядам были близки к кальвинистам.

Стр. 302. *Алакок*, Мари-Маргерит — французская монахиня-фанатичка, жившая во второй половине XVII века.

«Котидьен» — см. примечание к стр. 7.

Стр. 303. *Синедрион* (греч.) — совет старейшин в древней Иудее, являвшийся высшим правительственным, судебным и религиозным учреждением у древних евреев.

Стр. 304. *Гофман*, Эрнст-Теодор-Амедей (1776—1822) — немецкий писатель-романтик.

Стр. 308. *Рита и Кристина* — так называемые «сиамские близнецы», которые родились со сросшимися вместе телами.

Стр. 309. *Арнольф* — пожилой буржуа, и *Агнеса* — простая, наивная девушка, не знающая жизни,— действующие лица комедии Мольера «Школа жен»; *Селимена* — светская кокетка, героиня комедии Мольера «Мизантроп»

Стр. 313. *...как Леонарде в пещере разбойников...* — Леонарде — персонаж романа французского писателя XVIII века Лесажа «Похождения Жиль Бласа из Сантильяны»

Стр. 316. *Мартиньяк*, Жан-Батист (1776—1832) возглавлял в 1828—1829 годах кабинет министров во Франции. Министерство Мартиньяка, отличавшееся умеренным роялизмом, было сменено 8 августа 1829 года ультрареакционным министерством Полиньяка.

Стр. 317. *...одним из благороднейших созданий этого века, умершим, по слухам, от горя и любви к нему.*— Речь идет о госпоже Морсоф — героине романа Бальзака «Лилия долины» (1835).

Эпиктет (ок. 50 — ок. 138 н. э.) — греческий философ-стоик; был рабом.

Стр. 319. *«Астрея»* — многотомный пастушеский (пасторальный) роман французского писателя Оноре д'Юрфе (1568—1625), написанный изысканным, выспренним стилем; этот роман отличается утомительным однообразием.

Стр. 320. *Данте*, Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт, автор поэмы «Божественная комедия», состоящей из трех частей: «Ад», «Чистилище» и «Рай». «Рай» — в художественном отношении наименее удачная часть поэмы.

Стр. 321. *Ривароль*, Антуан (1753—1801) — французский литератор и журналист, отличавшийся скептическим и язвительным умом. *Флориан*, Жан-Пьер (1755—1794) — французский баснописец, его басни очень сентиментальны.

Стр. 322. *...произошел июльский переворот.*— Имеется в виду буржуазная Июльская революция 1830 года во Франции.

Стр. 326. *...ярые почитатели средневековья, столь забавно прозванные «Молодой Францией».*— «Молодая Франция» — литературный кружок консервативных романтиков, возникший в середине 30-х годов XIX века в Париже. Во главе кружка стоял поэт, беллетрист и литературный критик Теофиль Готье (1811—1872).

Стр. 327. *Элианта* — кузина Селимены; действующее лицо комедии Мольера «Мизантроп».

Стр. 329. *...романтической пьесой в духе «Пинто».*— «Пинто, или День заговора» (1801) — историческая пьеса в пяти действиях французского драматурга Непомюсена Лемерсье (1771—1840), послужившая своего рода прототипом для французской романтической драмы 20-х годов XIX века.

Стр. 330. *...мог бы хлопнуть себя по лбу, подобно Андре Шенье.*— Шенье, Андре (1762—1794) — французский поэт. Сочувственно встретив первые шаги Французской буржуазной революции XVIII века, он в 1791 году перешел на контрреволюционные позиции, выступил в защиту короля и был позднее казнен якобинцами. Всходя на эшафот, Андре Шенье будто бы ударил себя по лбу и воскликнул: «А все же здесь кое-что было!»

Альцест и *Филинт* — главные действующие лица комедии Мольера «Мизантроп», противоположные по характеру: Альцест — прямой и непримиримый в своих суждениях человек; Филинт — покладистый человек, готовый на любой компромисс.

Стр. 335. *Беатриче Портинари* — современница Данте, к которой он испытывал глубокую платоническую любовь. *Лаура* — платоническая возлюбленная итальянского поэта Петрарки (1304—1374), которой посвящены его сонеты.

Стр. 338. *Кипсек* — роскошный альбом гравюр и рисунков, изображающих главным образом изящные женские головки.

Стр. 344. *Поппея* — жена римского императора Нерона (I век н. э.).

Стр. 351. *«Партия Сопротивления»* (или «партия Отпора») и *«партия Движения»* — политические группировки крупной французской буржуазии после Июльской революции 1830 года. «Партия Движения» добивалась от правительства некоторых либеральных реформ. «Партия Сопротивления» была вполне удовлетворена при-

ходом к власти «короля банкиров» Луи-Филиппа и считала, что этим все политические цели и задачи Июльской революции решены.

Стр. 355. *Лекуврер*, Адриенна (1692—1730) — известная французская трагическая актриса; согласно легенде, она была отравлена из ревности герцогиней Бульонской Эта легенда легла в основу пьесы Скриба «Адриенна Лекуврер».

Стр. 364. *Сен-Жюст*, Антуан-Луи (1767—1794)—один из виднейших деятелей Французской буржуазной революции XVIII века, якобинец, ближайший соратник и друг Робеспьера.

Стр. 366. *Лернейская гидра* — в древнегреческой мифологии многоглавое чудовище, убитое Гераклом.

Стр. 374. *«Монитер»* — парижская газета; в период Наполеоновской империи, Реставрации и Июльской монархии была официальным правительственным органом.

Стр. 375. *Доктринеры* — Доктринерами во Франции в период Реставрации называли политическую группу конституционалистов-роялистов, представляющих интересы крупной буржуазии. После Июльской революции 1830 года доктринеры примкнули к правому крылу орлеанистов, сторонников монархии Луи-Филиппа Орлеанского.

Стр. 376. *Кондотьер* — главарь отряда наемных солдат в Италии в XIV—XV веках, в переносном смысле — продажный человек, готовый служить любой партии.

Стр. 381. *Покушение Фиески.*— 28 июля 1835 года бывший солдат наполеоновской армии, корсиканец Джузеппе Фиески (1790—1836), вместе с несколькими товарищами организовал взрыв на бульваре Тампль в Париже с целью убийства короля Луи-Филиппа Фиески был казнен в 1836 году.

Стр. 383. *Медея* — персонаж античной мифологии, героиня одноименной трагедии Корнеля. Окруженная врагами, одинокая Медея на обращенный к ней вопрос: «В такой беде, что вам осталось?» — гордо отвечает: «Я! я — говорю тебе: и этого достаточно».

Стр. 395. *Шмуке был музыкальным Диогеном.*— Диоген из Синопа (ок. 404—323 до н э.) — древнегреческий философ-киник, презиравший жизненные удобства.

Церера — в древнеримской мифологии богиня, покровительница земледелия.

Стр. 402. *Шейлок* — ростовщик, действующее лицо комедии Шекспира «Венецианский купец».

Стр. 407. *«Золотая середина»* — то есть сторонники политики короля Луи-Филиппа Орлеанского, главным образом круги финансовой буржуазии.

Стр. 414. *...прекрасные слова одного из замечательнейших поэтов нашего времени.*— Имеется в виду поэт Теофиль Готье (1811—1872), друг Бальзака.

ОНОРИНА

Повесть «Онорина» впервые была напечатана в газете «Ла Пресс» в марте 1843 года; в 1844 году вышла отдельным изданием; в следующем, 1845 году вошла в состав IV тома «Сцен частной жизни» (первое издание «Человеческой комедии»).

Стр. 417. *Ашиль Девериа* (1800—1857) — французский художник, литограф. В 1825—1826 годах иллюстрировал однотомные собрания сочинений Мольера и Лафонтена, которые издавал Бальзак в компании с Канелем. Автор портрета молодого Бальзака.

Стр. 418. *Сардинское королевство.*— В состав Сардинского королевства (Пьемонт) в 30-х годах XIX века входили Савойское герцогство, Пьемонт, Сардиния и другие герцогства.

Кипсек — см. примечание к стр. 338.

Стр. 419. *Мадемуазель де Туш* — персонаж романа Бальзака «Беатриса», писательница.

Стр. 421. *«Мнимый больной»* — комедия Мольера, ее герой Аргон считает себя неизлечимо больным человеком.

Стр. 422. *Мадемуазель Жорж* — псевдоним известной французской трагической актрисы Маргариты-Жозефины Веймер (1787—1867).

Стр. 423. *«Задиг»* — философская повесть Вольтера (1694—1778).

Стр. 428. *Лабранш* — имя слуги, часто встречающееся во французских комедиях XVII—XVIII веков.

Стр. 430. *...с тем необыкновенным монахом, образ которого создал Льюис.*—Имеется в виду герой романа «Монах» английского писателя Льюиса Мэтью (1775—1818) — автора так называемых «черных или готических романов», полных тайн, привидений и ужасов. «Исповедальня чернецов» — «готический роман» английской писательницы Анны Радклиф (1764—1823).

Стр. 433. *Он был кем-то вроде Манфреда.*— Манфред — герой одноименной драмы Байрона — образ человека, могучего духом, но трагически одинокого; он отвергает религию.

Стр. 453. *...ужасная развязка истории Лоеласа и Клариссы...*— Ловлас и Кларисса — персонажи романа английского писателя Самюэля Ричардсона (1689—1761) «Кларисса, или История

молодой леди». Кларисса, обесчещенная Ловласом, кончает жизнь самоубийством, а Ловласа убивает на дуэли родственник Клариссы.

Стр. 465. *Юнг*, Эдвард (1683—1765) — английский поэт-сентименталист, автор «Ночных дум» — произведения, проникнутого мрачной меланхолией. *Иов* — библейский персонаж, на которого по воле бога обрушивались неисчислимые страдания и несчастья.

Стр. 466. *«Нельская башня»* — историческая драма Александра Дюма-отца и Фредерика Гайарде (1832). Легенда о Нельской башне связана с именем жены французского короля Людовика X Маргариты Бургундской (начало XIV века); обвиненная в измене, Маргарита была по приказанию короля задушена.

Стр. 468. *Лукреция* — знатная римлянка. Обесчещенная сыном римского царя Тарквиния Гордого, она пронзила себе грудь кинжалом, призывая народ отомстить за ее смерть. Согласно легенде, смерть Лукреции послужила поводом к изгнанию царя и установлению республики в Риме.

Мэррей, Джон (1778—1843) — английский издатель, издавал В. Скотта, Байрона и других.

Стр. 475. *Фенелон*, Франсуа де Салиньяк де Ламот (1651—1715) — французский писатель, автор дидактического романа «Приключения Телемака, сына Улисса». Здесь он назван как умный снисходительный наставник.

Стр. 496. *Был на свете человек, политический деятель, писатель.*— Здесь и далее речь идет о французском журналисте Армане Карреле, убитом на дуэли журналистом Эмилем Жирарденом. Женщина, которую любил Каррель, после его смерти стала вести уединенный, монашеский образ жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены частной жизни

Покинутая женщина. *Перевод А. В. Ясной* 5
Поручение. *Перевод М. П. Столярова* 48
Брачный контракт. *Перевод В. Г. Дмитриева* 63
Обедня безбожника. *Перевод М. П. Столярова* 206
Дело об опеке. *Перевод М. И. Казас* 225
Дочь Евы. *Перевод И. Б. Мандельштама* 298
Онорина. *Перевод М. В. Вахтеровой* 417

Примечания 497

БАЛЬЗАК.

Собрание сочинений
в 24 томах. Том III.

Редактор тома
И. А. Лилеева.

Иллюстрации художника
В. П. Панова.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 23/I 1960 г. Тираж 350.000 экз. Изд. № 143. Зак. 2860. Форм бум. 84×108¹/₃₂. Бум. л. 8. Печ. л. 26,24+4 вкл. (0,41 п. л.) Уч.-изд. л. 28,06.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина, Москва, улица «Правды», 24.